Каролина Павлова

Советский писатель



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА

М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

КАРОЛИНА ПАВЛОВА

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

Вступительная статья
П. П. Громова

Подготовка текста и примечания
Н. М. Гайденкова

МОСКВА–ЛЕНИНГРАД · 1964

Р1
П12

Каролина Карловна Павлова (1807—1893) — талантливый и своеобразный лирический поэт. Ее творчество мало известно современному читателю. Лучшие стихи К. Павловой отличают глубина духовного переживания, тонкая и богатая музыкальность, высокое поэтическое мастерство.

В этот сборник включены все оригинальные произведения К. Павловой, ее переводы, иноязычные стихотворения (написанные по-немецки и по-французски), а также роман «Двойная жизнь» — в стихах и прозе.



КАРОЛИНА ПАВЛОВА

Имя Каролины Павловой принадлежит к числу тех имен, которые как бы воскресли, заново «заиграли» в поэтических спорах и исканиях начала XX века. В самом этом явлении — попытках опереться на творчество поэтов забытых, полузабытых или привычно относимых к разряду второстепенных — есть две стороны вопроса. Понятны не увенчавшиеся конечным успехом попытки отдельных представителей символистской литературной школы модернизировать и превратить в своих прямых предшественников гениальных поэтов старого времени (Тютчев, Баратынский), эти попытки чужды нам сегодня. Но есть и другая сторона дела, она относится уже не к символизму, но к общему и широкому процессу развития поэзии. В свете нового этапа развития большой поэзии начинает несколько иначе восприниматься и ее вчерашний день; движущаяся история заставляет несколько иначе воспринимать то, что происходило вчера. Это — процесс естественный и закономерный. Оттого, что к творчеству Каролины Павловой было заново привлечено внимание, оно не стало принципиально важным, большим, этапным явлением в истории русской поэзии. Но из этого нисколько не следует, что поэзия Павловой не заслуживает внимания и изучения, осмысления ее места, относительного значения в общих процессах литературного развития, использования и сегодня того ценного, что в ней заключено.

1

Каролина Карловна Павлова (Яниш) родилась 10 июля 1807 года. По отцу она была немкой, в роду матери были и французы, и англичане. Отец ее, К. И. Яниш, был широко образованный человек, врач по специальности, но медицинской практикой не занимал-

ся, так как, по свидетельству дочери, не желал «быть виновным в смерти человека».[1] Он преподавал физику и химию в Медико-хирургической академии в Москве. Яниши были давними жителями России, у отца Павловой было некоторое состояние (имение в Смоленской губернии и дом в Москве). Во время войны 1812 года семья обеднела — дом сгорел, а имение было разорено. Воспоминания о патриотическом подъеме в связи с событиями 1812 года, очевидно, сыграли известную роль в формировании духовного опыта Каролины. Росла она одиноко, уже с детства проявляла редкостные и разносторонние способности, дружно отмечаемые всеми знавшими ее современниками. О молодости Каролины Карловны мы знаем мало — известно, что ее способностями, познаниями, а также стихотворными опытами на французском и немецком языках был поражен известный ученый А. Гумбольдт, ездивший с научными целями в Россию и познакомившийся с Каролиной Яниш в 1829 году в Москве. Несомненно, большое значение в ее личной и творческой биографии имела любовь к великому польскому поэту Мицкевичу.

Каролина Яниш познакомилась с Мицкевичем в знаменитом художественно-литературном салоне Зинаиды Волконской. Этот салон был, как известно, одним из самых блестящих художественных центров России 20-х годов — здесь бывали, состоя в более или менее дружеских отношениях с хозяйкой дома, Пушкин, Веневитинов, Одоевский, Дельвиг, Вяземский, Козлов, Погодин, Шевырев и другие. Сама Каролина Карловна попала туда через известную семью Елагиных-Киреевских, в недалеком будущем — один из очагов славянофильства. Поводом для более близкого знакомства с Мицкевичем стало изъявленное Каролиной Карловной желание изучить польский язык; Мицкевич был приглашен в учителя. Уже в детстве Каролина Яниш свободно владела несколькими языками, в изучении польского она также выказала, по мнению Мицкевича, несомненные успехи. Вскоре между учителем и ученицей последовало объяснение в любви; Мицкевич предложил девятнадцатилетней тогда Каролине Карловне, как говорилось в таких случаях, «руку и сердце». В позднейшем письме к сыну Мицкевича Каролина Карловна вспоминает, что возникло препятствие: противником этого брака выступил богатый и бездетный дядя Каролины Карловны, от которого зависело будущее благосостояние семьи Янишей. «Отец готов был принести для меня эту жертву, но я не могла ее при-

---

[1] Каролина Павлова. Мои воспоминания. — Собр. соч. М., 1915, т. 2, стр. 277.

нять. Я последовала голосу долга»[1] — такой предстает ситуация в позднейшем описании самой героини. Мицкевич уехал в Петербург, ненадолго появился снова в Москве, опять уехал, и отсутствие его на этот раз оказалось очень длительным. В одном из писем к друзьям этой поры (1828) Мицкевич признается, что в его жизни — «полное отсутствие страстных потрясений».[2]

Каролина Яниш после десятимесячного отсутствия Мицкевича пишет к нему письмо, в котором просит ясности отношений: «Надобно, чтобы ты так или иначе решил мою судьбу».[3] Мицкевич приехал в Москву в начале 1829 года, и требуемая ясность наступила: вместо любви Мицкевич предложил дружбу, а вскоре уехал из России навсегда. Перед отъездом Мицкевича Каролина Яниш еще раз обратилась к нему с прощальным письмом. Письма эти отличаются напряженностью, выспренностью, литературно-условной формой в выражении чувства, может быть и искреннего. Литературно-условным кажется и утверждение К. Павловой в конце ее долгой жизни: «Я люблю его теперь, не переставала любить его все время. Он мой, как был моим когда-то».[4] Однако эта драматическая история, видимо, имела серьезное значение в духовной жизни К. Павловой. Она не раз и в несколько разных осмыслениях появлялась в ее стихах. Художественно наиболее весомо она звучит там, где К. Павлова выражает сомнения в возможностях счастливого исхода:

А счастья дар предложен был судьбою;
Да, может быть, а может быть — и нет!

Можно думать, что значение этой любви в духовной жизни К. Павловой состояло в том, что она дала серьезный повод к столь существенным для ее поэзии размышлениям о поэте и обществе, личности и человеческих отношениях.

---

[1] Отношения К. К. Яниш и Мицкевича освещены в статье польского исследователя И. Третьяка «Каролина Яниш»; подробное изложение этой работы см. в журнале «Исторический вестник», 1897, № 3. Письмо К. К. Павловой сыну поэта Вл. Мицкевичу от апреля 1890 года цитируется по переводу статьи Третьяка из архива А. Ф. Кони (Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР).

[2] Письмо Адама Мицкевича к Зану от 3 апреля 1828 г. Цит. по кн.: Борис Рапгоф. К. Павлова. Материалы для изучения жизни и творчества. Пг., 1916, стр. 9.

[3] Письмо К. К. Яниш к Адаму Мицкевичу от 19 февраля 1829 г. Цит. по кн.: А. Л. Погодин. Адам Мицкевич. Его жизнь и творчество, т. 2. М., 1912, стр. 31.

[4] Письмо К. К. Павловой от апреля 1890 г. Владиславу Мицкевичу. — «Исторический вестник», 1897, № 3, стр. 1086.

Последовавший за разрывом с Мицкевичем период в жизни Каролины Яниш биографы считают самым темным, непроясненным. Существенно изменило ее жизненную судьбу то, что она стала богатой невестой умер состоятельный дядя, Каролина Карловна была единственной дочерью своих родителей. В 1837 году она вышла замуж за известного литератора Николая Филипповича Павлова. Современники считали, что Павловым в этом случае руководил материальный расчет. Вот как резко определяет это обстоятельство, скажем, Б. Н. Чичерин в своих известных мемуарах: «Этот брак был заключен не по любви, а по расчету. Сам Павлов говорил мне впоследствии, что он в жизни сделал одну гадость: женился на деньгах».[1] Упомянуть здесь об этом следует потому, что поэзия К. Павловой в некоторых отношениях более тесно, чем это обычно бывает, связана с конкретными фактами ее биографии, в жизни же Павловой ее неудачный брак сыграл большую роль.

Н. Ф. Павлов работал в разных литературных жанрах, незадолго до брака шумный успех имели его «Три повести» («Именины», «Ятаган», «Аукцион»). Успех этот был обусловлен известной остротой постановки социальной, антикрепостнической темы и остротой ее художественного решения. На повести Павлова обратил внимание Пушкин: «...г. Павлов первый у нас написал истинно занимательные рассказы».[2] «Успех вполне заслуженный», по словам Пушкина, «Трех повестей» был вершиной литературной известности Н. Ф. Павлова. В дальнейшем его художественная репутация падает. Близко знавшие супругов Павловых современники считали, что Павлов, поначалу содействовавший устройству литературных дел своей жены, позднее несколько болезненно относился к ее писательским успехам.

На протяжении 40-х годов в доме Павловых, на их литературных вечерах, собирался очень широкий круг людей, представлявших разные литературно-общественные направления. Здесь бывали Вяземский, Баратынский, А. И. и И. С. Тургеневы, Гоголь, Герцен, Огарев, Грановский, Погодин, Аксаковы, Киреевские, Хомяков, Шевырев, Фет, Ап. Григорьев, Полонский и другие. Сама хозяйка салона, Каролина Павлова, явно пыталась воплотить или даже «разыграть» годами складывавшийся у нее идеал «поэта». Она стремится прежде всего быть в дружеских отношениях с людьми разных на-

---

[1] Б. Н. Чичерин. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929, стр. 4.

[2] А. С. Пушкин. <«Три повести» Н. Павлова.> — Полн. собр. соч., т. 12, М., 1949 стр. 9.

правлений — скажем, с Грановским и Хомяковым и т. д. — как бы «примиряя» враждующие направления. Далее, свою стихотворческую деятельность и самую роль хозяйки салона она «обставляет» эффектными внешними подробностями. Вот как описывает свое первое знакомство с К. Павловой И. И. Панаев: «Передо мною была высокая, худощавая дама, вида *строгого и величественного,* как леди Локлевен Вальтер-Скотта. В ее позе, в ее взгляде было что-то эффектное, риторическое. Она остановилась между двумя мраморными колоннами, с чувством достоинства слегка наклонила голову на мой поклон и потом протянула мне свою руку с величием театральной царицы... Через пять минут я узнал от г-жи Павловой, что она пользовалась большим вниманием со стороны Александра Гумбольдта и Гете и что последний написал ей несколько строк в альбом... Затем был принесен альбом с этими драгоценными строками... Через четверть часа Каролина Карловна продекламировала мне несколько стихотворений, переведенных ею с немецкого и английского».[1] В этом описании, несомненно, преобладает ирония, ее можно было бы истолковать как следствие художественных пристрастий и антипатий; Панаев — литературный «враг» К. Павловой. Но и в отзывах «друзей» — а К. Павловой, как поэту, покровительствовали, ей стремились создать художественное имя больше всего славянофилы — точно так же часто слышится ирония. Поводом для этой слишком часто ощутимой иронии в отзывах современников о К. Павловой является некая «театрализованность» ее облика как «поэта». Современники подчас готовы были осуждать эту особенность поведения К. Павловой как проявление «неискренности», иногда — бессердечия. Следует, очевидно, попытаться понять, в каких отношениях это находится с художественным мировоззрением и творческой манерой К. Павловой.

К концу 30-х — началу 40-х годов К. Павлова уже обратила на себя внимание талантливыми переводами стихотворных произведений. Ее известность основывалась, кроме устных выступлений в литературно-художественных собраниях Москвы, главным образом на выпущенных за границей сборниках переводов: «Das Nordlicht» (Дрезден — Лейпциг, 1833), где были представлены переводы русских поэтов и прозаиков на немецкий язык, и «Les préludes» (Париж, 1839), где появляются уже, кроме русских, также и поэты немецкие, английские, итальянские, польские, переведенные на французский язык. И в том, и в другом случае приложены также в неболь-

---

[1] И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Л., 1950, стр. 177.

шом количестве оригинальные стихи, соответственно на немецком и французском языках. Однако литературная известность К. Павловой основывалась не на этих собственных стихах, но именно на переводах. В русской прессе оба эти сборника нашли положительные отклики; деятельность К. Павловой как переводчика и пропагандиста русской поэзии за рубежом положительно оценивалась В. Г. Белинским.

В обзорной статье «Русские журналы» (1839) Белинский дает чрезвычайно высокую, даже чрезмерно высокую оценку переводам К. Павловой. «Удивительный талант г-жи Павловой (урожденной Яниш) переводить стихотворения со всех известных ей языков и на все известные ей языки начинает наконец приобретать всеобщую известность».[1] Далее сказано, что нельзя «надивиться» тому, как переводчица сумела передать на французский язык «благородную простоту, силу, сжатость и поэтическую прелесть „Полководца"»[2] — по выражению критика, одного из лучших стихотворений Пушкина. Но переводы на русский язык «еще лучше» — следует опять-таки «дивиться», по выражению Белинского, «этой сжатости, этой мужественной энергии, благородной простоте этих алмазных стихов, алмазных и по крепости и по блеску поэтическому».[3]

Однако в эту восторженную оценку через год, в известном письме к В. П. Боткину от 16 апреля 1840 года, вносятся существенные коррективы. Контекст этих поправок очень сложен и теоретически, и историко-литературно. Ход мысли Белинского здесь придется передать очень приблизительно, но остановиться надо именно на контексте, так как без целостной мысли все или не совсем понятно, или возникает дешевый соблазн полностью снять предшествующую оценку, как это сделано в комментариях к третьему тому академического издания Белинского.[4] В этом письме к Боткину о переводах Павловой говорится несколько иронически: «Славный стих, славные переводы — только перечесть их нет силы».[5] В плане теоретическом Белинский считает здесь необходимым снять восторженный тон оценки («какие мы были дети»), потому что «слово *художественный* — великое слово, и что с ним надо обращаться осторожно. . .».[6] В слово

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. 3. М., 1953, стр. 190.

[2] Там же.

[3] Там же, стр. 151.

[4] См. там же, стр. 620.

[5] Там же, т. 11. М., 1956, стр. 508.

[6] Письмо к В. П. Боткину от 16 апреля 1840 г. — Полн. собр. соч., т. 11, стр. 508. Здесь и ниже курсив в цитатах принадлежит Белинскому.

«художественный» Белинским с начала 40-х годов и до завершения его критической деятельности вкладывались два смысла, и оба эти смысла присутствуют в общем контексте переоценки переводов К. Павловой. С одной стороны, «художественному» в литературе противопоставляется «беллетристическое», то есть, по ходу мысли Белинского, нечто вполне закономерное и необходимое, но далеко не столь высокое, как «художественное».

Другой смысл слова «художественный» у Белинского носит исторический характер. «Художественной поэзии» в этом, историческом, смысле противостоит «рефлектированная» поэзия, как об этом говорится в письме к Боткину тут же, несколько выше. «Рефлексия» в искусстве, по Белинскому, отличает прежде всего его современное состояние (Лермонтов), она особенно характерна «для всех, кто принадлежит к *нашему времени* не по одному году и числу месяца, в которые родился»,[1] потому что, согласно Белинскому, «наш век есть по преимуществу век рефлексии».[2] По мысли Белинского, пушкинская эпоха — это целый исторический этап, предшествующий современному этапу, эпохе «рефлексии». Конечно, мысль тут сложна, грани зыбки и относительны, но именно таков ход мысли Белинского. Следовательно, контекст переоценки переводов К. Павловой примерно таков:

Белинский безусловно снимает восторженный характер, крайности своего журнального отзыва в плане непосредственно художественном, в точном смысле этого слова.

Белинский колеблется в оценке *современного* значения этих русских стихов-переводов.

Характер колебаний Белинского в оценке переводов Павловой относится к вопросу об идейно-художественной позиции писательницы, о ее общественном самоопределении в литературной борьбе эпохи. Это немедленно же обнаруживается, как только мы попытаемся рассмотреть ту оценку ранней литературной позиции К. Павловой, которую можно счесть в какой-то степени итоговой у Белинского. К творчеству К. Павловой-переводчицы Белинский вернулся через три с половиной года после письма к Боткину — это был уже Белинский, вступавший в наиболее зрелый, высший период своего творчества. В статье «Сочинения Зенеиды Р — вой»[3] (1843) снимаются крайности обеих предшествующих оценок. Говорится спокойно и просто о том, что К. Павлова «обладает необыкновенным даром

---

[1] В. Г. Белинский Герой нашего времени. Соч. М. Лермонтова. — Полн. собр. соч., т. 4. М, 1954, стр. 255.

[2] Там же, стр. 254.

[3] Псевдоним писательницы Е. А. Ган.

переводить стихами с одного языка на другой»[1] — и только. Вместе с тем о переводах Павловой трижды говорится, что они «превосходные». Переводная поэзия К. Павловой рассматривается в общем историческом очерке, в той его части, где речь идет о послепушкинском этапе, то есть о литературной современности, и это важно, это означает, что Белинский следит за художественным самоопределением Павловой и стремится понять, какую общественную позицию займет эта новая и уже заметная в литературе писательница.

Истинный центр всего построения у Белинского в данном случае относится к борьбе идей в современной литературе и общественной мысли. Белинский в эту пору уже ведет сражения с достаточно определенно проявившейся славянофильской тенденцией. Только в этой связи может быть понят основной упрек, предъявленный Павловой, — то, что, при своем «превосходном таланте» переводить, она не умеет «выбирать пьесы для перевода».[2] Сказалось это прежде всего в том, что она переводит, наряду с Пушкиным, поэтов славянофильского толка Языкова и Хомякова. Тем самым Павлова вместо пропаганды русского искусства за рубежом «отбила охоту у немцев интересоваться русскою поэзиею».[3] Еще в письме к Боткину от 16 апреля 1840 года в связи с вопросом о переводах Павловой возникали у Белинского имена будущего славянофила Константина Аксакова, расхваливавшего переводную поэзию Павловой, и западника П. Н. Кудрявцева, поносившего ее. Итоговая оценка ситуации у Белинского не совпадает ни с тем, ни с другим. Высоко оценивая переводы Павловой и упрекая ее в пристрастиях к славянофильским поэтам, Белинский, очевидно, усматривает неопределенность или двусмысленность позиции писательницы в идейно-общественной борьбе эпохи — то, о чем упоминалось выше в связи с «жизненной позицией» Павловой.

2

Пушкинская эпоха развития русской поэтической культуры, которую Белинский называл «художественной», — это эпоха поисков новых жанров и трансформации старых жанров поэтического творчества. Искания эти — не просто стремление к формальному обогащению стиха, это поиски выражения возросшего национального

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. 7. М., 1955, стр. 655.

[2] Там же.

[3] Там же.

самосознания через поэзию, выражения духовного мира личности своего времени средствами лирики. Одна из особенностей этой литературной эпохи в чисто поэтическом плане — более тесная связь между содержанием и поэтической формой, чем в иные эпохи. Если, скажем, спорят об «элегии» и «оде», то фактически спор идет не просто о жанрах, но и о разной трактовке личности, об особом внимании к чисто личным, интимным сторонам в изображении человека или, напротив, о преимущественном внимании к «гражданственным», общественным устремлениям поэтического героя.

Несколько меняется все это в ту эпоху, которую Белинский называет эпохой «рефлексии», в пору перехода к новым общественным закономерностям и, соответственно, к новым особенностям развития искусства. Поэзия К. Павловой — одно из характерных явлений этого переходного времени; но именно потому, что речь идет о поэте переходного этапа, в стихах К. Павловой должны как-то присутствовать особенности предшествующей эпохи и нечто новое по сравнению с ней. Можно с этой точки зрения попытаться рассмотреть одно из ранних русских стихотворений К. Павловой. Стихотворение это — «Е. Милькееву» («Неизвестному поэту») появилось впервые, вместе с русскими переводами Павловой, в 1839 году и получило сразу же чрезвычайно высокую оценку Белинского.[1]

Стихотворение «Е. Милькееву» развивает обычную для поэзии К. Павловой тему непонимания поэта толпой, обществом, и тема эта дана с той резкостью и известной прямолинейностью, которая свойственна ранним вещам начинающего писателя. Адресат послания — поэт-«самородок», происходивший из Сибири и особо опекавшийся славянофильскими кругами, впоследствии трагически кончивший свою жизнь. К. Павлова строит сложный «двойной» рисунок композиции. Поэта, не понятого цивилизованным, глухим к его внутренней жизни обществом, призывают покинуть это общество, уйти туда, откуда он пришел:

Да, возвратись в приют свой скудный:
Ответ там даст на глас певца
Гранит скалы и дол безлюдный, —
Здесь не откликнутся сердца.

В противовес теме неоткликающихся сердец через все стихотворение проходит, все разрастаясь, ширясь, картина глухого края, где

---

[1] В. Г. Белинский. Русские журналы. — Полн. собр. соч., т. 3. М., 1953, стр. 191.

вся природа внемлет поэту, так что тему поэта и его внутренней жизни «играет» эта последовательно развертывающаяся картина природной жизни. Единый конфликт пронизывает всю вещь. Читатель как бы вводится первой строфой, цитированной выше, прямо в событие, в сюжет вещи, в ее внутреннюю коллизию. Вторая строфа уточняет, раскрывает эту коллизию как бы детализацией драмы («тебя и мы не разгадали, и ты, пришлец, не понял нас»). Третья строфа искусно соединяет элементы передвинутых сюда экспозиции, завязки и драматически развивающейся главной темы — необходимости для поэта вернуться туда, где его поймет сама природа («Ему меж нами места нет»). Четвертая строфа — кульминация. Патетически взвинчена здесь тема природы, образно воплощающей в общей теме стихотворения и вдохновенную, одинокую душу поэта:

Не гул там разговоров скучных,
Там бури бешеный набег,
И глас лесов седых и звучных,
И шум твоих сибирских рек.

Пятая, финальная строфа представляет собой развязку: тема замирает, завершается конечным утверждением, что только возвращение в родные места сохранит в поэте поэта («забывши нас, забытый нами, поэтом сохранишься ты»).

Как видим, в стихотворении наглядно прослеживаемое, почти рационалистически организованное движение темы. Тема развертывается драматически, но драматизм этот — повествовательный, разговорный. Тут не музыкальное нагнетание темы, не интонационно-мелодическая ее организация, но именно речевая, повествовательно передающая логически стройный сюжет композиция. В применении к пушкинской эпохе Б. М. Эйхенбаум выдвигал идею трех типов интонационной организации стиха: декламативного (риторического), напевного и говорного. Более точно традиционное деление на стихи романтически-интуитивистского стиля (представленного линией «напевного», «мелодического» стиха Жуковского) и стихи классического, логически-рационального стиля (куда войдет основной для эпохи «говорной» стих Пушкина, а также, скажем, «декламативный» стих поэтов-декабристов).

Стихотворение К. Павловой, о котором у нас шла речь, с его явной логической организацией, бесспорно ближе именно к господствующему — говорному — типу стиха, а для поэзии К. Павловой в целом, видимо, существенно также и использование приемов «риторического» стиха примерно того типа, который культивировался А. С. Хомяковым.

В жанровом отношении разбираемое нами стихотворение представляет собой каноническое для эпохи «послание» — но ведь «посланием» его делает только обращение к реальному лицу, только заголовок. Суть же дела здесь совсем иная. Взамен обычной для этого жанра свободной композиции, насыщенности разнообразными идеями, перебивами многих бытовых, интимных и обобщающих тем — тут все собрано вокруг одной темы, и тема эта, скорее всего, лирическая. Переживания героя стихотворения — это ведь явно переживания самого автора, но они объективированы, переданы адресату «послания», с его иной, отличной от авторской, биографией. Адресат тут — не столько адресат, сколько воссозданный, сконструированный автором лирический персонаж. «Послание» превращено в лирическое стихотворение в современном смысле слова, хотя и в лирическое стихотворение несколько особого рода. Поэтому и другие новые особенности стиха К. Павловой могут выступить в сопоставлении его именно со стихами чисто лирического плана. Поэтому я рискну далее соотнести его с лирическими стихами иной конкретной темы, для того чтобы яснее стали некоторые особенности именно структуры стиха, разных типов реализации темы.

Темой стихотворения Пушкина «Зачем безвременную скуку...», относящемся к началу 20-х годов (южный период), согласно трактовке Б. В. Томашевского, является «робкое любование образом тихой девушки» в момент, драматический для лица, от имени которого ведется лирическое повествование, — «в минуту расставания».[1] Стихотворение наполнено сложным психологическим и драматическим смыслом, распространяться о котором здесь неуместно. Ясно одно: драматизм вещи — в душевной двуплановости, в невозможности для героя произнести вслух то, что его томит, в совсем иначе направленном, чем у героя (по тем или иным причинам), психологическом построении образа девушки. Для нас здесь важны способы реализации этой двуплановой драмы в стихе. Из двенадцати строк стихотворения первые четыре посвящены общей поэтической формулировке психологической драмы — теме предстоящей разлуки, как основному сюжету стихотворения:

Зачем безвременную скуку
Зловещей думою питать
И неизбежную разлуку
В уныньи робком ожидать?

---

[1] Б. Томашевский. Пушкин. Книга первая. М.—Л., 1956, стр. 486.

В следующих четырех строках рисуется то, что ожидает героя после разлуки:

И так уж близок день страданья!
Один, в тиши пустых полей,
Ты будешь звать воспоминанья
Потерянных тобою дней;

Наконец, в финальных строках рисуется потерянное — образ девушки, его сила и власть над чувствами героя:

Тогда изгнаньем и могилой,
Несчастный, будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой,
Хоть легкий шум ее шагов.

Нас интересует здесь соотношение между темой, психологическим сюжетом произведения и конкретными, предметно-чувственными деталями, жизненными подробностями, создающими в совокупности «фактуру» стиха, его «материю». В стихотворении Пушкина всего две детали, предметно-чувственно, конкретно реализующие сюжет. Первая из них рисует героя после разлуки: «Один, в тиши пустых полей». «Пустые поля» характеризуют душевное состояние героя, его одиночество, невозможность для него ни одолеть чувство, ни поделиться им с кем бы то ни было. Вторая деталь — поистине потрясающая концовка, с пушкинской предельной простотой концентрирующая в себе всю грандиозную силу лиризма: «хоть легкий шум ее шагов». Для нас здесь важнее всего то, что эти две детали не обязательно между собой связаны. «Легкий шум ее шагов» мог быть на этих же, тогда не «пустых полях»; но в самом стихотворении нет решительно ничего, что хотя косвенно сделало бы внутренне обязательной такую связь. Напротив: образ «пустых полей» возникает так же внезапно, как и «легкий шум ее шагов» — оба они не заданы самой темой расставания, не прикреплены к ней наглухо, свободны по отношению к ней.

Совсем иначе обстоит дело в том стихотворении К. Павловой, о котором говорилось выше. Если бы мы попробовали у К. Павловой разрушить связи между целостной картиной глухого края, куда должен удалиться поэт, и психологическим рисунком одиночества и непонятости героя — развалилось бы все стихотворение, стало бы бессмыслицей. Сама целостность, последовательность развертывания образа этого края нужна как раз потому, что она все больше

и больше конкретизирует психологический образ одиночества и непонятости здесь, в столичном, высшем кругу, и полноты жизни там, в глуши, откуда пришел поэт. Конечно, сами по себе и эти образы, и вся картина в целом — несравненно слабее у К. Павловой, но речь у нас здесь идет отнюдь не об относительной художественной силе, но совсем о другом: о *разном* художественном подходе к теме.

Может быть, еще резче выступит это различие, если мы привлечем к сопоставлению стихотворение, подчеркнуто построенное всего лишь на одной конкретно-чувственной детали. Именно так — на одной детали строится стихотворение «Поцелуй» Баратынского, поэта, на свое «ученичество» у которого всегда указывала К. Павлова. В пределах пушкинской эпохи Баратынский является поэтом наиболее обостренного психологического рисунка в стихе, — «Гамлет-Баратынский», говорил о нем Пушкин. В восьмистишии «Поцелуй» конкретно-чувственная «деталь» (конечно, это слово звучит тут неловко, но в стихе это именно деталь), вынесенная в заглавие, является своего рода «толчком» для развертывания сложной психологической ситуации:

Сей поцелуй, дарованный тобой,
Преследует мое воображенье:
И в шуме дня, и в тишине ночной
Я чувствую его напечатленье!
Сойдет ли сон и взор сомкнет ли мой,
Мне снишься ты, мне снится наслажденье!
Обман исчез, нет счастья! и со мной
Одна любовь, одно изнеможенье.

Однако если мы попытаемся вдуматься в причины своеобразной неясности, как бы недоговоренности психологической темы стихотворения (а они в большой степени составляют силу этой гениальной вещи), мы заметим, что вторая половина, последние четыре строки к самому сюжету «поцелуя» имеют очень малое отношение. Столь тревожный лирический психологизм любовного непонимания, одиночества в любви (в первой редакции вместо слов «нет счастья» было «один я») совсем необязательно должен следовать из поцелуя. Конкретный сюжет — поцелуй — и психологический сюжет — острота одиночества в любви — настолько подчеркнуто раздельны («поцелуй — повод» — так можно было бы определить этот разрыв), что о самом поцелуе просто забывается при чтении последних четырех строк. Сюжетно поцелуй здесь отодвигается в восприя-

тии читателя сном — одним из промежуточных состояний тревоги, так что сон почти приобретает характер самостоятельной детали. Пожалуй, можно сказать и так: сам «поцелуй» как бы становится «сном», и это колебание смысла, вероятно, входит в художественный замысел поэта.[1]

Если на этом фоне типичных для поэзии 20-х годов художественных принципов попытаться снова взглянуть на стих К. Павловой с точки зрения его структуры — мы увидим еще отчетливее, насколько здесь все обстоит иначе. Вот стихотворение «Мотылек» (1840), в своем роде поэтическая декларация излюбленной темы К. Павловой о месте поэта в жизни, о его назначении и его судьбе. Все стихотворение строится на параллели поэт — мотылек; первая половина стихотворения повествует о судьбе мотылька, здесь ни слова не говорится о поэте. Сюжетный драматизм этой части в теме «второго рождения», возникновения чего-то прекрасного и возвышенного из «персти земной» («был долго ты праха жилец», говорится тут о мотыльке). Рожденное из праха, однако, наделено высокими стремлениями и возможностями:

Упейся же чистым эфиром,
Гуляй же в небесной дали,
Порхай оживленным сапфиром,
Живи, не касаясь земли.

Это все говорится, конечно, не столько о мотыльке, сколько о поэте. Вторая часть параллели не столько развивает первую, сколько ее повторяет. Сказано было уже, в сущности, все, осталось для второй половины только раскрытие адресов, расшифровка зашифрованного. Поэту предлагается так же, как и мотыльку, глядеть на землю «с высока»; подлинный драматизм темы не в соотношении разных

[1] Любопытно, что в первой редакции вместо третьей и четвертой строк было:

Случайным сном забудусь ли порой.
Мне снишься ты, мне снится наслажденье!

В этом варианте „сюжет" поцелуя вообще пропадал в восприятии, хотя первые две строки «задавали» его именно в качестве сюжета. Интересно, далее, то, что в промежуточной публикации Баратынский снимал заглавие. Очевидно, поэт осознавал разрыв двух планов в стихе и специально добивался того, чтобы ни одна из сторон не получала перевеса, чтобы в восприятие читателя входил именно разрыв этих двух планов и своеобразная неясность темы, как результат раздельности чувственно-конкретного и психологического начал в стихе.

фаз, разных этапов одной жизни, но в коллизии «земного» и «высокого», обычной повседневной жизни и возвышенной жизни в искусстве. Стихотворение как будто бы было задано в виде двухтемного, но оказалось одиотемным, потому что судьба поэта целиком повторяет судьбу мотылька. Поэтому и предметные детали во второй половине стихотворения таковы, что как бы продолжается или уточняется повествование о фазах жизни мотылька:

Не то ли сбылось и с тобою,
Не так ли, художник, и ты
Был скован житейскою мглою,
Был червем земной тесноты?

«Червь земной тесноты» тут — вчерашний день мотылька и одновременно это всегдашняя драма художника, привязанного к повседневным отношениям и в то же время «небожителя», носителя высоких духовных стремлений. В итоге в стихотворении абстрактно-философской темы не оказывается ни одной конкретно-чувственной детали, которая не развертывала бы одной и той же целостной картины «второго рождения», превращения гусеницы в мотылька. Возможность свободно возникающей жизненной подробности в стихе исключена по самой сути поэтического замысла.

Так как речь идет здесь о довольно сложных, не всегда наглядно проступающих особенностях структуры стиха, о новом качестве, то положение, для ясности, несколько «выпрямлено», огрублено. Может быть, это новое качество следует попытаться определить так: идейно-эмоциональная суть стихотворения принимает крайне собранный, сконцентрированный или даже одиолинейный характер; она прямо, жестко подчиняет себе все элементы стихотворения, и в особенности предметные, образующие «материю» стиха. Само собой разумеется, это качество означает новый подход к человеку в таком сложном искусстве, как лирика, и тем самым связано с историческими особенностями эпохи. Но именно потому, что тут дело в новом качестве, — оно осознается и как-то формулируется поэтами, начинавшими свою деятельность в эту эпоху. Так, Фет, сформировавшийся как художник в начале 40-х годов, требовал от лирического поэта, чтобы он не выходил в своем творчестве за пределы одноцентренности».[1] О том, каков смысл этого требования, отно-

---

[1] Письмо А. А. Фета к К. Р. (вел. кн. К. К. Романову) от 7 апреля 1887 г. Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР, фонд К. Р.

*

сящегося к структуре стиха, свидетельствует пример, приводимый Фетом. Стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...», по Фету, не является «одноцентренным». Из пяти строф лермонтовского построения Фет предлагает оставить только три. Эти три строфы содержат строго связанную единством психологической темы, настроения и жизненных деталей картину звездной ночи. Поворот той же темы, вызывающий иную жизненную картину («Темный дуб склонялся и шумел») в двух последних строфах уже кажется Фету незакономерным, и он хотел бы отсечь эти строфы. Конечно, Фет неправильно истолковывает стихотворение Лермонтова: он предъявляет требования, не входившие в художественные намерения автора. Однако важна здесь формулировка, суть этих требований — она характерна именно для нового этапа в развитии стиха.

То новое качество, которое мы пытались выше уловить в стихах К. Павловой, очевидно, можно назвать фетовским словом «одноцентренность». Сам Фет нашел это качество очень рано, но не в первом своем сборнике «Лирический пантеон» (1840), а в последовавших за сборником стихах начала 40-х годов. Возможно, что находилось это качество в соотнесении своего опыта с опытом К. Павловой. Фет описывает следующим образом свои посещения салона Павловых: «...Я всегда старался прийти к Каролине Карловне Павловой, пока в кабинете не появлялось сторонних гостей. Тогда по просьбе моей она мне читала свое последнее стихотворение, и я с наслаждением выслушивал ее одобрение моему».[1]

Совершенно очевидно, что это новое художественное качество связано с особенностями мировоззрения поэта, с его духовными поисками, с его представлениями о мире и человеке. Далее, оно, конечно, связано с общественно-историческими особенностями эпохи. Согласно Белинскому, одной из важнейших особенностей духовной жизни этой эпохи была «рефлексия», идейная переоценка предшествующих этапов развития и попытки наметить новые пути. С этой точки зрения стих К. Павловой явно примыкает к новым художественным явлениям времени. В ту переходную пору много говорилось и писалось о «поэзии мысли». Стих К. Павловой рационалистичен, он насквозь пронизан мыслью, размышлением, и тот тип «одноцентренности», который К. Павлова пытается осуществить, почти с логической прямолинейностью обусловливает решительно все в стихе его заданием, замыслом. Белинский боролся с

---

[1] А. А. Фет. Ранние годы моей жизни. М., 1893, стр. 213.

тенденциями целиком подчинить стих мысли, он находил односторонность, узость в такого рода идеях, он считал, что поэзии подобает иметь дело с более широкими, многосторонними подходами к человеческой личности и отображаемому в искусстве времени.[1] И если бы Белинский видел в поисках К. Павловой только один из образцов «модной» поэзии, выдававшейся за «поэзию мысли» (Бенедиктов, Кукольник и т. д.), вряд ли он заинтересовался бы ею. Скорее его привлекало другое. Многое в индивидуальной художественной позиции К. Павловой объясняется тем, что она пытается осуществлять новые поэтические тенденции, сохраняя прямые, явные связи с предшествующей, пушкинской эпохой.

Для поэзии пушкинской эпохи немаловажное значение имело то, что существовали еще жанровые нормы, определявшие отбор материала помимо индивидуального замысла и конкретного случая, о котором идет речь в стихе. «В каждый жанр — оду, элегию, сатиру, послание — включен был соответствующий образ поэта, воплощавший ту точку зрения, тот аспект вещей, которому служил весь стилистический строй данного жанра»[2] — так говорит об этом видный исследователь литературы той эпохи Л. Я. Гинзбург. Внезапно врывающаяся в стихотворение конкретность говорила не только о свободном, непредвзятом отношении поэта к узким границам жанра, но и о внутренне нескованной, живой личности, которая живыми, своими глазами смотрит на мир и происходящее в нем. С другой стороны, в пушкинскую эпоху существовало также нечто подобное «одноцентренности», хотя и чрезвычайно далекое от нее по своей идейной основе. В поэтической системе Жуковского в пределах каждого отдельного стихотворения целостная картина происходящего достигается не жизненной связью реальных деталей, но единством настроения, колорита, субъективной окраской всего в один тон. Поэтому чрезвычайно разные переводимые Жуковским авторы все похожи друг на друга: за них и от их имени говорит «переводчик», который не столько перелагает иноязычного автора, сколько создает свою поэтическую систему. По оценке Белинского, Жуковский, «поэт

---

[1] Более подробно о полемиках вокруг «поэзии мысли» см. в работах Л. Я. Гинзбург: «Из литературной истории Бенедиктова (Белинский и Бенедиктов)». — «Поэтика. Сборник статей. Государственный институт истории искусств. Временник отдела словесных искусств», вып. 2. Л., 1927; «Пушкин и Бенедиктов». — «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии института литературы Академии наук СССР», вып. 2. М.—Л., 1936.

[2] Л. Я. Гинзбург. Пушкин и реалистический метод в лирике. — «Русская литература», 1962, № 1, стр. 28.

стремления, душевного порыва к неопределенному идеалу»,[1] сыграл огромную роль в общих процессах развития русской поэзии. Но именно односторонность, «неопределенность идеала», подчинение всего в стихе «очарованному там» младшими современниками Жуковского ощущаются как нечто сковывающее, однотонное, недостаточно конкретное. Свободной игрой жизненных сил представляется на этом фоне поэтика жизненных подробностей, не подчиненных прямо и жестко ни колориту, ни замыслу стихотворения. Ясно, что дело здесь опять-таки в независимой, внутренне нескованной личности, которую воспевает пушкинская эпоха. И новые поэтические искания, уже в послепушкинскую эпоху «рефлексии», очевидно, точно также связаны с поисками иной трактовки личности в искусстве, иной концепции человека.

Очень отчетливо это видно на переводах К. Павловой. Соотношение между переводной и собственно оригинальной поэтической работой в ту эпоху было несколько иным, чем в более поздние времена. На глазах у всех был пример В. А. Жуковского, построившего оригинальную поэтическую систему главным образом на переводах, притом систему, сыгравшую огромную роль в общих процессах развития русской культуры. Да и у других больших поэтов эпохи переводы играли совсем иную роль в творческом развитии, чем, скажем, сейчас. Конечно, К. Павлова и для своего времени, и в какой-то мере безотносительно к этому времени первоклассный переводчик. Не говоря уже о необычном для эпохи стремлении наиболее точно воспроизвести формальные особенности оригинала (сегодня это является просто нормой переводческой работы), К. Павлова явно стремится воспроизвести средствами русской поэзии реальную, жизненную основу оригинала. Наконец, что важнее всего для К. Павловой: Вальтер Скотт в ее переложении не похож на Фрейлиграта, а Байрон — на Гюго. Дело не в том, что эти разные авторы всегда точно переданы. Тут могут быть разные мнения. Чрезвычайно важно для этих переводов как явлений русской поэтической культуры то, что переводчик стремится воспроизвести индивидуальность автора, или, может быть, вернее сказать так: переводчик в известной степени уподобляется актеру и как бы «проигрывает» заново, по-своему поэтическую индивидуальность автора. Понятно, насколько это не похоже на переводческие навыки и устремления Жуковского. Существеннее же всего то, что в переводческой работе К. Павловой отчетливо проступает ее собственная поэтическая трактовка челове-

---

[1] В. Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина. Статья вторая. — Полн. собр. соч., т. 7. М.—Л., 1955, стр. 221.

ческой личности. Они представляют собой как бы столь излюбленные К. Павловой «рассказы в стихах», где «героем» является переводимый автор. Переводимый автор поэтому как бы вводится в общий круг одной из важнейших тем поэзии К. Павловой: поэт и общество, человек и мир.

Тема поэта и общества, их взаимных отношений проходит через все творчество К. Павловой. Тема эта все снова и снова варьируется или просто повторяется во множестве «посланий» и «дум» К. Павловой, и даже, скажем, столь традиционная для лирики тема, как любовь, в «посланиях», обращенных к Мицкевичу, или в тех стихах, где говорится об отношениях К. Павловой с Н. Ф. Павловым, тоже дается в связи с раздумьями об обычной жизни людей и поэте среди них. Вот одно из ранних стихотворений, впервые формулирующих эту тему, — «Есть любимцы вдохновений...» (1839). В первой строфе рисуется образ поэта признанного, прославленного, почитаемого людьми:

Есть любимцы вдохновений,
Есть могучие певцы;
Их победоносен гений,
Им восторги поколений,
Им награды, им венцы.

Тут все ясно, не требует особых размышлений, это, так сказать, нормальный случай взаимоотношений высокоодаренной личности, гения, обогащающего своим творчеством представления людей о жизни, — и обычных людей, составляющих общество. Совершенно новый поворот темы, с типичным для К. Павловой несколько прямолинейным драматизмом, дается во второй строфе:

Но проходит между нами
Не один поэт немой,
С бесполезными мечтами,
С молчаливыми очами,
С сокровенною душой.

Оказывается, подлинный драматизм темы «поэт» и «общество» состоит вовсе не в том, что не признается, не понимается и не почитается гений. Так трактует тему романтизм, в частности так она решалась — в формах эффектных, крикливых — у вульгарных романтиков. Совсем не то у К. Павловой. У подлинного гения — большие объекты, предметы поэтического воспроизведения, о них говорится в стихотворении, что это — «высокие труды». Поэты такого рода рано

или поздно понимаются и почитаются, драматизм тут если и возникает, то он прямой, ясный, и столь же ясно, как этот драматизм, решается и должен решаться. Тот случай, о котором говорит К. Павлова, труднее для понимания и разрешения. Тут ведь говорится о «немых поэтах», то есть даже не о поэтах, но о людях с поэтической личностью, душой с поэтическим восприятием и отношением к миру. Сама тема «поэта» оказывается своего рода псевдонимом, иным названием для совсем другой темы: «личность» и «общество», «душа» отдельного человека и общепринятые нормы людских отношений. Через все стихотворение проходит именно такое толкование темы: драматизм непонимания обществом личности с поэтическим отношением к миру, отношением, строящимся не на «пользе», «выгоде» и т. д., но на непосредственном, молчаливом, невыразимом для других людей переживании, восприятии красоты, поэзии, существующей в мире. Так обобщена тема в финале:

Не для пользы же народов
Вся природа расцвела:
Есть алмаз подземных сводов,
Реки есть без пароходов,
Люди есть без ремесла.

Тема «поэта» и «толпы» оказалась у К. Павловой особой «концепцией личности», особой трактовкой человека и его отношений с другими людьми, с обществом, с миром.

Такое истолкование человека имеет чрезвычайно важное значение для творчества К. Павловой в целом, мы увидим далее, что подобное осмысление человека в обществе развивается в чрезвычайно существенном для нее произведении 40-х годов — в романе «Двойная жизнь».

8

Оригинальное поэтическое творчество К. Павловой на русском языке ясно делится на два периода. Первый период длится с 30-х годов, когда началась ее поэтическая деятельность, примерно до конца 40-х — начала 50-х годов. Второй охватывает всю последующую известную нам поэзию К. Павловой, завершаясь стихами 60-х годов. Собственно лирические темы в первый период развиваются преимущественно в «посланиях» и «думах». И там и тут функции лирического «я» передаются некоей фигуре «поэта», находящегося в особых, чаще всего драматических отношениях с окру-

жающими их людьми. Этот лирический герой-поэт или беседует со своим партнером-адресатом «послания», иногда неназванным, или размышляет на те же темы в своеобразном монологе — «думе». Оба эти жанра проникнуты особенным рационалистическим психологизмом, в какой-то степени связанным с традицией Баратынского, в основном же характерным для «рефлективной» эпохи 40-х годов — «рационалистический» элемент здесь явно одолевает «психологический». Получается не столько лирическая речь от имени поэтического «я», в восприятии читателя отождествляемого с автором, сколько размышления от лица некоего персонажа — «поэта». Перенесение речей и действий этого персонажа в свою собственную реальную жизнь, по-видимому, и является причиной «театрализованности» в личном поведении К. Павловой, столь неприятно поражавшей ее современников.

Еще резче это качество поэзии К. Павловой выступает в целой группе ее лирических произведений, которые условно можно было бы назвать «рассказами в стихах» (одно из стихотворений этого рода прямо так и названо — «Рассказ»). В самом деле, такие произведения, как «Старуха», «Дочь жида», «Монах», «Рудокоп», «Блещет дол оледенелый. . .», «Донна Инезилья», «Три души», трудно отнести к какому-либо из установившихся стихотворных жанров. Это — не лирика в точном смысле слова, больше всего потому, что в каждом из этих стихотворений есть свой особый герой со своим особым жизненным сюжетом. Среди стихотворных жанров они как будто бы близки к балладе. Но это и не баллада, так как ни сюжет, ни характерные особенности судьбы героя не представляют главного предмета повествования, главного интереса для читателя. Все эти вещи слишком лиричны для баллады. Дело тут не просто в особом герое с особой судьбой, но еще и в лирической напряженности психологии этого героя, в проникновении лиризма в самый сюжет. И герой, и сюжет несут тему, которая обычно развивается в жанре лирического стихотворения. «Рассказ в стихах» у К. Павловой представляет собой особое видоизменение лирики, необходимое для наиболее точного выражения своеобразного содержания.

Может быть, именно в связи с «рассказом в стихах» особенно отчетливо видно, что художественные поиски К. Павловой уже в первый период ее творчества характерны для новой, послепушкинской эпохи в истории русского стиха. Оригинальность, своеобразие тут вовсе не в применении сюжетно-повествовательного начала в малом жанре поэзии — в стихотворении. Повествовательно-сюжетный стих применялся очень по-разному поэтами разных направлений

на протяжении всей первой четверти века, и на его «плацдарме» даже разыгрывались существенно важные для истории русской поэзии бои. Таково, скажем, известное «состязание» П. А. Катенина и В. А. Жуковского — параллельный перевод одной и той же вещи сюжетно-повествовательного типа, баллады Бюргера «Ленора», демонстрировавший совершенно разный идейный подход к проблеме повествовательности в стихе. Субъективный лиризм у Жуковского, в сущности, уничтожал повествовательное начало. [1] Широко применялся, далее, принцип повествовательности в стихе Пушкиным — на иных, чем у Жуковского, основах — скорее «по-катенински», с преобладанием объективно-сюжетных элементов. Оригинальный жанр «дум» К. Ф. Рылеева обогащает повествовательно-сюжетное начало гражданским пафосом, но полное оттеснение лирически-субъективного элемента здесь обусловливает рационалистичность, условность самой повествовательности (и условность исторической ситуации). К тому типу «рассказа в стихах», которого искали поэты 40-х годов — Ап. Григорьев или К. Павлова, естественно, ближе всего поиски Лермонтова. Будучи определяющей фигурой новой поэтической эпохи («эпоха рефлексии», по формулировке Белинского), Лермонтов стремится, с одной стороны, придать широкий обобщающий смысл повествовательности в стихе («Спор»); с другой стороны, преодолевая просветительский рационализм поэтов-декабристов, Лермонтов ищет новых способов раскрытия лирического плана («Пленный рыцарь», «Завещание», «Сон» и т. д.). «Рассказ в стихах» К. Павловой, конечно, немыслим без опыта Лермонтова, однако сам опыт Лермонтова использован у нее (как и у других поэтов 40-х годов) весьма своеобразно, в связи с особенностями содержания.

Содержание это раскрывается в трактовке, в освещении лирического характера. Герои стихотворных рассказов К. Павловой — это люди, одержимые некоей страстью, овладевшей ими, заполонившей их как наваждение, как мечтание, закрывшее от них все радости и все печали жизни. В стихотворении «Старуха» эта односторонняя и гибельная страсть изображена как беспредметная любовная мечта, обессмысливающая жизнь героя своей призрачностью. В стихотворении «Монах», художественно наиболее сильном во всем этом ряду, с трудом можно даже определить точными словами

---

[1] Блестящий разбор идейных основ и художественных принципов балладной линии творчества В. А. Жуковского дан в кн. Г. А. Гуковского «Пушкин и русские романтики». Саратов, 1946, стр. 50—54.

суть этого гибельного мечтания: видимо, говорится тут о болезненной замкнутости в кругу своих переживаний, о недоступности этого одиночного мира чувств кому бы то ни было. Однако поэтически оформлена тема именно в форме сложного психологического повествования, рассказа с героем и внутренним сюжетом, где маниакальная замкнутость героя скорее всего объяснима непреодолимой властью прошлого, реально прожитой жизни, противостоящей монашеской безжизненности:

Или тщетно
Долголетно
Ты смирял душевный пыл?
Иль в святыне
Ты и ныне
Не отрекся, не забыл?

Быть может, наибольший интерес представляет стихотворение «Рудокоп», ближе, точнее всего соответствующее самому заданию «лирического рассказа» и вместе с тем обнаруживающее тот факт, что во всех этих стихах у К. Павловой изображаются не просто болезненные искривления человеческой психики, но явления общественного порядка, своеобразно истолкованные. В «Рудокопе» в качестве страсти-наваждения, охватившей человека и сгубившей его, изображается трудовая увлеченность героя. Молодой рудокоп страстно заинтересовывается своим делом, поисками металлов; гибельность этой страсти отчасти традиционно объясняется сговором с нечистой силой, однако этот мотив играет чрезвычайно малую роль в реальном психологическом движении темы, не говоря уже о фольклорности самого этого образа нечистой силы. К. Павлова как писатель рационалистического толка к мистике в чистом виде совсем не склонна. Несравненно существеннее в стихотворном рассказе мотив односторонности трудовой страсти, отвращающей от героя все земные дела и радости:

Чтоб шел ты мимо без вниманья,
Единой страстию дыша;
Чтоб были здесь твои желанья,
Твой мир, твой рай, твоя душа.

Именно потому, что все земные дела, кроме рудознанья, проходят «мимо» героя, он опустошает душу и гибнет в тот самый момент, когда готовится порвать со своей ужасной страстью: ему уже больше нечем жить.

В литературе о К. Павловой отмечалась связь этой темы с целым рядом произведений немецких романтиков (Новалис, Тик, Арним, Гофман и т. д.). Было бы нелепостью пытаться отрицать воздействие на К. Павлову немецкого романтизма, однако есть одно решающее обстоятельство, меняющее всю ситуацию. У немецких романтиков такого рода страсти толкуются как безысходные, потому что авторский кругозор как бы повторяет восприятие мира гибнущим от своей непреодолимой страсти героем. Автор полностью сливается с героем. Ситуация носит поэтому субъективный характер. У К. Павловой возможность субъективного истолкования снята тем, что о герое рассказывается не изнутри, не от его имени, но как о реальном лице, извне, от лица автора. Объективирование лирического героя играет в «одноцентренном» стихе с его «двойным» рисунком огромную смысловую роль. Герой появляется в кругу других, подобных ему, в контексте целого ряда стихов. Автор не слит с ним, а говорит о нем как о явлении реального мира, говорит извне. Это все меняет. Решение темы у К. Павловой подсказано русским литературным движением (а через него и русской жизнью) 40-х годов, с характерными для него поисками объективной повествовательности. Говорить обо всем этом необходимо потому, что нужно понять идейно-общественную позицию К. Павловой в органической связи с ее художественной деятельностью.

Для более углубленного понимания идейных и художественных проблем, существенно характеризующих творчество К. Павловой и связывающих его с исторической эпохой 40-х годов, чрезвычайно много дает роман «Двойная жизнь» (1848). В развитии русской литературы 40-х годов, обозначая большой перелом, возникли новые явления, вокруг которых шла острая идейно-общественная борьба («натуральная школа» в прозе и соответствующая ей в поэзии, по терминологии Белинского, — «дельная поэзия», дискуссии в печати вокруг связанных с этими явлениями вопросов). Поиски К. Павловой новых способов создания лирического образа в стихе, естественно, выходят за рамки только лишь поэзии: попытки по-новому истолковать человека в искусстве, конечно, должны быть связаны с историческим временем. Границы литературных жанров вообще в какой-то мере относительны, один и тот же круг вопросов, характерных для эпохи, должен по-своему преломляться и решаться в разных жанрах. Развитие прозы (Гоголь, Лермонтов) не могло не влиять на стих, поскольку в прозе решались важные для времени вопросы. Роман К. Павловой написан прозой, перемежающейся стихами; возникающее при этом столкновение стиха и прозы

с их специфическими особенностями необычайно остро обнажает основной круг творческих вопросов, волнующих К. Павлову.

«Двойная жизнь» самим автором жанрово определена как очерк. Конечно, это совсем не случайно и явственно связывает произведение К. Павловой с временем, когда бурно развивался именно очерк, художественно исследовавший новые и ранее не разведанные литературой пласты русской жизни. Однако в самом материале произведения относительно мало отразилась такого рода литературная тенденция, характерная для эпохи. Зато в способах воспроизведения и освещения людей, их судеб и помышлений совершенно явно ощутимы веяния времени.

«Двойная жизнь» — повествование «светской» темы; рассказывается здесь о том, как некую состоятельную московскую девицу, Цецилию фон Линденборн, выдали замуж. Большую, даже можно сказать, решающую роль в сюжете играют денежно-имущественные отношения. Матери двух подруг, Цецилии и Ольги Валицкой, вступают в ожесточенную борьбу из-за выгодного жениха для дочери. Жизненные судьбы всех основных героев определяются в такого рода отношениях, характеры, личности их точно так же выясняются для читателя, отчетливо проступают в связи с денежно-имущественными коллизиями. В таком художественном решении проблемы характера (сколь бы ограниченной ни была сфера его проявления в ситуациях «светской жизни») основной массы действующих лиц романа нельзя не усмотреть воздействия эпохи, с ее тенденциями к «натуральности», «дельности» изображения героя. Особенно выразителен в этом смысле главный в интриге романа характер Натальи Афанасьевны Валицкой. В своем роде грандиозную комбинацию строит Валицкая-мать для того, чтобы отбить у Цецилии возможного богатого жениха, князя Виктора. Ей удается «сплавить» Цецилию невыгодному жениху, искателю богатых невест Дмитрию Ивачинскому. Однако ее собственные планы терпят крах. Все это отчетливо предвосхищает великолепный провал матримониальной аферы Марьи Александровны из «Дядюшкина сна» Достоевского, одного из виднейших мастеров «натуральной школы».

В романе К. Павловой есть вторая линия, раскрывающая внутреннюю жизнь главной героини Цецилии; особое соотношение этих двух линий и реализует основную идею произведения в его композиции. Наружный облик авторского замысла в предисловии редактора к отрывку из «Двойной жизни» в славянофильском «Московском сборнике» охарактеризован так: «В прозе рассказывается внешняя, светская, пустая жизнь, окружающая молодую девицу,

героиню поэмы. В стихах выражается внутренний голос души ее, ею несознаваемый, ей неведомый, но всегда сопровождающий эту внешность, которая не в силах его подавить».[1] Славянофильский автор предисловия в дальнейшем грубо неправ, трактуя социально-критическую линию романа как нечто внешнее для его основной идеи: при всей ее относительной узости (с точки зрения охвата материала действительной жизни), в сюжете вещи (и, следовательно, в ее реальном идейном замысле) она играет огромную роль. Жизненная судьба героини целиком определена этой игрой социальных сил. В стихах, выражающих внутреннюю жизнь Цецилии, точно так же мы находим идущие через весь роман отклики, отражения, переживания событий, определяющих существование героини в обществе. Без этого социального начала нет ни романа как целого, ни героини как характера, личности. В духовный мир Цецилии все время проникают обстоятельства ее социальной жизни, но романтически возвышенное начало, присущее героине, недоступно вполне другим героям, не играет и не может играть никакой роли ни в психологии, характерах, ни в социальном поведении тех лиц, от действий которых зависит ее судьба, — ее матери, Валицкой, Дмитрия Ивачинского и т. д. В современных нам точных науках, в кибернетике такое построение определили бы, вероятно, как построение без принципа «обратной связи».

В романе, в сущности, повторен на несравненно более широком для автора жизненном материале идейный замысел стихотворения «Есть любимцы вдохновений. . .» — на фоне «Двойной жизни», произведения обобщающего плана, становится ясно, что названное стихотворение является ключевым, определяющим в поэзии К. Павловой 40-х годов. Цецилия в «Двойной жизни» относится к тем самым «людям без ремесла», «немым поэтам», то есть обычным людям современного общества, о которых говорится в этом стихотворении. Получается так, что в творчестве К. Павловой человек дается в соотношении с его социальными связями, его местом в обществе, но в то же время как бы и вне его; самое глубокое в его душе другим людям, обществу недоступно. В своих душевных глубинах человек, по К. Павловой, далек от социальности, жизнь же в обществе, социальная жизнь вполне реальна и воздействует на человека, но она полностью бездуховна. Это и есть «двойная жизнь» — своеобразный дуализм.

---

[1] «Извещение от редактора» к отрывку из «Двойной жизни». — «Московский литературный и ученый сборник на 1847 г.». М., 1847, отд. 1, стр. 691.

В литературе о К. Павловой имеются сопоставления «Двойной жизни» с романом Новалиса «Генрих фон Офтердинген».[1] По словам романтика Л. Тика, у Новалиса «обыденное и чудесное взаимно объясняют и дополняют одно другое»,[2] или, иначе говоря, мир воображения героя, его душевная жизнь и события реальной жизни (в том числе и жизни социальной) вполне гармонируют друг с другом. Поэтому в романе Новалиса полностью совпадает также содержание его стихотворной и прозаической частей — как верно указывал русский переводчик стихотворной части романа В. В. Гиппиус, «если выделить из романа его песни, получится квинтэссенция романа».[3] Выделив из романа К. Павловой его стихотворную часть, квинтэссенцию его содержания не получишь, так как у К. Павловой социальная жизнь не только не совпадает с душевной жизнью героини, но находится с ней в остром противоречии. Все это имеет смысловое, содержательное значение. Гегель говорил о Новалисе: «Эта субъективность не доходит до субстанциональности, тлеет и сгорает внутри себя, и твердо держится этой точки зрения, — *ткет и проводит линии* внутри самой себя».[4] Иначе говоря, Гегель считал, что у Новалиса социально-объективные начала целиком слиты с субъективно-душевными и подчинены им. Совсем иначе, как мы видели, обстоит дело у К. Павловой. Установление этого идейного, содержательного различия важно прежде всего для того, чтобы ясно себе представлять, что при всем внешнем сходстве с немецким романтическим романом произведение К. Павловой демонстрирует присущий этой писательнице способ осмысления русской жизни и связано с русским историко-литературным процессом.

Действительно, «Двойная жизнь» со свойственным этому произведению своеобразным сочетанием стихов и прозы во многом проясняет историко-литературную перспективу творчества К. Павловой. Стихи здесь не могут существовать без тех социальных пояс-

---

[1] См. комментарий Е. П. Казанович в кн.: Каролина Павлова. Полн. собр. стих. Л., 1939, стр. 439—440. В данном случае я полемизирую с автором комментария, однако следует сказать, что в скудной литературе о К. Павловой работа Е. П. Казанович по своим высоким научным качествам является наиболее серьезным исследованием.

[2] «Продолжение «Гейнриха фон Офтердинген» в изложении Людвига Тика». В кн.: Новалис (Фридрих фон Гарденберг). Гейнрих фон Офтердинген. Пг., 1922, стр. 162.

[3] В. Гиппиус. «Предисловие переводчика стихов» в указ. выше издании, стр. 12.

[4] Гегель. Лекции по истории философии, кн. 3. — Сочинения, т. 11. М.—Л., 1935, стр. 484.

ний, социальной конкретизации, которые им дает прозаическая часть. Иначе они превратились бы в нечто ультраромантическое, почти в мистику, что явно не входило в намерения К. Павловой: их крайняя напряженность объяснима только реальным положением девушки, душевный мир которой они раскрывают. Проза играет здесь примерно ту же роль, что и «реальный» ряд, предметная картина в «одноцентренном» стихе К. Павловой. Получается как бы одно огромное стихотворение с разросшимся прозаическим социальным комментарием. Парадоксальность ситуации в том, что прозаическая часть вполне способна к самостоятельному существованию без стихов. Если мы вынем из романа стихи, останется своего рода «физиологический очерк» (притом достаточно социально острый очерк) «светской жизни» с сюжетом о женитьбе на деньгах в центре. Становится ясно, что тут налицо поиски нового типа лирического героя.

Необходимость смены лирического героя — одна из существенных особенностей развития поэзии в переходную эпоху 40-х годов. В конечном счете должен появиться лирический герой «разночинского» типа, с новым отношением к предметному миру, с новым социальным самоощущением, с новой ролью «рефлексии», мысли в своем душевном обиходе. Поиски такого героя ощутимы в стихах Огарева, Ап. Григорьева, поэтов из круга «петрашевцев». К. Павлова со своим особым идейно-художественным опытом приходит в 40-е годы из пушкинской эпохи, но ее поэтические искания, несомненно, входят в этот общий исторический комплекс. Особенно наглядна некоторая общность поэтических устремлений К. Павловой с Ап. Григорьевым и Фетом. В поисках Ап. Григорьевым нового типа лирического героя есть параллелизм с К. Павловой — он также стремится «объективировать» лирическое «я», превратить его в «персонаж». Однако делает это Ап. Григорьев совершенно иначе: он самую страсть, владеющую героем (его «кометность»), истолковывает социально, как проявление социального поведения человека новой эпохи — «эгоиста». Стремясь к «смене героя», К. Павлова останавливается на полпути. Социальное начало она не в состоянии ввести непосредственно в душевный мир героя, в его психологию. Отсюда появляется необходимость стиха-рассказа, где в фабуле, в прозаически изложенных обстоятельствах проступает социальный смысл поведения героя-персонажа.

Самой К. Павловой дело представляется так, что фабула, жизненные обстоятельства (а через них и социальный мир) — это одно, а внутренний мир героя, владеющая им страсть — это нечто совсем другое. Поэтому в стихе-рассказе в конечном счете объективная

картина соотнесена с героем, подчинена ему, поясняет его, но сам-то герой не может быть до конца сведен к ней. Губительная страсть рудокопа социально ужасна, но истоки ее — в самой душе рудокопа. Тема «стихийной» психологии опять-таки входит в общий историко-литературный контекст, это та же «кометность» Ап. Григорьева, «хаос» как проявление душевной жизни современного человека в поэзии Тютчева. Но у Тютчева «хаос» не соотнесен с определенным лицом-персонажем, он должен «прочитываться» многозначно: если говорится, скажем, о грозе, то надо понимать так, что речь идет и о стихиях природы, и о том, что эти стихии бушуют в общественной жизни, и о том, что стихийные страсти потрясают и разрушают отдельную человеческую душу. У Ап. Григорьева тема конкретизирована: ясно, что речь идет только о страстях современного человека-эгоиста, о социальных страстях. У К. Павловой тема тоже конкретизирована, приближена к реальным людям и их отношениям. Вот стихотворение-рассказ «Блещет дол оледенелый...». Рассказывается здесь о том, как огонь в печке зачаровал своей стихийной силой, своей грозной красотой и мощью ребенка, подавил его волю, добился того, что ему был устроен из дров «мост» на волю. Вспыхивает пожар. Конечно, это о людях, и только о людях, о страстях, которые дремлют в них и могут сжечь, проснувшись. Сочетание повествовательности с лиризмом здесь весьма выразительно, получился «рассказ в стихах» того типа, о котором всю жизнь мечтал Ап. Григорьев и который очень редко ему удавался. Но Ап. Григорьеву нужен был «рассказ в стихах», где социальный элемент непосредственно был бы слит с самой ситуацией, с персонажем, героем стихотворения. Этого у К. Павловой нет: она решает по-своему только часть общей задачи, притом ту часть, решение которой другим поэтам 40-х годов не удавалось.

Вся эта совокупность идейно-художественных проблем связана с общими процессами развития русской поэзии. Их значение не ограничивается 40—50-ми годами XIX века, они заново возникают в русской поэзии XX века, в особенности в той ее линии, которую обозначает творчество Блока и все, что сложными взаимодействиями, притяжениями и отталкиваниями связано с блоковской традицией. Показательно, однако, то, что для Блока художественно-действенным оказывается прежде всего опыт Ап. Григорьева, то есть опыт лиризма, ориентированного на социальную трактовку поэтического персонажа. В обстановке николаевской реакции, в 40-е годы социальная борьба находит себе выражение в идейных спорах и напряженной борьбе общественно-философских направлений. Современники и в творчестве К. Павловой стремятся найти

общественную позицию автора, определяющую специфическое решение художественных проблем. Очень отчетливо выразилось это в журнальной полемике, разгоревшейся вокруг романа «Двойная жизнь». В эту пору К. Павлова была на вершине своей литературной славы; восприятие ее творчества современниками помогает понять перспективу ее дальнейшего поэтического развития, объективный исторический смысл возникающих в ее деятельности идейно-художественных противоречий.

К. Павлова печаталась в славянофильской прессе, крупнейшие представители этого направления общественной мысли обычно расхваливали и пропагандировали ее творчество. Поэтому естественным, на первый взгляд, кажется то обстоятельство, что на роман последовали нападки с обвинениями в славянофильской тенденциозности. Это было нападение на само славянофильство с правой, реакционной позиции, в данном случае совпадающей с официозными оценками славянофильства. Барон Е. Розен в своей рецензии на «Двойную жизнь» говорил о К. Павловой как о «решительной партизанке московской схоластики»,[1] то есть славянофильства, авторской идейной целью при написании романа объявлял желание «поддержать учение схоластики».[2] Аргументация против самого славянофильства не лишена была известной зоркости, свойственной иногда реакционерам: славянофильству вменялась в вину борьба с личным началом, с индивидуальностью в современной жизни, славянофильство, по словам автора, грешит тем, что «расплавлением этих индивидуальностей в одну массу»[3] сводит на нет личность, уничтожает ее в общинном принципе, в утопии коллектива. Уловив наиболее уязвимые места славянофильства, автор рецензии оказывается вполне беспомощным в художественном анализе, в обосновании всего того, что он пытается приписать К. Павловой. Ведь не то что трудно, но просто невозможно доказать, что писатель борется с личностью, если автор только личностью и занят и ни о каком коллективе даже не помышляет. Отсутствие аргументации на деле доказывает нечто прямо противоположное заданию критика: то, что никакого славянофильства в романе нет.

К такому выводу объективно приходит критика на роман в журналах других направлений, в том числе и славянофильского направления. Выше цитировалось предисловие к роману из славянофильского «Московского сборника». Фактически это предисловие является

---

[1] «Сын отечества», 1848, № 5, отдел VI, стр. 13.
[2] Там же. стр. 14.
[3] Там же, стр. 6.

критической статьей, посвященной неизданному и, может быть, даже еще не конченному тогда роману. Автор предисловия усматривает главную идею романа в том, что «раздвоение» современной жизни, то есть неблагополучие, противоречивость положения человека в обществе могут быть преодолены в «любви всевознаграждающей, которая сильнее действительности», находит в романе «полное примирение»[1] социальных и душевных неустройств. Все это очень далеко от романа и может быть понято только как способ воздействия на автора неопубликованного произведения с целью изменения концепции романа в желательном для славянофилов направлении. Когда роман вышел в свет, в славянофильском «Москвитянине» появилась скорее отрицательная, чем положительная статья о нем С. П. Шевырева. Для Шевырева главная неудача романа в том, что в «прозаической половине очерка» — «остов жизни, а не жизнь».[2] Иначе говоря, слабость романа в его социально-критической части. Сама же эта слабость происходит «от германского настроения мысли».[3] Выходит так, что никакого соответствия славянофильским идеям или тем более идеям официальной народности в романе нет. Чрезвычайно показательно и то, что либерально-западнические «Отечественные записки» сдержанно одобрительно оценивали роман и славянофильских идей в нем не обнаруживали, видя там, напротив, чрезмерную поэтизацию определенного типа личности, склонной «к уединению, к чувствам и действиям, отдельным от общих чувств и действий»,[4] то есть усматривая в концепции романа нечто прямо противоположное славянофильству. Но особенно показательно, конечно, то, что наиболее высокую оценку роману, насквозь проникнутую идеями литературной программы Белинского, дает «Современник».[5] Если бы в романе была хоть тень славянофильства, подобная статья не могла бы появиться в отделе критики журнала непосредственно вслед за последним годичным литературным обзором Белинского.

Устанавливая определенную традицию в общей оценке творчества писательницы, автор статьи начинает с повторения в сжатой

---

[1] «Московский литературный и ученый сборник на 1847 г.», ч. 1. М., 1847, стр. 696.

[2] «Москвитянин», 1848, ч. 2, № 3, отдел критики, стр. 11.

[3] Там же, стр. 15.

[4] «Отечественные записки», 1848, т. 58, № 5, отдел VI, стр. 6.

[5] Не может приниматься в расчет рецензия, где комплименты роману носят характер курьеза: автор сопоставляет роман с греческой статуей, сошедшей с пьедестала, заявляет, что он якобы не читал ничего более совершенного на русском языке. («Библиотека для чтения», 1848, т. 87, № 3, отдел VI, стр. 2.)

форме основных оценок Белинским переводов К. Павловой, переходя же к анализу романа и чрезвычайно высоко оценивая качество стихов (что характерно для всех отзывов на роман), он решительно подчеркивает содержательное значение прозаической его части и вообще всего того, что способствует раскрытию коллизий реальной, действительной русской жизни. «Простота содержания и совершенная естественность характеров действующих лиц» [1] — вот что для него главное в романе, вот что характерно в нем, как в современном произведении русской литературы. Сама основная героиня его — «очень простая, обыкновенная светская девушка, ничем не отличающаяся от толпы себе подобных», [2] общие вопросы, поставленные в связи с ее судьбой, — это вопросы действительной жизни. Но автор романа, по мнению рецензента, склонен переоценивать значение мечтательного, восторженного начала для внутренней жизни героини; однако и здесь подлинную силу и значительность характер приобретает там, где он «касается земного»; [3] говоря о связанном с личностью вопросе о поэзии, рецензент утверждает, что современный человек, как никогда, нуждается в «поэзии жизни, страсти, иронии, наконец, поэзии дела». [4] Все это — важные элементы литературной программы Белинского, и сама высокая оценка романа в этой связи носит программный характер.

Полемика с К. Павловой по вопросу о роли поэзии в современном обществе и источниках поэтического в индивидуальном характере, в отдельном человеке, содержащаяся в статье «Современника», основывается на утверждении, что К. Павлова стремится занять срединное, нейтральное положение среди борющихся общественных лагерей. В идейной борьбе современности не может быть «третьей силы» — между тем об авторе «Двойной жизни» в статье говорится: «нам кажется, что в основном созерцании его заключается некоторая неопределенность». [5] Неопределенность, нейтрализм идейной позиции объясняют двусмысленное отношение автора к романтизму; борясь с этой неопределенностью, «Современник» использует художественный материал самой К. Павловой: «жизнь лучше снов, а правда лучше лжи». Получается так, что К. Павловой как бы подсказывают, опираясь на ее же материал, способы преодоления нейтралистской позиции. Истолкование «Современником» позиции К. Павловой как нейтралистской вполне согла-

---

[1] «Современник», 1848, № 3, отдел III, стр. 48.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 55.
[4] Там же, стр. 60.
[5] Там же.

суется с известными нам фактами. Известно, что К. Павлова резко отрицательно реагировала на стихи Н. М. Языкова «Константину Аксакову», «К ненашим», «К Чаадаеву», представлявшие собой реакционные политические выпады против передовых общественных кругов с позиций крайне-правого славянофильства. К. Павлову связывала с Языковым творческая дружба, после этих реакционных выходок отношения между ними разладились; в стихотворном послании к ней «В достопамятные годы...» Языков пытался восстановить нарушенную дружбу. Ответное послание К. Павловой не оставляет сомнений в том, какова ее позиция:

Не нахожу в душе я дани
Для дел гордыни и греха.
Нет на проклятия и брани
Во мне отзывного стиха.
Во мне нет чувства, кроме горя,
Когда знакомый глас певца,
Слепым страстям безбожно вторя,
Вливает ненависть в сердца.

Славянофильское учение в его крайнем политическом выражении — это «крик языческого гнева», поэтесса утверждает, что ей «стыдно» и «больно», когда на ее глазах посягают на чужую «мысль» и бесцеремонно роются в чужой «совести». С точки зрения прав личности здесь отрицается не только славянофильская доктрина, но и любая доктрина, если она носит общественно-политический характер. Отрицается то, что вообще можно согласовать «поэзию» и «совесть» со «слепыми страстями» и «руганьями» политики. Стихотворение это носит программный характер. Мемуарист, познакомившийся с К. Павловой в начале 50-х годов, пишет: «...в то время интересы художественные... уже значительно заслонялись интересами политическими и социальными. В умах бродили смутные чаяния, возбужденные бурею 1848 года. Но к этим чаяниям старая писательница относилась скептически». [1]

Далее мемуарист говорит, что К. Павлова любила повторять, как выражение своих взглядов на эти проблемы, свое стихотворение «К ужасающей пустыне», уверяя, что не помнит, чье оно. В стихотворении утверждается неверие современного человека с «ужа-

---

[1] С. А. Рачинский. Стихотворения К. К. Павловой и воспоминания о ней. — «Татевский сборник». СПб., 1899, стр. 106.

сающей пустыней» его внутреннего мира в возможность того, что с востока взойдет новый день, то есть что в жизни общества возможны социальные и духовные перемены:

Тщетно пышного рассвета
Сердце трепетное ждет:
Пропадет денница эта,
Это солнце не взойдет!

Можно, конечно, белеющий рассветом восток понимать только как метафору наступающего дня, обозначающую любую социально-политическую теорию; но ведь именно славянофильские утопии возлагали особые надежды на восточное христианство, и тогда «восток» будет означать нечто более узкое и специальное. Как бы то ни было, это стихотворение не оставляет возможностей предполагать какую-то особую роль славянофильских политических теорий в художественном мировоззрении К. Павловой. Далее, не остается никаких сомнений в том, что всем решительно (включая и славянофильские) доктринам социально-политического плана К. Павлова противопоставляет свою позицию «поэта», возвышающегося над общественными противоречиями и общественной борьбой. Важно иметь здесь в виду, что подобное толкование взаимосвязей искусства и общества чрезвычайно далеко от славянофильства, отводившего искусству исключительно служебную роль по отношению к православной общине, то есть основной общественно-политической утопии славянофилов.

Особо необходимо отметить то обстоятельство, что, противопоставляя «объективированный» персонаж своей поэзии — образ «поэта» (а также и «немого поэта», обыкновенного человека поэтического склада) социальным противоречиям и идейно-политической борьбе времени, К. Павлова вместе с тем чужда каким бы то ни было реакционным крайностям, реакционной крикливости. В стихах, специально посвященных теме «молодого поколения» — появления в русском обществе людей, остро интересующихся идейно-общественными вопросами («И. С. Аксакову», 1846), К. Павлова выражает твердое убеждение в том, что позиция «служения вечным ценностям» исторически более плодотворна, чем прямая социальная борьба; однако о «пламенных невеждах», думающих иначе, говорится следующее:

Их осуждение так строго,
В них убеждения так много,
Так много воли и надежд!

Это — не случайные строки, они подсказываются той общей интонацией раздумья, стремления понять и «возвыситься» над противоречиями, которое всегда свойственно поэзии К. Павловой в таких случаях. Точно так же и в тех стихах, где явно идет речь о революционных событиях 1848 года («К С. К. Н.», 1848), самое неверие в возможность изменить жизнь революционным способом выражено в формах, опять-таки позволяющих говорить о раздумье, но не просто о ретроградной злобе и классовом ослеплении:

Авось пойдет Европе впрок
Ее сердитая тревога!

Конечно, и в самом стремлении к объективной оценке людей и событий, как всегда, у К. Павловой есть оттенок нарочитости, театральности; но важно иметь в виду также и то, что все это связано с общими идейно-художественными устремлениями поэта, отнюдь не склонного к реакционным выходкам по самому существу своей позиции, какой бы нереальной и шаткой ни была сама эта позиция.

В связи с этой тенденцией идейно-обобщающее значение приобретает «Разговор в Трианоне» (1848) — произведение, которое К. Павлова не случайно склонна была считать лучшей своей вещью. В излюбленной К. Павловой форме «рассказа в стихах» здесь, несомненно, сделана попытка осмысления опыта революции 1848 года, дать своего рода философско-историческое истолкование современных событий или даже еще шире — через опыт современности поставить наиболее основополагающие вопросы существования человека в обществе. Сюжет произведения отнесен к эпохе, непосредственно предшествовавшей Французской буржуазной революции конца XVIII века.

Действие происходит во время одного из многочисленных увеселительных празднеств в королевском парке; герои «рассказа в стихах» — один из деятелей правого крыла предстоящей буржуазной революции Мирабо и мифически «бессмертный» Калиостро. Между ними происходит разговор именно о предстоящей революции. Со своеобразным, присущим К. Павловой искусством рационалистического толка очерчены характеры этих героев, чьи личности воплощают разные типы мысли. Столкновение идей, мыслей создает особого рода интеллектуальный сюжет, которому живость и значительность придает то обстоятельство, что события, о которых идет речь, как это знает читатель, действительно произойдут. Подобный сюжетный замысел дает право автору придать «рассказу в стихах»

несравненно более обобщающий смысл, философско-исторический поворот, чем это предусмотрено непосредственными житейскими возможностями такой встречи и такого разговора.

В произведении К. Павловой нет ни малейшей попытки отрицания прямой социально-исторической закономерности и правомерности революции, попытки защиты и морального оправдания старого общественного порядка. Разговор о неизбежности революции начинает и ведет Мирабо; и Калиостро, чьи долгие ответные речи составляют основное содержание рассказа и развивают основную философскую мысль самого автора, четко и недвусмысленно осуждают старый правопорядок, следующим образом характеризуя поведение социальных верхов:

Влечет их роковая сила,
Свой старый долг они спешат
Довесть до страшного итога;
Он взыщется сполна и строго,
И близок тяжкий день уплат.

«Старый долг» социальных верхов — это долг перед народом, перед социальными низами; взыскание этого долга, «тяжкий день уплат» — это революция, она исторически неизбежна и правомерна, заключена в природе вещей, в ходе исторических событий и во многом спровоцирована именно поведением правящих классов, доводящих своей «долг» до «страшного итога». Разумеется, в этом нет ничего реакционного, точно так же как ничего реакционного не содержит попытка К. Павловой усмотреть своекорыстные мотивы (какими бы психологически «возвышенными» они ни выглядели) в поведении правого буржуазного деятеля революции Мирабо. В ответ на речь Мирабо о народной свободе Калиостро говорит:

Своей не терпишь ты неволи,
Свои ты вспоминаешь боли
И против жизненного зла
Идешь с неотразимым жаром;
В себя ты веришь, и недаром,
Граф Мирабо, в свои дела.

Революция неизбежна и закономерна — так получается в произведении. Народ прав в своем революционном гневе против старых порядков, но дело ведь еще и в самом народе, в том, каково его собственное поведение в ходе исторических событий. А ход исторических событий обнаруживает темный, стихийный, неразумный ха-

рактер поведения народа. При этом в характеристике исторического поведения народа у К. Павловой подчеркиваются больше черты неразумия, произвола, чем черты разума:

Всегда, в его тревоге страстной,
Являлся, вслед за мыслью ясной,
Слепой и дикий произвол;
Всегда любовь его бесплодна,
Всегда он был, поочередно,
Иль лютый тигр, иль смирный вол.

Но так как, согласно концепции К. Павловой, поведение народа имеет определяющую роль для исторических событий, а в самом его поведении «дикого произвола» несравненно больше, чем «мысли ясной», то в итоге «бесплодна» не только любовь народа — бесплоден, фатально однообразен сам ход истории. Конечной, итоговой мыслью автора является исторический скептицизм. Необходимо здесь заметить, что этот исторический скептицизм опять-таки чрезвычайно далек от славянофильства. Для славянофильства, напротив, характерно агрессивно-прямолинейное отстаивание «утверждающей» общественно-политической, религиозно-утопической схемы, согласно которой историческое движение отнюдь не может быть сочтено бесплодным. Ничего не меняет в сущности тут материал западной истории — ведь у К. Павловой развивается историческая мысль общефилософского плана, в таком аспекте отрицание смысла истории неприемлемо для славянофилов при всех обстоятельствах.

В художественном плане концепция фатальной бесплодности исторического развития реализована в стихотворном рассказе К. Павловой как долгий рассказ Калиостро о целом ряде исторических событий, которые ему довелось видеть на его бесконечном веку: все эти события свидетельствуют о фатальном ходе истории прежде всего потому, что в решающие моменты народ оказывается неразумным, неспособным к пониманию своих собственных интересов. Но Калиостро — персонаж условный, мифический. Реальный герой сюжета — Мирабо, сюжет повествует о его поведении, о будущих превратностях его судьбы и, в связи с ним, о втором реальном персонаже — народе. Получается так, что исторические события как бы поставлены рядом с героем-персонажем, не слиты с ним, с его биографией, хотя привлечены именно для того, чтобы объяснить его характер. Такое построение восходит к общим особенностям метода К. Павловой, к тому, что у К. Павловой «социальное» и «индиви-

дуальное» существует порознь, не сливается воедино. А это, в свою очередь, связано с идейной позицией К. Павловой, со стремлением писательницы занять «среднее», «нейтральное» место в общественной борьбе своего времени.

По мере того как выявляются и обостряются общие социальные противоречия эпохи, такая позиция все больше и больше оказывается двусмысленной, нереальной, в лучшем случае — бесплодной, в худшем — способствующей соскальзыванию к реакции. Она не может вести ни к чему другому, кроме творческого кризиса. К пятидесятым годам обнаруживается, действительно, невозможность для К. Павловой работать в литературе в духе тех художественных навыков, той индивидуальной манеры, которая постепенно складывалась у нее на протяжении 40-х годов.

4

Пятидесятые годы на всем своем протяжении представляют собой в истории России чрезвычайно сложную и важную эпоху, наполненную значительными историческими явлениями. Начинаются они с большой напряженности во внутренней жизни страны, связанной с реакцией николаевского самодержавия на цикл международных революционных событий конца 40-х годов. Затем, в заново сложившихся после этого цикла революционных движений мировых отношениях возникает Крымская война, которая, согласно Ленину, «...показала гнилость и бессилие крепостной России».[1] Далее обострение внутренних социальных противоречий приводит к революционной ситуации 1859—1861 годов и крестьянской реформе. Весь этот ряд взаимосвязанных событий определяет необходимость четкого размежевания сил в области идеологии. Эпоха требует от художника ясного самоопределения, все более и более обнаруживается, по мере развития событий, несостоятельность той позиции «третьей силы» в общественной борьбе, которую пыталась занять К. Павлова. Творческий кризис и попытки выхода из него вместе с тем соединяются у К. Павловой с резким поворотом в ее личной жизни.

Прежде всего, разлаживаются и приходят к разрыву отношения с Н. Ф. Павловым. Обнаруживается ряд обстоятельств, осложняющих, а затем и делающих невозможной совместную жизнь. Павлов

---

[1] В. И. Ленин. «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция. — Полн. собр. соч., изд. 5-е, т. 20, стр. 173.

вступает в любовную связь с дальней родственницей, проживающей в семье, потом возникает из этой связи вторая семья, на стороне. Любитель жизни на широкую ногу, он расстраивает значительное состояние Янишей. Особенно губительной оказывается карточная игра. Ставится условие: не играть, но Павлов продолжает игру через подставных лиц. Ввиду угрозы полного разорения кто-то из семьи Янишей обращается с жалобой к московскому генерал-губернатору Закревскому. У Закревского были свои счеты с Павловым — пользовалась известностью эпиграмма Павлова на Закревского. У Павлова производится обыск и обнаруживается запрещенная литература. Павлов попадает сначала в долговое отделение, а затем ссылается в Пермь. Арест Павлова произошел в начале 1853 года; к концу года, по хлопотам друзей, он вернулся из ссылки в Москву. Каролины Карловны в это время в Москве уже не было. Обстоятельства, вызвавшие ссылку Павлова, были широко известны; при толках, поднявшихся вокруг, при явной необходимости разрыва с мужем Каролина Карловна уехала в Петербург. Здесь К. Павлову настигла новая беда — умер от холеры ее отец; перепуганная возможностью заразы, оставив тело отца непогребенным, она с матерью и сыном уехала в Дерпт. Поднялись новые толки, сама Павлова обоснование в Дерпте объясняла дешевизной тамошней жизни и необходимостью обучения подростка сына. Одних этих потрясений и перемен достаточно для того, чтобы несколько отстать от литературной жизни. У К. Павловой период разразившихся в ее личной жизни невзгод совпал с художественным кризисом, объясняющимся, в первую очередь, воздействием сложных исторических обстоятельств.

О том, что К. Павлова осознает необходимость поисков новых способов художественной деятельности, свидетельствует уже «Разговор в Трианоне», где прямое введение в художественную ткань исторического материала (как бы его ни понимала К. Павлова) резко меняет звучание традиционного для нее «рассказа в стихах». Продолжения этой художественной тенденции сразу же не могло быть из-за мировоззренческой неясности, все углубляющейся у К. Павловой в связи с движением исторических событий. Неверие в какие бы то ни было концепции возможного изменения наличных социальных отношений (включая и славянофильскую доктрину), философско-исторический скептицизм не могли быть идейной опорой при обострении общественных противоречий. Вместе с тем навыки художественной работы в рационалистическом духе требовали определенной ясности каких-то исходных предпосылок. Явственно обнаруживается тем самым необходимость изменения принципов подхода к искусству, на-

хождения новых способов художественной работы — или надо было перестать писать стихи. Именно такого рода невеселые для К. Павловой мотивы появляются в ее поэзии начала 50-х годов. Особенно отчетливо они сказались в стихотворении «Молчала дума роковая. . .». Жизнь без стихов, без искусства здесь — «полужизнь». Случайный повод пробуждает мимолетный творческий порыв, но поэт не верит в длительность и органичность этого пробуждения поэтических сил:

Молчала дума роковая,
И полужизнию жила я,
Не помня тайных сил своих;
И пробудили два-три слова
В груди порыв бывалый снова
И на устах бывалый стих.

Характерным выражением наступившего в поэзии К. Павловой творческого кризиса и поисков выхода из него является работа над поэмой «Кадриль». Начата была поэма еще в первой половине 40-х годов, но есть достоверные сведения о том, что в начале 1851 года поэма в том или ином виде существовала уже полностью. Публикация в 1851 году законченной главы из нее, «Рассказ Лизы», (в альманахе «Раут») и возникший по поводу этого отрывка журнальный спор говорят о стремлении писательницы найти новый выход в проблематику современности; то, что поэма полностью появилась только в 1859 году, объясняется, по-видимому, крушением попытки найти общий язык с современниками.

В поэме «Кадриль» имеются прямые указания на связи с пушкинской эпохой: открывается она посвящением Баратынскому, поэтические формулировки ее основной темы как темы женской участи в современном обществе даются в особом отступлении о Татьяне Лариной и о дерзости попытки поэтического состязания с ее автором. Ясна общая связь с поисками Баратынского в области поэмы.

Замысел поэмы явно соотнесен с теми жизненными вопросами, о которых говорилось и в «Двойной жизни»; в «Кадрили» изображается вступление женщины в самостоятельную жизнь, несоответствие между девическими представлениями о людях и обществе и тем, каковы они на деле, в реальности. Цецилия в «Двойной жизни» не знает, что ее ждет в недалеком будущем; четыре женщины, рассказывающие друг другу свои истории в «Кадрили», уже прошли через этот решающий порог, — замужество, первая горечь узнавания неладов, неустройства современной участи женщин для них уже позади. Основной вопрос ставится здесь так: кто же больше повинен

в бедах женской участи — общество или сама женщина? Ответ на этот вопрос и должна дать поэма, и ответ тут должен быть сложным, многосторонним: он должен вытекать из соотношения, сцепления целых четырех разных судеб. Обычный для К. Павловой «рассказ в стихах» здесь как бы размножен, возникает целый цикл соотнесенных друг с другом рассказов в одной идейно-сюжетной рамке, и это должно дать новое качество — синтетически-обобщенное, художественно-целостное, многостороннее решение основной проблемы.

Четыре части «Кадрили» дают движение одной темы в разных ее гранях в связи с разными персонажами. «Рассказ Надины» — это повествование о крахе романтических мечтаний героини, произошедшем потому, что сами эти мечтания носили книжно-условный характер. Повинна, следовательно, сама героиня: романтический герой, о котором мечтала российская барышня, предстал перед нею просто в облике вора. Поэтому выход замуж за неказистого помещика с его толками об урожае гречихи — урок на тему о том, что в жизни не все золото, что блестит, что романтизм в жизни ведет к беде. Второй рассказ («Рассказ Лизы») несет в себе основную социальную мысль поэмы. Денежно-имущественные отношения стали причиной разрыва героини с ее возлюбленным — приданое, которое она могла бы принести, оказалось ничтожным для него. Разработан он в приемах «физиологического очерка» в стихах — с ним-то и решилась выступить в печати К. Павлова в эпоху кризиса. Однако по сравнению с «Двойной жизнью», например, где Цецилия в конце романа вступает в жизнь, обещающую ей немало горечи, полную противоречий, здесь в концовке (впоследствии опущенной, см. примечания, стр. 579) дается примирение с действительностью, признание того, что повинны обе стороны: и общество, социальные верхи с их алчным своекорыстием, и сама Лиза, с ее роптаниями на судьбу, жаждой романтической любви и недостатками в смысле нравственного совершенства. Стремление писательницы стоять в стороне от общественных противоречий, быть выше общественной борьбы обернулось здесь идеей примирения со злом, как жизненной неизбежностью.

В обобщенной форме основная идея поэмы выражена в финальном «Рассказе графини». Между этим финалом и «Рассказом Лизы» стоит еще «Рассказ Ольги», где тема целиком переведена в узкопсихологический план. В финале «примирение» дается как своего рода «жизненный синтез», высшее утверждение жизни именно в ее горечи, контрастах, воспринятых вне общественной борьбы. Героиня совершает непоправимую ошибку — из суетности, легкомыслия,

тщеславия подставляет под дуэльную пулю лучшего человека, которого ей довелось встретить. Рассказано об этом так, словно все происшедшее было неизбежно: такова жизнь, в ее горечи и бедах повинен и общий ее ход и сам единичный человек, но не закономерности общественного устройства. Это стремление к «синтезу» разных начал художественно проявляется и в образе «идеального героя», погибшего из-за Полины. Основное в Чецком (для ориентации на 20-е годы характерна уже фамилия героя) то, что он соединяет в себе сердечность и самоотверженность с силой ума, рефлексии, в нем «синтезированы» качества, некогда существовавшие раздельно: «Был и Онегин он, и Ленский», говорится о нем в поэме. Контрастность Онегина и Ленского у Пушкина — одно из преломлений общего стремления поэта на протяжении всего его творчества постигнуть реально существовавшую историческую противоречивость русской действительности, понять неслучайность жизненных коллизий в столкновениях характеров. Заданная в начале «Кадрили» тема Татьяны Лариной решается у К. Павловой так, словно коллизия между героем и героиней — результат случайностей, обусловленных фатальным ходом жизни и мелкими, личными особенностями характеров. В поэме получается так, словно и коллизия Онегин — Татьяна — это результат мелких ошибок и недоразумений, но не общих больших закономерностей русской истории.

Идейная концепция поэмы в еще более откровенной форме, чем прежде, обнаруживала стремление К. Павловой сконструировать «примирение», «синтез» социальных тенденций современной литературы (разумеется, как их понимала писательница) с раскрытием душевной жизни личности (опять-таки в том виде, как это представлялось К. Павловой). Современниками должна была улавливаться эта концепция в «Рассказе Лизы». Спор в критике по поводу «Рассказа Лизы» показал К. Павловой, что для передовых кругов подобные идеи неприемлемы. Чрезвычайно высокая оценка была дана «Рассказу Лизы» в рецензии «Москвитянина» на альманах «Раут». «Москвитянин» в эти годы вела так называемая «молодая редакция», основное идейное направление журнала именно на протяжении 1851 года стало постепенно определяться критическим творчеством Ап. Григорьева. Идейная линия «молодой редакции» и в особенности Ап. Григорьева состояла в стремлении «демократизировать» славянофильство, истолковать «национальный принцип» в духе задач современности, «синтезировать» его с современными идеями личности, наконец, отказаться от религиозно-утопических социальных доктрин старших славянофилов. «Молодая редакция» устанавливает свою линию в литературной жизни, возникают полемики с

«Современником», между прочим и по вопросам поэзии. В этом общем контексте и понятна полемика о творчестве К. Павловой. В рецензии «Москвитянина» дается чрезвычайно высокая общая оценка поэзии К. Павловой, концепция поэмы не разбирается, но ясно, что она одобряется: стремление К. Павловой занять «срединное», «синтетическое» положение в идейной борьбе эпохи в чем-то близко к григорьевскому направлению «молодой редакции», какими бы относительно упрощенными и бедными ни представлялись художественные обобщения К. Павловой по сравнению с теориями Ап. Григорьева. В рецензии на «Раут» говорится, что среди стихов альманаха «первое место принадлежит, без сомнения, художнице и мастерице русского стиха — К. К. Павловой», ее дарование охарактеризовано как «талант полный и совершенный»,[1] писательнице отведено почетное место в развитии русской поэзии в целом. Хотя рецензент сосредоточивает свое внимание на стихотворном мастерстве К. Павловой, ясно, что поэма рассматривается в связи с общими задачами современной литературы: так, высоко оцениваются способы решения характеров героев, что, естественно, необычайно важно для идейной концепции поэмы, целиком построенной на соотношении характеров, и что существенно для современной литературы с ее «натуральным» направлением.

В противовес этой оценке «Современник» высмеял и рецензента «Москвитянина», и автора поэмы. Приводились цитаты из рецензии «Москвитянина», и на их основании делался вывод, что оценка поэтических качеств поэмы (и не только поэмы, но и вообще стиха К. Павловой) неправомерно завышена. Однако суть статьи «Современника» не сводилась к этому спору о качествах стиха К. Павловой — к тому же далеко не все в дискуссии о стихотворной технике К. Павловой было достаточно аргументировано автором (И. И. Панаев), да и сам тон этого разговора о проблемах стиха не был достаточно серьезным и элементарно уважительным в отношении поэта. Важные творческие вопросы были подняты в начале статьи и ее конце: оценка поэмы завершалась стихотворной пародией Некрасова «Мое разочарование». В начале статьи устанавливалась преемственность новой оценки с тем, что говорилось в «Современнике» о творчестве К. Павловой в связи с «Двойной жизнью», то есть с критической линией журнала эпохи Белинского. Напоминается читателю, что еще тогда журнал указывал на неопределенность позиции писательницы, на ее стремление быть нейтральной в идейно-

---

[1] «Москвитянин», 1851, № 9—10, май, отдел «Критика и библиография», стр. 157—158.

общественной борьбе. Прошло несколько лет, а новое произведение не вносит ясности в этот основной вопрос — «журналисты, может быть, выжидали, чтобы поэтическое дарование г-жи Павловой, залоги которого они видели в звучном и рельефном стихе, высказалось яснее. А между тем время шло...»[1] Выводы, которые журнал делает в этой связи, четче и обоснованнее, чем в тексте статьи, даны в стихотворении Некрасова. В нем рассказывается о некоем господине, усердно предававшемся воспитанию своей невесты в духе идеалистической образованности; дается длинный перечень имен, чьими творениями вполне овладела ученая девица; итог, однако, был печален, так как герой застал раз свою невесту на кухне, где она —

Растерзав на клочья Ламартина,
На бумагу клала пирожки
И сажала в печь моя невеста!

В стихотворении, конечно, не просто высмеивается пристрастие К. Павловой к упоминанию громких имен в стихах; речь идет здесь о несоответствии между широкими замыслами и их воплощением, о бескрылой мелочности, о скудости идейных итогов, к которым, по мнению Некрасова, пришла К. Павлова в своем новом произведении.

К. Павловой стало, очевидно, ясно, что выход из творческого кризиса надо искать на каких-то других путях. Во всяком случае, новых публикаций из поэмы не последовало. Далее разразилась семейная драма, и в итоге всех своих личных перипетий К. Павлова оказалась в Дерпте. Серьезных творческих поисков, которые могли бы вывести из творческого тупика, органически включить ее художественную работу в современную литературную жизнь, К. Павлова не предпринимала вплоть до дерптского периода своей жизни.

Именно в годы жизни в Дерпте К. Павлова создает новое произведение, публикация которого, по всей видимости, представлялась писательнице серьезным, ответственным разговором с читателем на наиболее волнующие его темы современной общественной жизни. Это — «Разговор в Кремле», созданный, по словам самой К. Павловой, в пору, «когда мы ожидали событий неслыханных, бомбардирований Кронштадта и войны около Петербурга, отчаянного натиска и вдохновенного отпора, когда вся родина откликнулась, когда

---

[1] «Современник», 1851, № 5, отдел 5 («Новые книги»), стр. 4.

всякий делал, что мог, давал, что имел, дала и я свой стих, — все, что имела».[1] Следовательно, по авторскому замыслу «Разговор в Кремле» представляет собой прямой отклик на современные события, Крымскую войну. Содержание его составляют философско-исторические размышления о национальных судьбах, о национальном характере русского народа в сравнении с судьбами и общим характером западноевропейского мира. Понятно, что такого рода размышления должны были прямо соотноситься в сознании современников с текущими событиями, с их причинами и возможными следствиями, с большим историческим смыслом происходящего.

В творческом развитии самой К. Павловой «Разговор в Кремле» очевидным образом должен был продолжить линию, намеченную в «Разговоре в Трианоне», линию философского осмысления современности, в ее связях с историей. Однако вышло так, что задуманный К. Павловой большой разговор с современностью в ее новом произведении не состоялся. Получилось не преодоление творческого кризиса, но его обостренное выражение вовне.

Философско-исторический сюжет «Разговора в Кремле» оформлен в виде обычного для К. Павловой «рассказа в стихах». В московском Кремле сходятся русский, англичанин и француз; глядя на мирно молящийся в соборах народ, они вступают в спор о судьбах России и Запада, об особенностях русского характера. Драматизм сюжета, как всегда у К. Павловой, должен возникнуть в результате интеллектуальной коллизии, интеллектуальное противоборство должно выявить по-особому, в границах стиховой поэтики, организованные характеры. Исследователи отмечают, что в философско-исторической концепции произведения, в ее материале широко использованы идейные дискуссии 40-х годов — мысли Чаадаева, славянофилов и т. д.[2] Разнообразные идеи использованы драматически, они вложены в уста героев, которые в итоге движения общей авторской концепции должны стать персонажами. Англичанин, с удивлением глядя на невиданное им смешение сословий в русской толпе, не может понять источника этого единства и мощи России, он обвиняет ее в следовании Западу. Не отрицая факта усвоения плодов западной цивилизации, русский вместе с тем утвер-

---

[1] Письмо в редакцию «Современника» (И. И. Панаеву) от 12 октября 1854 г. — Собр. соч., т. 2. М., 1915, стр. 333.

[2] См. комментарий Е. П. Казанович к «Разговору в Кремле» в кн.: Каролина Павлова. Полн. собр. стих. Л., 1939, стр. 434 и комментарий Н. М. Гайденкова к настоящему изданию, стр. 565.

ждает, что есть в истории России нечто, радикально отличающее её от Запада: это отсутствие социальных перегородок, охваченность всего народа единым национальным идеалом. Эта тема задана с самого начала уже в обрамляющем драматический спор описании обстановки действия:

Входил, крестясь, в собор Успенский
И знаменитых предков сын,
И бедный плотник деревенский,
И миллионщик-мещанин...

Вся толпа представляется охваченною «миром и любовью» — «единоверною семьей». Носителем главной идеи произведения является, естественно, русский; его ответные реплики англичанину и французу и ведут основную тему. Сама же основная тема не исчерпывается утверждениями, что русский народ представляет собой «единоверную семью».

Не подлежит никакому сомнению, что идея отсутствия социальных противоречий в истории русского народа извлечена из славянофильских источников. В таком виде, в такой форме К. Павлова прежде этой идеей не пользовалась. Очевидным образом писательница стремилась преодолеть свойственный ее стихам конца 40-х годов философско-исторический скептицизм, найти положительные начала исторического движения и тем самым — выход из творческого кризиса. Специфически славянофильскую догматическую окраску, доктринерскую прямолинейность эта идея в «Разговоре в Кремле» во многом теряет оттого, что в последующем развитии темы, в ответе французу, обвиняющему русский народ в его малом участии в общеевропейской истории, К. Павлова стремится показать специфические трудности русской истории, замедлявшие развитие страны. Весь этот пассаж более или менее органически переходит в строфы, где восхваляется деятельность Петра. И уже с этой вершины делается переход к современным событиям. Иначе говоря, К. Павлова в конечном счете и здесь стремится занять «срединную», «синтетическую» позицию в общественной борьбе эпохи. Идейно-философски она стремится соединить «славянофильство» и «западничество».

Подобная тенденция делала «Разговор в Кремле» внутренне неубедительным, мертворожденным произведением. Изъяв полностью социальные противоречия из спора на исторические темы, К. Павлова обескровила всю интелллектуальную тему и сюжет вещи. Сам спор принял вид деревянно-механического состязания внешних по

отношению друг к другу сил, то есть не получились характеры героев, участников спора. Художественная сила «Разговора в Трианоне» (в пределах дарования К. Павловой, конечно) состояла именно в относительном проникновении в противоречивую логику исторического движения — несмотря на скептические итоги, все-таки получились и органический сюжет, и живые, убедительные в границах этого интеллектуального сюжета характеры. В «Разговоре в Кремле» нет ни сколько-нибудь органического сюжета, ни индивидуализированных героев. Однако когда критика выказала сомнения в художественных качествах вещи, К. Павлова пробовала ее защищать.

Защищаться пришлось от И. И. Панаева, так как «Современник» выступил с отрицательным отзывом о «Разговоре в Кремле», и К. Павлова основательно приписала этот отзыв Панаеву. Вообще для положения К. Павловой в ту пору в литературе характерно то, что из «толстых» журналов, представлявших определенные направления общественной мысли, только умеренно-либеральные, «западнические» «Отечественные записки» сочли новое ее произведение «одним из лучших между стихотворениями, которые вызваны настоящими событиями».[1] Как верно заметил Н. Коварский,[2] наиболее язвительным доводом «Современника» в его полемике с К. Павловой было то, что «Разговор в Кремле» разбирался среди ряда урапатриотических произведений сомнительного качества, вызванных Крымской войной. Сам же разбор сосредоточился на художественных достоинствах вещи. В письме в редакцию «Современника» К. Павлова указывала на искренние чувства, побудившие ее к созданию произведения, отвечать же больше всего пришлось именно на художественные упреки, в особенности отстаивать способы рифмовки.

В этом — чисто формальном — плане надо сказать, что аргументация Панаева отнюдь не является бесспорной. Он приводит примеры рифм, действительно производящих впечатление нарочитости, искусственности: «драма—Гама, Колумб—румб, щедро—Сааведра, гордо—Стратфорда». Отсюда делается вывод, что поиски новых рифм — вообще занятие сомнительное, поскольку новая рифма может заслонять содержание: «Так ли поступали великие мастера поэзии?»[3] Далее указывается, что в пушкинскую эпоху

---

[1] «Отечественные записки», 1854, № 9, отдел IV, стр. 37.

[2] Н. Коварский. Каролина Павлова. — Каролина Павлова. Полн. собр. стих. Л., 1939, стр. 15.

[3] «Современник», 1854, № 9, отдел 4, стр. 36.

пользовались иным типом рифмы. Исторически такая аргументация чрезвычайно уязвима. В обобщающей работе В. М. Жирмунского в качестве основного направления в развитии русской рифмы дается характеристика «непрерывного процесса деканонизации точной рифмы», где этапами являются сначала «приблизительная рифма», затем — «неточная рифма».[1] Говоря о «приблизительной рифме», В. М. Жирмунский часто находит ее элементы «у Фета, К. Павловой, А. Григорьева, А. Толстого и других».[2] Поиски К. Павловой новых способов рифмовки (если отстранить экстравагантные крайности, к которым она иногда прибегала) входят в общий процесс качественного изменения техники русского стиха. Говоря шире — сюда же входят, конечно, и ритмические поиски К. Павловой, над которыми тоже склонен был смеяться Панаев. В лучших вещах К. Павловой ритмические искания, свежие рифмы, прозаически-шероховатый подчас язык подчинены по-новому организованной целостности «одноцентренного» стиха. В такой, в целом несовершенной вещи, как «Разговор в Кремле», естественно, представляются нарочитыми, выпирающими на первый план и технические новшества. Поэтому критика права, указывая на слабости произведения, и не права, пытаясь распространить эти недостатки на все творчество К. Павловой в целом.

Наиболее сложным в полемике К. Павловой с критикой был вопрос об историческом материале в стихе. Панаев указывал на то, что в произведении К. Павловой «перечисляются все важнейшие моменты исторических судеб трех таких государств, каковы Россия, Франция и Англия». Далее говорилось, что «рамка слишком тесна», то есть что стих не может вместить в себя так много, н что даже «при сильном таланте» (в чем он К. Павловой отказывал) невозможно «сообщить произведению должную ясность».[3] В более деликатной форме буквально то же самое утверждал критик «Москвитянина» Б. Алмазов: «Рассказать в стихах историю, хоть и очень кратко, вещь очень трудная: то и дело будешь сбиваться на прозаический тон».[4] Так как и здесь была интонация осуждения не только данного произведения, подвергалась сомнению вообще правомерность прямого включения в стих исторического материала, — К. Пав-

---

[1] В. М. Жирмунский. Рифма, ее история и теория. Пб., 1923, стр. 101.

[2] Там же, стр. 159.

[3] «Современник», 1854, № 9, отдел IV, стр. 35.

[4] Рецензия на «Разговор в Кремле». — «Москвитянин», 1854, кн. 1, № 17, отдел 4, стр. 6.

лова пыталась защищаться, но сколько-нибудь внятных доводов противопоставить не могла: «Когда мы в прении упоминаем о блистательных моментах истории народа, преподаем ли мы его бытогисание, исполняем ли мы должность профессора истории?»[1] Иначе говоря, утверждается, что художник вправе так поступать — и больше ничего, аргументации нет. Между тем речь шла о слишком важной для К. Павловой веши. Как художник, пытавшийся освоить в поэзии проблематику 40-х годов, К. Павлова включает философский, рационалистический, исторический материал в стих, меняя при этом качество лирического героя, сюжет лирического произведения. Она пытается осуществить по-своему то, чего ищут в стихе Н. П. Огарев, Ап. Григорьев, наиболее глубоко, художественно блистательно (и это вытекает, естественно, из качеств мировоззрения) в прозе осуществляет принцип такого типа искусства Герцен. Но именно на примере Герцена наиболее отчетливо видна важность основ мировоззрения для полноценного решения этой художественной проблемы. Философско-исторический скептицизм, присущий Герцену в определенные моменты его развития, преодолевается путем подчинения своей деятельности задачам революции и демократии. К. Павловой все это чуждо, идейная несостоятельность ее решений обусловливает и художественную слабость. В истории русского стиха включение исторического материала в духовную биографию лирического героя заново стало проблемой в XX веке. Блок осуществил этот принцип в таких программных для него циклах, как «На поле Куликовом» и «Итальянские стихи». Разумеется, я вовсе не собираюсь здесь утверждать, что Блок был учеником К. Павловой. Но «учеником» русской культуры 40—50-х годов (над проблемами которой, в меру своих сил, работала и К. Павлова) он был, очевидно, в очень большой степени.

Сама К. Павлова фактически признала правоту критики несколько позднее, в момент, когда завершался ее творческий путь в русской поэзии: издав в 1863 году свой итоговый (и единственный) сборник стихотворений, она не включила в него «Разговор в Кремле». Оценивать это иначе как отказ от этого стихотворения, от его концепции — невозможно.

Изменение, развитие, обогащение художественной работы К. Павловой во второй период ее творчества, в 50-е годы, произошло совсем не там, не на том «участке» ее поэзии, где предполагалось это самим автором. Больших удач в области насыщенного

---

[1] Письмо к И. И. Панаеву от 12 октября 1854 г. — Собр. соч., т. 2. М., 1915, стр 323.

историческим материалом «рассказа в стихах» не последовало, но зато совсем по-новому зазвучала непосредственно лирическая тема. Стихи о любви, о поэзии, о горестных поворотах личной судьбы и о соотношении этой личной судьбы с общими законами жизни стали в этот период определяющими не только тон, окраску, но и ведущее, основное направление всего потока творчества К. Павловой. Это особое усиление, иногда драматизм интимно-лирической темы связаны с событиями личной жизни К. Павловой настолько тесно, что подчас сами стихи, при всей их ясности, непонятны без биографического «подтекста», о котором и надо сказать здесь несколько слов.

Живя в Дерпте с весны 1853 года после ряда тяжелых происшествий в личной жизни, К. Павлова познакомилась со студентом юридического факультета Борисом Исааковичем Утиным. Между ними была разница в возрасте в двадцать пять лет; несмотря на это, они дружески сблизились. Возникло серьезное чувство. Если судить по стихам К. Павловой, это была самая большая любовь в ее жизни, многое определившая во всей ее дальнейшей судьбе. «Разговор в Кремле» писался в разгар этого романа-дружбы. Утин помогал писательнице своими советами и доставкой материалов. Весной 1854 года Утин окончил университет и уехал в Петербург. Туда же переехала и К. Павлова; по-видимому, она пыталась заново войти в литературно-общественную жизнь, ориентируясь на журналы умеренно-либерального направления. Последовала неудача с «Разговором в Кремле», завоевать заново серьезное положение в литературе ей не удалось. Отношения с Утиным осложнились, по-видимому, уже к концу 1854 года, затем последовал разрыв. Утин позднее был заметной фигурой в либеральных кругах — по инициативе К. Д. Кавелина он становится профессором Петербургского университета, читает курс истории положительных законодательств, участвует в известной общественной акции 1861 года, когда ряд профессоров-либералов покинул университет во время студенческих волнений. Весной 1856 года К. Павлова уехала за границу и с Утиным, по-видимому, более не встречалась. В ряду жизненных неудач, обусловивших крутой поворот в жизни К. Павловой — отъезд за границу, далеко не последнее место, видимо, занимает разрыв с Утиным.

В качестве биографической подосновы, конкретного жизненно-психологического материала история отношений с Утиным сыграла большую роль в поэзии К. Павловой. Итоговый сборник стихов 1863 года, по-видимому, следует читать как своего рода «роман жизни»; и если внимательно читать стихи с начала 1854 года, при-

мерно со стихотворения «Ты, уцелевший в сердце нищем...», вплоть до конца книги, станет ясно, насколько для фабулы этого «романа» велико значение психологических событий и отзвуков большого чувства, испытанного К. Павловой. Однако было бы наивно и нелепо сводить к этому биографическому источнику или поводу те значительные изменения, которые обнаруживаются в лирике К. Павловой 50-х годов. Эти изменения симптоматичны для общего процесса развития русской литературы, связанного, в свою очередь, с историческими событиями эпохи. Развитие русской прозы в границах разных ее направлений, скажем, закономерно привело к рождению психологического метода Л. Толстого в начале 50-х годов. Аналогичные процессы происходят в поэзии. Один из знаков (может быть, не очень крупных) этого общего движения литературы — изменение лирического субъекта в поэзии К. Павловой. Уже с начала 50-х годов заметно это изменение качества лирики К. Павловой. Лирическое «я», от имени которого говорит К. Павлова, становится явно проще, естественнее, душевнее; смягчаются или исчезают вовсе напыщенность, театральная поза, наигранное величие образа «поэта», от лица которого часто обращается К. Павлова к читателю. И личные горести, о которых часто повествует К. Павлова-лирик, от этого становятся человечески понятнее и значительнее. Тут не просто психологическое усложнение героя, но изменение жизненного тона или даже типа человека, от лица которого делается лирическое признание такого, скажем, рода:

К могиле той заветной
Не приходи уныло,
В которой смолкнет сила
Всей жизненной грозы.

Отвергну плач я тщетный,
Цветы твои и пени, —
К чему бесплотной тени
Две розы, две слезы?..

Читая такие стихи, ведь не столько любуешься образной или композиционной изысканностью, неожиданным чередованием рифм, сколько думаешь о скорби человека, измученного тревогами жизни.

Наиболее резко ощутимо это изменение качеств стихотворного «я» в лирическом персонаже — «поэте», чей облик К. Павлова в ранних своих стихах особенно часто подавала в «возвышенных» и «величавых» тонах. Тут были точки соприкосновения К. Павловой с

«ложновеличавой школой» в литературе 30—40-х годов, хотя, разумеется, ее творчество в целом представляет несравненно более глубокие и серьезные общественные тенденции и связано с несравненно более высокими литературными традициями. И. С. Тургенев, как известно, считал, что парадная помпезность «ложновеличавой школы», «общий отпечаток риторики, внешности»[1] соответствовал исторической бессодержательности официозных форм николаевской государственности. Ложная величавость прикрывала собой историческую пустоту. Поэтому и закономерно, неизбежно в литературе появляется все более и более углубленный, сложный, психологически противоречивый подход к человеку, стремление к душевной правде и неприязнь к лакировке; такой подход исторически соответствует обнажению в 50-е годы внутренней гнилости, распада крепостнической, военно-бюрократической николаевской системы. Поэтому-то так существенно изменение лирического героя К. Павловой: оно свидетельствует о проникновении в исторические особенности своего времени через человеческий образ, органически меняющийся в ходе творческой эволюции самого художника. Так, в стихотворении, по существу вводящем в «утинскую тему» лирических стихов К. Павловой 50-х годов, мы встречаемся с совсем иным образом «поэта», чем это было прежде:

Ты, уцелевший в сердце нищем,
Привет тебе, мой грустный стих!
Мой светлый луч над пепелищем
Блаженств и радостей моих!

Искусство, возможности его создания и восприятия не толкуются здесь как нечто отдельное от обычной жизни человека, возвышающее его над жизнью, противостоящее ей. Напротив, оно дается как нечто особое в жизни, но связанное с ней, с ее бедами и горестями. Измученный жизнью человек с «нищим сердцем» воспринимает пробуждение в себе заново творческой способности как некий жизненный же проблеск, некую надежду на возможность одолеть «пепелище» своих тягот и скорбей. В прежних стихах К. Павловой даже «безымянные поэты», то есть обычные люди, не пишущие стихов, но поэтически воспринимающие жизнь, трактовались как «люди без ремесла»: даже сама возможность поэтического отношения к миру там уже отделяет человека от повседневности, от «ремесла». Сейчас

[1] И. С. Тургенев. Воспоминания о Белинском. — Собр. соч., т. 10. М., 1956, стр. 288—289.

сама поэзия в связи с иным образом героя дается как особое «ремесло»:

Моя напасть! Мое богатство!
Мое святое ремесло!

Поэтому, естественно, что воспринимаемая так поэзия не уводит от жизни, но, напротив, должна заново вводить в нее, хотя, может быть, будут и новые страданья, новые горести:

Уйми безумное роптанье
И обреки всё сердце вновь
На безграничное страданье,
На бесконечную любовь!

В сущности получаются в известной степени стихи даже не о поэзии: это ведь просто о том, что человек нашел в каком-то углу души что-то еще не потухшее, что-то такое, что дает ему возможность еще жить.

Подобное изменение основного субъекта, лирического «я» влечет за собой целый ряд последствий для поэзии К. Павловой. Наиболее существенное из этих последствий — тенденция отдельных стихотворений связываться между собой, вести не только однотипную тему, но и одну фабулу. В прежних стихах К. Павловой преобладающее значение «рассказа в стихах» обусловливало существование отдельных стихов порознь, каждого со своей темой, героями, сюжетом. Сейчас в едином потоке стихов легко узнаются стихи «утинского» ряда. Узнаются они по единой теме сложной, трудной любви с ее событиями и угадываемой конкретной обстановкой, по единым героям этого романа, с их напряженными отношениями «умственного поединка», по единой фабуле начала, развертывания и конца романа, и, наконец, по особому чувству психологической правдивости рассказываемого, по тому, что читатель как бы входит во внутреннюю, душевную жизнь героини и идет вместе с ней по печальному пути ее любвн. Примечательно то, что в издании 1863 года сами события этого романа не даются в их прямой временной последовательности, по ходу действия: отдельные стихи, в конечном счете составляющие единую историю романа, разбросаны среди других стихов иных тем, так что сам житейский ход событий не описывается в его явной последовательности, но как бы постоянно перебивается иными темами. Трудно думать, что это случайно. По-видимому, эти иные темы должны пояснять и обогащать саму эту историю романа. Это подтверждается и тем обстоятельством, что, восстановив фабулу, как это предложила в свое

время Е. П. Казанович,[1] мы все-таки не обнаружим полной последовательности событий. События передаются все-таки вразброс, более ранние могут передаваться после более поздних и т. д. Даже вытянутая в одну линию фабула требует себе пояснений в стихах иной темы, помещенных рядом. Иначе говоря, фабула перерастает в сюжет, в рассказ не о внешних событиях, но об их внутреннем, психологическом смысле. Поэтому-то автор и не располагает стихи в их хронологической последовательности, а в самих стихах не рассказывает о прямом ходе событий. Это нужно для смыслового обогащения сюжета. Налицо, очевидно, определенный идейный замысел, ио не простая случайность. Поэтому-то и весь ряд стихов «утинской» темы открывается стихотворением «Ты, уцелевший в сердце нищем...». Это рассказ о том, чтó могла бы и должна была дать любовь героине. Психологический же сюжет состоит в рассказе о том, что же эта любовь дала героине реально:

Как долго грудь роптала вздорно,
Кичливых прихотей полна;
И как всё тихо, и просторно,
И безответно в ней до дна.
Я вспоминаю лишь порою
Про лучший сон мой, как про зло,
И мыслю с тяжкою тоскою
О том, что было, что прошло.

Выходит, что «лучший сон» обманул героиню, не дал ей того, что обещал. Явная намеренность втягивания в этот психологический сюжет стихов иных тем, соотнесение между собой разных тем, очевидно, должно обогащать этот сюжет, дать ему более широкие и общие смысловые истолкования. Получается так, что отдельные стихи начинают стремиться к связыванию в некий единый цикл. Автор очевидным образом хочет найти новое художественное каче-

---

[1] См. комментарии Е. П. Казанович в кн.: К. Павлова. Поли. собр. стих. Л., 1939, стр. 418. В реконструкции Е. П. Казанович движение фабулы дано в такой последовательности стихотворений: «Мы странно сошлись...», «Меняясь долгими речами...», «Зачем судьбы причуда...», «Когда один, среди степи Сирийской...», «К***» («Когда шучу я наудачу...»), «Ты силу дай! Устам моим храненье...», «Две кометы», «К... (Из лорда Байрона)», «За тяжкий час, когда я дорогою...», «Прошло сполна всё то, что было...» и «К...» («Да, я душой теперь здорова...»). В изд. 1863 г. эти стихи расположены в совершенно иной последовательности.

ство — цикличность. И как раз в связи с замыслом «циклического целого» и обнаруживается некоторая последовательность в кажущемся странным расположении стихотворений.

Так, например, о самом начале романа-дружбы с Утиным наиболее внятно, последовательно и эмпирически доходчиво рассказано в стихотворении от января 1854 года «Мы странно сошлись. Средь салонного круга...». Создается колоритное бытовое описание первой встречи двух «родственных душою» людей в чуждом им обществе и немедленного же вступления этих людей в некую внутреннюю распрю. Казалось бы, начало романа и должно быть в композиции книги там, где ему полагается по прямой логике сюжета: рядом со стихотворением «Ты, уцелевший в сердце нищем...». Однако оно помещено совсем в другом месте: ближе к концу сюжета, уже после многих стихотворений и «утинской», и других тем. Непосредственно предшествуют этому стихотворению следующие три стихотворения. «Н. П. Б — ой», «Две кометы», «К... (Из лорда Байрона)». Все эти вещи относятся к 1855 году. Следовательно, произведен не только сюжетный, но и хронологический сдвиг. Можно было бы объяснять этот сдвиг стремлением спрятать, зашифровать реальную подоснову романа. Такое предположение не выдерживает самой элементарной проверки — прятать и шифровать можно только от знающих что-то о событиях, но стоит только прочесть «Мы странно сошлись. Средь салонного круга...», чтобы понять: где бы это стихотворение ни стояло, оно никого в заблуждение не введет и меньше всего «осведомленных», никаким зашифровкам оно не поддается. Объяснять этот фабульный сдвиг можно только идейным замыслом, особенностями содержания — и никак иначе.

В стихотворении «Н. П. Б — ой» речь идет об осуждении человека неким внешне понимаемым «обществом» за какие-то проступки. Стихотворение построено «одноцентренно» — в нем говорится только об общественном осуждении и о людях, способных к всепрощению, к человеческому пониманию другого человека. Следовательно, возможное соотнесение его со стихотворением «Мы странно сошлись. Средь салонного круга...» внесет в него дополнительный конкретизирующий смысл, расширит содержание. Еще более важно подобное соотнесение для самого стихотворения «Мы странно сошлись. Средь салонного круга...». Дело в том, что описание (тоже «одноцентренное») первых встреч двух людей, которые вскоре вступят в сложные внутренние отношения, само по себе чересчур эмпирично, здесь есть только «психология» и «обстановка», но совсем мало ощутима общественная среда, более широкий круг отношений, в рамках которых развернется роман. Предварение рассказа

о первых встречах стихотворением «Н. П. Б — ой», где как раз речь идет о реакции среды на некий проступок героини (скорее всего — на тот же необычный «роман», то есть на события, сюжетно и хронологически более поздние), должно обогатить рассказ о начале романа не достающими ему элементами содержания. Точно так же — стихотворение «Две кометы», где К. Павлова пытается абстрактно-философски изобразить этот же роман в связи с темой человеческого одиночества в любви, если соотнести его со стихотворением «Мы странно сошлись. Средь салонного круга...», — получит от него недостающий элемент конкретности, придав, в свою очередь, стихотворению-партнеру недостающий элемент философского обобщения.

Отдельное стихотворение как бы не существует само по себе, независимо от соседей, оно нуждается в определенном окружении, в других стихах, для того чтобы более широко, более объемно, в больших содержательных и жизненных связях была воспринята его индивидуальная тема и идея. Цикличность, таким образом, должна приобрести совсем особенный характер — она должна вырасти изнутри и связать отдельные стихотворения не по внешним тематическим или жанровым признакам, но по единству концепции и внутреннего сюжета сложного, разветвленного «лирического романа». В какой мере К. Павловой удалось реализовать свой замысел, мы увидим далее, пока же важно отметить значительность и новизну подобного идейного замысла.

Поиски циклизации такого типа, когда отдельное стихотворение становится звеном единого замысла, единой разветвленной идейной концепции, единого внутреннего сюжета, когда отдельное стихотворение становится богаче и содержательнее от своих связей с соседними стихами, — характерное явление русской поэзии 40-х и в особенности 50-х годов. Они выражают стремление воплотить в поэзии новый образ человеческой личности, находящейся в иных, чем прежде, общественных, социальных связях. Подобное влечение к циклической организации внутреннего сюжета для ряда стихов отмечает, скажем, поэзию Огарева и в еще большей степени поэзию Ап. Григорьева. Такого типа циклизация была невозможна в поэзии 20—30-х годов совсем не потому, что она «ниже», чем поэзия 40—50-х годов (она, напротив, несравненно «выше»), но просто потому, что там был налицо совсем другой по своему социальному типу и общественным связям герой. Широко развился подобный тип циклизации, стал одним из основных явлений поэзии в XX веке. И именно поэтому в нашем литературоведении были попытки найти циклизацию там, где ее совсем не было и не могло

быть. В этом сказывалась неосознанная, быть может, попытка модернизации, подправления классической поэзии под закономерности поэтического развития XX века. Так, Л. В. Пумпянский писал о «циклизме как главном методе поэзии Тютчева».[1] При этом под «циклизмом» понималось существование в творчестве поэта ряда устойчивых, наличествующих в стихах разных лет, философских тем, решаемых однотипными художественными средствами. Совершенно очевидно, что наличие определенных идейно-тематических комплексов, групп стихотворений определенного плана, не собиравшихся самими авторами и не могущих быть собранными в некое особое идейное и сюжетное единство — в цикл, с единым внутренним сюжетом, подчиняющим себе отдельные звенья-стихи, — характерная черта любой поэтической системы. Она означает только то, что данное явление есть поэзия, и больше ничего. Трудно понять, зачем это называть «циклизмом» и тем самым путать *единство поэтической личности* с ее едиными темами, присущее *любой поэзии,* с цикличностью, представляющей собой *конкретно-историческое явление,* осознаваемое самим автором, качество, входящее в идейный замысел, в намерения автора, качество, меняющее, трансформирующее отдельное стихотворение.

Наиболее отчетливо, резко выразился художественный замысел построить единый сюжет, проходящий через ряд стихотворений, собирающий этот ряд в цикл, в некое нового типа художественное единство, у Ап. Григорьева в его цикле «Борьба», созданном в 50-е годы. Стремление к цикличности, сказывающееся у К. Павловой, вероятно, родилось из самостоятельных художественных исканий, но оно, может быть, соотнесено с поэтической работой Ап. Григорьева. Новый тип героя, который хотел воплотить в поэзии Ап. Григорьев, назывался им «эгоистом», художественно наиболее полноценно он осуществился в стихах «кометной» темы. Героя-комету (у Ап. Григорьева это не только женский, но и мужской образ) автор трактовал социально, в сущности как тип буржуазной личности. Социально новый характер интимных, личных, и в то же время общественных отношений, новый тип связей «объективированных» героев и пытался выразить Ап. Григорьев в цикле «Борьба». Многое в решении «утинской темы» у К. Павловой даже внешне явно напоминает поэтические искания Ап. Григорьева. Похоже тут стремление насытить стих психологизмом, даже по-своему прозаически, даже по-бытовому «оправдать» сюжет трудных взаимоотно-

---

[1] Л. В. Пумпянский. Поэзия Ф. И. Тютчева. — «Урания. Тютчевский альманах», под ред. Е. П. Казанович. Л., 1928, стр. 18.

шений двух любящих друг друга, но раздираемых внутренними противоречиями людей. Еще более существенна тенденция к построению единого внутреннего сюжета. Но именно явная аналогия с Ап. Григорьевым отчетливо обнаруживает, почему там, у Ап. Григорьева, при всех «издержках» новаторского замысла, цикл все-таки в итоге получился (но только к 50-м годам); у К. Павловой, напротив, стремление к циклизации все-таки в конечном счете осталось нереализованным.

Среди стихов «утинского» ряда есть уже упоминавшееся выше стихотворение «Две кометы». Отношения двух любящих здесь уподоблены встрече двух комет. У Ап. Григорьева человек-комета врывался в человеческие же отношения, ломая, разрушая и пересоздавая их; человек-комета вызывал определенную реакцию у окружающих. Иначе говоря, он был явлением социальным, не инородным по отношению к обществу, он выражал судорожный, хаотический, стихийный характер самого этого общества. У К. Павловой встреча двух комет — это встреча двух одиноких существ. Общество не то что не меняется от появления «комет», оно вообще тут ни при чем: оно даже не подозревает, что эти люди стихийны, хаотичны, «кометны»:

И в небе встретились уныло,
Среди скитанья своего,
Два безотрадные светила
И поняли свое родство.

Это ведь только сами «кометы» знают, что они «кометы»; другим людям до того, кто и что они, вообще нет дела, равно как совершенно нет им дела до их «тайной любви», до того, что одна из комет с севера, а другая с юга, и что они поняли друг друга; и то, что они разойдутся опять, тоже останется неизвестным людям. Иначе говоря, тема носит здесь психологический и только психологический характер. Социальное не входит в души героев. Поэтому сама «кометность» нужна только для того, чтобы возник сюжет, «объективные» характеры, «рассказ в стихах». А «рассказ в стихах», в свою очередь, понадобился для того, чтобы расширить, раздвинуть рамки односторонне интимной, только психологической темы (без социального подтекста). Он должен заменить собой социальное обобщение. Автор — достаточно изощренный художник, выросший на почве высоких литературных традиций, он знает (художественно, изнутри знает), что такое обобщение нужно, что его нет в стихах, по-бытовому или узко-психологически повествующих о неудачной, несостоявшейся любви (как это происходит, скажем, в

стихотворении «Мы странно сошлись. Средь салонного круга...»). Поэтому возникает потребность в стихотворении-соседе, где опять-таки несколько внешне рассказывается о социальной среде и ее реакции на необычный роман («Н. П. Б—ой»). Наконец, является потребность в еще одном аспекте обобщения узко-психологической темы — в аспекте философском — и так появляются «Две кометы». Тема не столько развивается, развертывается во внутренний сюжет, сколько внешне дробится на отдельные звенья-стихотворения. Мотивировка, по которой возникает необходимость циклизации, совсем иная, чем у Ап. Григорьева. Там циклизация требовалась для более широкой трактовки нового типа связей между людьми. Здесь циклизация извне демонстрирует общий, не единичный характер описываемых внутренних событий потому, что сами эти события социального обобщения не содержат.

Выходит так, что циклизации здесь по существу нет, что автор только ищет ее, но найти ее пока что не в состоянии вследствие внутренних особенностей своего художественного подхода к теме. Есть здесь и другие способы найти цикличность. Автор-переводчик включает в «утинскую» тему произведения переводимых им авторов. Ап. Григорьев тоже поступал так — он включил переводы в тот же цикл «Борьба». Но у Ап. Григорьева перевод становился звеном единого сюжета цикла, его органической составной частью. Совсем иначе получается у К. Павловой. Так, явно включен в «утинскую» тему перевод поэмы Шамиссо «Salas y Homez». Но если попытаться сопоставить его с другими произведениями «утинской» темы, мы увидим, что перевод просто заново излагает на ином, очень эффектном материале, в виде огромного «рассказа в стихах», тот же мотив одиночества и с тем же отсутствием его социально-общественного истолкования, что и «Две кометы», скажем. Получается простое повторение, дублирование, но не развитие сюжета, темы, замысла. Для того чтобы подчинить «утинской» теме перевод знаменитых «Стансов к Августе» Байрона, пришлось опустить целую строфу, потому что оиа не подходила к собственному случаю.[1] Стихотворение получилось по-своему сильным, энергичным, но опять-таки во многом повторяющим другие стихи «утинского» ряда; к тому же, коль скоро цикла в явном виде все-таки нет, вызывает недоумение столь произвольное обращение с оригиналом. В це-

---

[1] Примечательно, что «Стансы к Августе» пытался использовать Ал. Блок для обогащения тем своего «лирического романа» социальностью в драме «Песня судьбы». Пьеса оказалась неудачной, но в процессе работы над драмой возник шедевр блоковского историзма — цикл (именно цикл!) «На поле Куликовом»,

лом же переводы здесь играют роль «рассказов в стихах», и роль их — расширить содержательно-обобщающее начало. На деле же получается соседство аналогичных сюжетов, не втягивающихся в единую идейно-тематическую линию. Таково вообще основное художественное противоречие поэзии К. Павловой в этот период: отдельные стихи сюжетно тяготеют взаимно, поясняют друг друга — и в то же время идейно-тематически они склонны к автономности, к параллелизму.

Естественно, что наибольший интерес именно с точки зрения возможностей циклического целого, расширения обобщающе-содержательных начал должны были бы представлять произведения исторической темы. Оформляет их К. Павлова по-прежнему в виде «рассказов в стихах»; она отказывается ко второй половине 50-х годов от попыток включить в отдельное стихотворение большую панораму исторических событий в прямом виде. В ее творчестве в целом возрастает значение моральных тем, что по-человечески понятно в связи со всеми событиями личной жизни писательницы. Поэтому исторические сюжеты она охотнее всего осуществляет на материале сопоставлений Древнего Рима с разрушающим его христианством («Праздник Рима», «Ужин Поллиона»), язычества и христианства в старой Европе («Ночлег Витикинда»). Несмотря на замкнутую повествовательность сюжета, К. Павлова не только косвенно дает понять, что речь идет о современных людях и событиях, но иногда и прямо раскрывает смысл иносказания: так, окончание «Праздника Рима» прямо соотносит фабулу «рассказа в стихах» с событиями Крымской войны. Но эта же аналогия — Рим и язычество — появляется у К. Павловой и в стихотворении «На освобождение крестьян» (1862, в сборник 1863 года не вошло). Такое применение одних и тех же исторических образов показывает, что дело здесь у К. Павловой не в возможных воздействиях славянофильства, и даже не в исторических аналогиях вообще. Суть заключается в том, что, соединяя историческую и нравственную темы, К. Павлова хочет шире и углубленнее постичь и художественно воспроизвести современного человека, понять источники его общественных и нравственных коллизий.

Но именно тут-то и выступает яснее всего общая противоречивость идейно-художественной позиции К. Павловой. Большие события современности могут связываться — через общую нравственную проблематику — с историей. Но ни крупный план современности, ни история не сопряжены непосредственно с той интимной, лирической темой, с той драмой личности, которая составляет самую душу сборника 1863 года, «романа жизни», как явно был задуман этот

итоговый сборник. Так же как и переводы, и другие «рассказы в стихах», произведения исторической темы соотнесены с интимно-лирической линией книги, с «утинским» рядом стихов, но именно только соотнесены: стихи разных планов просто соседствуют друг с другом, поясняют друг друга, но более органических и глубоких связей и переходов между ними нет. Не получается при этом цикла; но вместе с тем не получается чего-то несравненно более важного. Самая незавершенность цикличности здесь обнаруживает тот факт, что К. Павлова не нашла законченной, ясной, последовательной общественной позиции, которой требовала от нее критика разных направлений с самого начала ее творческого пути в русской поэзии. Попытки найти «срединную», «синтетическую» позицию оказались несостоятельными, ложными. Раздельность, неслиянность индивидуально-лирической и общественно-исторической линий обнаружилась с полной несомненностью в поэзии К. Павловой к середине и ко второй половине 50-х годов. Это был огромный исторический перевал — события развертывались в сторону революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов. Тут нельзя было дальше пытаться занять позицию «над схваткой»: возникала ситуация «или — или».

В этой общественно-исторической обстановке необычайно важную роль играло ясное осознание самим художником своих творческих противоречий или неизменности своей позиции. Так, Фет именно на этом перевале «с открытым забралом» пошел на своих идейных противников, вступил в яростную полемику с новым революционно-демократическим руководством «Современника». Ценой трезвой, беспощадно резкой, жестокой критики несостоятельности своей собственной «синтетической» позиции Ап. Григорьев приобрел возможность создания в начале 60-х годов одного из лучших своих художественных произведений — поэмы «Вверх по Волге». Творчески ему помогло в эту суровую пору то обстоятельство, что он всегда добивался единства интимно-лирических и социальных начал в своей поэзии. Итоговый сборник стихов К. Павловой 1863 года обнаруживает достаточно ясное понимание самим поэтом невозможности работать дальше в принятом направлении. Выводы из этого обстоятельства К. Павлова делает чисто пассивные — страстно-активный характер «самокритики», свойственный тому же Ап. Григорьеву, ей чужд. Сплетение чисто личных, творческих и общественных противоречий приводит К. Павлову к двойному решению: биографически она уходит из русской жизни, творчески — из русской поэзии. Именно это пассивное двойное решение в качестве жизненного итога становится темой и идейным замыслом лириче-

ского цикла «Фантасмагории», замыкающего собой «роман жизни» в сборнике 1863 года.

Объединив — уже в прямой форме — ряд стихотворений в цикл, К. Павлова в «Фантасмагориях» стремится дать в единстве историческую и лирическую темы. Цикл «Фантасмагории» — это не просто записи, случайные зарисовки путевых впечатлений; все увиденное на разных дорогах мира поэт пропускает сквозь свой душевный и духовный опыт. Раздумья о судьбах мира, народов, стран здесь должны в непринужденной, непритязательной форме сплетаться и взаимодействовать с мыслями о личной человеческой судьбе и ее итогах. Поэтому, скажем, столь излюбленная К. Павловой тема Рима, его обездуховленной мощи и неотвратимой гибели теряет благодаря лирической интонации раздумья свой декоративно-монументальный облик, не становясь в то же время грубым и назойливым символом возможного личного крушения («Рим»). И о самих личных бедах и неудачах, крахе личных любовных надежд («утинская» тема) рассказано просто и сердечно, и потому-то не коробит возникающий рядом с этим рассказом, в прямой связи с ним, образ бедной, нищей деревенской России («Гондола»). Поэтически весомое соотношение исторической и лирической тем намечено К. Павловой единственный раз в цикле «Фантасмагории». Одна из внутренних причин возможности такого слияния — полный отказ от прежнего выспреннего, театрально-напыщенного лирического «я», обнаруживающийся уже в стихах, подводящих к «Фантасмагориям». Исчез образ поэта-жреца, чуждого обычным земным делам. Даже скромный труд переводчика осмысляется как высокое служение («Да, в годы прежние владело...»); и, наконец, сам труд, каков бы он ни был, делается мерой нравственно-исторической высоты человека:

Труд ежедневный, труд упорный!
Ты дух смиряешь непокорный,
Ты гонишь нежные мечты;
Неумолимо и сурово
По сердца области всё снова,
Как тяжкий плуг, проходишь ты.

Нужно было человеческое и поэтическое мужество для отказа от иллюзий, и К. Павлова оказалась в какой-то степени способной на такое мужество, на трезвое обнажение своих внутренних противоречий. Конечное осмысление, идейные итоги, которые делает К. Павлова, неверны, неприемлемы для нас. Но в искусстве, так же как в общественной жизни вообще, важны, существенны не только решения и итоги; важна также сама безбоязненная постановка

серьезных вопросов, проблем. В. И. Ленин говорил о Л. Толстом, что он «...сумел поставить в своих работах столько великих вопросов...»[1] С толстовскими решениями этих великих вопросов В. И. Ленин был не согласен, но самая постановка больших проблем жизни была огромной заслугой Л. Толстого. Ленинские работы о Толстом имеют два аспекта. В них дается, прежде всего, круг специфических исторических вопросов, относящихся только к Толстому, и ни к кому другому. Но есть здесь и другой аспект — общеметодологический, относящийся к любому художнику, как большому, так и совсем малому: нет и не может быть искусства, которое так или иначе не ставило бы вопросов жизни.

Проблемы, которые ставит своим творчеством К. Павлова, разумеется, совсем иные, чем у Л. Толстого, но они относятся к той же эпохе большого исторического перелома. К. Павлова с большим трудом пробивается к своей собственной проблематике, ставит ее в неясной, запутанной, половинчатой форме, и потому-то, собственно, она и является художником скромных масштабов, что большие вопросы времени часто еле брезжат в ее поэзии. Но сами-то эти проблемы отнюдь не маленькие, и потому-то известную ценность и значение имеет и ее индивидуальный художественный путь. И поэтому столь волновавшие К. Павлову жизненные вопросы, как, скажем, соотношение «исторического» и интимно-личного в человеческом характере, заново возникли в русской поэзии XX века. В «Итальянских стихах» Блока эти проблемы решаются совершенно иначе, чем в «Фантасмагориях» К. Павловой. Но для понимания этих иных решений примечателен, как параллель из истории поэзии, и духовно-художественный опыт К. Павловой.

Конечные решения, идейные итоги, которые предлагает К. Павлова в «Фантасмагориях», — это отказ не только от прежнего типа жизни, но и вообще отказ от активной исторической деятельности. Слияние исторического и личного начал в «Фантасмагориях» обосновывается всеохватывающим субъективизмом. Как личная, так и историческая жизнь представлены в виде некоего марева, вспыхивающих и потухающих видений, «фантасмагорий». Героиня цикла производит окончательные расчеты со своей прежней жизнью, решительно и бесповоротно от нее отказывается; но у нее нет и будущего:

То, с чем душа сроднилася так смело,
Во что с младых я веровала лет,

---

[1] В. И. Ленин. Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., изд. 5-е, т. 20, стр. 19.

То, чем жила, пред чем благоговела, —
Погибло всё. — Мне будущности нет.

Героиня цикла полностью отказывается как от своей личной жизни, так и от жизни общественной. Итогом «романа жизни» оказывается идея «ухода в сторону», исторической пассивности.

Подобные идейные выводы в итоговом поэтическом сборнике 1863 года оказываются неприемлемыми для разных общественных направлений — критика недвусмысленно заявляет о конце деятельности К. Павловой в русской литературе. Даже в журнале «Библиотека для чтения», достаточно далеком от революционных кругов, рецензент выражает недоумение по поводу того, что в книге нет «какого-либо единства и так называемого направления», «ясности и определенности мыслей».[1] Общий тон художественной оценки здесь пренебрежителен, выделяются только за «легкость» и «удобочитаемость» — «Фантасмагории». Крайне резко оценен сборник К. Павловой в статье В. Зайцева в «Русском слове» — критик говорит о «детском периоде»[2] развития русской поэзии; естественно, что убедительности его выводов не содействуют ни грубые личные выпады против К. Павловой, ни предшествующая разбору ее книги оценка Лермонтова как представителя «гусарской поэзии». Совсем иной характер, в смысле глубины и содержательности, носит отзыв М. Е. Салтыкова-Щедрина в «Современнике». Для Щедрина поэзия такого рода — это «продукт целого строя понятий»,[3] вырабатывающихся в определенных общественных условиях. Идейно-духовной основой тут является стремление отойти в сторону от острой общественной борьбы, спрятаться от истории и ее противоречий. Щедрин так иронически пересказывает жизненную программу, содержащуюся в книге: «...не станем обращать внимания на историю, в которой, того гляди, нас невзначай раздавят, а лучше уберемся-ка мы восвояси от всех этих обидчиков...»[4] Стремление «возвыситься» над социальными противоречиями эпохи неизбежно приводит к исторической пассивности, неприемлемой во всех вариантах для революционного демократа Щедрина.

В плане художественном такой отход от истории превращает поэзию К. Павловой в явление устаревшее, отжившее свое время —

---

[1] «Библиотека для чтения», 1863, № 8, «Библиография», стр. 81, 83.

[2] «Русское слово», 1863, № 6, «Библиографический листок», стр. 28.

[3] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. 5. М., 1937, стр. 314.

[4] Там же, стр. 315.

по Щедрину, это «гиль архивная».[1] Щедрин беспощадно резок в оценке художественных качеств лирики К. Павловой — для него это — «мотыльково-чижиковая поэзия». Такую резкость во многом объясняет напряженная общественно-политическая ситуация 1862—1863 годов. Эти годы после спада революционной волны характеризуются решительным наступлением самодержавной реакции. Естественно, что политическая двойственность, бесхребетность позиции писателя в такой обстановке должна была вызвать отпор со стороны революционно-демократических кругов. Однако саркастический тон рецензии Щедрина объясняется не только непосредственными событиями политической жизни 1862—1863 годов. Историческая пассивность как «концепция жизни» полностью неприемлема для Щедрина, главный социальный источник неприязни к такого рода художественным построениям образно раскрыт в виде измученного мужика, бредущего за своей клячонкой: эта картина противопоставляется одному из самых слабых произведений «утинской» темы — драматической «Сцене», включенной в книгу. Но с тем же сарказмом и даже горечью она противопоставлена сильному стихотворению «Труд ежедневный, труд упорный...». В такой общеисторической ситуации, по Щедрину, особенно необходима историческая активность, определенность общественной позиции писателя.

Как поэт К. Павлова выпала из русской литературы и более в нее не возвращалась, хотя прожила еще много лет. Как человек она проявила в эти трудные для нее годы незаурядное упорство, цепкость, жизненную активность. После отъезда за границу в 1856 году она сначала путешествовала, затем обосновалась в Германии и прожила всю свою последующую жизнь в Дрездене и его окрестностях. Она сильно нуждалась в первые годы своего пребывания в Германии — в письмах ее этой поры встречаются такие признания по поводу своих материальных дел: «Мое положение ужасно и с каждым днем ужаснее».[2] «Спасения нет, и надежда была бы безумие; я себе ее и не позволяю... хочу посмотреть, пересилит ли меня все, что на меня нападает; устою ли я, или нет? Покуда еще стою».[3] К. Павлова устояла: с необычайным упорством и трудолюбием она стала заниматься поденной работой в немецкой литера-

[1] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. 5, М., 1937, стр. 312.

[2] Письмо Н. А. Мельгунову от 22 апреля 1860 г. — Цит. по кн.: Б. Рапгоф. К. Павлова. Материалы для изучения жизни и творчества. Пг., 1916, стр. 71.

[3] Письмо О. А. Киреевой от 10 июля 1860 г. — Там же, стр. 73.

туре. Эта малоприметная деятельность К. Павловой в чужой для нее литературе не изучена; красочную картину хлопотливых и малодоходных трудов немолодой уже писательницы дал И. С. Аксаков в своем письме матери и сестрам от 23 января 1860 года. Наряду с описанием достойной изумления выносливости, жизнестойкости писательницы Аксаков там же чрезвычайно недоброжелательно, явно несправедливо отзывается о К. Павловой как человеке: «Казалось бы, катастрофа, ее постигшая, несчастье, истинное несчастье, испытанное ею, — разлука с сыном, потеря положения, имени, состояния, необходимость жить трудом, — все это, казалось бы, должно сильно встрясти человека, оставить на нем следы. Ничуть не бывало, она совершенно такая же, как была... В этой исполненной талантов женщине все вздор, нет ничего серьезного, задушевного, глубокого, истинного и искреннего, там на дне какое-то страшное бессердечие, какая-то тупость, неразвитость. Душевная искренность у нее только в художественном представлении, вся она ушла в поэзию, в стихи».[1] Особая, ничего не щадящая нетерпимость присуща деятелям славянофильского направления в отношении литераторов, так или иначе соприкасавшихся с их кругом и затем избравших самостоятельные художественные пути. В пристрастной, ничего не щадящей и ни во что не желавшей вдуматься оценке поведения К. Павловой И. С. Аксаковым, быть может, слышны отголоски злобы литературных партий.

Другой русский путешественник, посетивший К. Павлову в Дрездене, третьестепенный поэт С. Николаевский, находил даже, после чтения ему автором «Фантасмагорий», что талант Павловой «...попал на истинную дорогу, с тех пор как сама благодетельная судьба, вырвав нашу Коринну из пышного салона, усадила ее за письменный стол в убогой комнатке немецкого столяра».[2] Сама К. Павлова едва ли могла верить возможности своего возвращения в русскую литературу — те же «Фантасмагории» говорят совсем о другом. Из прочих русских литературных связей К. Павловой той поры имели большое значение для ее биографии отношения с А. К. Толстым. К. Павлова переводила на немецкий язык поэмы, драмы и стихотворения А. К. Толстого — «Смерть Иоанна Грозного» в ее переводе была с большим успехом представлена на немецкой сцене (Веймар, 1868 год). А. К. Толстой ценил литературные мнения

[1] И. С. Аксаков в его письмах, т. 3. М., 1892, стр. 353—355.

[2] Письмо С. Николаевского к П. А. Плетневу от 15 июля 1860 г. — Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР.

и советы К. Павловой, в том же 1863 году, решившем судьбу писательницы в русской литературе, он выхлопотал ей при дворе пенсию. Изредка К. Павлова наезжала в Россию. В дальнейшем русские литературные связи и знакомства слабели и глохли, умирали один за другим некогда близкие К. Павловой люди: Мицкевич, Павлов, Утин, ее сын. Умерла К. Павлова 2 декабря 1893 года.

К концу века К. Павлова стала забытым поэтом. Вспомнили о ее стихах в XX веке, в связи с теми пересмотрами поэтических традиций, которые были предприняты символистской школой и близкими ей литературными направлениями. В. Я. Брюсов собрал и издал в двух томах произведения К. Павловой, снабдив издание обширной вступительной статьей. Однако критические оценки творчества вновь открытого поэта отнюдь не были единодушными. Предисловие Брюсова к изданию произведений К. Павловой начинается такой фразой: «Каролина Павлова принадлежит к числу наших замечательнейших поэтов, — нужно ли это доказывать после восторженной оценки ее поэзии в отзывах Баратынского, Хомякова, Языкова, гр. А. Толстого, К. Аксакова, И. Киреевского, Шевырева, М. Каткова, К. Бальмонта и многих других?» [1] Явственный вызов по отношению к инакомыслящим звучит в этом зачине. Но в то же время — словно бы и сам автор столь крутого заявления не до конца уверен в своей правоте. Андрей Белый в известных работах о ритмике русского стиха относил ее к мастерам второй группы поэтов, куда, кроме К. Павловой, зачислялись Лермонтов, Державин, Жуковский, Баратынский, Фет. Первую группу составляли Пушкин и Тютчев. Оценка опять-таки чрезмерно высока. Значение поэзии К. Павловой тут, несомненно, преувеличено: ведь и после брюсовского издания эти стихи в сколько-нибудь широкий читательский обиход не вошли. Но, естественно, не стоит и представлять творчество К. Павловой чем-то головным, чисто рассудочным, хотя и изысканным по форме, как это делал, скажем, Вл. Ходасевич: «Муза Павловой умна и необаятельна... Не от сердца, но от сухого разума эти стихи». [2] Поэзия К. Павловой заслуживает более справедливой, более исторически обоснованной оценки.

Разноголосица в суждениях о поэзии К. Павловой в XX веке, может быть, объясняется отсутствием ясных современных аналогий к этому явлению. Существуют в истории литературы случаи прямой

---

[1] В. Я. Брюсов. Предисловие к книге: К. Павлова. Собр. соч., т. 1. М., 1915, стр. 3.

[2] Вл. Ходасевич. Одна из забытых. — Альманах «Новая жизнь», № 3. М., 1916, стр. 198.

и непосредственной преемственности. Так, скажем, идейно-художественные проблемы, волновавшие Ап. Григорьева, заново подымаются и получают иное решение в одной из важнейших творческих линий поэзии Ал. Блока. Возникает в таком случае современная аналогия, дающая возможность более или менее определенных суждений о творчестве старого поэта. Совсем иначе обстоит дело с К. Павловой. Прямых преемников у нее нет, ее творческое наследие нельзя точно «прикрепить» к какому-то определенному циклу последующих явлений литературы. Но целый ряд идейно-художественных проблем, поставленных в ее творчестве: попытки включения обобщенно-исторических элементов в анализ душевного мира героя, стремление к новому истолкованию индивидуально-человеческих и общественных связей («цикличность»), собранность, новый тип обобщенности в самом образе человека («одноцентренность»), — все это не просто формальные искания, все это носит содержательный характер, и все это в том или ином виде возникает заново в поэзии XX века. Наиболее отчетливо эти проблемы выступают у крупнейшего поэта предоктябрьской эпохи — Блока, в какой-то степени они характерны для Брюсова, они улавливаются в творчестве целого ряда других поэтов. Но здесь нет прямой преемственности, и это порождает разнобой оценок. Далее, искания К. Павловой и в области техники стиха связаны со стремлением найти новый человеческий образ в лирике, и они тоже находят отклики и продолжения в последующем развитии поэзии. Из всего этого следует сделать два вывода. Во-первых, очевидно, стихи К. Павловой занимают вполне закономерное (не перворазрядное, но все-таки достаточно заметное) место в общем процессе развития русской поэзии, в истории русской поэзии. Во-вторых, при всей сложности отношений К. Павловой с современниками, в ее поисках нового типа человеческой личности в искусстве отразились какие-то черты исторического времени, сложной, переходной общественной эпохи. Поэтому многие стихи К. Павловой и сегодня могут быть восприняты читателем как живые явления поэзии. Поэтому стихи К. Павловой и сегодня заслуживают изучения и внимания тех читателей русской поэзии, которые хотели бы знать многие и разные явления ее большой истории.

Павел Громов

СТИХОТВОРЕНИЯ

СФИНКС

Эдипа сфинкс, увы! он пилигрима
И ныне ждет на жизненном пути,
Ему в глаза глядит неумолимо
И никому он не дает пройти.

Как в старину, и нам, потомкам поздним,
Он, пагубный, является теперь,
Сфинкс бытия, с одним вопросом грозным,
Полукрасавица и полузверь.

И кто из нас, в себя напрасно веря,
Не разрешил загадки роковой,
Кто духом пал, того ждут когти зверя
Наместо уст богини молодой.

И путь кругом облит людскою кровью,
Костями вся усеяна страна...
И к сфинксу вновь, с таинственной любовью,
Уже идут другие племена.

22 апреля 1831

Е. М‹ИЛЬКЕЕВУ›

Да, возвратись в приют свой скудный:
Ответ там даст на глас певца
Гранит скалы и дол безлюдный, —
Здесь не откликнутся сердца.

Забудь, что мы тебе сказали,
Покинь, что встретил в первый раз;
Тебя и мы не разгадали,
И ты, пришлец, не понял нас.

В глухую степь, у края света,
Далеко от людских бесед,
Туда забросил бог поэта;
Ему меж нами места нет.

Не гул там разговоров скучных,
Там бури бешеный набег,
И глас лесов седых и звучных,
И шум твоих сибирских рек.

Там под родными небесами,
Не зная нашей суеты,
Забывши нас, забытый нами,
Поэтом сохранишься ты!

Ноябрь 1838

СОНЕТ

Не дай ты потускнеть душе зеркально чистой
От их дыхания, невинный ангел мой!
Как в детстве, отражай игрой ее сребристой
Все сказки чудные, дар старины святой.

Дивися хитростям русалки голосистой,
Пусть чудится тебе косматый домовой;
Волшебных тех цветов храни венок душистый,
Те суеверия — наряд любви младой.

Верь, дева милая, преданиям старинным,
В сердечной простоте внимай рассказам длинным;
Пусть люди мудрые их слушают шутя,

Но ты пугайся их вечернею порою;
Моей души твоя хотела быть сестрою,
Беспечный же поэт всегда душой дитя.

<1839>

* * *

Шепот грустный, говор тайный,
Как в груди проснешься ты
От неясной, от случайной,
От несбыточной мечты?..

И унылый, и мятежный,
Душу всю наполнит он,
Будто гул волны прибрежной,
Будто колокола звон.

И душа трепещет страстно,
Буйно рвется из оков,
Но бесплодно, но напрасно:
Нет ей звуков, нет ей слов.

О, хоть миг ей! миг летучий,
Миг единый, миг святой!
Чтоб окрепнуть немогучей,
Чтобы вымолвить немой!

Есть же светлые пророки,
Вдохновенья торжества,
Песен звучные потоки
И державные слова!..

Шепот грустный, говор тайный,
Как в груди проснешься ты
От неясной, от случайной,
От несбыточной мечты!..

<1839>

ПОЭТ

Он вселенной гость, ему всюду пир,
    Всюду край чудес;
Ему дан в удел весь подлунный мир,
    Весь объем небес;

Всё живит его, ему всё кругом
Для мечты магнит:
Зажурчит ручей — вот и в хор с ручьем
Его стих журчит;

Заревет ли лес при борьбе с грозой,
Как сердитый тигр, —
Ему бури вой лишь предмет живой
Сладкозвучных игр.

1839

ДА ИЛЬ НЕТ

За листком листок срывая
С белой звездочки полей,
Ей шепчу, цветку вверяя,
Что скрываю от людей.
Суеверное мечтанье
Видит в нем себе ответ
На сердечное гаданье —
Будет *да* мне, или *нет*?

Много в сердце вдруг проснется
Незабвенно-давних грез,
Много из груди польется
Страстных просьб и горьких слез.
Но на детское моленье,
На порывы бурных лет
Сердцу часто провиденье
Молвит милостиво: *нет!*

Стихнут жажды молодые;
Может быть, зашепчут вновь
И мечтанья неземные,
И надежда, и любовь.
Но на зов видений рая,
Но на сладкий их привет
Сердце, жизнь воспоминая,
Содрогнувшись, молвит: *нет!*

Июнь 1839

* * *

Есть любимцы вдохновений,
Есть могучие певцы;
Их победоносен гений,
Им восторги поколений,
Им награды, им венцы.

Но проходит между нами
Не один поэт немой,
С бесполезными мечтами,
С молчаливыми очами,
С сокровенною душой.

Этих манит свет напрасно,
Мысль их девственно дика;
Лишь порой, им неподвластна,
Их слеза заблещет ясно,
Вспыхнет жарко их щека.

Им внушают вдохновенье
Не высокие труды,
Их призванье, их уменье —
Слушать ночью ветра пенье
И влюбляться в луч звезды.

Пусть не их толпа лелеет;
Пусть им только даст она
Уголок, где шум немеет,
Где полудня солнце греет,
Где с небес глядит луна.

Не для пользы же народов
Вся природа расцвела:
Есть алмаз подземных сводов,
Реки есть без пароходов,
Люди есть без ремесла.

Сентябрь 1839

* * *

Да, много было нас, младенческих подруг;
На детском празднике сойдемся мы, бывало,
И нашей радостью гремела долго зала,
И с звонким хохотом наш расставался круг.

И мы не верили ни грусти, ни бедам,
Навстречу жизни шли толпою светлоокой;
Блистал пред нами мир роскошный и широкой,
И всё, что было в нем, принадлежало нам.

Да, много было нас, — и где тот светлый рой?..
О, каждая из нас узнала жизни бремя,
И небылицею то называет время,
И помнит о себе, как будто о чужой.

Декабрь 1839

* * *

Нет, не им твой дар священный!
Нет, не им твой чистый стих!
Нет, ты с песнью вдохновенной
Не пойдешь на рынок их!

Заглушишь ты дум отзывы,
И не дашь безумцам ты
Толковать твои порывы,
Клеветать твои мечты.

То, чем сердце трепетало,
Сбережешь ты от людей;
Не сорвешь ты покрывала
С девственной души своей.

Тайну грустных вдохновений
Не узнают никогда;
Ты, как призрак сновидений,
Пронесешься без следа.



Безглагольна перед светом,
Будешь петь в тиши ночей:
Гость ненужный в мире этом,
Неизвестный соловей.

<1840>

МОНАХ

Бледноликий
Инок дикий,
Что забылся ты в мечтах?
Что так страстно,
Так напрасно
Смотришь вдаль, седой монах?

Что угрюмой
Ищешь думой?
Чужд весь мир тебе равно;
Что любил ты,
С кем грустил ты, —
Всё погибло уж давно.

Бросил рано
Свет обмана
Ты для мира божьих мест;
Жизни целью
Сделал келью,
Вместо счастья, взял ты крест.

Лет ты много
Прожил строго,
Память в сердце истребя;
Для былого
Нет ни слова,
Нет ни вздоха у тебя.

Или тщетно
Долголетно
Ты смирял душевный пыл?

Иль в святыне
Ты и ныне
Не отрекся, не забыл?

Бледноликий
Инок дикий,
Что забылся ты в мечтах?
Что так страстно,
Так напрасно
Смотришь вдаль, седой монах?

Январь 1840

ДОЧЬ ЖИДА

Томно веют сикоморы,
Сад роскошный тих и нем;
Сон сомкнул живые взоры,
Успокоился гарем.

Что, главу склоня так низко,
В зале мраморной одна,
Что сидишь ты, одалиска,
Неподвижна и бледна?

Или слушаешь ты, дева,
Средь заветной тишины
Звуки дальнего напева,
Дальный гул морской волны? —

В область счастья, в область мира,
Красотой своей горда,
Ждет могучего эмира
Дочь единая жида.

Без заботы, без боязни
Здесь забудет, хоть на миг,
И победы он, и казни,
И врагов последний крик.

Много ль сладостных приманок
Для владыки ты найдешь?
Черноокких ли гречанок
Песнь влюбленную споешь?

Или гурией небесной
Перед ним запляшешь ты?
Или сказкою чудесной
Развлечешь его мечты?

«Нет, не песней, нет, не сказкой
Встречу здесь владыку я,
Но святою, чистой лаской,
Лучше плясок и пенья́.

В этот жданный час отрады
Вспомню мать свою я вновь,
Все эмировы награды,
Всю эмирову любовь.

И узнает он немую
Думу тайную мою;
Тихим вздохом очарую,
Взором страстным упою.

И, склонясь с улыбкой нежной
К повелителю лицом,
Жар груди его мятежной
Усмирю моим ножом».

Январь 1840

МОТЫЛЕК

Чего твоя хочет причуда?
Куда, мотылек молодой,
Природы блестящее чудо,
Взвился ты к лазури родной?
Не знал своего назначенья,
Был долго ты праха жилец;

Но время второго рожденья
Пришло для тебя наконец.
Упейся же чистым эфиром,
Гуляй же в небесной дали,
Порхай оживленным сапфиром,
Живи, не касаясь земли. —

Не то ли сбылось и с тобою?
Не так ли, художник, и ты
Был скован житейскою мглою,
Был червем земной тесноты?
Средь грустного так же бессилья
Настал час урочный чудес:
Внезапно расширил ты крылья,
Узнал себя сыном небес.
Покинь же земную обитель
И участь прими мотылька;
Свободный, как он, небожитель,
На землю гляди с высока!

Февраль 1840

* * *

Небо блещет бирюзою,
Золотисты облака;
Отчего младой весною
Разлилась в груди тоска?

Оттого ли, что, беспечно
Свежей радостью дыша,
Мир широкий молод вечно,
И стареет лишь душа?

Что всё живо, что всё цело, —
Зелень, песни и цветы,
И лишь сердце не сумело
Сохранить свои мечты?

Оттого ль, что с новой силой
За весной весна придет
И над каждою могилой
Равнодушно расцветет?

Февраль 1840

СТАРУХА

1

«Не гони неутомимо
По широкой мостовой,
Не скачи так скоро мимо
Ты, мой всадник удалой!

Не гляди ты так спесиво,
Ты не слушай так слегка:
Знаю я, как молчаливо
Дума точит смельчака;

Как просиживает ночи
Он, угрюм, неизлечим;
Как напрасно блещут очи
Всех красавиц перед ним.

Средь веселий залы шумной,
В тишине лесной глуши
Знаю бред его безумный,
Грусть блажной его души.

Усмехайся ты притворно,
Погоняй коня ты вскок;
Не всегда же так проворно
Пронесешься, мой ездок.

Хоть стучат коня копыты, —
Не заглушат слов моих;
Хоть скачи ты, хоть спеши ты, —
Не ускачешь ты от них

И взойдешь в мою лачужку,
Мой красавец, в добрый час;
Ты послушаешь старушку,
Не сведешь с нее ты глаз».

Пыль вдали столбом взвивалась,
Проскакал ездок давно,
И старуха засмеялась
И захлопнула окно.

И как только слышен снова
Звонкий топот бегуна,
Уж красавца молодого
Ждет старуха у окна.

Словно как стрелу вонзает
В глубину сердечных ран,
Взор за юношей бросает,
Как невидимый аркан.

И пришло то время скоро,
Что с утра до тьмы ночной
Ржал у ветхого забора
Быстроногий вороной.

Что творится у старухи
С чернобровым молодцом? —
Уж в народе ходят слухи,
Слухи странные о том.

2

Близ лампады одинокой
Он сидит, нетерпелив,
В сумрак комнаты глубокой
Очи жгучие вперив.

Что младому сердцу снится?
Ждет чего оно теперь?
Дверь, белея, шевелится,
И старуха входит в дверь;

Входит дряхлая, седая,
И садится, и опять,
Обольщая, возмущая,
Начинает речь шептать.

Юной грусти бред мятежный,
Сокровенные мечты
Одевает в образ нежный,
В непорочные черты.

Говорит про деву-чудо,
Так что верится едва,
И берет, бог весть откуда,
Ненаслушные слова:

Как щеки ее душистой
Томно блещет красота,
Как сомкнуты думой чистой
Недоступные уста;

Как очей синеет бездна
Лучезарной темнотой,
Как они сияют звездно
Над мирскою суетой;

Как спокоен взор могучий,
Как кудрей густая мгла
Обвивает черной тучей
Ясность строгого чела;

Как любить ее напрасно,
Как, всесильная, она
Увлекательно прекрасна,
Безнадежно холодна. —

А в покое темно, глухо,
Бьет вдали за часом час;
Соблазнительно старуха
Шепчет, шепчет свой рассказ,

Говорит про деву-чудо,
Так что верится едва,
И берет, бог весть откуда,
Ненаслушные слова.

3

На коне неутомимо
По широкой мостовой
Уж давно не скачет мимо
Наш красавец удалой.

В зимней стуже, в летнем зное
Он и ночью, он и днем
В запертом сидит покое
Со старухою вдвоем.

Неподвижный, весь исчахлый,
Он сидит как сам не свой
И в лицо старухе дряхлой
Смотрит с жадностью немой.

Февраль 1840

Н. М. ЯЗЫКОВУ

Ответ

Невероятный и нежданный
Слетел ко мне певца привет,
Как лавра лист благоуханный,
Как южных стран прелестный цвет.
Там вы теперь — туда, бывало,
Просилась подышать и я,
И я мечтою улетала
В те благодатные края.
Но даром не проходит время,
Мне принесло свой плод оно,
И суетных желаний бре́мя
Я с сердца сбросила давно.
И примирилась я с Москвою,
С отчизной лени и снегов:
Везде есть небо над главою,
Везде есть много чудных снов;
Везде проходят звезды мимо,
Везде напрасно любишь их,
Везде душа неукротимо
В борьбах измучится пустых.
О Риме ныне не тоскуя,
Москве сравненьем не вредя,
Стихи здесь русские пишу я
При шуме русского дождя.
Покинув скромную столицу
Для полугородских полей,

Шлю из Сокольников я в Ниццу
Дань благодарности моей —
Слова сердечного ответа
В родной, далекой стороне
За сладкозвучный дар поэта,
За вспоминанье обо мне.

Июнь 1840
Сокольники

ДУМА

Грустно ветер веет.
Небосклон чернеет,
И луна не смеет
Выглянуть из туч;
И сижу одна я,
Мгла кругом густая,
И не утихая
Дождь шумит, как ключ.

И в душе уныло
Онемела сила,
Грудь тоска стеснила,
И сдается мне,
Будто всё напрасно,
Что мы просим страстно,
Что, мелькая ясно,
Манит нас во сне.

Будто средь волнений
Буйных поколений
Чистых побуждений
Не созреет плод;
Будто всё святое
В сердце молодое,
Как на дно морское,
Даром упадет!

Август 1840

10 НОЯБРЯ 1840

Среди забот и в людной той пустыне,
Свои мечты покинув и меня,
Успел ли ты былое вспомнить ныне?
Заветного ты не забыл ли дня?
Подумал ли, скажи, ты ныне снова,
Что с верою я детской, в оный час,
Из рук твоих свой жребий взять готова,
Тебе навек без страха обреклась?
Что свят тот миг пред божьим провиденьем,
Когда душа, глубоко полюбя,
С невольным скажет убежденьем
Душе чужой: я верую в тебя!
Что этот луч, ниспосланный из рая, —
Какой судьба дорогой ни веди, —
Как в камне искра спит живая,
В остылой будет спать груди;
Что не погубит горя бремя
В ней этой тайны неземной;
Что не истлеет это семя
И расцветет в стране другой.
Ты вспомнил ли, как я, при шуме бала,
Безмолвно назвалась твоей?
Как больно сердце задрожало,
Как гордо вспыхнул огнь очей?
Взносясь над всей тревогой света,
В тебе, хоть жизнь свое взяла,
Осталась ли минута эта
Средь измененного цела?

1840

БАЛЛАДА

1558

Известно, что император Карл V отказался от престола и кончил жизнь свою, монахом, в монастыре св. Юста, в Испании, в провинции Эстремадура. Последние дни его были ознаменованы глубоким покаянием, которым думал он искупить свое непомерное властолюбие и свою жестокость к Франциску I, к Саксонскому курфирсту

и к другим, томившимся некогда в его темницах. Он даже велел заживо положить себя в гроб н совершить над собою обряд похорон.

«Здравствуй, наш монах печальный!
Мы к тебе идем опять:
Солнце в лес скатилось дальный —
Скучно в поле нам гулять.

Ведь мы дети здесь чужие:
Из родной своей земли
Мы с отцом сюда впервые
Только месяц что пришли.

Мы не свыклись с вашим краем,
И мальчишки тех полей
Говорят нам, что не знаем
Игр испанских мы детей.

Сказку расскажи нам снова
Про бойца-богатыря,
Иль про чародея злого,
Иль про славного царя».

На детей взглянул, тоскуя,
Бледный сын монастыря:
«Да, вам сказку расскажу я
Про великого царя. —

Был царь грозный, был царь славный,
Был владыка многих стран;
Слал он свой закон державный
Чрез широкий океан.

В недрах гор он черпал злато
Властью слова своего;
Солнцу не было заката
Во владениях его.

Вдаль неслись его угрозы,
Страх бросая в шум столиц:
Царские мочили слезы
Жесткий пол его темниц.

И в безумстве дум надменных,
Вырвав жалость из души, —
Брал с сирот и с угнетенных,
Как торгаш, он барыши.

Ненасытный, беспощадный,
В схватке с роком устоя,
Он забыл, в гордыне жадной,
Что над ним был Судия.

И восстал нежданный мститель,
И ворвался злой пришлец
В недоступную обитель,
В раззолоченный дворец.

Мимо зал, где страсти бдели,
Вкрался в царский он покой,
И подполз к его постели,
И впился в него змеей».

— «Кончи же, монах, уж поздно...
Что ж ты голову склонил?
Отчего взглянул так грозно?
Уж не ты ль царя убил?..»

Приподнялся в гневной мочи
Стан высокий чернеца;
Засверкали дики очи
Полумертвого лица:

«Да, убил я исполина,
Сокрушил в избытке сил!
С трона сбросил властелина,
В гроб живого положил!

Я палач его безвестный,
Искупитель старины;
Как два тигра в клетке тесной,
Мы вдвоем заключены.

Утомимся мы борьбою,
И согнет седой монах
Под ногой своей босою
Императора во прах!»

Замолчал рассказчик странный;
Дети робко отошли,
И, мелькнув чрез дол туманный,
Скрылись птичками вдали.

И кругом всё стало пусто, —
И восшедшею луной
Монастырь святого Юста
Озарился под горой.

<1841>

НА 10 НОЯБРЯ

Я помню, сердца глас был звонок,
Я помню, свой восторг оно
Всем поверяло как ребенок;
Теперь не то — тому давно.

Туда, где суетно и шумно,
Я не несу мечту свою,
Перед толпой благоразумно
Свои волнения таю.

Не жду на чувства я отзыва, —
Но и теперь перед тобой
Я не могу сдержать порыва,
Я не хочу молчать душой!

Уж не смущаюсь я без нужды,
Уж странны мне младые сны,
Но всё-таки не вовсе чужды
И, слава богу, не смешны.

Так пусть их встречу я, как прежде.
Так пусть я нынче волю дам
Своей несбыточной надежде,
Своей мечте, своим стихам;

Пусть думой мирной и приветной
Почтут прошедшее они:
Да не пройдет мой день заветный,
Как прочие простые дни;

Пусть вновь мелькнет хоть тень былого,
Пусть, хоть напрасно, в этот миг
С безмолвных уст сорвется слово,
Пусть вновь душа найдет язык!

Она опять замолкнет вскоре, —
И будет в ней под тихой мглой,
Как лучший перл в бездонном море,
Скрываться клад ее немой.

<1841>

ОГОНЬ

Блещет дол оледенелый,
Спят равнины, как гроба;
Средь степи широкой, белой
Одинокая изба.

Ночь светла; мороз трескучий,
С неба звездного луна
Прогнала густые тучи
И гуляет там одна.

И глядит она в светлицу
Всем сиянием лица
На заснувшую девицу,
На невесту молодца.

А внизу еще хозяйка
С сыном в печь кладет дрова:
«Ну, Алеша, помогай-ка!
Завтра праздник Рождества».

И, огонь раздувши, встала:
«Подожди ты здесь меня,
Дела нынче мне не мало, —
Да не трогай же огня».

Вышла вон она со свечкой;
Мальчик в сумерках один;
Смотрит, сидя перед печкой:
Брызжут искры из лучин.

И огонь, вначале вялый,
И притворчив, и хитер,
Чуть заметен, змейкой алой
Вдоль полен ползет как вор.

И сверкнул во мраке дыма,
И, свистя, взвился стрелой,
Заиграл неодолимо,
Разозлился как живой.

И глядит дитя на пламень,
И, дивяся, говорит:
«Что ты бьешься там об камень?
Отчего ты так сердит?»

— «Тесен свод, сжимают стены, —
Зашипел в печи ответ, —
Протянуть живые члены
Здесь в клеву мне места нет.

Душно мне! А погляди-ка,
Я б на воле был каков?» —
И взлетел вдруг пламень дико,
Будто выскочить готов.

«Не пылай ко мне так близко!
Ты меня, злой дух, не тронь!»
Но глазами василиска
На него глядит огонь:

«Мне ты путь устрой!
Положи мне мост,
Чтоб во весь я свой
Мог подняться рост.

Здесь я мал и слаб,
Сплю в золе как тварь;
Здесь я — подлый раб,
Там я — грозный царь!

Поднимусь могуч,
Полечу ретив,
Разрастусь до туч,
Буду диво див!»

Рыщет в печке, свищет, рдея,
Хлещет он кирпичный свод,
Зашипит шипеньем змея,
Воем волка заревет.

И ребенок, с робким взглядом,
Как испуганный слуга,
Положил поленья рядом
С полу вплоть до очага.

. . . .

Ночь ясна; луна-царица
Смотрит с звездного дворца;
Где же мирная светлица?
Где невеста молодца?

Ночь тиха; край опустелый
Хладный саваном покрыт;
И в степи широкой, белой
Столб лишь огненный стоит.

Июнь 1841
Гиреево

РУДОКОП

1

В подземной тьме, в тиши глубокой,
Уж по́д ночь рудокоп младой,
В забвеньи думы одинокой,
Сидел пред собранной рудой.
Вдали, гудя сквозь лес дремучий,
Звал всенощной протяжный звон;
Но, наклонясь над темной кучей,
Не слышал благовеста он.
Глядел он в глубь, где клад несметный
Немая покрывала мгла,
Глядел на камень тот бесцветный,
В котором власть земли спала.

А звук носился непонятный
Вдоль переходов рудника,
Жужжал как бы припев невнятный
При тихом стуке молотка.

Но он с заветного металла
Ни глаз, ни мыслей не спускал.
Пусть там, вверху, весна блистала
Цветным ковром на высях скал;
Пусть солнце там, над мертвой бездной,
В лучах купало край земной;
Пусть небосклон тысячезвездный
Сиял бездонной глубиной, —
Одно он думал.

И нежданно,
Как бы в ответ его мечте,

Заговорил вдруг кто-то странно,
Глазами блеща в темноте:

«Да, что на каменном здесь ложе
Лежит в затворе у меня,
Вам неба божьего дороже,
Светлее звезд, нужнее дня.
И что ж сиянье небосклона,
Вся эта пошлая краса
Тому, кто зрит земного лона
Неведанные чудеса?
Кто в жизнь, блестящую под мглою,
В светло-волшебный мир проник?
Кто понял мощною душою
Стихий таинственный язык?

О власти этой, праха чадо,
Ты вопрошаешь глуби дно; —
Не лгут мечты твои, и надо
Для исполненья лишь одно:

Чтоб волей ты неутомимо
Враждебный покорял металл,
Чтоб, как красавицы любимой,
Ты злата хладного искал;
Чтоб неотступный, ежечасный
В тебе был помысел один,
Чтоб не смущали думы ясной
Жена и мать, и брат, и сын.
Чтоб шел ты мимо без вниманья,
Единой страстию дыша;
Чтоб были здесь твои желанья,
Твой мир, твой рай, твоя душа.

И ты поймешь немые силы,
И будет знать твоя рука,
Где вьются золотые жилы
В груди глубокой рудника;
Увидишь ты очами духа
То, что незримо для очей;
Непостижимое для слуха
Услышит слух души твоей.

Взойдешь ты в тайную обитель,
В хранилище даров земных,
И, всех сокровищ повелитель,
Из мрака вызовешь ты их».

. . . .

Всё вновь молчало в бездне хладной
А юноша, над щелью скал
Нагнувшись, взор недвижно-жадный
В глубь безответную вперял.
И утром, как толпою шумной
Уж снова копь была полна,
Еще глядел он, как безумный,
В заветный мрак глухого дна.

2

Про рудокопа уж два года
Несется слух во всей стране:
Не знать работникам завода
Такой удачи и во сне.
Руду он словно вызывает
Из скал ударом молотка,
И хоть неопытен, а знает
Он гору лучше старика.
Вернее всякого расчета
Слывет у всех его совет,
И в руднике нейдет работа
В то время, как его там нет.
Живет теперь он при заводе
Не бурщиком уже простым;
Но всё, как будто бы в невзгоде,
Душевной немочью томим.
Женился он, тому давно ли?
Жена прекрасна, молода;
Но, видно, с ним счастливой доли
Ей не дождаться никогда.
К окну лицом склонившись белым,
Всю ночь глядит и ждет она;
А муж, что крот, по суткам целым
Живет в земле, не зная сна.

Про него уже толкует
Давно вполголоса народ,
Что он сквозь камень злато чует
И жил выщупывает ход.
И говорить о том не смели,
Но в копи видели не раз
Пред ним, во мраке темной щели,
Внезапный блеск двух волчьих глаз.

«С ним вечером об эту пору, —
В заводе сказывал старик, —
Тому два дня, пошел я в гору;
Был тих, как гроб, пустой рудник.
Шли оба молча мы чрез шлаки,
Он часто вкруг себя глядел,
Как бы неведомые знаки
На камне отыскать хотел;
И дрогнул вдруг, и с диким взглядом
Повел рукою по скале;
И мне сдалось, что с нами рядом
Тут кто-то двигался во мгле».

3

Дни проходили.
Раз в пучине
Работники, столпясь с утра,
В углу шептали: «В копи ныне
Он не был, не был и вчера.
Он у окна своей светелки
Сидел весь день. Что сталось с ним?»
Вопросы средь толпы и толки
Носились говором глухим.
Но в переходе зашумело, —
Идет: все стихли голоса;
И за привычное он дело,
Как прежде, молча принялся.
Но шел в забвении глубоком,
Глядел на камень он седой
Бессмысленным, недвижным оком,
Как на предмет ему чужой.
И вдруг, в порыве тяжкой скуки,

Сердито он отбросил лом,
Сел на земь и, скрестивши руки,
Поник задумчивым челом.
Остановилася работа;
В него вперяя взор немой,
Стояли все кругом, — а что-то
Ворчало глухо за скалой.

4

Обвив вершины, лес и воды,
Прозрачная синела тень,
Просонки дремлющей природы, —
Уже не ночь, еще не день.
Темно селение стояло;
Лишь только в горнице одной
Свеча, бледнея, догорала
Пред наступающей зарей.
Тиха была светлица эта;
Оклад иконы на стене
Блистал в полсумраке рассвета;
Белела люлька в глубине,
Но там один жилец бессонный
До утра отдыха не знал,
И шаг его неугомонный
Всю ночь там по полу стучал.
Ходил он, бледный и угрюмый,
Не чувствуя движенья ног;
От тяжкой вдруг очнувшись думы,
Взглянул в окно, — зардел восток.
День новый новую заботу
Принес — светает на дворе,
Пора вчерашнюю работу
Идти осматривать в горе.

И тихо к люльке подошел он,
И, сумрачным склонясь лицом,
Остановился, грусти полон,
Перед священным детским сном.

Чего ты ждешь? Тьмы покрывало
Уж божий мир стряхнул с чела!

Не для тебя то солнце встало,
Не для тебя земля светла;
Не для тебя улыбка сына
И кров семейного жилья!
Твой дом — та мертвая пучина,
Ее скалы — твоя семья.
Проснется твой младенец милый
Не при тебе, — пора, иди!
Иль сердца труп давно остылый
Затрепетал в твоей груди?
Или, в душе таясь безвестно,
Когда злых сил она полна,
Вдруг всходят, сквозь грехи, чудесно
Твои, о боже, семена?

Он долго возле колыбели
Стоял, — и будто перед ней
Мечты души его яснели,
Смягчался дикий блеск очей.

Знавал он эти сны благие!..
Но время!.. Звонкий час пробил,
И тихою рукой впервые
Младенца он перекрестил!

5

Еще поля кругом молчали,
Утесы спали темным сном,
Не раздавался скрежет стали,
С гранитом не боролся лом;
Еще вся грешная тревога,
Весь алчный шум земной страны
Не нарушали в мире бога
Великолепной тишины.

Шел рудокоп чрез дол росистый,
И, подходя к немым скалам,
Впивал всей грудью ветр душистый,
Земли весенний фимиам.
И сверху взор он бросил ясный
В глухое, смрадное жерло:

Да, он отвергнет дар напрасный,
Покинет мрака ремесло!
Воскреснет вольною душою,
И снова будет мирно спать,
И видеть солнце над собою,
И божьим воздухом дышать.
В последний раз, живых могила,
Проходит он твой темный путь!..

Безумец! будто б то, что было,
Так можем с жизни мы стряхнуть!

В то утро, средь тиши завода,
Вдруг словно гром загрохотал;
И крик пронзительный народа
Взвился кругом: «Обвал! Обвал!»
Над потрясенной глубиною
Сбежались рудокопы вмиг:
Глядят встревоженной толпою —
Широко завален рудник.

И взором бледные мужчины
Сочлися — нет лишь одного:
Не отдал грозный дух пучины
Любимца только своего.

Июль 1841
Гиреево

ГРАФИНЕ Р‹ОСТОПЧИНОЙ›

Как сердцу вашему внушили
К родной Москве такую спесь?
Ее ж любимицей не вы ли
Так мирно расцветали здесь?
Не вас должна б сует гордыня
Вести к хуле своей страны:
Хоть петербургская графиня, —
Вы москвитянкой рождены.

Когда б не в старом граде этом
Впервой на свет взглянули вы,

Быть может, не были б поэтом
Теперь на берегах Невы.
Москвы была то благостыня,
В ней разыгрались ваши сны;
Хоть петербургская графиня, —
Вы москвитянкой рождены.

Ужель Москвы первопрестольной
Вам мертв и скучен дивный вид!
Пред ней, хоть памятью невольной,
Ужель ваш взор не заблестит?
Ужель для сердца там пустыня,
Где мчались дни его весны?
Хоть петербургская графиня, —
Вы москвитянкой рождены.

Иль ваших дум не зажигая,
Любви вам в душу не вселя,
Вас прикрывала сень родная
Семисотлетнего Кремля?
Здесь духа русского святыня,
Живая вера старины;
Здесь, петербургская графиня,
Вы москвитянкой рождены.

Июль 1841
Гиреево

* * *

К тебе теперь я думу обращаю,
Безгрешную, хоть грустную, — к тебе!
Несусь душой к далекому мне краю
И к отчужденной мне давно судьбе.

Так много лет прошло, — и дни невзгоды,
И радости встречались дни не раз;
Так много лет, — и более, чем годы,
События переменили нас.

Не таковы расстались мы с тобою!
Расстались мы, — ты помнишь ли, поэт? —

А счастья дар предложен был судьбою;
Да, может быть, а может быть — и нет!

Кто ж вас достиг, о светлые виденья!
О гордые, взыскательные сны?
Кто удержал минуту вдохновенья?
И луч зари, и ток морской волны?

Кто не стоял, испуганно и немо,
Пред идолом развенчанным своим?..

Июнь 1842
Гиреево

* * *

Была ты с нами неразлучна,
И вкруг тебя, средь тишины,
Вились светло, носились звучно
Младые призраки и сны.
Жила в пределе мирно-тесном
Одна ты с думою своей,
Как бы на острове чудесном,
За темной шириной морей.
Земных желаний ты не знала,
Не знала ты любви земной;
И грохот жизненного вала
Роптал вдали, как гром глухой.
И стала ныне ты не наша!
Восторг погас, порыв утих;
Познанья роковая чаша
Уже коснулась уст твоих.
Забудешь тайну вдохновений
В борьбах земного бытия;
В огне страданий и волнений
Перегорит душа твоя.

Нет! не прав ваш ропот тайный!
Не мечтаний сладкий хмель,
Не души покой случайный
Ей назначенная цель.

Пусть пловца окрепнет сила,
Покоряя бурный вал!
Пусть пройдет через горнило
Неочищенный металл!

Осуждает провиденье
Сердце жаркое узнать
Горьких мук благословенье,
Жертв высоких благодать.

Нет! есть сила для полета
В смелом трепете крыла!
Та беспечная дремота
Жизнью духа не была.

Он зрелей теперь для дела,
Он светлей для вольных дум;
Что умом тогда владело,
Тем владеет ныне ум.

Июнь 1842
Гиреево

* * *

Читала часто с грустью детской
Сказание святое я,
Как ночью в край Геннезарецкой
Неслась апостолов ладья.

И в переливы мглы ненастной
Смотря, они узрели вдруг
Как шел к ним морем образ ясный,
И их сердца стеснил испуг.

И над волной неугомонной
К ним глас божественный проник:
«То я! дерзайте!» — И смущенный
Тогда ответил ученик:

«Коль это ты, мне сердце ныне,
Учитель, ободри в груди:
Вели идти мне по пучине».
И рек господь ему: «Иди!»

И он пошел, — и бездны влага
В сплошной сливалася кристалл,
И тяжесть твердого он шага
На зыбки воды упирал.

Но бурный ветр взорвал пучину;
И в немочи душевных сил
Он, поги́бая, Девы к сыну
Молящим гласом возопил.

И мы, младые, веры полны,
По морю бытия пойдем;
Но скоро почернеют волны
И дальный загрохочет гром.

И усумнимся мы душою,
И средь грозящей ночи тьмы
К тебе с трепещущей мольбою
Взываем, господи, и мы.

Не нам до божьего примера
Достигнуть силою святой!
Не наша уцелеет вера
В грозе, над глубью роковой!

Кто жизни злое испытанье
Могучим духом встретить мог?
Кто жар любви и упованье,
Или хоть грусть в душе сберег?

Все чувства вянут в нас незримо;
Все слезы сохнут, как роса;
Земля и небо идут мимо:
Его лишь вечны словеса.

Июнь 1842
Гиреево

РАССКАЗ

Чрез сад пустой и темный кто-то
Средь летней ночи шел один;
Владела томная дремота
Объемом сумрачных равнин.
Шумел какой-то праздник дальный;
Сквозь мглу аллеи проникал
И звонкий гул музыки бальной,
И яркий луч блестящих зал.
Шел дальше, тихою походкой,
Мечтатель тот, потупя взор;
И вышел вон, где за решеткой
Темнел неведомый простор.
И в мох, под липою ветвистой,
Он лег, задумчив и угрюм;
К нему туда, чрез дол душистый,
Не доходил безумный шум,
Лишь что-то в зелени зыбучей
Вздыхало, будто в грезах сна;
А перед ним над черной тучей
Стояла бледная луна.
Над тучей так она стояла
В былое время, в ночь одну;
Чуть внятно так же звуки бала
Неслись в лесную тишину...

«Ужель так памятно мгновенное?
Увы! ужель вовеки нам
Невозвратимо незабвенное,
Невозвратимо здесь и там?..
Родное, бросив жизнь телесную,
От нас умчится навсегда ль
В неизмеримость неизвестную,
В непроницаемую даль?..
Где вы, далекие, любимые?
Где вас душою отыскать?
Мои мечты неусыпимые
В какой предел мне к вам послать?
Кто даст мне власть, сквозь отдаление
Хоть взор единый пророня,

Теперь узреть вас на мгновение,
Узнать, вы помните ль меня?! .»
Умолк он; и ответ в долине
Послышался средь пустоты:
«Далеких вновь ты хочешь ныне
Увидеть, — их увидишь ты!»

Взглянул, трепеща поневоле,
В объем безлюдной он страны:
Ходил лишь ветер в чистом поле,
Сиял в пространстве свет луны.

И повторил, звуча в пустыне,
Тот голос неземной груди:
«Далеких вновь ты хочешь ныне
Увидеть, — встань же, — и гляди!»
Минуты есть, в которых слово
Не пропадет, как звук, вдали:
Желанья своего слепого
Да убоится ж сын земли!
Пришелец встал. Струею мглистой,
Долины наполняя дно,
Всходил пред ним туман волнистый,
Раскинулся как полотно,
Покрыл, сливаясь серовато,
Весь край широкой пеленой,
И как зловещий звон набата
Слова гудели в тьме ночной.

«Гляди в туман, из дального предела
Зови душой возлюбленных твоих!
Те<х>, чья любовь к тебе не охладела,
Ты в той дали светло увидишь их,
И тускло — тех, кто мыслью равнодушной
Тебя порой припомнят, разлюбя;
И будешь ты искать сквозь мрак воздушный
Напрасно всех, забывших про тебя!»
И замолчал железный голос.
Стоял пришлец в безмолвной мгле,
Как бы готов на бой, и волос
На хладном двигался челе.

Что вспоминал он в думе странной!
Чего боялся в этот миг?
Какой он горести нежданной
Возможность мыслию постиг?..
И вдруг забилось сердце гордо,
И смело вспыхнул взгляд младой;
Глубоко, недвижимо, твердо
Стал он глядеть в туман седой.

И вот, — как призрак сновидений,
В дали, сквозь переливный дым,
Мелькнули три, четыре тени
Неясно, бледно перед ним.
И он глядел, — и в грудь вникало
Тоски жестокой лезвее;
Глядел он в грозное зерцало,
И сердце назвало *ее* —
Ее, кому с любовной верой
Душа молилася его.
Впилися взоры в сумрак серый,
Впились, — не встретив ничего!

Не раз средь жизненного Мая,
В час испытанья, в час один
Глава покрылась удалая
Печальным бременем седин.
Но чаще — в полной силе века,
В свои цветущие года
Стареет сердце человека
В одно мгновенье — навсегда!
Поник страдалец головою,
Слеза застыла, не скатясь;
С своей последнею мечтою
Простился он в тот горький час.
Поблекло чувство молодое
В ту ночь; что не изведал он?
Иль откровенье роковое,
Или безумный сердца сон.

. . . .

О! смерти в день, в день возрожденья
Согреет ли нам душу вновь,

Следы земного искаженья
Сотрет ли промысла любовь?
Исчезнет ли клеймо страданий,
Жестоких опытов печать?
Там снова радостных незнаний
Святая есть ли благодать?
О, есть ли юность там другая
Для истощенных сердца сил!..
Спадает, горестно блистая,
Слеза на таинство могил.

Июль 1842
Гиреево

ДОННА ИНЕЗИЛЬЯ

Он знает то, что я таить должна:
Когда вчера, по улицам Мадрита,
Суровый брат со мною шел сердито, —
Пред пришлецом, мантильею покрыта,
Вздохнула я, немой тоски полна.

Он знает то, что я таить должна:
В ночь лунную, когда из мрака сада
Его ко мне неслася серенада, —
От зоркого его не скрылось взгляда,
Как шевелился занавес окна.

Он знает то, что я таить должна:
Когда, в красе богатого убора,
Вошел он в цирк, с мечом тореадора, —
Он понял луч испуганного взора,
И почему сидела я бледна.

Он знает то, что я таить должна:
Он молча ждет, предвидя день награды,
Чтобы любовь расторгла все преграды,
Как тайный огнь завешенной лампады,
Как сильная, стесненная волна!

Июль 1842
Гиреево

Е. А. БАРАТЫНСКОМУ

Случилося, что в край далекий
Перенесенный юга сын
Цветок увидел одинокий,
Цветок отеческих долин.

И странник вдруг припомнил снова,
Забыв холодную страну,
Предела дального, родного
Благоуханную весну.

Припомнил, может, миг летучий,
Миг благодетельных отрад,
Когда впивал он тот могучий,
Тот животворный аромат.

Так эти, посланные вами,
Сладкоречивые листы
Живили, будто бы вы сами,
Мои заснувшие мечты.

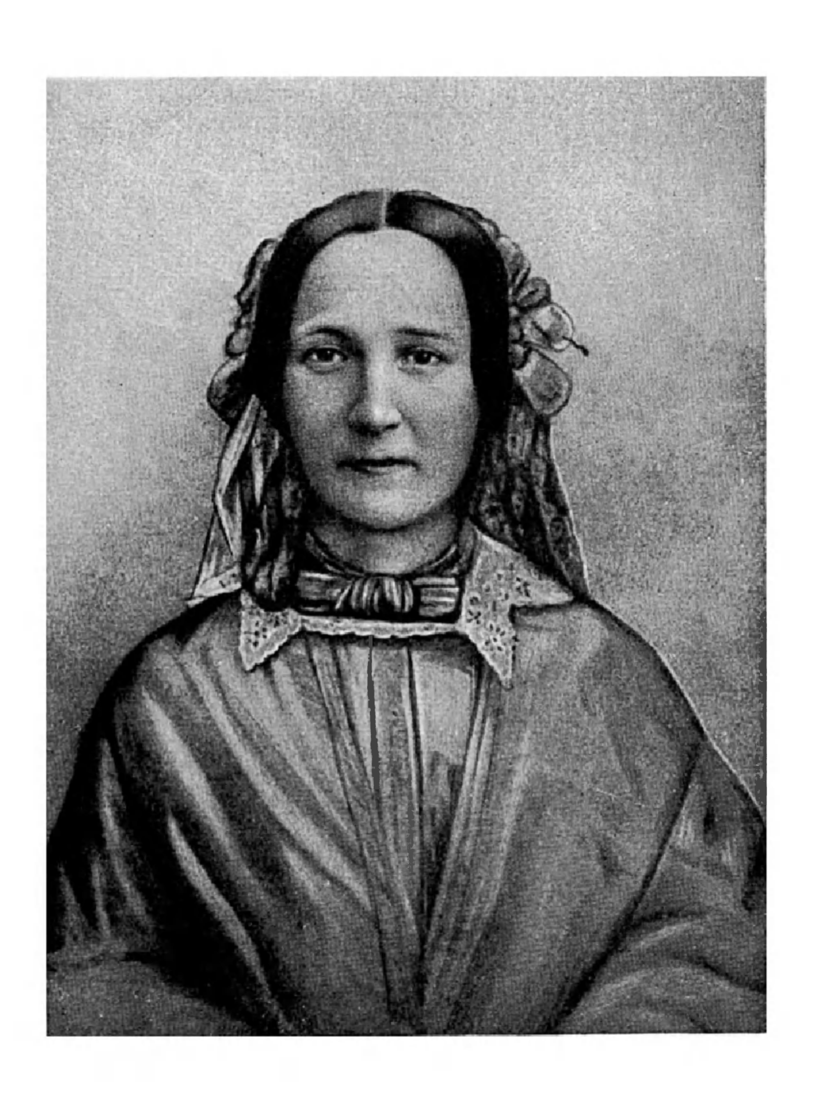
Последней, мимоходной встречи
Припомнила беседу я:
Все вдохновительные речи
Минут тех, полных бытия!

За мыслей мысль неслась, играя,
Слова, катясь, звучали в лад:
Как лед с реки от солнца мая,
Стекал с души весь светский хлад.

Меня вы назвали поэтом,
Мой стих небрежный полюбя,
И я, согрета вашим светом,
Тогда поверила в себя.

Но тяжела святая лира!
Бессмертным пламенем спален,
Надменный дух с высот эфира
Падет, безумный Фаэтон!





Но вы, кому не изменила
Ни прелесть благодатных снов,
Ни поэтическая сила,
Ни ясность дум, ни стройность слов, —

Храните жар богоугодный!
Да цепь всех жизненных забот
Мечты счастливой и свободной,
Мечты поэта не скует!

В музыке звучного размера
Избыток чувств излейте вновь;
То дар, живительный, как вера,
Неизъяснимый, как любовь.

Июль 1842
Гиреево

Н. М. ЯЗЫКОВУ

Ответ на ответ

Приветствована вновь поэтом
Была я, как в моей весне;
И год прошел, — сознаться в этом
И совестно, и грустно мне.
Год — и в бессилии ленивом
Покоилась душа моя,
И на далекий глас отзывом
Здесь не откликнулася я!
Год — и уста мои не знали
Гармонии созвучных слов,
И думы счастья иль печали,
Мелькая мимо, не блистали
Златою ризою стихов.
Кипела чаще даром неба
Младая грудь: была пора,
Нужней насущного мне хлеба
Казалась звучных рифм игра;
В те дни прекрасными строфами
Не раз их прославляли вы,
Когда явились между нами
Впервой, счастливый гость Москвы.

Я помню это новоселье,
Весь этот дружный, юный круг,
Его беспечное веселье,
Неограниченный досуг.
Как много все свершить хотели
В благую эту старину!
Шел каждый, будто к верной цели,
К неосязаемому сну —
И разошлись в дали туманной.
И полдня наступает жар —
И сердца край обетованный
Как легкий разлетелся пар!
Идут дорогою заветной;
Пускай же путники порой
Услышат где-то глас приветный,
«Ау» знакомый за горой!
Не много вас, одноплеменных,
Средь шума алчной суеты,
Жрецов коленопреклоненных
Перед кумиром красоты!
И первый пал! — и в днях расцвета
Уж и другой лечь в гроб успел!..
Да помнит же поэт поэта
В час светлых дум и стройных дел!
Переносяся в край из края,
Чрез горы, бездны, глушь и степь,
Да съединит их песнь живая,
Как электрическая цепь!

1842
Гиреево

ДУМА

Вчера листы изорванного тома
Попались мне, — на них взглянула я;
Забытое шепнуло вдруг знакомо,
И вспомнилась мне вся весна моя.

То были вы, родные небылицы,
Моим мечтам ласкающий ответ;

То были те заветные страницы,
Где детских слез я помню давний след.

И мне блеснул сквозь лет прожитых тени
Ребяческий, великолепный мир;
Блеснули дни высоких убеждений
И первый мой, нездешний мой кумир.

Так, стало быть, и в жизни бестревожной
Должны пройти мы тот же грустный путь,
Бросаем всё, увы, как дар ничтожный,
Что мы как клад в свою вложили грудь!

И я свои покинула химеры,
Иду вперед, гляжу в немую даль;
Но жаль мне той неистощимой веры,
Но мне порой младых восторгов жаль!

Кто оживит в душе былые грезы?
Кто снам моим отдаст их прелесть вновь?
Кто воскресит в них лик маркиза Позы?
Кто к призраку мне возвратит любовь?..

Июнь 1843

ДУМА

Хотя усталая, дошла я
До полпути;
И легче, цель уж познавая,
Вперед идти.

Уроки жизни затвердила
Я наизусть;
О том, что было сердцу мило,
Умолкла грусть.

И много чувств прошло, как тени,
Не виден след;
И многих бросила стремлений
Я пустоцвет.

Иду я мирною равниной,
Мой полдень тих.
Остался голос лишь единый
Времен других.

И есть мечта в душе холодной,
Одна досель;
Но думе детской и бесплодной
Предаться мне ль?

Когда свой долг уж ныне ясно
Ум оценил;
Когда мне грех терять напрасно
Остатки сил!

Но этот сон лежал сначала
В груди моей;
Но эта вера просияла
Мне с первых дней.

Стремился взор в толпе коварной
Всегда, везде
К той предугаданной, Полярной,
Святой звезде.

И мнилось, если б невозвратно
И все зашли,
Одна б стояла беззакатно
Над мглой земли.

И хоть ищу с любовью тщетной,
Хоть мрак глубок, —
Сдается мне, что луч заветный
Солгать не мог,

Что он блеснет над тучей черной
Душе в ответ...
И странен этот мне упорный,
Напрасный бред.

Октябрь 1843

СТРАННИК

С вершин пустынных я сошел,
Ложится мрак на лес и дол,
Гляжу на первую звезду;
Далек тот край, куда иду!

Ночь расстилает свой шатер
На мира божьего простор;
Так полон мир! мир так широк, —
А я так мал и одинок!

Белеют хаты средь лугов.
У всякого свой мирный кров,
Но странник с грустию немой
Страну проходит за страной.

На многих тихих долов сень
Спадает ночь, слетает день;
Мне нет угла, мне нет гнезда!
Иду, и шепчет вздох: куда?

Мрачна мне неба синева,
Весна стара, и жизнь мертва,
И их приветы — звук пустой:
Я всем пришлец, я всем чужой!

Где ты, мной жданная одна,
Обетованная страна!
Мой край любви и красоты —
Мир, где цветут мои цветы,

Предел, где сны мои живут,
Где мертвые мои встают,
Где слышится родной язык.
Где всё, чего я не достиг!

Гляжу в грядущую я тьму,
Вопрос один шепчу всему;
«Блаженство там, — звучит ответ, —
Там, где тебя, безумец, нет!»

Ноябрь 1843

ДУМА

Когда в раздор с самим собою
Мой ум бессильно погружен,
Когда лежит на нем порою
Уныло-праздный полусон, —

Тогда зашепчет вдруг украдкой,
Тогда звучит в груди моей
Какой-то отзыв грустно-сладкой
Далеких чувств, далеких дней.

Жаль небывалого мне снова,
Простор грядущего мне пуст:
Мелькнет призра́к, уронит слово,
И тщетный вздох сорвется с уст.

Но вдруг в час дум, в час грусти лживой,
Взяв право грозное свое,
Души усталой и ленивой
Перстом коснется бытие.

И в тайной силе вечно юный
Ответит дух мой на призыв;
Другие в нем проснутся струны,
Другой воскреснет в нем порыв.

Гляжу в лицо я жизни строгой
И познаю, что нас она
Недаром вечною тревогой
На бой тяжелый звать вольна;

И что не тщетно сердце любит
Средь горестных ее забот;
И что не всё она погубит,
И что не всё она возьмет.

Ноябрь 1843

ДУМА

Не раз себя я вопрошаю строго,
И в душу я гляжу самой себе;
Желаний в ней уже завяло много,
И многое уступлено судьбе.

И помню я, дивясь, как в жизни все мы,
Про раннюю, обильную весну,
И день за днем на детские эдемы
Туманную спускает пелену.

Но с каждой мглой неведомая сила
Таинственно встает в груди моей,
Как там блестят небесные светила
Яснее всё, чем ночь кругом темней.

Я верую, что юные надежды
Исполнятся, хоть в образе другом,
Что час придет, где мы откроем вежды,
Что все к мете нежданно мы дойдем;

Что ложны в нас бессилье и смущенье,
Что даст свой плод нам каждый падший цвет,
Что всем борьбам в душе есть примиренье,
Что каждому вопросу есть ответ.

Май 1844

Н. М. Я<ЗЫКО>ВУ

Средь праздного людского шума
Вдруг, как незримый херувим,
Слетает тихо дева-дума
Порой к возлюбленным своим.

И шепчет, оживляя странно
Всё, что давно прошло сполна.
Сошлась не раз я с ней нежданно,
И вот, знакомая, она

В день чудотворца Николая
Опять является ко мне
И, многое напоминая,
Заводит речь о старине —

Как, пешеходцем недостойным
С трудом свершив вы путь святой,
Меня стихом дарили стройным
И ложкою колесовой.

И ваш подарок берегу я,
И помню ваш веселый стих.
Хвала тем дням! Вдали кочуя,
И вы не забывали их.

Сменилось всё; жилец чужбины,
С тех пор поведали вы нам
Ваш переход чрез Апеннины
К италиянским берегам.

Но той страны, где сердце дома,
Неколебимы в нем права:
И вы, услышав: *«Ecce Roma!»* [1]
Вздохнули, может: «Где Москва?»

И снова к ней с любовью детской
Пришли вы после тяжких лет,
Не тот певец уж молодецкой,
Но всё избранник и поэт;

Но всё на светские волненья
Смотря с душевной высоты;
Но веря в силу вдохновенья
И в святость песни и мечты;

Но снов младых не отвергая,
Но в битве духом устоя.
Так пусть и я уже другая,
Но не отступница и я.

---

[1] Это Рим (лат.). — *Ред.*

Заговоря о днях рассвета
И нынче вспомнив о былом,
Пусть праздник именин поэта
Сердечным встречу я стихом.

Май 1844

ДУМА

Сходилась я и расходилась
Со многими в земном пути;
Не раз мечтами поделилась,
Не раз я молвила: «Прости!»

Но до прощанья рокового
Уже стояла я одна;
И хладное то было слово,
Пустой отзы́в пустого сна.

И каждая лишала встреча
Меня призра́ка моего,
И не звала я издалеча
Назад душою никого.

И не по них мне грустно было,
Мне грустно было по себе,
Что сердца радостная сила
Уступит жизненной судьбе;

Что не нисходит с небосклона
Богиня к жителям земным;
Что все мы, с жаром Иксиона,
Обнимем облако и дым.

Мне было тягостно и грустно,
Что лжет улыбка и слеза,
И то, что слышим мы изустно,
И то, чему глядим в глаза.

И я встречаю, с ним не споря,
Спокойно ныне бытие;
И горестней младого горя
Мне равнодушие мое.

Июнь 1844

МОСКВА

День тихих грез, день серый и печальный;
На небе туч ненастливая мгла,
И в воздухе звон переливно-дальный,
Московский звон во все колокола.

И, вызванный мечтою самовластной,
Припомнился нежданно в этот час
Мне час другой, — тогда был вечер ясный,
И на коне я по полям неслась.

Быстрей! быстрей! и у стремнины края
Остановив послушного коня,
Взглянула я в простор долин: пылая,
Касалось их уже светило дня.

И город там палатный и соборный,
Раскинувшись широко в ширине,
Блистал внизу, как бы нерукотворный,
И что-то вдруг проснулося во мне.

Москва! Москва! что в звуке этом?
Какой отзыв сердечный в нем?
Зачем так сроден он с поэтом?
Так властен он над мужиком?

Зачем сдается, что пред нами
В тебе вся Русь нас ждет любя?
Зачем блестящими глазами,
Москва, смотрю я на тебя?

Твои дворцы стоят унылы,
Твой блеск угас, твой глас утих,
И нет в тебе ни светской силы,
Ни громких дел, ни благ земных.

Какие ж тайные понятья
Так в сердце русском залегли,
Что простираются объятья,
Когда белеешь ты вдали?

Москва! в дни страха и печали
Храня священную любовь,
Не даром за тебя же дали
Мы нашу жизнь, мы нашу кровь.

Не даром в битве исполинской
Пришел народ сложить главу
И пал в равнине Бородинской,
Сказав: «Помилуй, бог, Москву!»

Благое было это семя,
Оно несет свой пышный цвет,
И сбережет младое племя
Отцовский дар, любви завет.

1844
Бутырки

* * *

Преподаватель христианский, —
Он духом тверд, он сердцем чист;
Не злой философ он германский,
Не беззаконный коммунист!

По собственному убежденью
Стоит он скромно выше всех!..
Невыносим его смиренью
Лишь только ближнего успех.

Около 1845

К ***

В толпе взыскательно холодной
Стоишь ты, как в чужом краю;
Гляжу на твой порыв бесплодный,
На праздную тоску твою.

Владела эта боль и мною
В мои тревожные года;
И ныне, может, я порою
Еще не вовсе ей чужда.

Зачем, среди душевной лени,
Опасной тешиться игрой?
К чему ребяческие пени,
Желанье участи другой?

Молчи, безумная! Напрасно
Не вызывай своей мечты!
Всё, что ты требуешь так страстно,
Со вздохом бросила бы ты.

Не верь сладкоречивой фее,
Чти непонятный произвол!
Кто тщетно ищет, не беднее
Того, быть может, кто нашел.

Октябрь 1845

ТРИ ДУШИ

> Но грустно думать, что напрасно
> Была нам молодость дана.

В наш век томительного знанья,
Корыстных дел
Шли три души на испытанья
В земной предел.
И им рекла господня воля:
«В чужбине той
Иная каждой будет доля
И суд иной.

Огнь вдохновения святого
Даю я вам;
Восторгам вашим будет слово
И власть мечтам.
Младую грудь наполню каждой,
В краю земном
Понятьем правды, чистой жаждой,
Живым лучом.
И если дух падет ленивый
В мирском бою, —
Да не винит ваш ропот лживый
Любовь мою».
И на заветное призванье
Тогда сошли
Три женские души в изгнанье
На путь земли.

Одной из них судило провиденье
Впервые там увидеть дольный мир,
Где, воцарясь, земное просвещенье
Устроило свой Валфазарский пир.
Ей пал удел познать неволи светской
Всю лютую и пагубную власть,
Ей с первых лет велели стих свой детской
К ногам толпы смиренной данью класть;
Свои нести моления и пени
В житейский гул, на площадь людных зал,
Потехою служнть холодной лени,
Быть жертвою бессмысленных похвал.
И с пошлостью привычной, безотлучной
Сроднилася и ужилась она,
Завстный дар ей стал гремушкой звучной,
Заглохли в ней святые семена.
О днях благих, о прежней ясной думе
Она теперь не помнит и во сне;
И тратнт жизнь в безумном светском шуме,
Своей судьбой довольная вполне.

Другую бросил бог далеко
В американские леса;
Велел ей слушать одиноко
Пустынь святые голоса;

Велел бороться ей с нуждою,
Противодействовать судьбе,
Всё отгадать самой собою,
Всё заключить в самой себе.
В груди, испытанной страданьем,
Хранить восторга фимиам;
Быть верной тщетным упованьям
И неисполненным мечтам.
И с данным ей тяжелым благом
Она пошла, как бог судил,
Бесстрашной волью, твердым шагом,
До истощенья юных сил.
И с высоты, как ангел веры,
Сияет в сумраке ночном
Звезда не нашей полусферы
Над гробовым ее крестом.

Третья — благостию бога
Ей указан мирный путь,
Светлых дум ей было много
Вложено в младую грудь.
Сны в ней гордые яснели,
Пелись песни без числа,
И любовь ей с колыбели
Стражей верною была.
Все даны ей упоенья,
Блага все даны сполна,
Жизни внутренней движенья,
Жизни внешней тишина.
И в душе, созрелой ныне,
Грустный слышится вопрос:
В лучшей века половине
Что ей в мире удалось?
Что смогла восторга сила?
Что сказал души язык?
Что любовь ее свершила,
И порыв чего достиг? —
С прошлостью, погибшей даром,
С грозной тайной впереди,
С бесполезным сердца жаром,
С волей праздною в груди,
С грезой тщетной и упорной,

Может, лучше было ей
Обезуметь в жизни вздорной
Иль угаснуть средь степей...

Ноябрь 1845

ВЕЗДЕ И ВСЕГДА

Где ни бродил с душой унылой,
Как ни текли года, —
Всё думу слал к подруге милой
Везде я и всегда.

Везде влачил я, чужд забавам,
Как цепь, свою мечту:
И в Альбионе величавом,
И в диком Тимбукту,

В Москве, при колокольном звоне
Отчизну вновь узрев,
В иноплеменном Лиссабоне,
Средь португальских дев,

И там, где снится о гяуре
Разбойнику в чалме,
И там, где пляшет в Сингапуре
Индейская альмэ,

И там, где гóрода под лавой
Безмолвствуют дома,
И там, где царствует со славой
Тамеа-меа-ма,

Когда я в вальсе мчался с дамой,
Одетою в атлас,
Когда пред грозным далай-ламой
Стоял я, преклонясь,

Когда летел я в авангарде
На рукопашный бой,
Когда на мрачном Сен-Готарде
Я слушал ветра вой,

Когда я в ложе горе Теклы
Делил, как весь Берлин,
Когда глядел на пламень Геклы,
Задумчив и один,

В странах далеких или близких,
В тревоге тяжких дней,
На берегах миссисипийских,
На высях Пиреней,

На бурном море, без компаса,
В лесу, в ночной поре,
В глухих степях на Чимборасо,
В столице Помаре, —

Где ни бродил с душой унылой,
Как ни текли года, —
Всё думу слал к подруге милой
Везде я и всегда.

<1846>

* * *

Зовет нас жизнь: идем, мужаясь, все мы;
Но в краткий час, где стихнет гром невзгод,
И страсти спят, и споры сердца немы, —
Дохнет душа среди мирских забот,
И вдруг мелькнут далекие эдемы,
И думы власть опять свое берет.

Остановясь горы на половине,
Пришлец порой кругом бросает взгляд:
За ним цветы и майский день в долине,
А перед ним — гранит и зимний хлад.
Как он, вперед гляжу я реже ныне,
И более гляжу уже назад.

Там много есть, чего не встретить снова;
Прелестна там и радость и беда;

Там много есть любимого, святого,
Разбитого судьбою навсегда.
Ужели всё душа забыть готова?
Ужели всё проходит без следа?

Ужель вы мне — безжизненные тени,
Вы, взявшие с меня, в моей весне,
Дань жарких слез и горестных борений,
Погибшие! ужель вы чужды мне
И помнитесь, среди сердечной лени,
Лишь изредка и тёмно, как во сне?

Ты, с коей я простилася, рыдая,
Чей путь избрал безжалостно творец,
Святой любви поборница младая, —
Ты приняла терновый свой венец
И скрыла глушь убийственного края
И подвиг твой, и грустный твой конец.

И там, где ты несла свои страданья,
Где гасла ты в несказанной тоске, —
Уж, может, нет в сердцах воспоминанья,
Нет имени на гробовой доске;
Прошли года — и вижу без вниманья
Твое кольцо я на своей руке.

А как с тобой рассталася тогда я,
Сдавалось мне, что я других сильней,
Что я могу любить, не забывая,
И двадцать лет грустеть, как двадцать дней.
И тень встает передо мной другая
Печальнее, быть может, и твоей!

Безвестная, далекая могила!
И над тобой промчалися лета!
А в снах моих та ж пагубная сила,
В моих борьбах та ж грустная тщета;
И как тебя, дитя, она убила, —
Убьет меня безумная мечта.

В ночной тиши ты кончил жизнь печали;
О смерти той не мне бы забывать!

В ту ночь два-три страдальца окружали
Отжившего изгнанника кровать;
Смолк вздох его, разгаданный едва ли;
А там ждала и родина, и мать.

Ты молод слег под тяжкой дланью рока!
Восторг святой еще в тебе кипел;
В грядущей мгле твой взор искал далеко
Благих путей и долговечных дел;
Созрелых лет жестокого урока
Ты не узнал, — блажен же твой удел!

Блажен! — хоть ты сомкнул в изгнанье вежды!
К мете одной ты шел неколебим;
Так, крест прияв на бранные одежды,
Шли рыцари в святой Ерусалим,
Ударил гром, в прах пала цель надежды, —
Но прежде пал дорогой пилигрим.

Еще другой! — Сердечная тревога,
Как чутко спишь ты! — да, еше другой! —
Чайльд-Гарольд прав: увы! их слишком много,
Хоть их и всех так мало! — но порой
Кто не подвел тяжелого итога
И не поник, бледнея, головой?

Не одного мы погребли поэта!
Судьба у нас их губит в цвете дней;
Он первый пал; — весть памятна мне эта!
И раздалась другая вслед за ней:
Удачен вновь был выстрел пистолета.
Но смерть твоя мне в грудь легла больней.

И неужель, любимец вдохновений,
Исчезнувший, как легкий призрак сна,
Тебе, скорбя, своих поминовений
Не принесла родная сторона?
И мне́ пришлось тебя назвать, Евгений,
И дань стиха я дам тебе одна?

Возьми ж ее ты в этот час заветный,
Возьми ж ее, когда молчат они.

Увы! зачем блестят сквозь мрак бесцветный
Бывалых чувств блудящие огни?
Зачем порыв и немочный, и тщетный?
Кто вызвал вас, мои младые дни?

Что, бледный лик, вперяешь издалёка
И ты в меня свой неподвижный взор?
Спокойна я; шли годы без намека;
К чему ты здесь, ушедший с давних пор?
Оставь меня! — белеет день с востока,
Пусть призраков исчезнет грустный хор.

Белеет день, звезд гасит рой алмазный,
Зовет к труду и требует дела;
Пора свершать свой путь однообразный,
И всё забыть, что жизнь превозмогла,
И отрезветь от хмеля думы праздной,
И след мечты опять стряхнуть с чела.

Июль 1846
Гиреево

И. С. АК<САКО>ВУ

Всё начатое свершится,
Многого след пропадет.

В часы раздумья и сомненья,
Когда с души своей порой
Стряхаю умственную лень я, —
На зреющие поколенья
Гляжу я с грустною мечтой.

И трепетно молю я бога
За этих пламенных невежд;
Их осуждение так строго,
В них убеждения так много,
Так много воли и надежд!

И, может, ляжет им на темя
Без пользы времени рука,
И пропадет и это племя,
Как богом брошенное семя
На почву камня и песка.

Есть много тяжких предвещаний,
Холодных много есть умов,
Которых мысль, в наш век сознаний,
Не признает святых алканий,
Упрямых вер и детских снов,

И, подавлен земной наукой,
В них дар божественный исчез;
И взор их, ныне близорукой,
Для них достаточной порукой,
Что гаснут звезды средь небес.

Но мы глядим на звезды неба,
На мира вечного объем,
Но в нас жива святая треба,
И не житейского лишь хлеба
Для жизни мы от бога ждем.

И хоть пора плода благого
Уже настанет не для нас, —
Другим он нужен будет снова,
И провиденье сдержит слово,
Когда б надежда ни сбылась.

И мы, чья нива не созрела,
Которым жатвы не сбирать,
И мы свой жребий встретим смело,
Да будет вера — наше дело,
Страданье — наша благодать.

Август 1846
Гиреево

ПРОЧТЯ СТИХОТВОРЕНИЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ

Опять отзы́в печальной сказки,
Нам всем знакомой с давних пор,
Надежд бессмысленные ласки
И жизни строгий приговор.

Увы! души пустые думы!
Младых восторгов плен и прах!
Любили все одну звезду мы
В непостижимых небесах!

И все, волнуяся, искали
Мы сновиденья своего;
И нам, утихшим, жаль едва ли,
Что ужились мы без него.

Ноябрь 1846

Н. М. Я<ЗЫКОВ>У

What is wright is wright.
(Byron) [1]

Нет! не могла я дать ответа
На вызов лирный, как всегда;
Мне стала ныне лира эта
И непонятна, и чужда.
Не признаю ее напева,
Не он в те дни пленял мой слух;
В ней крик языческого гнева,
В ней злобный пробудился дух.
Не нахожу в душе я дани
Для дел гордыни и греха,
Нет на проклятия и брани
Во мне отзывного стиха.
Во мне нет чувства, кроме горя,
Когда знакомый глас певца,
Слепым страстям безбожно вторя,
Вливает ненависть в сердца.
И я глубоко негодую,
Что тот, чья песнь была чиста,
На площадь музу шлет святую,
Вложив ругань ей в уста.
Мне тяжко знать и безотрадно,
Как дышит страстной он враждой,
Чужую мысль карая жадно
И роясь в совести чужой.

---

[1] Что написано, то написано (Байрон) (англ.). — *Ред.*

Мне стыдно за него и больно;
И вместо песен, как сперва,
Лишь вырываются невольно
Из сердца горькие слова.

1846

* * *

Мы современницы, графиня,
Мы обе дочери Москвы;
Тех юных дней, сует рабыня,
Ведь не забыли же и вы!

Нас Байрона живила слава
И Пушкина изустный стих;
Да, лет одних почти мы, право,
Зато призваний не одних.

Вы в Петербурге, в шумной доле
Себе живете без преград,
Вы переноситесь по воле
Из края в край, из града в град;

Красавица и жорж-заидистка,
Вам петь не для Москвы-реки,
И вам, свободная артистка,
Никто не вычеркнул строки.

Мой быт иной: живу я дома,
В пределе тесном и родном,
Мне и чужбина незнакома,
И Петербург мне незнаком.

По всем столицам разных наций
Доселъ не прогулялась я,
Не требую эмансипаций
И самовольного житья;

Люблю Москвы я мир и стужу,
В тиши свершаю скромный труд,
И отдаю я просто мужу
Свои стихи на строгий суд.

Январь 1847
Москва

ДУМЫ

Я снова здесь, под сенью крова,
Где знала столько тихих грез:
И шепот слушаю я снова
Знакомых кедров и берез;
И как прошедшею весною,
Несутся вновь издалека
Над их зыбучей головою
За облаками облака.

И вы опять несетесь мимо,
О тени лучших снов моих!
Опять в уста неотразимо
Играющий ложится стих;
Опять утихнувших волнений
Струя живая бьет в груди,
И много дум и вдохновений,
И много песен впереди!

Свершу ли их? Пойду ли смело,
Куда мне бог судил идти?
Увы! окрестность опустела,
Отзывы смолкли на пути.
Не вовремя стихов причуда,
Исчез поэтов хоровод,
И ветер русский ниоткуда
Волшебных звуков не несет.

Пришлось молчать мечтам заветным;
Зачем тому, кто духом нищ,
Тревожить ныне словом тщетным
Безмолвный мир святых кладбищ!..

Июнь 1847
Гиреево

К. С. А<КСАКОВУ>

Себя как ни прославили
Олег и Святослав,
Потомкам не оставили
Своих державных прав.
И думаю, что им моя
Не надобна тетрадь.
Итак, варягам ныне я
Решаюсь отказать.
Скажу теперь по совести,
Что, пыл в себе смиря,
Пождать им можно повести
Моей до сентября.

1847

* * *

Среди событий ежечасных
Какой мне сон волнует ум?
Откуда взрыв давно безгласных,
И малодушных, и напрасных,
И неуместных ныне дум?

Из-под холодного покрова
Ужель встает немая тень?
Ужели я теперь готова,
Чрез двадцать лет, заплакать снова,
Как в тот весенний, грустный день?

Внимая гулу жизни шумной,
Твердя толпы пустой язык,
Боялась, словно вещи чумной,
Я этой горести безумной
Коснуться сердцем хоть на миг.

Ужель былое как отрада
Мне ныне помнится в тиши?
Ужели утолять я рада
Хоть этим кубком, полным яда,
Все жажды тщетные души!

Март 1848

К С. К. Н.

Разбранена я, верно, вами;
Чтоб горю этому помочь,
Пишу сегодня к вам стихами, —
Писать иначе мне невмочь.
Несется буря и угроза
Вкруг томной лени наших дней;
Тяжка становится мне проза,
И раззнакомилась я с ней.
Да, собиралася сначала
Весьма усердно, как всегда,
Я к вам писать, — и не писала;
Но где же грех? и где беда?
Ужель нельзя нам меж собою
Сойтися дружбою мужскою?
Ужель во всем нужна нам речь?
Не верим ли в союз мы прочный?
Не можем ли любви заочной
Без писем долго мы сберечь?
Все переписки, молвить строго,
Лишь болтовня и баловство:
Они иль слишком скажут много,
Или уж ровно ничего.
Известья ль ждете вы? — Какого?
Чего боитесь не узнать,
Когда всё плохо то, что ново?
Когда незнанье — благодать?
Надежд веселую отвагу
Сменяет тяжкая тоска;
И без нужды марать бумагу
Не поднимается рука.
Несется гневно воля века,
Покуда новая опека
Смирит неистовство его;
Но на тревогу человека
Спокойно смотрит естество.
Краса заката и восхода
Всё величава и пышна,
И неизменная природа
Порядка стройного полна.
Нашедши уголок уютный,

Где можно грезам дать простор,
Годины этой многосмутной
Хочу не слушать крик и спор;
Не спрашивать про сейм немецкий,
Давно стоящий на мели;
Не знать о вспышке этой детской,
С которой справился Радецкий;
О всем, что близко и вдали;
О нам уж свойственной холере,
О всех страданиях земли,
О Ламартине, Коссидьере,
О каждой радостной химере,
Которой мы не сберегли.
Хочу я ныне жить невеждой,
И, ставя помыслам черту,
Далекой тешиться надеждой,
Хранить любимую мечту;
И, пропуская без вниманья
Национального собранья
Ошибки, ссоры и грехи,
Забыв, что есть иная треба,
Хочу глядеть на бездну неба,
Скакать верхом, читать стихи.
Нам думы убаюкать надо,
Упиться надо чем-нибудь;
Не в силах обращать мы взгляда
На поколений грозный путь.
Порой идея роковая
Должна носиться в край из края,
И должен иногда народ,
Добра и зла не различая,
Безумно броситься вперед.
Оставим всё на волю бога;
Авось тяжелый минет срок!
Авось пойдет Европе впрок
Ее сердитая тревога!
Мы будем жить, свой пыл смиря
И предаваяся — хоть вере,
Что свидимся по крайней мере
В Москве, в начале октября.

Август 1848
Лизаветино

РАЗГОВОР В ТРИАНОНЕ

Ночь летнюю сменяло утро;
Отливом бледным перламутра
Восток во мраке просиял;
Погас рой звезд на небосклоне,
Не унимался в Трианоне
Веселый шум, и длился бал.

И в свежем сумраке боскетов
Везде вопросов и ответов
Живые шепоты неслись;
И в толках о своих затеях
Гуляли в стриженых аллеях
Толпы напудренных маркиз.

Но где, в глуби, сквозь зелень парка
Огни не так сверкали ярко, —
Шли, избегая шумных встреч,
В тот час, под липами густыми,
Два гостя тихо, и меж ними
Иная продолжалась речь.

Не походили друг на друга
Они: один был сыном юга,
По виду странный человек:
Высокий стан, как шпага гибкой,
Уста с холодною улыбкой,
Взор меткий из-под быстрых век.

Другой, рябой и безобразный,
Казался чужд толпе той праздной,
Хоть с ней мешался не впервой;
И шедши, полон думой злою,
С повадкой львиной он порою
Качал огромной головой.

Он говорил: «Приходит время!
Пусть тешится слепое племя;
Внезапно средь его утех
Прогрянет черни рев голодный,
И пред анафемой народной
Умолкнет наглый этот смех».

— «Да, — молвил тот, — всегда так было;
Влечет их роковая сила,
Свой старый долг они спешат
Довесть до страшного итога;
Он взыщется сполна и строго,
И близок тяжкий день уплат.

Свергая древние законы,
Народа встанут миллионы,
Кровавый наступает срок;
Но мне известны бури эти,
И четырех тысячелетий
Я помню горестный урок.

И нынешнего поколенья
Утихнут грозные броженья;
Людской толпе, поверьте, граф,
Опять понадобятся узы,
И бросят эти же французы
Наследство вырученных прав».

— «Нет! не сойдусь я в этом с вами, —
Воскликнул граф, сверкнув глазами, —
Нет! лжи не вечно торжество!
Я, сын скептического века,
Я твердо верю в человека
И не боюся за него.

Народ окрепнет для свободы,
Созреют медленные всходы,
Дождется новых он начал;
Века считая скорбным счетом,
Своею кровью он и по́том
Недаром почву утучнял...»

Умолк он, взрыв смиряя тщетный;
А тот улыбкой чуть заметной
На страстную ответил речь;
Потом, взглянув на графа остро:
«Нельзя, — сказал он, — Калиостро
Словами громкими увлечь.

Своей не терпишь ты неволи,
Свои ты вспоминаешь боли,
И против жизненного зла
Идешь с неотразимым жаром;
В себя ты веришь, и недаром,
Граф Мирабо, в свои дела.

Ты знаешь, что в тебе есть сила,
Как путеводное светило
Встать средь гражданских непогод;
Что, в увлеченьи вечно юном,
Своим любимцем и трибуном
Провозгласит тебя народ.

Да, и пойдет он за тобою,
И кости он твои с мольбою
Внесет, быть может, в Пантеон;
И, новым опьянев успехом,
С проклятьем, может быть, и смехом
По ветру их размечет он.

Всегда, в его тревоге страстной,
Являлся, вслед за мыслью ясной,
Слепой и дикий произвол;
Всегда любовь его бесплодна,
Всегда он был, поочередно,
Иль лютый тигр, иль смирный вол.

Толпу я знаю не отныне:
Шел с Моисеем я в пустыне;
Покуда он, моля творца,
Народу нес скрижаль закона, —
Народ кричал вкруг Аарона
И лил в безумии тельца.

Я видел грозного пророка,
Как он, разбив кумир порока,
Стал средь трепещущих людей
И повелел им, полон гнева,
Направо резать и налево
Отцов, и братий, и детей.

Я в цирке зрел забавы Рима;
Навстречу гибели шел мимо
Рабов покорных длинный строй,
Всемирной кланяясь державе,
И громкое звучало *Ave!*[1]
Перед несметною толпой.

Стоял жрецом я Аполлона
Вблизи у Кесарева трона;
Сливались клики в буйный хор;
Я тщетно ждал пощады знака, —
И умирающего Дака
Я взором встретил грустный взор.

Я был в далекой Галилеи;
Я видел, как сошлись евреи
Судить мессию своего;
В награду за слова спасенья
Я слышал вопли исступленья:
«Распни его! Распни его!»

Стоял величествен и нем он,
Когда бледнеющий игемон
Спросил у черни, оробев:
«Кого ж пущу вам по уставу?»
— «Пусти разбойника Варавву!» —
Взгремел толпы безумный рев.

Я видел праздники Нерона;
Одет в броню центуриона,
День памятный провел я с ним.
Ему вино лила Поппея,
Он пел стихи в хвалу Энея, —
И выл кругом зажженный Рим.

Смотрел я на беду народа:
Без сил искать себе исхода,
С тупым желанием конца, —
Ложась средь огненного града,
Людское умирало стадо
В глазах беспечного певца.

---

[1] Славься! (лат.) — *Ред.*

Прошли века над этим Римом;
Опять я прибыл пилигримом
К вратам, знакомым с давних пор;
На площади был шум великой:
Всходил, к веселью черни дикой,
Ее заступник на костер...

И горьких встреч я помню много!
Была и здесь моя дорога;
Я помню, как сбылось при мне
Убийство злое войнов храма, —
Весь этот суд греха и срама;
Я помню гимны их в огне.

Сто лет потом, стоял я снова
В Руане, у костра другого:
Позорно умереть на нем
Шла избавительница края;
И, бешено ее ругая,
Народ опять ревел кругом.

Она шла тихо, без боязни,
Не содрогаясь, к месту казни,
Среди проклятий без числа;
И раз, при взрыве злого гула,
На свой народ она взглянула, —
Главой поникла и прошла.

Я прожил ночь Варфоломея;
Чрез груды трупов, свирепея,
Неслась толпа передо мной
И, новому предлогу рада,
С рыканьем зверским, до упада
Безумной тешилась резней.

Узнал я вопли черни жадной;
В ее победе беспощадной
Я вновь увидел большинство;
При мне ватага угощала
Друг друга мясом адмирала
И сердце жарила его.

И в Англии провел я годы.
Во имя веры и свободы,
Я видел, как играл Кромвéль
Всевластно массою слепою
И смелой ухватил рукою
Свою достигнутую цель.

Я видел этот спор кровавый,
И суд народа над державой;
Я видел плаху короля;
И где отец погиб напрасно,
Сидел я с сыном безопасно,
Развратный пир его деля.

И этот век стоит готовый
К перевороту бури новой,
И грозный плод его созрел,
И много здесь опор разбитых,
И тщетных жертв, и сил сердитых,
И темных пронесется дел.

И деву, может быть, иную,
Карая доблесть в ней святую,
Присудит к смерти грешный суд;
И, за свои сразившись веры,
Иные, может, темплиеры
Свой гимн на плахе запоют.

И вашим внукам расскажу я,
Чтó, восставая и враждуя,
Вы обрели в своей борьбе,
К чему вас привела свобода,
И как от этого народа
Пришлось отречься и тебе».

Он замолчал. — И вдоль востока
Лучи зари, блеснув широко,
Светлей всходили и светлей.
Взглянул, в опроверженье речи,
На солнца ясные предтечи
Надменно будущий плебей.

Объятый мыслью роковою,
Махнул он дерзко головою, —
И оба молча разошлись.
А в толках о своих затеях,
Гуляли в стриженых аллеях
Толпы напудренных маркиз.

1848

* * *

К ужасающей пустыне
Приведен путем своим,
Что мечтою ищет ныне
Утомленный пилигрим?

В темноте полярной ночи,
Позабыт и одинок,
Тщетно ты вперяешь очи
На белеющий восток.

Тщетно пышного рассвета
Сердце трепетное ждет:
Пропадет денница эта,
Это солнце не взойдет!

Декабрь 1849
Москва

* * *

За деньги лгать и клясться рада
Ты, как безбожнейший торгаш;
За деньги изменишь, где надо,
За деньги душу ты продашь.

Не веришь ты, что, взяв их груду,
Быть может совесть не чиста,
И ты за то винишь Иуду,
Что он продешевил Христа.

Конец 1840-х годов

* * *

Я не из тех, которых слово
Всегда смиренно, как их взор,
Чье снисхождение готово
Загладить каждый приговор.

Я не из тех, чья мысль не смеет
Облечься в искреннюю речь,
Чей разум всех привлечь умеет
И все сношения сберечь,

Которые так осторожно
Владеют фразою пустой
И, ведая, что всё в них ложно,
Всечасно смотрят за собой.

Конец 1840-х годов

* * *

Воет ветр в степи огромной,
    И валится снег.
Там идет дорогой темной
    Бедный человек.

В сердце радостная вера
    Средь кручины злой,
И нависли тяжко, серо
    Тучи над землей.

<1850>

ЛАМПАДА ИЗ ПОМПЕИ

От грозных бурь, от бедствий края,
От беспощадности веков
Тебя, лампадочка простая,
Сберег твой пепельный покров.

Стоишь, клад скромный и заветный,
Красноречиво предо мной, —
Ты странный, двадцатисотлетный
Свидетель бренности земной!

Светил в Помпее луч твой бледный
С уютной полки, в тихий час,
И над язычницею бедной
Сиял, быть может, он не раз,

Когда одна, с улыбкой нежной,
С слезой сердечной полноты,
Она души своей мятежной
Ласкала тайные мечты.

И в изменившейся вселенной,
В перерожденьи всех начал,
Один лишь в силе неизменной
Закон бессмертный устоял.

И можешь ты, остаток хлипкий
Былых времен, теперь опять
Сиять над тою же улыбкой
И те же слезы озарять.

Февраль 1850

LATERNA MAGICA[1]

Вступление

Марая лист, об осужденьи колком
Моих стихов порою мыслю я;
Чернь светская, с своим холодным толком,
Опасный нам и строгий судия.
Как римлянин, нельзя петь встречи с волком
Уж в наши дни, иль смерти воробья.

Прошли века, и поумнели все мы,
Серьезнее глядим на бытие;

[1] Волшебиый фоиарь (лат.). — *Ред.*

Про грусть души, про светлые эдемы
Твердят тайком лишь дети да бабье.
Всё ведомо, все опошлели темы,
Что ни пиши — всё снимок и старье.

Вот и теперь сомнение одно мне
Пришло на ум: боюсь, в строфе моей
Найдут как раз вкус *«Домика в Коломне»*
Читатели, иль *«Сказки для детей»;*
Но в глубь души виденье залегло мне,
И много вдруг проснулося затей.

И помыслы, как резвый хор русалок,
То вновь мелькнут, то вновь уйдут на дно;
Несутся сны, их говор глух и жалок;
Мне докучать привык их рой давно.
Вот кровель ряд, ночлег грачей и галок,
Вот серый дом, — и я гляжу в окно.

И женщина видна там молодая
Сквозь сумерки ненастливого дня;
Бедняжечка сидит за чашкой чая,
Задумчиво головку наклоня,
И шепотом, и горестно вздыхая,
Мне говорит: «Пойми хоть ты меня!»

Изволь; вступлю я в новое знакомство,
Вступлю с тобой в душевное родство;
Любви ли жертва ты, иль вероломства,
Иль просто лишь мечтанья своего, —
Всё объясню: пишу не для потомства,
Не для толпы, а так, для никого.

Знать, суждено иным уж свыше это,
И писано им, видно, на роду,
Предать свои бесценнейшие лета
Ненужному и глупому труду;
Носить в душе безумный жар поэта
Себе самим и прочим на беду.

Сентябрь 1850

IMPROMPTU[1]

Каких-нибудь стихов вы требуете, *Ольга!*
Увы! стихи теперь на всех наводят *сон...*
Ведь рифма, знаете, блестящая лишь *фольга,*
Куплет частехонько однообразный *звон!*

Но если в грязь лицом моя ударит *слава*
И стих не сладится сегодня, и в *альбом*
Не плавно к Вам войдет строфа моя как *пава,*
То буду, признаюсь, виновна я *кругом!*

22 января 1851

ПОРТРЕТ

Сперва он думал, что и он поэт,
И драму написал «Марина Мнишек»,
И повести; но скоро понял свет
И бросил чувств и дум пустых излишек.
Был юноша он самых зрелых лет,
И, признавая власть своих страстишек,
Им уступал, хоть чувствовал всегда
Боль головы потом или желудка;
Но, человек исполненный рассудка,
Был, впрочем, он сын века хоть куда.

И то, что есть благого в старине,
Сочувствие в нем живо возбуждало;
С премудростью он излагал жене
Значение семейного начала,
Весь долг *ее* он сознавал вполне,
Но сам меж тем стеснялся браком мало.
Он вообще стесненья отвергал,
По-своему питая страсть к свободе,
Как Ришелье, который в том же роде
Бесспорно был великий либерал.

Приятель мой разумным шел путем,
Но странным, идиллическим причудам

---

[1] Экспромт (франц.). — *Ред.*

Подвластен был порою: много в нем
Способностей хранилося под спудом
И много сил, — как и в краю родном?
Они могли быть вызваны лишь чудом.
А чуда нет. — Так жил он с давних пор,
Занятия в виду имея те же,
Не сетуя, задумываясь реже,
И убедясь, что все мечтанья — вздор.

Не он один: их много есть, увы!
С напрасными господними дарами;
Шатаяся по обществам Москвы,
Так жизнь терять они стыдятся сами;
С одним из них подчас сойдетесь вы,
И вступит в речь серьезную он с вами,
Намерений вам выскажет он тьму,
Их совершить и удалось ему бы, —
Но, выпустив сигарки дым сквозь зубы,
Прибавит он вполголоса: «К чему?..»

Март 1851

* * *

К могиле той заветной
Не приходи уныло,
В которой смолкнет сила
Всей жизненной грозы.

Отвергну плач я тщетный,
Цветы твои и пени;
К чему бесплотной тени
Две розы, две слезы?..

Март 1851

СЕРЕНАДА

Ты всё, что сердцу мило,
С чем я сжился умом;
Ты мне любовь и сила, —
Спи безмятежным сном!

Ты мне любовь и сила,
И свет в пути моем;
Всё, что мне жизнь сулила, —
Спи безмятежным сном.

Всё, что мне жизнь сулила
Напрасно с каждым днем;
Весь бред младого пыла, —
Спи безмятежным сном.

Весь бред младого пыла
О счастии земном
Судьба осуществила, —
Спи безмятежным сном.

Судьба осуществила
Всё в образе одном,
Одно горит светило, —
Спи безмятежным сном!

Одно горит светило
Мне радостным лучом,
Как буря б ни грозила, —
Спи безмятежным сном!

Как буря б ни грозила,
Хотя б сквозь вихрь и гром
Неслось мое ветрило, —
Спи безмятежным сном!

Октябрь 1851

* * *

Молчала дума роковая,
И полужизнию жила я,
Не помня тайных сил своих;
И пробудили два-три слова
В груди порыв бывалый снова
И на устах бывалый стих.

На вызов встрепенулось чутко
Всё, что смирила власть рассудка;
И борется душа опять
С своими беднями пустыми;
И долго мне не сладить с ними,
И долго по ночам не спать.

Декабрь 1852

* * *

Младых надежд и убеждений
Как много я пережила!
Как много радостных видений
Развеял ветр, покрыла мгла!
И сила дум, и буйность рвений
В груди моей еще цела.

Ты, с ясным взглядом херувима,
Дочь неба, сердца не тревожь!
Как тень несется радость мимо,
И лжет надежда. Отчего ж
Так эта тень необходима?
И так всесильна эта ложь?

Увы! справляюсь я с собою;
Живу с другими наравне;
Но жизней чудною, иною
Нельзя не бредить мне во сне.
Куда деваться мне с душою!
Куда деваться с сердцем мне!..

Декабрь 1852

* * *

Не раз в душе познавши смело
Разврата темные дела,
Святое чувство уцелело
Одно, средь лютости и зла;

Как столб разрушенного храма,
Где пронеслося буйство битв,
Стоит один, глася средь срама
О месте веры и молитв!

1852
Москва

* * *

Мы странно сошлись. Средь салонного круга,
В пустом разговоре его,
Мы словно украдкой, не зная друг друга,
Свое угадали родство.

И сходство души не по чувства порыву,
Слетевшему с уст наобум,
Проведали мы, но по мысли отзыву
И проблеску внутренних дум.

Занявшись усердно общественным вздором,
Шутливое молвя словцо,
Мы вдруг любопытным, внимательным взором
Взглянули друг другу в лицо.

И каждый из нас, болтовнею и шуткой
Удачно мороча их всех,
Подслушал в другом свой заносчивый, жуткой,
Ребенка спартанского смех.

И, свидясь, в душе мы чужой отголоска
Своей не старались найти,
Весь вечер вдвоем говорили мы жестко,
Держа свою грусть взаперти.

Не зная, придется ль увидеться снова,
Нечаянно встретясь вчера,
С правдивостью странной, жестоко, сурово
Мы распрю вели до утра,

Привычные все оскорбляя понятья,
  Как враг беспощадный с врагом, —
И молча друг другу, и крепко, как братья,
  Пожали мы руку потом.

Январь 1854

* * *

> Salut, salut, consolatrice!
> Ouvre tes bras, je viens chanter.
>
> *Musset* [1]

Ты, уцелевший в сердце нищем,
Привет тебе, мой грустный стих!
Мой светлый луч над пепелищем
Блаженств и радостей моих!
Одно, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло;
Моя напасть! мое богатство!
Мое святое ремесло!

Проснись же, смолкнувшее слово!
Раздайся с уст моих опять;
Сойди к избраннице ты снова,
О роковая благодать!
Уйми безумное роптанье.
И обреки всё сердце вновь
На безграничное страданье,
На бесконечную любовь!

Февраль 1854
Дерпт

* * *

Меняясь долгими речами,
Когда сидим в вечерний час
Одни и тихие мы с вами, —
В раздумье, грустными глазами
Смотрю порою я на вас.

---

[1] Привет, привет, утешительница! Открой объятия, я запою! *Мюссе* (франц.). — *Ред.*

И я, смотря, вздохнуть готова,
И хочется тебе сказать:
Зачем с чела ты молодого
Стереть стараешься былого
Несокрушимую печать?

Зачем ты блеск невольный взора
Скрыть от меня как будто рад?
И как от тайного укора
Вдруг замолчишь средь разговора
И засмеешься невпопад?

Ту мысль, разгаданную мною,
Ту мысль, чей ропот не утих,
Дай мыслью встретить мне родною
И милосердия сестрою
Дай мне коснуться ран твоих!

30 марта 1854
Дерпт

* * *

Когда один, среди степи Сирийской,
Пал пилигрим на тягостном пути, —
Есть, может, там приют оазы близкой,
Но до нее ему уж не дойти.

Есть, может, там в спасенье пилигрима
Прохлада пальм и ток струи живой;
Но на песке лежит он недвижимо. . .
Он долго шел дорогой роковой!

Он бодро шел и, в бедственной пустыне
Не раз упав, не раз вставал опять
С молитвою, с надеждою; но ныне
Пора пришла, — ему нет силы встать.

Вокруг него блестит песок безбрежный,
В его мехах иссяк воды запас;

В немую даль пустыни, с небом смежной,
Он, гибнувший, глядит в последний раз.

И солнца луч, пылающий с заката,
Жжет желтый прах; и степь молчит; но вот —
Там что-то есть, там тень ложится чья-то
И близится, — и человек идет —

И к падшему подходит с грустным взглядом —
Свело их двух страдания родство, —
Как с другом друг садится с ним он рядом
И в кубок свой льет воду для него;

И подает; но может лишь немного
Напитка он спасительного дать:
Он путник сам: длинна его дорога,
А дома ждет сестра его и мать.

Он встал; и тот, его схвативши руку,
В предсмертный час прохожему тогда
Всю тяжкую высказывает муку,
Все горести бесплодного труда:

Всё, что постиг и вынес он душою,
Что гордо он скрывал в своей груди,
Всё, что в пути оставил за собою,
Всё, что он ждал, безумец, впереди.

И как всегда он верил в час спасенья,
Средь лютых бед, в безжалостном краю,
И все свои напрасные боренья,
И всю любовь напрасную свою.

Жму руку так тебе я в час прощальный,
Так говорю сегодня я с тобой.
Нашел меня в пустыне ты печальной
Сраженную последнею борьбой.

И подошел, с заботливостью брата,
Ты к страждущей и дал ей всё, что мог;

В чужой глуши мы породнились свято, —
Разлуки нам теперь приходит срок.

Вставай же, друг, и в путь пускайся снова;
К тебе дойдет, в безмолвьи пустоты,
Быть может, звук слабеющего зова;
Но ты иди, и не смущайся ты.

Тебе есть труд, тебе есть дела много;
Не каждому возможно помогать;
Иди вперед; длинна твоя дорога,
И дома ждет сестра тебя и мать.

Будь тверд твой дух, честна твоя работа,
Свершай свой долг, и — бог тебя крепи!
И не тревожь тебя та мысль, что кто-то
Остался там покинутый в степи.

4 апреля 1854
Дерпт

* * *

Зачем судьбы причуда
Нас двух вела сюда,
И врозь ведет отсюда
Нас вновь бог весть куда?

Зачем, скажи, ужели
Затем лишь, чтоб могло
Земных скорбей без цели
Умножиться число?

Чтобы солгал, сияя,
Маяк и этот мне?
Чтоб жизни шутка злая
Свершилася вполне?

Чтоб всё, что уцелело,
Что с горечью потерь

Еще боролось смело,
Разбилося теперь?

Иль чтоб свершилось чудо?
Иль чтоб взошла звезда?..
Зачем судьбы причуда
Нас двух вела сюда?!

Апрель 1854

РАЗГОВОР В КРЕМЛЕ

Посвящаю моему сыну

В обширном поле град обширный
Блестел, увенчанный Кремлем,
Молящийся молитвой мирной
Перед Успенья светлым днем.
Над белокаменным простором
Сверкало золото крестов,
И медленным, созвучным хором
Гудели сорок сороков.

Входил, крестясь, в собор Успенский
И знаменитых предков сын,
И бедный плотник деревенский,
И миллионщик-мещанин;
Шли рядом, с миром и любовью,
Они в дом божий, в дом родной,
Внимать святому славословью
Единоверною семьей.

Меж тем как гимн взносился кроткой
И как сияли алтари, —
Вблизи дворца, перед решеткой,
Стояли человека три:
Лицом не сходны, ни душою,
И дети не одной земли,
Они, сошедшись, меж собою
Беседу долгую вели.

Один, с надменностию явной,
Стоял, неловок и суров,
Заморский гость из стародавной
Столицы лордов и купцов,
Наследник той саксонской крови,
Которой силам нет утрат, —
И на смешение сословий
Глядел, дивясь, аристократ.

Второй, в сраженьях поседелый,
Был спутник тех, которых вел
Чрез все межи и все пределы
Наполеоновский орел;
И этот в золоте заката
Блестящий города объем —
В осенню ночь пред ним когда-то
Стоял в сиянии другом.

Невольно третий на соборы,
На круг чертогов вековых
Бросал порой живые взоры,
И сказывалось речью их,
Что был не чужд в Кремле он этом,
Не путник в этом он краю,
Что русский с радостным приветом
Смотрел на родину свою.

«Да, — говорил в своей гордыне
Угрюмый лорд, — ваш край велик,
Окрепла ваша власть, и ныне
Известен в мире русский штык.
Да, ваша рать врагов смирила,
И по морям ваш ходит флот,
Но где опоры вашей сила,
Где ваш незыблемый оплот?

Учениками не всегда ли
Вы были Западной земли?
Вы многое у нас узнали
И многое переняли́.
Но в продолжение столетий
В чем изменился ваш народ?

Скажите, поколенья эти
Сумели ль двинуться вперед?»

— «Так, — молвил русский, — обучала
Чужбина нас; подаренó
Землею вашей нам не мало;
Но не далося нам одно,
Одна здесь Запада наука
Не принялась, — наш край таков:
Осталось свято сердцу внука,
Что было свято для отцов.

Блаженства познает мирские
Недаром, может быть, страна,
Недаром Рим и Ниневия
Все взяли роскоши сполна!
Свой блеск высокою ценою
Надменный Запад ваш купил,
И, ослепленный суетою,
Он ищет тайны наших сил...

Вы станьте здесь, когда повсюду
Толпа, стекаясь без конца,
Как к празднику, в сплошную груду
Слилась у Красного крыльца,
Не изменяясь в род из рода,
Любя и веруя, как встарь, —
И средь гремящих волн народа
В Кремле проходит русский царь!

Вы станьте здесь, среди России,
Когда в торжественной ночи
Звучат священные литии,
Блестят несметные лучи;
Когда, облита морем света,
Молитвой теплою полна, —
Мгновением вся площадь эта
В господний храм обращена;

Когда для вести благодатной
Отверзлись царские врата,

И радостно вельможа знатный
Целует нищего в уста,
И снова возносясь, и снова,
Везде, от долу до небес,
Гремит одно святое слово,
Один возглáс: „Христос воскрес!“»

Речь русского нетерпеливо
Француз прервал: «Быть может, да;
Но силой вашего порыва
Что свершено? Прошли года,
Года идут; где ваше дело?
Где подвиг ваш, когда кругом
Европа целая кипела
Наукой, славой и трудом?

Где вы скитались в годы оны,
Когда страшил соседов галл,
И Хлодвиг Рима легионы
При Суассоне поражал?
Кто ведал про народ ваш дикий?
Какой здесь след есть той поры,
Как цвел наш край и Карл Великий
Гаруна принимал дары? [1]

Где были вы в дни чести бранной,
Когда стремительной молвы
Пронесся в мире гул нежданный
С конца в конец? Где были вы,
Когда, поднявшись ратным станом,
Европа ухватила крест
И прогремел над мусульманом
Ее восторженный протест?

Когда вас видели? Тогда ли,
Как средь песков Сирийских стран
Свои мы ставки укрепляли
Костями падших христиан?
Тогда ль, когда решали снова
Своею кровью мы вопрос

И стражей воинства Христова
Стал над пучиною Родос? [2]

Тогда ль, когда и пред могилой
Еще не смея отдохнуть,
Святой король с последней силой
Предпринял смертоносный путь,
Когда в глуши чужого края,
Исполнен помыслом одним,
Поборник умер, восклицая:
«Ерусалим! Ерусалим!» [3]

Какая здесь свершалась драма?
Где было ваше первенство́,
Когда моря принудил Гама
Дорогу дать ладье его?
Когда, отдвинув мира грани,
Свой материк искал Колумб
И средь угроз и поруганий
Стоял, глаза вперив на румб?

Когда в день скорбный озарило
Лучом небесным с высоты
«Преображенье» Рафаила
Его отжившие черты? [4]
Когда везде встречались взгляду
Дела, колеблющие мир?
Когда Медина вел армаду [5]
И «Гамлета» писал Шекспир?

Когда наш блеск, дивя чужбину,
Проник до этого Кремля; [6]
Когда Мольер читал Расину
Свой труд в чертогах короля;
Когда в величии и славе
Вознесся пышный наш Версаль, —
Чем были вы хвалиться вправе?
Что вы в свою внесли скрижаль?»

Пришельца гордой укоризне
В раздумьи русский отвечал:
«Да, не дан был моей отчизне

Блеск ваших западных начал:
Крутой Россия шла дорогой,
Носила горестный венец,
И семьсот лет с любовью строгой
Ее воспитывал творец!

Пока у вас смирял со славой
Пепина сын[7] войны разгар, —
Наш край дорогой был кровавой
Варягов, готфов и болгар.
Теснимы грабежом и бранью,
Тогда встречали кривичи
Вотще своей убогой данью
Хазаров лютые мечи.

Был срок, когда нахлынул рьяно
На вас, арабов, грозный вал,
И папа дружбу мусульмана
Подобострастно покупал:[8]
От алтаря святой Софии
В те приносила времена
Молитву первую России
Богоугодная жена.

Когда Крестового похода
На Западе раздался клик, —
В пределах русского народа
Был натиск лют и гнет велик:
Страну губили печенеги,
Свирепых половцев орды,
И венгров буйные набеги,
И смуты княжеской вражды.

В те дни пошел к святому граду
Какой-то инок Даниил
За край родной зажечь лампаду
И помолиться богу сил;[9]
И горячо монах безвестный
Молился, знать, за Русь свою,
Зане помог ей царь небесный
В тяжелом устоять бою.

Когда делили ваши рати
Труды святого короля,
Была восстать в спасенье братий
Не в силах Русская земля:
Тогда у нас пылали селы
И рушилися города,
И вдоль пути, где шли монголы,
Лежала тел людских гряда.

С твердыни сбиты, киевляне
Тогда, столпясь в господний храм
Обрекшись гибели заране,
Сраженье продолжали там
И билися во имя бога,
И был лишь битве их конец,
Когда, изрублен, у порога,
Крестясь, последний лег боец.

Но их молитв предсмертных слово
Взнеслось к зиждителю небес:
Послал на поле Куликово
Нам помощь он своих чудес: [10]
Врагов несметных рушил силу,
И всемогущею рукой
Отверзший Лазаря могилу
Разбил ярем наш вековой.

Да, вас судьба дарила щедро!
Досель не тщетный звук для вас
Баярд, и Сид, и Сааведра, [11]
И Барбаросса, и Дуглас.
Сердца народа согревая,
В них здесь глубоко вмещено
Одно лишь имя: Русь святая!
И не забудется оно.

Припоминая дни печали,
Татар и печенегов бич,
Мы сами ведаем едва ли,
Кто был Евпатий и Претич. [12]
Мы говорили в дни Батыя,

Как на полях Бородина:
Да возвеличится Россия,
И гибнут наши имена!

Да, можете сказать вы гордо,
Что спросит путник не один
Дорогу к улице Стратфорда,
Где жил перчаточника сын, [13]
Что, на Ромео иль Макбета
Смотря с толпой вельмож своих,
Надменная Елисавета
Шекспира повторяла стих.

Нас волновала в ту годину
Не прелесть вымыслов его;
Иную зрели мы картину,
Иное речи торжество:
Пока, блестящая багряно,
В пожаре рушилась Москва, —
Смиряли Грозного Ивана
Монаха смелые слова. [14]

Была пора, когда ждал снова
Беды и гибели народ,
Пора Прокофья Ляпунова,
Другой двенадцатый наш год:
И сил у нас нашлося много
Порою той, был час велик,
Когда, призвав на помощь бога,
Спасал Россию гуртовщик; [15]

Когда, распадшею громадой,
Без средств, без рати, без царя, [16]
Страна держалася оградой
Единого монастыря;
И, с властию тягаясь злою,
Здесь сокрушали края плен
Пожарский — доблестной борьбою,
Святою смертью — Ермоген.

И здесь же, овладев полсветом,
Ваш смелый временщик побед

Стоял, смутясь, на месте этом
Тому назад лишь двадцать лет; [17]
Здесь понял грозный воевода,
Что ни насилье, ни картечь
Не сладят с жизнию народа,
Что духа не сражает меч!

Во времена веселий шумных
Версальских золотых палат
Был полон Кремль стенаньем чумных,
Ревел в нем бунт и бил набат. [18]
Но, нашу Русь не покидая,
В те дни всевышнего покров
Спасал дитя для славы края
И от чумы, и от стрельцов.

И юный царь дивил на троне
Не блеском ваши все дворы:
Покуда в вашем Вавилоне
Шли богомерзкие пиры, — [19]
Неутомимо и упрямо
Работал он за свой народ
И в бедной мастерской Сардама
Сколачивал свой первый бот.

И в ваши пронеслись владенья
Удары молотка его,
И будут помнить поколенья
Царя-гиганта мастерство.
Уж восстают молвы глухие
Кичливых западных держав,
Уж ненавистна им Россия,
И близок, может, час расправ!

Для прежних подданных татарских
Настанет день, придет пора,
Когда из уст услышим царских
Мы зов пустынника Петра!
Поднимет веры он в опору
Святою силою народ,
И мы к Софийскому собору
Свершим крестовый свой поход.

Вы тоже встанете, — не с нами:
Христовых воинов сыны
Пойдут на нас под бунчуками
В рядах защитников Луны;
И предков славу и смиренье
Переживет потомков грех:
Постыдно будет им паденье,
Постыдней ратный их успех!

И мы, теснимые жестоко
Напором злым со всех сторон,
Одни без лжи и без упрека,
Среди завистливых племен,
На бога правды уповая,
Под сенью его щита,
Пойдем на бой, как в дни Мамая,
Одни с хоругвию креста!..»

Он смолк. Сиял весь град стоглавый
С Кремлем торжественным своим,
Как озарен небесной славой,
В лучах вечерних перед ним.
Взглянул он вдохновенным взором
На прежнее *сельцо Москов*,[20]
И залилися медным хором
Кругом все сорок сороков.

10 апреля 1854
Дерпт

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Знаменитое посольство арабского халифа Гаруна-аль-Рашида, который отправил к Карлу Великому, между прочими богатыми дарами, слона и *пленисферу,* или часы с боем, первые в Европе.

[2] Крестовые рыцари св. Иоанна Иерусалимского, теснимые в Сирии мусульманами, овладели островом Родосом и воздвигли на нем твердыню, которая более двух столетий (1310—1530) отражала удары египтян и турок.

[3] Св. Людовик, король французский, уже опасно больной, взял снова крест (1270) и поплыл в Африку сражаться против мусульман (последний крестовый поход). Он умер под стенами Туниса. Последние слова его были: «Иерусалим! Иерусалим!»

[4] Известно, что гроб Рафаэля выставлен был в его мастерской под великолепною, не совсем еще оконченною им картиною «Преображения господня» (1538). Он умер в страстную пятницу.

[5] Так названная «непобедимая армада» короля испанского — флот, состоявший из 150 судов, которые вел против Англии герцог Меднна Сидониа (1588).

[6] Известно покровительство, которое царь Алексей Михайлович оказывал иностранцам, и желание его воспользоваться плодами науки и просвещения Запада.

[7] Карл Великий.

[8] Разорвав, в конце IX века, связь с восточною церковию, папы впали в глубочайшее унижение: разврат и бессилие римского двора в эту пору мало чем уступали времени Борджиев. Престолом св. Петра располагали много лет две бесстыдные женщины, мать и дочь, Теодора и Мароция, а в то же время африканские арабы, утвердившись в Сицилии, беспрестанно нападали на Италию, не раз подходили к самому Риму и заставляли пап откупаться от них дорогою ценою. Только вмешательство немецкого короля Оттона Великого положило конец этой позорной эпохе (964).

[9] Во время 2-го крестового похода пришел во св. землю паломник Даниил и испросил у иерусалимского короля Балдуина позволение поставить на гробе господнем в светлое Христово воскресенье (1115) кандило *за всю землю Русскую* (припомним, что это было у нас гибельное время княжеских распрь и половецких иабегов). О Данииле см. прекрасный рассказ г. Шевырева в его лекциях об истории русской словесности.

[10] На Мамаевом побоище татаре начинали уже брать верх, как пред войском христианским явились св. мученики Борис и Глеб на белых конях, и, одушевленные этим видением, воины Димитрия сломили силу татарскую.

[11] Сервантес.

[12] Воевода Претич и киевский отрок, когорого имя не записано Нестором, спасли Киев с Ольгою и Владимиром-младенцем от печенегов в то время, как Святослав воевал в Болгарии (968). Евпатий, герой рязанский, бросившийся один на рать Батыя, воспет Языковым.

[13] Шекспир.

[14] Известен ужасный пожар Москвы в 1547 г., когда к молодому Иоанну IV, удалившемуся на Воробьевы горы, явился Сильвестр и силою речи своей произвел на сердце царя то впечатление, которому Россия была обязана многими летами благоденствия.

[15] Кузьма Минин Сухорукий, нижегородский мещанин, торговавший рогатым скотом.

[16] Время междуцарствия.

[17] Автор предполагает, что разговор происходил в 1832 г.

[18] Стрелецкие бунты во время детства Петра Великого, не раз угрожавшие ему смертию, от которой он сохранен был видимым заступлением промысла.

[19] Так называемые ужины регентства (les soupers de la Régence).

[20] Под этим именем является Москва в древнейшем известии, 1147 года: «И прислав Гюрги (Юрий Долгорукий) и рече: Приди ко мне, брате, в Москов» (Ипатиевская летопись).

К ***

Когда шучу я наудачу,
Когда смеюся я с людьми,
И ты лишь видишь, как я плачу, —
Тех слез значенье ты пойми.

Пойми, что в этот миг не надо
Велеть мне верх брать над собой;
Что в этом взрыве есть отрада
И примирение с судьбой.

Его прими ты как поруку,
Что всех простила я вполне,
Что протянул недаром руку
Так добросовестно ты мне;

Что, весь свой век сражаясь с ложью,
В конце тяжелого пути
Могу признать я милость божью
И в гроб без ропота сойти,

Могу, в толпе не дрогнув бровью,
Томима ношею большой,
Заплакать с верой и любовью
Пред многолюбящей душой.

И шлет господь, быть может, эту
Нежданную мне благодать
За то, что каждому привету
Еще я смею доверять;

Что без опор и без приюта
Еще полна я сил былых;
Что слово горестное Брута
Из уст не вырвалось моих.

Декабрь 1854

* * *

О былом, о погибшем, о старом
Мысль немая душе тяжела;
Много в жизни я встретила зла,
Много чувств я истратила даром,
Много жертв невпопад принесла.

Шла я вновь после каждой ошибки,
Забывая жестокий урок,
Безоружно в житейские сшибки:
Веры в слезы, слова и улыбки
Вырвать ум мой из сердца не мог.

И душою, судьбе непокорной,
Средь невзгод, одолевших меня,
Убежденье в успех сохраня,
Как игрок ожидала упорный
День за днем я счастливого дня.

Смело клад я бросала за кладом, —
И стою, проигравшися в пух;
И счастливцы, сидящие рядом,
Смотрят жадным, язвительным взглядом —
Изменяет ли твердый мне дух?.

28 декабря 1854

* * *

Люблю я вас, младые девы;
Люблю грусть жизненной весны,
Мечты неясные напевы,
Еще неведающей Евы
Люблю таинственные сны.

Я помню их. В душе ленивой
Все помним мы заветный бред;
Все помним мы восторг свой лживый,
И сердца помысл горделивый,
И горе внутренних побед.

У всех средь жизненной неволи
Была мечта одна и та ж, —
Но мы, познав земные доли,
Мы, в коих смолкла жажда боли
И присмирела сердца блажь;

Мы, в коих ныне силы мало,
Чтоб настоящее нести, —
Мы опускаем покрывало
На всё, что душу волновало,
И шепчем тихое: прости!

<1855>

ПРАЗДНИК РИМА

Quousque tandem...[1]

Враг побежден, взят остров Мона,
Со славой рать пришла назад;
Блестит в огнях дворец Нерона,
Пирует семихолмный град.

Весь день в аренах длились игры
Умолк недавно цирка рев;
Спят, пересытясь, львы и тигры
На искаженных трупах дев.

В прозрачном светится тумане
Палат и храмов длинный ряд;
Вдоль пышных улиц христиане,
Смолой облитые, горят.

Без устали несется мимо
Толпы веселой крик и смех, —
Великолепен праздник Рима,
И грозен гул его утех.

Средь бурного людского вала
Стоял на шумной площади

[1] До каких пор, наконец... (лат.) — *Ред.*

Один пришлец у пьедестала
Волчихи, вылитой в меди.

Угрюмый, не деля их пира,
Презренный варвар, он глядел,
Как тешилась столица мира,
Взяв властно мир себе в удел.

Он слушал оргий дикий грохот,
И с буйным кликом празднества́
Его сливался злобный хохот
И полувнятные слова:

«Ты прав! Воздвигнул град свой вечный
Недаром ты: дай воле ход,
Ликуй в свирепости беспечной, —
Ты прав, неистовый народ!

Да, требуй крови ты как хлеба,
Свершай, с бесстрашной жаждой зла,
В виду поруганного неба,
Свои ты зверские дела.

Свой лютый пир купил ты златом,
Тебе и завтра он готов;
Ликуй, сменяй разврат развратом, —
В лазури этой нет богов! . .»

И звезд безмятежных проносится хор
И смотрит на Рима блестящий позор,
И смотрит, свой путь продолжая,
На темную степь, на безбрежный простор,
На дебри далекого края.

Там странные рати куда-то спешат,
На тощих конях, без щита и без лат,
Проходят чрез глушь и теснины,
Проходят чрез долы, срѐдь топей и блат,
Плывут чрез речные стремнины.

Идет в неизвестный, кровавый поход
Уродливый, злой, безыменный народ,
    Несется он, куча за кучей,
В предел из предела вперед и вперед
    Густой, бесконечною тучей.

Блаженствуй, Рим! пируй по праву
Ты от зари и до зари,
Со всей земли себе в забаву
Дань беспощадную бери;

И в буйстве власти без предела
Бросай рабов когтям зверей;
Пируй! — тебе какое дело
До тех безвестных дикарей! . .

Январь 1855

ДВЕ КОМЕТЫ

Текут в согласии и мире,
Сияя радостным лучом,
Семейства звездные в эфире
Своим указанным путем.

Но две проносятся кометы
Тем стройным хорам не в пример;
Они их солнцем не согреты,
Не сестры безмятежных сфер.

И в небе встретились уныло,
Среди скитанья своего,
Два безотрадные светила
И поняли свое родство.

И, может, с севера и с юга
Ведет их тайная любовь,
В пространстве вновь искать друг друга,
Приветствовать друг друга вновь.

И в розное они теченье
Опять влекомые судьбой,
Сойдутся ближе на мгновенье,
Чем все миры между собой.

Апрель 1855

* * *

Ты силу дай! Устам моим храненье
Ты положи!
Учи сдержать душевное стремленье:
Да не внесу я правды возмущенье
В их царство лжи;
Да не отдам даяния святого
В игрушку им;
Их мудрости да не встревожу снова
И теплого да не промолвлю слова
Сердцам глухим!
Когда ряд дум, как волн в морском просторе
Тревожный ряд,
Во мне кипит, с грозою в тяжком споре, —
Ты знай один, что в этом бурном море
Есть дивный клад.

Апрель 1855

* * *

Когда карателем великим
Неправды гордой и обид,
Противясь силой силам диким
С Антеем в бой вступил Алкид,

Не раз врага сразил он злого,
Но, опрокинутый, с пыли
Вставал грозней, окрепнув снова,
Неукротимый сын земли.

И начинался спор сначала,
Ожесточенней, чем сперва;

И бой вести не уставала
Власть духа с властью вещества.

И вдохновенной мысли ныне
Завистливо противостать
Взялось, в слепой своей гордыне,
Земли могущество опять.

С ней вновь в борьбу оно вступило,
Упорно длится битва их;
И будет ныне духа сила
Опять сильнее сил земных.

Август 1855
Петербург

СЦЕНА

Графиня. Вадим.

Они в кабинете графини сидят у стола, друг против друга. Между ними шахматная доска, на которой игра начата. Они на нее не обращают внимания.

Графиня
(продолжая разговор)

Так вы в любовь не верите?

Вадим

Кто? я?
Да вы не сомневаетесь в ответе.
Любовь! да это радость бытия,
Да это лучшая игрушка в свете.

Графиня

Вы правы, так и я сужу о ней, —
Игрушка.

Вадим

Да, которая нужней
Всего нам, без которой мир пустыня,
И без которой сами вы почти,

Сознайтесь откровенно в том, графиня,
Не знали бы, как время провести.

Графиня

Конечно, если бы увлечься ею,
Позволить взять ей верх, — тогда беда,
Не правда ли?

Вадим

Сказать вам не сумею,
Я этого не делал никогда.

Графиня

Ужель?

Вадим

Не верите вы?

Графиня

Почему же?

Вадим

Да, ваш вопрос, графиня, я всех хуже
Решить бы мог. На этот счет, увы,
Я столько же неопытен, как вы.

Графиня

Вы надо мной смеетесь.

Вадим

Я!

Графиня

Немножко.

Вадим

Помилуйте, я?

Графиня

Продолжайте.

Вадим

Но. . .

Графиня
(перебивая)

Смеетесь вы забавно и умно.
Извольте.

Вадим

Да поверьте...

Графиня роняет платок, Вадим поднимает его и, подавая, говорит вполголоса.

Что за ножка!

Графиня молча оборачивается к шахматной доске

Вы сердитесь?

Графиня

За вами ход.

Молчание.

Вадим

Я жду.
Как быть? Мне не далось постигнуть тайны
Природы женской, на мою беду.
Логичны ли их чувства, иль случайны,
Проведать это я не мог никак
И вечно с ними попадал впросак.
Так будьте ж снисходительны к невежде.

Графиня

Послушайте, вы лучше были прежде,
Естественней!

Вадим

Да, это было встарь,
Когда пред вами я, вам докучая,
Стоял без слов, как пред виденьем рая,
В своей душе вам воздвигал алтарь.
Но это позволительно мальчишкам,
Не правда ль?

Графиня

Милостивый государь!
Умны вы чрезвычайно, даже слишком, —
Но в этом ваша и оплошность.

Вадим

В чем?

Графиня

Вы всё хотите брать одним умом;
Того нельзя: вы промахнетесь часто.
Ваш ум — порок ваш.

Вадим

Боже мой! от вас-то,
Графиня, этого я ждать не мог:
Кто ж вас виновней, если ум порок!
Что я пред вами? Вы король, я — пешка.

Графиня
(тонко улыбаясь)

Но пешка важную играет роль
И мат дает.

Вадим

Поддастся ли король?

Графиня

Невежлива становится насмешка.

Они несколько времени сидят молча.

Вадим

Сегодня вторник.

Графиня
(смеется ему в лицо)

Это вот умно!

Вадим

Да я вам говорю давным-давно,
Что я дурак.

Графиня
(насмешливо)

Вы совершенно правы, —
Сегодня вторник.

Вадим

Ваш приемный день.

Графиня

Да, скоро явятся.

Вадим

(встает)

Bon soir.[1]

Графиня

Куда вы?

Вадим

Прощайте; мне возиться с ними лень.

Графиня

Давно ль вы так ленивы?

Вадим

В самом деле,
Мне скучно слушать и твердить зады,
Зевать тайком, трудиться без нужды, —
Не лучше ль отдыхать в своей постеле?
Бог с ними! опротивел мне их свет.

Графиня

Да подождите же; их еще нет.
Докончим партию.

Вадим садится опять.

Ваш ход.

Он рассеянно двигает шашкой.

Что это?
Берете своего же вы коня?

Вадим

(облокачиваясь на стол)

Скажите, откровенного ответа
Могу ли ожидать я?

[1] Добрый вечер (франц.). — *Ред.*

Графиня

От меня?

Вадим

От вас.

Графиня

Спросите.

Вадим

Объясните сами
Одно мне — вы ответ дадите?

Графиня

Дам.

Вадим

Скажите ж прямо мне: на что я вам?

Графиня

Да как на что? Так; весело мне с вами.
Что ж, я за свой ведь не ручаюсь вкус.

Вадим

Нет, будем откровенны на минуту;
Поверьте, я в игрушки не гожусь, —
К другому лучше обратитесь шуту;
Займитесь новою игрой, пора!

Графиня
(вполголоса)

А если это вовсе не игра!

Вадим

Вот откровенность женщин! Я серьезно
Спросил.

Графиня

Я так же отвечала.

Вадим

Нет!
Поверил бы я вам тому шесть лет;
Теперь...

Графиня
(тихо)

Теперь уместней, может.

Вадим

Поздно.

Молчание.

Графиня

Нельзя мне вам пенять: ответ ваш прям.

(Помолчав)

Послушайте, и я б имела право
Серьезно вас спросить: на что я вам?
Я, кажется, вам также не забава.

Вадим

Графиня...

Графиня

Нет, не отвечайте мне;
Не спрашиваю я. В своей вине
Вы не сознаетесь; играть словами
Вы мастер, это знаю я вполне.

Вадим

Что ж мне вам отвечать? Беда мне с вами!
Вы почему не верите?

Графиня

А вы? —
Вы́ верите? Что ж, говорите смело.

Вадим
(склоняется перед ней)

Примите дар повинной головы.

Графиня
(отворачивается с досадой)

На что мне? Бог с ней! Мне какое дело?
Я вам не духовник и не судья.

Вадим

Вы просто не даете мне житья.

Молчание. Графиня поворачивается к нему и глядит ему в глаза.

Графиня

Скажите, это вам не надоело?

Вадим

Что?

Графиня

Что мы делаем.

Вадим

Не знаю я.

Графиня

Позвольте мне вам сделать замечанье.

кланяется. Она, приостановившись, продолжает.

Готовы ль вы быть искренним?

Вадим

Готов.

Графиня

К чему, скажите, это всё старанье?
Вся эта стычка хитроумных слов?
Вам весело такое фехтованье?
Зачем не просты мы?

Вадим

(пожимает плечами)

Наш век таков;
Нет простоты в нем. Общая примета, —
Свет ловок.

Графиня

Здесь нам дела нет до света.

(Несколько помолчав)

Скажите, сколько дней нам, и недель,
И месяцев так тешиться? Что это?

Вадим

Шампанское души; приятный хмель.

Графиня

Нет, хмель несносный.

(Помолчав)

Если б не была я
Уверена, что, так умно играя,
Вы цель имеете...

Вадим

Какую цель?

Графиня
(продолжая)

И если б я ее не полагала
Достойной вас, и в это бы сначала
Не верила, — мы б разошлись давно.
Теперь скажу я только вам одно:
Оставим хитрость, это всё не нужно;
Мы попросту сойтиться можем дружно.

Вадим
(Помолчав)

А если вы ошиблись?

Графиня

Как? и в чем? —
Я знать хочу.

Вадим

В намереньи моем.

Графиня

Как?..

Вадим

Если вы заметить не сумели,
Что с вами я болтал без всякой цели,
Без умысла, что нес я просто вздор,
От делать нечего, средь скуки светской;

Что завтра я такой же разговор
Вдвоем с любой, пожалуй с Халовецкой,
Готов вести; хоть в этой госпоже,
Не правда ль, привлекательного мало?
Что я не так наивен, как бывало, —
Что от меня ждать нечего.

Они глядят молча друг другу в глаза. Слышен звонок.

Графиня
(с движением досады)

Уже!

Октябрь 1855
Петербург

* * *

Прошло сполна всё то, что было,
Рассудок чувство покорил,
И одолела воли сила
Последний взрыв сердечных сил.

И как сегодня всё далеко,
Что совершалося вчера:
Стремленье дум, борьбы без прока,
Души бедовая игра!

Как долго грудь роптала вздорно,
Кичливых прихотей полна;
И как всё тихо, и просторно,
И безответно в ней до дна.

Я вспоминаю лишь порою
Про лучший сон мой, как про зло,
И мыслю с тяжкою тоскою
О том, что было, что прошло.

Октябрь 1855
Петербург

ПАМЯТИ Е. М‹ИЛЬКЕЕВА›

Et-si interiissent — vile damnum.[1]

Глядит эта тень, поднимаясь вдали,
Глазами в глаза мне уныло.
Призвали его из родной мы земли,
Но долго заняться мы им не могли,
Нам некогда было.

Взносились из сердца его полноты
Напевы, как дым из кадила;
Мы песни хвалили; но с юной мечты
Снять узы недуга и гнет нищеты
Нам некогда было.

Нельзя для чужих забывать же потреб
Всё то, что нам нужно и мило;
Он дик был и странен, был горд и нелеп;
Узнать — он насущный имеет ли хлеб;
Нам некогда было.

Вели мы беседу, о том говоря,
Что чувств христианских светило
Восходит, что блещет святая заря;
Возиться с нуждой и тоской дикаря
Нам некогда было.

Стоял той порой он в своем чердаке, —
Души разбивалася сила, —
Стоял он, безумный, с веревкой в руке...
В тот вечер спросить о больном бедняке
Нам некогда было.

Стон тяжкий пронесся во мраке ночном...
Есть грешная где-то могила,
Вдали от кладбища, — на месте каком,
Не знаю доселе; проведать о том
Нам некогда было.

1855
Петербург

[1] Пусть вы погибли — потеря не велика (лат.). — *Ред.*

Н. П. Б—ОЙ

Не хочу восставать негодуя
Я на них и их светский устав,
На предательство их поцелуя
И на ярость их лютых расправ.

Пусть беду беспощадней разврата
Их клеймит неоспоренный суд;
Пусть они на несчастного брата
Как на вредного зверя идут,

И, сбирая к веселой ловитве
Круг знакомых, друзей и родни, —
Просят бога, в священной молитве,
Их простить, как прощают они.

Но промолвлю я теплое слово,
Жму с любовью я руку тому,
Кто на скорбь и несчастье другого
Не смотрел как на срам и чуму;

Кто в нем сил не старался остатки
Истребить оскорбленьем своим;
Кто гонимого знал недостатки
И нашел извинение им.

1855
Петербург

ПЛОВЕЦ

Посв. Петерсону.

Vae victis![1]

Колыхается океан ненастный,
Высь небесную кроет сумрак серый,
Удалой пловец держит путь опасный
С твердою верой.

[1] Горе побежденному! (лат.) — *Ред.*

Хоть бы бури злость пронеслась над бездной,
Хоть бы грянул гром и волна завыла, —
Прочен челн его, верен руль железный,
Крепко ветрило.

Он с враждою волн спорит сильным спором,
Не проглянет ли хоть звезда средь мрака,
Не мелькнет ли где, над морским простором,
Отблеск маяка?

Высота темна, и пространство глухо,
В небе нет звезды, нет вдали светила.
В грудь тоска легла, онемела духа
Гордая сила.

Не найти пути в этой мгле безбрежной,
Не послать к умам существа живого,
Чрез свирепый шум глубины мятежной,
Тщетного зова.

Он напрасную отложил заботу.
Гуще стелются полуночи тени;
Он улегся в челн, уступая гнету
Тягостной лени.

Волны тешатся и, друг другу вторя,
Злую песнь твердят; всё темно и дико.
Челн уносится по разливу моря...
Море велико.

1855
Петербург

К ...

Да, я душой теперь здорова,
Недавних дум в ней нет следа;
Как человека мне чужого
Себя я помню иногда.
Остаток силы истощая
В тревоге внутренней борьбы,

Привыкнуть сердцем не могла я
К неумолимости судьбы.
За всё сокрытое мученье,
За всё несчастье долгих дней
Я хоть одно вознагражденье
Просила в гордости своей;
И приближалась беспокойно
К концу тяжелого пути,
И думала, что я достойна
Возмездье жданное найти.
С преступною какой-то верой
Я втайне чаяла чудес
И мерила земною мерой
Я милосердие небес.
Вы помните, средь наших прений
Не раз смутилась я, не раз
Из сердца вырывались пени
И слезы брызнули из глаз;
То было ль первое расстройство,
Затеи праздной головы,
Поэта бедственное свойство,
Как часто повторяли вы?
Что нужды? — Дело не в причине,
Но в разговор разумный наш
Не будет вмешиваться ныне
Уж эта горестная блажь.
Отвергнул ум мой, без изъятья,
Всё, чем тогда смущался он.
В груди — смирённые понятья
И беспрерывный угомон.
Утихла ль вдруг, без перехода,
Я духом? Вследствие чего?
Усилий целого ли года,
Борьбы ли часа одного?
Душевных ли приобретений,
Иль новых, может быть, потерь?
Благоразумия, иль лени?
И легче ли оно теперь?
Оно сперва ли легче было?
Разведать нам какая стать!
Что сердцу тяжко, сердцу мило —
О том не станем толковать.

Оставим вместе, бога ради
Мы всякий суетный вопрос,
И будем восхвалять, как Сади,
Журчанье струй и прелесть роз.

1855

* * *

За тяжкий час, когда я дорогою
Плачусь ценой
И, пользуясь минутною виною,
Когда стоишь холодным судиею
Ты предо мной, —

Нельзя забыть, как много в нас родного
Сошлось сперва;
Радушного нельзя не помнить слова
Мне твоего, когда звучат сурово
Твои слова.

Пускай ты прав, пускай я виновата,
Но ты поймешь,
Что в нас всё то, что истинно и свято,
Не может вдруг исчезнуть без возврата,
Как бред и ложь.

Я в силах ждать, хотя бы дней и много
Мне ждать пришлось,
Хотя б была наказана и строго
Невольная, безумная тревога
Сердечных гроз.

Я в силах ждать, хоть грудь полна недуга
И злой мечты;
В душе моей есть боль, но нет испуга:
Когда-нибудь мне снова руку друга
Протянешь ты!

1855 или 1856

УЖИН ПОЛЛИОНА

Посвящается
Евгению Петровичу Новикову

В дни кесаря Веспасиана,
Раз в Риме, у градских ворот,
Порою летней, утром рано,
Разгульный собрался народ.

Катяся до предместий града,
При первых солнечных лучах,
Вдали, как от большого стада,
Дороги поднимался прах.

Из покоренной Иудеи
Шли тихо, тесною толпой,
Вдоль вии пленные евреи,
Склонив главу, в тоске тупой.

Шли старцы, юноши и жены,
Себе предвидя смерть и срам;
И дети, сдерживая стоны,
Пугливо жались к матерям.

И чернь градская толковала
Шумливым говором своим,
Что, слава богу, их не мало,
Что завтра запирует Рим,

Что надо к солнечному всходу
Усесться в цирк; что будет там
Чем позабавиться народу
И чем насытиться зверям.

———

Платанов раскинулись длинные тени;
За пиром вечерним, средь мраморных зал,
С друзьями, питомцами неги и лени,
Богач молодой возлежал.

И яствами, данию суши и моря,
Покрыт был их стол от конца до конца;
И флейты, друг другу напевами вторя,
Звучали из сада дворца.

Плясали, руками сплетаяся мерно,
Танцовщицы, хором оживших картин;
Прислуга сменила фиалы фалерна
Фиалами греческих вин.

Но тщетно Лесбоса, Хиоса и Крита
Вино из амфор искрометно текло,
И розами вновь молодая Мелита
Венчала счастливцев чело.

Рассказов и шуток, и речи веселой
Жужжанье живое кругом не неслось,
Склонялись, как будто под ношей тяжелой,
Главы под венками из роз.

«Зачем нас не тешит бесценная влага? —
Сказал, оглянувшись, красавец Камилл. —
Зачем так лениво вкушаем мы блага,
Которые Зевс нам судил?

Зачем приумолкла беседа ночная,
Как будто не в силу нам радость и смех?
Зачем, так роскошно друзей угощая,
Хозяин угрюмее всех?

Чело молодое цветами обвито,
Он может дать волю причудам своим,
Вино его сладко, прекрасна Мелита, —
Зачем же он думой томим?»

На гостя взглянул, и улыбкой немою
Ему на вопрос Поллион отвечал,
На стол оперся и ленивой рукою
Пустой протянул он фиал.

И, Гебы бессмертной свежее и краше,
Румянцем в лице озарясь горячо,
Мелита, напенить вино ему в чаше,
Нагнулась к нему на плечо.

И с темных ресниц, опустившихся нежно,
Скатилася капля в фиал золотой;
И горькую каплю властитель небрежно
Со сладкою выпил струей.

И молвил, склонясь на богатой кровати:
«Я думы своей от друзей не таю;
В кругу их пируя, припомнил я кстати
Завидную долю свою:

Как прихоть моя не встречала преграды
Ни в чем, что доселе просила она;
Как все мне досталися жизни награды,
Все жизни блаженства сполна».

Он смолк; словно болью блеснули и гневом
Глаза, и опять он молчанье прервал,
И речь дополнял, будто злобным припевом,
Танцовщиц звенящий кимвал.

«Да, жил я не даром. В начале пути
В науке искал я всесильной опоры;
Спешил к мудрецам я в ученье идти,
Я слушал их вечные споры.

И глубже сомненья мне в ум залегли:
Я требовал знанья, ждал духа живого, —
Всегда и повсюду премудрость земли
Пустое давала мне слово.

Так выпьем, друзья! Обойдите с амфорой наш круг,
Невольники! Выпьем, друзья, средь отрадного пира,
Мы кубок в честь разума, в честь благодатных наук
И мудрости мира!

Восторг свой понес я святой красоте.
Увидел Элладу я с радостным жаром;
И в мире художеств — высокой мечте
Искал насыщения даром.

Стоял я, искусства восторженный жрец,
Средь дивных созданий его, разумея,
Что бедно искусство, что в камень резец
Не вложит огня Прометея.

Да славится ж нами, великого века сыны,
Художника труд, его сил ежедневная трата!
Так выпьем же кубок мы в честь благородной страны,
Казнившей Сократа!

И славу вкусил я. У римских ворот
Я бился, порою тяжелой для края,
В рядах флавианцев. Толпился народ,
И нас и врагов подстрекая.

Смотрел он, как лили мы кровь наших жил,
Как смотрит в театре на ход представленья.
Я слышал веселый крик черни. Разбил
О камень свой меч в этот день я.

Невольники, лейте! да храбрым воздастся хвала!
Наполним мы кубки за гордую нашу державу,
За память героев, за чести военной дела,
За доблесть и славу!

И сладостью неги, роскошным житьем
В груди заглушим, что роптало в ней тщетно.
Завидует Рим мне. Взгляните кругом,
Смотрите, как всё здесь приветно;

Как дивно-прекрасна Мелита моя,
Как блага земные все куплены мною!
Смотрите, как полон отрадою я,
Как весел лицом и душою!

Так выпьем за негу! Невольники, дайте вина!
Друзья молодые! хвалите со мной сладострастье!
Хвалите, фиалы свои осушая до дна,
Счастливого счастье!»

Опять он умолк. И патриций Аврелий
Промолвил: «Отвыкнем от тягостных дум;
Возьмем, что нам дастся утех и веселий,
И будем мы жить наобум.

Пора такова: нам в грядущем нет цели;
Искать и трудиться безумно для нас;
Довольно, когда мы устроить сумели
Себе наступающий час.

Нас завтра ждет праздник; народом покрыта
Уж с вечера площадь: толкуют о том,
Что в цирке погибнут все пленники Тита.
Без скуки мы день проведем.

Не станем с судьбой мы пускаться в расправу,
С заботой глядеть на урочный наш путь,
Мгновенья летучего вкусим забаву,
А дальше — что будет, то будь».

Безмолвствовал, в сердце гнет тягостный кроя,
Пирующих круг; и звучать продолжал
Лишь только под мраморным сводом покоя
Танцовщиц звенящий кимвал.

———

Пылал над градом полдень жгучий;
Народом Колизей шумел;
Лежали в цирке уже кучи
Растерзанных зверями тел.

В рядах спесивой знати Рима
На лютый праздник Поллион
Глядел безмолвно, недвижимо,
Как погруженный в тяжкий сон.

Готовилась потеха снова,
Жужжала зрителей молва
Про нумидийского, большого,
Еще не спущенного льва.

Раздался рев, и крик веселья
Ответно прогремел кругом;
Огромный лев из подземелья
Могучим выскочил прыжком.

И бокового перехода
Тихонько отворилась дверь:
Прилег, смотря в полсумрак свода,
В средине цирка хищный зверь.

Замолкло всё. Льняной одежды
В тени мелькнула белизна;
И вышла, опуская вежды,
Из двери юная жена.

Перемигнулся сонм нарядный
Матрон надменных и невест,
И взор к ней обратили жадный
Весталки, привставая с мест.

Ее уста шепнули слово —
Царила в цирке тишина, —
Чела, груди, плеча, другого
Коснулась медленно она.

Встревожилась толпа густая,
Шум пролетел из ряда в ряд;
Нагнулся Поллион, вперяя
В младую жертву смутный взгляд.

И смысл, и цель его исканья,
Чего он ждал и ждать отвык,
Чему не ведал он названья —
Ему блеснуло в этот миг.

Гудел всё злее ропот шумный;
Она взглянула, мимо льва,

Туда, где над толпой безумной
Сияла неба синева.

Склонила в прах она колени;
Лев кинулся, предсмертный стон
Пронесся, — и, прыгнув с ступени,
Упал с ней рядом Поллион.

12 (24) января 1857
Константинополь

* * *

Средь зол земных, средь суеты житейской
Нам уцелел божественный завет;
Чему учил народ он Галилейский,
Какой давал он книжникам ответ, —
Все словеса его святых бесед
В уме своем мы сохранить умеем.
Не даром нам звучит глагол любви:
Там, где лежит израненный в крови,
Мы не пройдем надменным фарисеем,
К страдальцу мы, с целительным елеем,
Склоняемся и говорим: «Поверь,
Мне жаль тебя, несчастный, жаль как друга;
Приду тебе помочь, но не теперь,
Не нынче, — что же делать, нет досуга;
Не завтра, — завтра зван я на обед;
Приду дня через три, в конце недели,
А ты крепись, к чему стонать без цели?
Да лучше встань, тебе лежать не след!»
В уме своем мы сохранить сумели
Все словеса его святых бесед!

1857

* * *

Стараться отдохнуть душою
Напрасно мне велят они;
Не в пользу, позднею порою,
Пошлются тихие мне дни.

Приучена грозой всечасной
Я верить в близкую беду;
Смотря на свод эфира ясный,
Я громоносной тучи жду.

<1858>

НЕ ПОРА!

Нет! в этой жизненной пустыне
Хоть пала духом я опять, —
Нет! не пора еще и ныне
Притихнуть мыслью и молчать.
Еще блестят передо мною
Светила правды и добра;
Еще не стыну я душою;
Труда покинуть не пора.

Еще во мне любви довольно,
Чтобы встречать земное зло,
Чтоб всё снести, что сердцу больно,
И всё забыть, что тяжело.
Пускай солжет мне «завтра» снова,
Как лгало «нынче» и «вчера»:
Страдать и завтра я готова;
Жить бестревожно не пора.

Нет, не пора! Хоть тяжко бремя,
И степь глуха, и труден путь,
И хочется прилечь на время,
Угомониться и заснуть.
Нет! Как бы туча ни гремела,
Как ни томила бы жара,
Еще есть долг, еще есть дело —
Остановиться не пора.

Июнь 1858
Москва

СПУТНИЦА ФЕИ

1

Явилась впервой мне в час дивный она:
Лежал я под сенью цветущей сирени, —
Играли лучи сквозь дрожащие тени,
На высях и долах царила весна.

И солнце всходило, и пел соловей,
И ласточек в небе резвилася стая,
И ясные капли катились, блистая,
Как слезы блаженства с душистых ветвей.

И, вторя ликующей, пышной весне,
Резвились мечты мои, тешились смело,
И плакало сладко и радостно пело
Шестнадцатилетнее сердце во мне.

Мне новое словно далося чутье,
Звучали отвсюду мне звуки привета;
И весь этот мир ароматов и света,
И солнце, и небо — всё было мое.

Далеко стремить захотелось свой бег.
И вдруг мне она, улыбаясь, предстала,
Чудесная, сбросив с лица покрывало,
В наряде, блестящем как девственный снег;

С венком благовонным на ясном челе
Стояла, глазами в глаза мне сияя,
Она предо мною, посланница рая,
Несущая радость и счастье земле.

Сквозь шепот ветвей говорила она
И сквозь соловья переливные трели:
«Идем! нам есть в мире высокие цели;
Сподвижницей смелой тебе я дана.

Я силами грудь переполню твою,
Живительно буду ее волновать я,
Заветные в ум твой вложу я понятья,
И пламень восторга я в душу волью.

И всем помогу я стремленьям твоим,
Пойду, как слуга, за тобою повсюду;
И долго твоею я спутницей буду,
И много житейских мы зол победим,

И много блаженства нас ждет впереди».
Она говорила; и в светлую фею
Я взоры вперял, упоенные ею,
И слушало сердце, трепеща в груди.

2

Она в день грустный, в час невзгодный
В последний раз ко мне пришла:
Серела пеленой холодной
В полях туманов полумгла.

Бесцветны были и унылы,
Как дол и скаты, небеса,
Все замирали жизни силы,
И все немели голоса;

Невнятно, как больной тоскливый,
Роптал лишь бор издалека;
Чуть двигаясь над сжатой нивой,
Тянулись тяжко облака.

И тот же самый край был это,
И тот же дол, и тот же сад,
Где мы сошлись в лучах рассвета
Пятнадцать лет тому назад.

И гас заката луч багровый,
На землю листьев желтый рой
Ложился; и в игре суровой
Взвивал их ветр с земли сырой.

Вились, как пестрые их груды,
В уме моем, средь тишины,
Мои увядшие причуды,
И упования, и сны.

И вдруг, очнувшися душою
От горестного забытья,
Ее опять перед собою
Нежданную увидел я.

Не гостью радостной, как прежде,
Не с ясным взглядом торжества, —
В обезображенной одежде
Она стояла, чуть жива,

Вся одичалая, немая,
В унынъи тяжком и тупом,
Изнеможенно поникая
Своим развенчанным челом.

«К чему ты здесь? — сказал я глухо. —
Ко мне вотще не приходи;
Ты сберегла ль мне силу духа,
Отвагу сердца, жар груди?

Я знал с тобой одни утраты
И бедоносные мечты;
Изменница! мне солгала ты,
Мне ненавистна стала ты».

— «Несчастный! — тихо прошептали
Ее дрожащие уста. —
Взгляни и вспомни: не была ли
Я и прекрасна и свята?

Припомни, что сбылося с нами
С тех дней до нынешнего дня;
Какими дикими путями
Повел, жестокий, ты меня.

Я отдалась тебе всецело,
Твоею сделалась рабой,
И расставаться не хотела,
Безумец жалкий, я с тобой.

Сует я часто гул презренный
Воззваньем честным прервала,
Твердя про труд благословенный,
Про долговечные дела.

Но дальше мчал меня ты люто
Стезею бедствий и грехов;
Тебе я мирного приюта
Не раз указывала кров, —

Но ты шел мимо, в злой тревоге
Бессмысленно меня губя.
Порой, измучась, на дороге
Я отставала от тебя.

Тогда ты звал меня сердито,
И вновь старалась я идти,
И вот, — тобою я убита,
Мне нет спасения, прости!»

И, говоря, она редела
Как сон, бледнее и бледней,
И чуть лишь отделялась бело
От окружающих теней.

И я, в вражде с самим собою,
Глядел, и сердце облилось
Внезапно теплою струею
Моих невыплаканных слез.

«Постой! пойдем мы вместе снова, —
Воскликнул я, — останься мне!
Дай мне безумия былого
Ошибку искупить вполне.

И если, бедная подруга,
Нам расставаться суждено,
Так пусть обнимем мы друг друга
Хоть на мгновение одно.

Святым лобзаньем примиренья
Мою ты душу оживи;
Дай мне минуту вдохновенья,
Минуту счастья и любви!»

Печальной дрогнули улыбкой
Ее черты; едва видна,
Мелькала полосою зыбкой
В вечернем сумраке она.

«Так кто ж ты? — вскрикнул я невольно. —
Откуда ты? зачем же вдруг
С тобой расстаться мне так больно?
Кто ты, скорбящий, странный друг?

Кто ты, пришедшая сначала
Ко мне как радость бытия?»
— «Меня уж нет, — она сказала. —
Была я молодость твоя».

Август 1858
Москва

* * *

Да, шли мы житейской дорогой,
Глупенько, признаться не грех,
С усильем, с упорством, с тревогой,
Всё в завтрашний веря успех.

Шел каждый, кто лучше, кто хуже,
Дразнимый призра́ком своим;
И все мы, дошедши к тому же,
Назад с удивленьем глядим.

И можем, вздохнувши глубоко,
Все вместе мы ныне твердить:
К чему было биться без прока?
К чему огород городить?

Между июнем и сентябрем 1858

А. Д. Б<АРАТЫНСК>ОЙ

Писали под мою диктовку
Вы, на столе облокотясь,
Склонив чудесную головку,
Потупив луч блестящих глаз.

Бросала на ваш профиль южный
Свой отблеск тихая мечта,
И песнь души моей недужной
Шептали милые уста.

И данную мне небесами
Я гордо сознавала власть,
И поняла, любуясь вами,
Что я не вправе духом пасть,

Что не жалка судьба поэта,
Чье вдохновение могло
Так дивно тронуть сердце это
И это озарить чело!..

Сентябрь 1858
Петербург

НОЧЛЕГ ВИТИКИНДА

Их двое шло ночной порою
В глухом, дремучем сосняке,
Как будто с бою или к бою,
В нагрудниках, с мечом в руке,

Смотря сердито из-под шлема, —
Могучие богатыри;
И было дико всё и немо
Кругом, леса да пустыри.

Шли оба в помысле суровом
О темном деле иль беде,
Лишь изредка меняясь словом:
«Ты Альфа видел?» — «Видел». — «Где?»

— «У рва, где выдержал он снова,
Стоя с своими впереди,
Напор противников». — «Живого?»
— «Убитого, с копьем в груди».

— «Где Убальд?» — «Пал с своим отрядом».
И смолкла вновь меж ними речь.
Спросивший, со свирепым взглядом,
Рукою стиснул тяжкий меч.

Выл злее ветер, бурным взрывом
Темнее мрак на землю лег.
Сквозь сосны, под крутым обрывом,
Мелькнул вдруг дальний огонек.

«Ого! нам отдых будет скоро:
Там есть ночлег какой-нибудь».
Пошли они туда, средь бора
Мечом прорубливая путь.

Вернулся угольщик. В тревоге
Его давно жена ждала,
Стоя с ребенком на пороге:
«Какие вести из села?»

Придвинулись к огню; мальчишка
Сидит, смотря отцу в глаза.
«Вестей хороших нет излишка,
Подходит снова к нам гроза.

Ущелья наши как ни глухи, —
Нам без беды остаться вряд;
Плохие нынче ходят слухи,
Повсюду люди говорят,

Что был за лесом бой жестокой,
Что герцог Витикинд опять
В одной равнине недалекой
На франков сильно двинул рать;

Что саксы грудами там пали,
Что и народа твердый щит —
Граф Альф — погиб и что едва ли
Сам грозный герцог не убит.

В селеньях горе и забота;
К нам время лютое пришло!..
Чу! что за шелест? словно кто-то
Идет, ступая тяжело.

Вот, слышишь? — подошли к забору;
Пойду взгляну я». — «Что смотреть?
Кому бродить об эту пору
В пустыне? Леший иль медведь».

Зовут. Жена глядит в испуге,
Муж с двери крепкий снял замок;
Ступили, в шлеме и кольчуге,
Два грозных гостя чрез порог.

«Хозяин, дай ночлег. — И сели,
Угрюмые, перед огнем. —
Какие б ни были постели, —
Нет нужды, мы на них заснем».

И шлем, надвинутый над бровью,
Снял старший; вкруг главы вилась

Повязка, смоченная кровью.
Повел он взором диких глаз,

На тяжкий меч склонясь устало,
Вокруг убогого жилья,
Где молча ужин припасала
Пришельцам бедная семья.

И на челе его суровом
Сгущался гневной тучи мрак,
И вспыхнуло в огне багровом
Его лицо: «Скажи, земляк,

К чему там на стене, над входом,
Те две проведены черты,
Которым снова мимоходом
Как будто поклонился ты?»

Смутился угольщик, ответа
Он дать не знает злым гостям:
«Нечаянно случилось это,
Что я нагнулся, идя там».

И, скрыть стараясь дум волненье,
Он взор потупил. «Если так,
Исполни же мое веленье:
Поди и плюнь на этот знак».

Хозяин дрогнул, как стрелою
Пронзенный; бросил на своих
Он взгляд, исполненный тоскою,
С уст вздох сорвался — и утих.

И гостю житель хаты бедный,
Как беспощадному врагу,
Взглянул в лицо и молвил, бледный:
«Хоть убивайте, не могу!»

Встал богатырь с улыбкой ярой
С скамейки. «Видит же Водан!

Пройду я здесь тяжелой карой;
Не пощажу я христиан!

Не позабыть своей привычки
И нынче моему мечу.
Бери топор: тебя без стычки,
Как тварь, зарезать не хочу».

И сталь, зазубренная битвой,
Сверкнула. «Становись к борьбе;
И помолись своей молитвой,
Чтоб посчастливилось тебе.

Нет лучшего тебе совета;
Надежда нас смягчить пуста:
Я герцог Витикинд, а это —
Граф Гуннар, злейший враг Христа».

Стоял хозяин без движенья,
Смерть ожидая; пала в прах
Жена пред знаком искупленья,
С мольбой, замершей на устах.

Схватил ребенок нож, и рядом
С отцом, к сражению готов,
Он стал и молвил, меря взглядом
Обоих яростных бойцов:

«Отец! храбрися; станем смело!
Что нам бояться этих злых?
Еще не кончено ведь дело,
Нас также двое против них».

Остановился вождь сердитый,
Притих, на мальчика смотря;
Ложился отблеск думы скрытой
На грозный лик богатыря.

«Нет! — выговорил он, и звонко
Меч зазвенел, в ножны скользя. —
Нет, Гуннар! этого ребенка
Губить не следует, нельзя».

И оба укрепили снова
Свои доспехи и пошли;
И стих средь пустыря ночного
Звук шага тяжкого вдали.

1858
Москва

ЭКСПРОМТ

ВО ВРЕМЯ УРОКА СТИХОСЛОЖЕНИЯ

Что стали в пень вы, Ольга Алексевна?
Зачем глядеть, с карандашом в руке,
На белый лист так мрачно и плачевно?
Скажите мне, carissima, perché?[1]
Всечасно нам, не только что вседневно,
Стихи низать легко, строку к строке,
Составить песнь, балладу иль эклогу;
Теперь мы все поэты, слава богу!

И дети все начитаны и мудры,
И дамам обойтиться без чернил
Трудней, чем их прабабушкам без пудры:
Столетие величия и сил!
Жаль, третьей русской рифмы нет на *удры;*
Но что поэта остановит пыл?
Вранье же — признак гордый и похвальный
Натуры, необъятно гениальной.

6 апреля 1859
Дрезден

* * *

Это было блестящее море;
Тока синего пели струи,
Пели стройно в безбрежном просторе,
Словно зная про думы мои:

---

[1] Дражайшая, зачем? (итал.) — *Ред.*

— Это было близ таинства моря, —
Токи синего пели струи,
Пели стройно в безбрежном просторе,
Словно зная про думы мои:
На отрадную весть издалека
Был напев их созвучный похож,
Повторял, прибегая с востока,
Светлый рой их мне то же и то ж;—

И вал девятый шел широко,
И бормотал: Все это ложь!—

Там, вдали, где вставала денница,
Зыбь цветною мигала золотой;
Через глубь белокрылая птица
К [illegible] уносилась той;
И твердила я с течением потока,
Что забуду, умчавшись туда ж,
О всей муке борений без срока,
И всей горести низменных чаш;—

И вал девятый шел широко,
И бормотал: Все это блажь!—

—
Каролина Павлова.

На отрадную весть издалека
Был напев их созвучный похож,
Повторял, прибегая с востока,
Светлый рой их мне то же и то ж;

И вал девятый шел широко,
И бормотал: «Всё это ложь!»

Там, вдали, где вставала денница,
Зыбь чертою лилась золотой;
Через глубь белокрылая птица
К полосе уносилася той;
И твердила я с пением тока,
Что забуду, умчавшись туда ж,
О всей муке борений без прока,
О всей горести жизненных чаш;

И вал девятый шел широко,
И бормотал: «Всё это блажь!»

Между 1856 и 1861 (?)

ФАНТАСМАГОРИИ

НЕАПОЛЬ

На палубе в утренний час я стояла, —
Мы к южной неслися роскошной стране;
В раздольной, шумливой морской ширине
Смирялися брызги задорные вала.

Мы быстро неслись; отбегала светло
С боков парохода струистая пена;
Ждала я, — в залив выдавалась Мизена,
Везувия тихо дымилось жерло.

И с левой руки расстилаясь и с правой,
Виднелись брега благодатной земли;

И взором я града искала вдали,
Облитого морем, мощенного лавой.

И там, где эфирный сияющий свод
Касался с любовью земного предела, —
Неаполь блеснул и раскинулся бело
Меж яхонтом неба и яхонтом вод.

24 августа — 5 сентября 1856

* * *

Снова над бездной, опять на просторе, —
Дальше и дальше от тесных земель!
В широкошумном качается море
Снова со мной корабля колыбель.

Сильно качается; ветры востока
Веют навстречу нам буйный привет;
Зыбь разблажилась и воет глубоко,
Дерзко клокочет машина в ответ.

Рвутся и бьются, с досадою явной,
Силятся волны отбросить нас вспять.
Странно тебе, океан своенравный,
Воле и мысли людской уступать.

Громче всё носится ропот подводный,
Бурных валов всё сердитее взрыв;
Весело видеть их бой сумасбродный,
Радужный их перекатный отлив.

Так бы нестись, обо всем забывая,
В споре с насилием вьюги и вод,
Вечно к брегам небывалого края,
С вечною верой, вперед и вперед!

Февраль 1857
Константинополь

* * *

В думе гляжу я на бег корабля.
Спит экипаж; лишь матрос у руля
Стоит недвижимо;

Море темнеет таинственной мглой;
Тихо шепнув мне, струя за струей
Проносится мимо;

Тихо шепнув: «Потерпи, подожди...
Встретить успеешь, что ждет впереди
У брега чужого;

Цели достигнешь, к земле доплывешь,
Всех ожиданий всегдашнюю ложь
Изведаешь снова...

Даром спешишь ты над бездною вод
Мыслью туда... от тебя не уйдет
Обман и потеря...»

Тихо шепнув, за струею струя
Мимо несется... и слушаю я,
Их речи не веря.

Февраль 1857
Константинополь

РИМ

Мы едем поляною голой,
Не встретясь с живою душой;
Вдали, из-под тучи тяжелой,
Виднеется город большой.

И, будто б его называя,
Чрез мертвой пустыни предел
От неба стемневшего края
Отрывистый гром прогремел.

Кругом всё сурово и дико;
Один он в пространстве немом
Стоит, многогрешный владыка,
Развенчанный божьим судом.

Стоит беззащитный, недужный,
И смотрит седой исполин
Угрюмо в угрюмый окружный
Простор молчаливых равнин:

Где вести, и казнь, и законы
Гонцы его миру несли,
Где тесные шли легионы,
Где били челом короли.

Он смотрит, как ветер поляны
Песок по пустыни метет,
И серые всходят туманы
Из топи тлетворных болот.

Март 1857

ВЕНЕЦИЯ

Паров исчезло покрывало, —
Плывем. — Еще ли не видна?
Над ровною чертою вала
Там словно что-то засияло,
Нырнув из моря. — Вот она!

Зыбь вкруг нее играет ярко;
Земли далеки берега;
К нам грузная подходит барка,
Вот куполы святого Марка,
Риальта чудная дуга.

И гордые прокурации
Стоят, как будто б корабли
Властителям блажной стихии
И ныне дани Византии
Толпой усердною несли.

Свой горький жребий забывая,
Царица пленная морей,
Облитая лучами мая,
Глядится, женщина прямая,
В волне сверкающей своей.

Июль 1858
Москва

ГОНДОЛА

Встал месяц, — скольжу я в гондоле,
Качаясь, по светлой бразде;
Всё тихо; плыву я по воле;
Венеция спит на воде.

И сказочной блещет красою,
Сквозь легкий тумана покров,
Над томнотекучей волною
Узорчатый мрамор дворцов.

И с лаской весло гондольера,
Касаяся мерно струи,
Глухим повтореньем размера
Баюкает думы мои.

Далеко, далеко, далеко
Несутся душевные сны!
К волшебным пределам Востока,
Над шумом морской глубины;

Где Сира с вершины утеса
В лазурный глядит небосклон,
Вдоль сумрачных скал Тенедоса,
Вдоль брега, где был Илион.

И волн лучезарных Босфора
Мне снится опять красота:
Сверкает Софии собора
Святая глава без креста;

Белеет Галата и Пера...
И снова, чуть зыбля струи,
Удары весла гондольера
Баюкают думы мои.

И быстро меняются сцены:
Везувий, блажной исполин,
Гаета, — вкруг мыса Мизены
Отливы сапфирных пучин.

У шумного берега Кьяи
Веселый, крикливый народ,
И лодок бесчисленных стаи
На зеркале блещущих вод.

Вдоль пристани frutti di mare[1]
В корзинах, расставленных в ряд;
И, уличной внемля гитаре,
Факкини в кружочке сидят.

Вдали изумрудная лента,
Тень лавров, платанов, олив;
С душистой террасы Соррента
Весь век бы смотреть на залив.

Притихла б там сердца химера!..
И, сонные зыбля струи,
Удары весла гондольера
Баюкают думы мои.

Другие мелькнули картины,
Суровее, — мыслям милей:
Убогие избы, овины
И гладь бесконечных полей.

Повсюду простор величавый,
Звон всенощной в каждом селе;
И город огромный, стоглавый
Широко сверкнул в полумгле.

---

[1] Морские плоды (итал.). — *Ред.*

И с грани земли православной
Громада столицы другой
Кичливо блестит над державной,
В гранит заключенной рекой.

Над ней небо хладно и серо...
И, мерно колебля струи,
Удары весла гондольера
Баюкают думы мои.

И взорам мерещится снова,
Что видеть отвыкли они:
И ночи без мрака ночного,
И темные зимние дни.

Несутся видения роем:
Та грустного счастья пора...
И дом тот с уютным покоем...
И тихие те вечера...

И вновь разыгралися бредни,
Как будто б шли даром года;
Как будто б случилось намедни
Всё то, что сбылося тогда!

Очнулась сердечная вера...
И льются, сливаясь, струи;
И плещет весло гондольера,
Баюкая думы мои.

Июнь 1858

* * *

Умолк шум улиц, — поздно;
Чернеет неба свод,
И тучи йдут грозно,
Как витязи в поход.

На темные их рати
Смотрю я из окна, —

И вспомнились, некстати.
Другие времена,

Те дни — их было мало, —
Тот мимолетный срок,
Когда я ожидала —
И слышался звонок!

Та повесть без развязки!
Ужель и ныне мне
Всей этой старой сказки
Забыть нельзя вполне?

Я стихла, я довольна,
Безумие прошло;
Но всё мне что-то больно,
И что-то тяжело.

1858

* * *

Бежал корабль, прорезывая бело
Свою бразду; сверкали небеса,
Сверкали волны; бéрега бледнела,
Всё более бледнела полоса;

И, одинокая среди народа,
Я в берег тот, на палубе стоя,
Вперяла взор. — Теперь тому два года; —
Пора б забыть! Но не забыла я. —

И вижу вновь, закрыв глаза рукою,
Сверканье волн на солнце и вдали
Уже с блестящей гладию морскою
Сливающуюся черту земли.

И сердце, как в то утро, сжалось снова,
И всё, что было и чему не быть,
Последнее, прошептанное слово, —
Всё помнится, всё, что пора б забыть!

1858

ДРЕЗДЕН

Смотрю с террасы. Даль береговая
Вся светится, как в золотом дыму;
Топазных искр полна река седая;
Уносит пароход народа тьму,
Битком набита палуба до края;
Их лиц не различишь, — да и к чему?

Здесь остаюсь я — здесь, где всё мне ново,
Где я чужда и людям, и местам,
Где теплого я не промолвлю слова,
Где высказаться я душе не дам,
Где далека от края я родного,
Где не бывать тому, что было там...

О господи! Услышь молитву эту
Тяжелую, из сердца глубины:
Не дай опять поверить мне привету,
Не дай опять мне те же видеть сны;
Не дай забыть безумному поэту
Мучительных уроков старины!

То, с чем душа сроднилася так смело
Во что с младых я веровала лет,
То, чем жила, пред чем благоговела, —
Погибло всё. Мне будущности нет.
Дай тихий труд, смиренное дай дело
Заместо мне всего, чем полон свет.

Март 1860
Дрезден

ПИЛЬНИЦ

В свое осеннее убранство
Весь лес торжественно одет;
Роскошно на его пространство
Заката льется яркий свет;
Блестят все ветви золотые
Под неба золотым лучом...
Зачем мне помнится Россия
С своим суровым октябрем?

И тихо гаснет блеск эфирный,
Страны таинственней черты.
Как думе предаваясь мирной,
Стоят лесные высоты!
Дерев чуть движется лишь темя,
Ручья внизу чуть шепчет ток...
Как мне на ум приходит время
Злых возмущений и тревог?

Октябрь 1861

ОЗЕРО ВАЛЕН

День весенний всходит ало,
С глади озера сбежала
Тень прибережных высот;
И над каждой мглой угрюмой,
И над каждой тяжкой думой
Луч небесный верх берет.

Даль раскинулась пред нами:
Над зелеными горами
Блещут снежных гор хребты;
Полон весь простор окрестный
Торжествующей, чудесной,
Ненаглядной красоты!

Сентис сбросил с плеч туманы,
И венок надел румяный
Он на белую главу;
Над равниной вод сияя,
Смотрит ясно небо мая
Синевою в синеву.

Сыплются кругом богато
Искры яхонта и злата
Из лазуревой струи;
Тешится ль русалок стая,
Вверх наперерыв бросая
Ожерелия свои?..

Октябрь 1861
Пильниц

ПОРТ МАРСЕЛЬСКИЙ

Море! .. — вот море! Я с верфи впервые
Взором встречаю разливы морские;
Волны воюют, встают на дыбы;
Тьмущею тьмою бегут их громады,
С гулом невнятной какой-то журьбы,
С роптаньем досады.

Вам я вверяюсь, валы океана!
Вам, своенравным, бунтующим рьяно,
На берег хлещущим шумной дугой!
Мчите же, дикие силы пучины,
Мчите меня вы к чужбине другой
От этой чужбины.

Темное море! Ты будешь мне другом!
Верх ты возьмешь над душевным недугом,
Хлынешь в корабль и пугнешь экипаж,
В сердце уймешь ты старинное горе,
Дум усмиришь ты упорную блажь,
Грозящее море!

Сентябрь 1861
Пильниц

ДОРОГА

Тускнеет в карете, бессильно мерцая,
И гаснет ночник;
Всё пасмурней тянется чаща глухая,
Путь темен и дик.

Карета несется, как будто б спешила
В приют я родной;
Полуночный ветр запевает уныло
В пустыне лесной.

Бегут вдоль дороги все ели густыя
Туда, к рубежу,
Откуда я еду, туда, где Россия;
Я вслед им гляжу.

Бегут и, качая вершиною темной,
Бормочут оне
О тяжкой разлуке, о жизни бездомной
В чужой стороне.

К чему же мне слушать, как шепчутся ели,
Все мимо скользя? —
О чем мне напомнить они б ни сумели, —
Вернуться нельзя!

Сентябрь 1861
Пильниц

ОТВЕТ К***

Да, — в годы прежние владело
Мной вдохновение вполне,
И верила в себя я смело,
И про возвышенное дело
В младой груди шепталось мне.

С тех пор снесла я горя много,
Промчалось мимо много дней,
И прошумела бурь тревога,
И жизнь идет, справляясь строго
С душой восторженной моей.

Не сбыться сердца предсказанью!
Живого образа не дам·
Я сокровенному мечтанью;
Я не поставлю, чистой данью,
Своей иконы в божий храм!

Но и того не гаснет сила,
И на того свою печать
Искусство свято положило,
Кто мог творенье Рафаила
Своею кистью передать.

Январь 1861
Дрезден

* * *

Страницы часть в альбоме этом
С трудом решаюсь я занять:
Вступить в него, с своим приветом,
Скажите, мне какая стать?
Здесь, в сонме звуков, речи бледной
Стоять неловко, и похож
Близ стройных тонов стих мой бедный
На мещанина средь вельмож.

28 апреля 1861
Дрезден

* * *

Труд ежедневный, труд упорный!
Ты дух смиряешь непокорный,
Ты гонишь нежные мечты;
Неумолимо и сурово
По сердца области всё снова,
Как тяжкий плуг, проходишь ты,
Ее от края и до края
В простор невзрачный превращая,
Где пестрый блеск цветов исчез...
Но на нее, в ночное время,
В бразды — святое сеять семя
Нисходят ангелы с небес.

<1862>

* * *

Не гордою возьмем борьбою
Мы верх над бедствием мирским:
Лишь к богу всей взносясь душою,
Смирясь всем сердцем перед ним,
Пройдем чрез горе и невзгоды
Мы, племя бренное земли,
Как чрез морские злые воды
Евреи некогда прошли!

И как оплотом было море
Им в оный день, стеной спрямясь, —
Так роковое будет горе
Святой опорою для нас!

<1862>

ГР. А. К. Т<ОЛСТО>МУ

Спасибо вам! и это слово
Будь вам всегдашний мой привет!
Спасибо вам за то, что снова
Я поняла, что я поэт;

За то, что вновь мне есть светило,
Что вновь восторг мне стал знаком,
И что я вновь заговорила
Моим заветным языком;

За дивный мир средь мира прозы,
За вдохновенья благодать,
За прежние, святые слезы,
В глазах сверкнувшие опять;

За всё, что вдруг мне грудь согрело,
За счастье предаваться снам,
За трепет дум, за жажду дела,
За жизнь души — спасибо вам!

<1862>

НА ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЕСТЬЯН

Они, стараясь, цепь сковали
Длиной во весь объем земли,
Прочнее камня, крепче стали,
И ею братьев обвели.

Порабощенных гордым взором
Они встречали без стыда,

Вопль о спасеньи звали вздором
И говорили: «Никогда!»

Но слышало страдальцев племя,
В глубоком мраке бед и зол,
Другую речь: «Настанет время!»
И это божий был глагол.

Когда в честь праздника большого
Шла в Риме лютая резня,
И в цирке кровь текла всё снова,
И притихал, на склоне <дня>,
С утра не смолкнувший ни часа
И рев зверей, и гул молвы,
И, досыта людского мяса
Наевшися, ложились львы, —
Народу новою забавой
Являлось жалкое лицо:
Невольника в тот цирк кровавый
Бросали, дав ему яйцо.
Он шел; и если, беззащитный,
Пройдя через арену всю,
Он на алтарь сложить гранитный
Мог ношу бренную свою, —
Он был помилован толпою:
Она любила этот фарс.
Он шел; с рыканием порою
Приподнимался лев иль барс.
Как велика была арена!
Как далеко до алтаря!
Росла опасность, длилась сцена,
И тешилась толпа, смотря.
Он проронить не смел и вздоха,
Не смел он шевельнуть рукой;
При лучших шутках скомороха
Не поднимался смех такой.
Везде был хохот без уёма,
Сливались клики черни всей;
Как полный перекатов грома
Стоял широкий Колисей.

И этот грохот злого смеха
С тех пор послышался не раз;
И эта римская потеха
Возобновляется для нас.

В грозящем цирке утомленный
Какой-то раб идет, как встарь,
Идет, залог ему врученный
Сложить надеясь на алтарь.

И мы, как чернь блажная Рима,
В разгульной праздности своей,
Глядим, пройдет ли невредимо
Среди свирепых он зверей?

Над ним острят в толпе несметной,
Исполнен страха взор его:
Боится пасть он жертвой тщетной,
Труда не кончив своего.

До их обид ему нет дела,
Ему не нужен их почет,
Лишь бы дойти, лишь бы всё цело
Осталось то, что он несет.

Несет, гонимый, роковое,
Таинственное благо он,
Несет понятье он святое —
Свободу будущих времен.

1862

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

* * *

В толпе той беспечной
Средь грусти сердечной
Ты помысл мой вечный,
Мой сон наяву.

Но дальнего края
Ты гостья чужая,
Кого же, страдая,
К себе призову?

Нет часу покоя,
Измучен давно я
От злобного воя
От тайных обид.

Чего же ждала ты?
Страдания святы,
Как поздно пришла ты —
Смотри — я убит!

* * *

Когда встречаюсь я случайно
С друзьями прошлых, лучших лет, —
Мне кажется, меж нами тайна
Всё то, чего уж больше нет.

Как связывает преступленье
Убийц, свершивших ночью грех,
Нас вяжет прошлое волненье,
Былая грусть и прежний смех.

Да: наши лучшие надежды
Убили мы в себе самих,
Мы разодрали их одежды
И спрятали богатства их.

И грустно нам напоминанье
О том, что утаили мы,
Что без креста и без названья
Лежит в могиле черной тьмы.

И, презря долгую разлуку,
Мы, встретившись, уже спешим
Пожать друг другу молча руку,
Не возвращаясь к дням былым.

СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ СОВМЕСТНО С Н. Ф. ЩЕРБИНОЙ

АВТОРУ «КНИГИ ПЕЧАЛЕЙ»

Да! призванья есть благие...
И недаром, о поэт,
Времена познав крутые,
Свой несет тебе Россия
Благодарственный привет.

Нас враги одолевали,
Нам скорбеть не стало сил,
Мы веселью чужды стали;
Издал ты свои *«Печали»* —
И нас всех развеселил.

10 января 1856
Петербург

ПОЭМЫ

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

Очерк

Our life is twofold: Sleep has its own world,
A boundary between the things misnamed Death and existence.

Byron.[1]

ПОСВЯЩЕНИЕ

Вам этой мысли приношенье,
Моей поэзии привет,
Вам этот труд уединенья,
Рабыни шума и сует.
Вас всех, не встреченных Цецилий,
Мой грустный вздох назвал в тиши,
Вас всех, Психей, лишенных крылий,
Немых сестер моей души!
Дай бог и вам, семье безвестной,
Средь грешной лжи хоть сон святой,
В неволе жизни этой тесной
Хоть взрыв мгновенный жизни той.

Сентября 1846

1

— А богаты?

— Кажется; имение порядочное, живут довольно хорошо, кроме обыкновенных суббот, дают несколько балов в течение зимы; он

[1] Наша жизнь двойственна: сон имеет свой мир. Грань между явлениями, которые неправильно называются смертью и жизнью. Байрон (англ.). — *Ред.*

сам ни во что не входит, всем располагает жена; c'est une femme de tête.[1]

— А дочь какова?

— Ничего нет особенного! Довольно хороша собой и, говорят, не глупа; да кто же теперь глуп? Впрочем, я с ней никогда ни о чем не рассуждал, кроме погоды и балов, но у ней, должно быть, недаром примесь отцовской, немецкой крови. Я всех этих немок и полунемок терпеть не могу.

— Партия хорошая?

— Нет! есть меньшой брат.

— А что ж у них делают по субботам?

— Да так, разговаривают; общество немногочисленное; вот увидишь.

— Ох! уж эти мне разговоры! не уйдешь от них.

Карета остановилась у подъезда большого дома на Тверском бульваре.

— Мы приехали, — сказал один из двух молодых людей, которые в ней сидели, и оба вышли и вбежали на чугунную лестницу; в передней взглядом убедились, что все изделье немецкого портного сидит на них как следует, вошли, поклонились хозяйке и оглянулись.

В нарядном салоне было человек с тридцать. Иные говорили между собой вполголоса, другие прислушивались, другие прохаживались, но на всех как будто бы тяготела какая-то обязанность, по-видимому довольно трудная, и им всем, казалось, было немного скучно забавляться. Громких голосов и споров не было, так же как и сигарок; это был салон совершенно comme il faut,[2] даже и дамы не курили.

Недалеко от дверей сидела хозяйка на одной безымянной мебели, какими теперь наполняются наши комнаты; в другом углу стоял чайный стол; в его соседстве шептало между собой несколько премилых девушек; немного подальше, возле больших бронзовых часов, на которых только что пробила половина одиннадцатого, — очень заметная, грациозная женщина, утопая, так сказать, в огромных бархатных креслах, занималась тремя молодыми людьми, усевшимися около нее; они о ком-то говорили.

— Он нынче утром умер, — сказал один из них.

— Не о чем жалеть, — отвечала, с чрезвычайно милым взглядом, его прекрасная соседка.

---

[1] Женщина с головой (франц.). — *Ред.*
[2] Порядочный (франц.). — *Ред.*

— Однако, — промолвил другой юноша, улыбаясь, — он был хотя уже не так молод, но очень хорош собой, и хотя зол, но умен.

— Он просто был несносен, — сказала дама, — и красота его мне никогда не правилась: в ней было что-то сердитое.

— Кто умер? — спросила тихонько стройная, черноволосая, бледная девушка лет осьмнадцати, подходя к чайному столу и наклоняясь к одной из окружающих его барышень: — Кто умер, Ольга?

— Не знаю, — отвечала Ольга.

Черноволосая девушка села за стол и стала разливать чай.

Грациозная дама в бархатных креслах продолжала между тем свой искусственный тройной tête-à-tête.[1] Судя по словам этого разговора, он был довольно вял, общеместен, ио судя по физиономии, улыбке и взглядам разговаривающих, — он был чрезвычайно оживлен и замысловат.

— Это кто, Cécile? — шепнула Ольга молодой девушке, разливающей чай.

Цецилия взглянула.

— Тот, что входит с Ильичевым? Я его имя забыла; он в первый раз приезжает к нам в дом; кажется, поэт.

Ольга надула спесиво губки и повернула головку на другую сторону. Явилось еще двое мужчин; один из них подвел другого к хозяйке дома, Вере Владимировне фон Линденборн, и представил. Она его приветствовала очень любезно:

— Я истинно рада, что мне наконец удалось с вами познакомиться; надеюсь, что вы когда-нибудь нам доставите наслаждение услышать ваши сочинения.

Вера Владимировна была не только женщина высокообразованная, которая принимала поэтов и артистов, но еще и женщина деликатная: она ие хотела с первого раза воспользоваться талантом своего посетителя.

В противоположном углу салона видный мужчина, с проседью, едва заметной при свечах, с некоторой искусственной небрежностью в одежде, с притязаниями на глубокомысленность и проницательность, подошел к одному молодому щеголю, который, прислонясь к окну, рисовался с искренне-удовлетворенным видом на спадавшей до паркета тяжелой занавеси вишневого цвета, и, выставляя очень удачно свой жилет новейшего парижского покроя, свою эксцентрическую прическу и свои непорочные перчатки, не думал иметь каких-нибудь других притязаний.

— Посмотрите на группу возле чайного стола, — сказал ему

---

[1] Разговор наедине (франц.). — *Ред.*

подошедший. — Хотите, я вам расскажу, что там происходит? Софья Стренецкая размышляет, где бы ей найти великодушного жениха, который бы выручил все семейство от неминуемой беды и внес бы за них долг в Опекунский совет; Ольга Валицкая не в духе, потому что не приехал князь Виктор; княжна Алина напрасно смеется так усердно: победоносный улан не отходит сегодня от ее двоюродной сестрицы, а эта употребляет его средством взбесить одного присутствующего господина. Не забавно ли?

— Вы ужасный человек! — отвечал с уважением молодой щеголь, крутя свои усики.

Ужасный человек улыбнулся снисходительно.

В кругу созрелых дам беседа была невиннее.

— Скоро ли вы переселяетесь в парк? — спросила Веру Владимировну сидевшая с ней рядом высокая, важная дама, которая до этих пор наблюдала строгое молчание.

— Недели через две, в начале июня, — отвечала та, — кажется, погода установилась. Вы тоже там будете?

— Да, я очень люблю парк; там по крайней мере можно провести лето в хорошем обществе; не так, как у себя в деревне, где приходится знаться бог весть с какими соседями.

— Я совершенно с вами согласна, — сказала другая нарядная дама лет сорока, которая употребляла куафюры с розами и короткие рукава каким-то противоядием против вреда, причиненного злыми годами. — Я чрезвычайно рада, что избегла Рязанской губернии; муж непременно хотел везти меня туда на лето, но, благодаря свадьбе моего брата, я вместо Рязани попаду в Петербург, что гораздо получше. Мне уж и здесь, в Москве, становится немного душно.

— Вы противница Москвы, — заметила Вера Владимировна.

— Почему же? я только несколько разделяю мнение Наполеона и думаю, что, за исключением двух-трех салонов вроде этого, Москва — большая деревня; а я, признаюсь, не обожаю деревни.

Между тем разливанье чая кончилось, и Цецилия вышла с молодыми девушками на широкий балкон. Там сияла всеми своими созвездиями великолепная майская ночь. Недавно позеленевшие липы перед балконом шумели так тихо, так созвучно-печально, так таинственно, как будто бы они стояли не на Тверском бульваре, а в свободном просторе девственной пустыни. Цецилия оперлась на чугунную решетку и задумалась бог весть о чем.

Ее приятельницы смеялись между собой; одна, очень живая блондинка, прислоняясь спиною к решетке, глядела лорнетом в салон и полушепотом делала свои замечания. Ей нельзя было не

насмехаться над знакомыми, потому что она слыла очень остроумной.

— Я думаю, — сказала она, — что это голубое платье скоро получит пряжку, так оно долго служит.

Девушки почти захохотали.

— Не правда ли, — спросила одна из них, — что моему брату мундир очень к лицу?

— Совсем нет, — возразила блондинка, — мужчина в мундире должен быть смуглый и черноволосый, как например Чацкий. Согласись, Cécile, что Чацкий очень хорош собой.

— По-моему, нет, — отвечала Цецилия, — у него черты слишком резки. Я в мужчине люблю наружность скромную, и даже некоторую женскую застенчивость.

— Где же Дмитрий Ивачинский? — спросила ее вдруг блондинка.

— Он уехал к отцу в деревню, — сказала Цецилия голосом, по которому можно было угадать, что оиа краснела.

— Когда же он воротится? — продолжала та с замысловатой улыбкой.

— Почем я знаю? — и Цецилия повернулась и вошла опять в салои.

Там уже некоторые маменьки искали дочерей, чтобы ехать домой. К Цецилии подошла Вера Владимировна.

— Тебе пора спать, Cécile, — сказала она, — ты знаешь, что по приказанию доктора ты должна ложиться рано; а теперь уже скоро двенадцать часов. Поди, мой друг, тебя извинят. — Она ее перекрестила, и Цецилия вышла, прошла длинный ряд покоев, светлых и полутемных, повернула в чуть освещенный коридор и вошла в свою комнату.

Тут все было мирно и безмолвно; в смежном кабинете спала уже часа с два крепким сном старая ее англичанка.

Известно, что девушке высшего круга без англичанки быть нельзя. У нас в обществе по-английски не говорят, английские романы барышни наши обыкновенно читают в переводе французском, а Шекспир и Байрон для них вовсе неприкосновенны; но если ваша шестилетняя дочь говорит иначе как по-английски, то она дурно воспитана. Из этого часто следует, что мать, не так хорошо воспитанная, как ее дочка, не может с ней изъясняться; но это неудобство маловажное: ребенку английская нянька нужнее матери.

Цецилия позвала горничную и стала раздеваться медленно и задумчиво; она думала, что, по всей вероятности, проведет наступающее лето самым приятным образом, что в парке будет очень

весело, что скоро воротится Дмитрий Ивачинский, и что они будут вместе гулять, и танцевать, и ездить верхом. А между тем сквозь эту веселую мысль проглядывала беспрестанно, совсем некстати, мысль странная и неизъяснимая, чувство тягостное и неотступное, как будто бы ей должно было разгадать какую-то загадку, найти какое-то слово, вспомнить какое-то имя, которое ей не давалось... Наконец она легла, горничная вышла со свечкой, и все смолкло; в уютной, беззвучной комнате мерцала только лампадка перед иконою спасителя.

Часы на маленькой колонне между окон пробили средь тишины одним звонким ударом половину первого. Взор Цецилии блуждал лениво по спальне; мирный образ в блестящем окладе то виднелся, то пропадал перед глазами; смыкала их уже дремота... но все вопрос в душе не засыпал... как это было?.. кто?.. и где?..

Вот — засиял звездами свод небесный...
Слетел туман... повеял аромат...
Покой ли то воздушный и чудесный?
Роскошный ли и светлолунный сад?..
Как внятен ей фонтана плач бессонный!
Как ей предел неведомый знаком!
К ней с ласкою склоняясь благовонной,
Блестят цветы стыдливые кругом.
Покоится луна в глуби эфира,
Как ясный перл в безбрежности морской;
Звучит в листах, как ше́пчущая лира,
И носится вдали ответ глухой.
И все миров полночные сиянья,
И вздохи все, скользя сквозь тишину,
И все весны душистые дыханья
В гармонию сливаются одну.
    Каким таинственным сознаньем
    Душа младая смущена?
    Неотразимым ожиданьем
    Кого предчувствует она?
    Над кем склонились сикоморы?
    Что в той тени блестит светло? —
    Законодательные взоры,
    Победоносное чело.
    В ней помнит мысль о небывалом,
    Невстреченного узнает:
    Он отражен в ней дум зерцалом,

Как блеск звезды зерцалом вод.
Стоит он, полон строгой мочи,
Стоит недвижный и немой;
Он ей глядит очами в очи,
Глядит он в душу ей душой.
Какой вины, какой ошибки
Упрек нахмурил эту бровь?
На этом лике без улыбки
Какая грустная любовь!
Что ж деве в грудь легло так больно,
Как неизбежный приговор?..
Она идет — идет невольно
Через немеющий простор,
Туда, где властный и унылый
Тот взгляд сияет как призыв, —
И стала пред безвестной силой,
Главу покорную склонив.
И с уст его упало слово,
Печальней пенья дальных струй;
И будто бы чела младого
Коснулся тихий поцелуй.

2

В воскресенье утром Цецилия стояла перед своим зеркалом и спешила одеться, потому что уже пробило десять часов; к ней вошла горничная.

— Маменька приказали узнать, скоро ли вы будете готовы-с?

— Скажи, что я сейчас иду.

— Маменька приказали вам доложить, чтобы изволили одеться голучше и надеть белую шляпку. Они после обедни хотят ехать с визитами-с.

— Хорошо.

Она надела белую шляпку и пошла к матери.

Через несколько минут обе сидели в нарядной коляске, и огромный лакей, захлопывая дверцы, закричал громогласно:

— В Шереметьевскую!

Помолясь набожно, Вера Владимировна отправилась с Цецилией, во-первых, к старой тетке, где надлежало просидеть с час, из уважения к летам и имению старухи бездетной. Там все было еще по-старинному: грязная передняя, болонки, лакеи в нанковых

сертуках и горничные босые; все одно к одному, все в удивительно гармонической связи, внешнее и внутреннее, тело и душа. Урочный час кое-как прошел, мать и дочь сели наконец опять в свою коляску и понеслись далее, в другую сторону, в другой век, в другой мир, где были уже передние с коврами, важные швейцары и прислуга в перчатках. С топографическими познаниями дам, они прокатились вдоль и поперек по Москве — с Мясницкой на Арбат, с Арбата на Петровку — и напоследок вошли в кабинет Валицкой, матери любимой подруги Цецилии Ольги Алексеевны.

Валицкая, женщина очень богатая, женщина чрезвычайно строгая во всех своих мнениях и суждениях, вполне заслуживала уважение светского общества, для которого нет ни будущего, ни прошедшего. Она ревностно платила свой долг добродетели и нравственности, тем более что принялась за это несколько поздно, нимало не думав о подобной плате в течение лучшей половины своей жизни, но потом, убедясь в ее необходимости, она — надо ей отдать эту справедливость — с неимоверным усердием старалась внести вышеупомянутый долг со всеми накопившимися процентами.

Вероятно, нет никого довольно неопытного, чтобы удивиться тому, что Вера Владимировна, несмотря на свою всегдашнюю непорочность и на свои неумолимые правила, была в дружеских сношениях с Валицкой. Кому приходит на ум заботиться о том, какова была прошедшая молодость женщины, которая давно ведет жизнь самую пристойную и сверх того принимает лучшее общество, дает прекрасные балы и всегда готова оказать услугу своим друзьям? Строгий свет иногда так добродушен: смотря по обстоятельствам — он глядит с таким христианским чувством снисхождения на людей сильных, на женщин знатных и богатых! И притом, в аристократическом, образованном мире все угловатое так оглажено, все резкое так притуплено, на каждое уродливое и гнусное дело есть такие пристойные слова и названия, все так умно устроено для большего удобства, что всякий срам среди этих превосходных условий катится как по маслу, без затруднения и шума. Если бы какой-нибудь неуч упомянул в любом салоне о некоторых прежних приключениях Валицкой, он бы никого не нашел, кто б про них ведал, и получил бы в ответ, что это, верно, клевета, выдуманная насчет умной и милой женщины, которая в своей молодости была разве только, может быть, несколько ветрена. Вообще в собраниях светских не любят говорить о каком-нибудь разврате, вероятно, по той же причине, по которой в старинные времена не любили упоминать о черте, опасаясь его присутствия.

Итак, Валицкая среди этого цивилизированного общества была,

как выражались на его иноземном языке, parfaitement bien posée.[1] Вера Владимировна же находила еще свои особенные выгоды в этом знакомстве. Тон салона Валицкой удовлетворял вполне ее желаниям; она знала, что нигде не отыщет круга более строгого и осторожного, что нигде Цецилия не могла быть безопаснее, что тут ей нельзя было услышать ни единого легкомысленного слова или намека. И опыт доказывал, до какой степени, — полагаясь на истину французской пословицы, что в доме повешенного не говорят о веревке, — Вера Владимировна была права, потому что у Натальи Афанасьевны Валицкой в этом смысле не упоминалось даже о ниточке.

Узнав о приезде Цецилии, Ольга Валицкая сошла поспешно в кабинет матери. Обе молодые девушки, расставшись накануне вечером, обнялись, как после годовой разлуки, сели на диванчик в углу, несколько минут пошептали вместе и потом опять вскочили.

— Maman, — сказала Ольга, — мы пойдем в мою комнату. — И она с Цецилией скользнула из дверей.

Вера Владимировна поглядела им вслед:

— Как Ольга похорошела! — заметила она.

— Cécile вдвое лучше, — отвечала Валицкая, — но надо пристально наблюдать за ее здоровьем, оно все еще несколько расстроено. Вы очень хорошо делаете, что не везете ее нынче на бал к княгине Анне Сергевне.

— Да, это благоразумнее; и я не поеду, хотя меня вчера княгиня очень просила. Какая милая и достойная женщина!

— Редко добрая мать, — сказала Валицкая.

— И счастливая мать, — прибавила Вера Владимировна: — князь Виктор замечательный молодой человек.

Лицо Валицкой сделалось важнее, и она возразила, потупя девственно взор:

— К сожалению, нельзя вполне одобрить его поведение.

— Конечно, — отвечала Вера Владимировна голосом, созвучным с нравственной интонацией Валицкой, — но не должно судить и слишком строго: где же найти молодого человека, который бы более или менее не заслуживал подобного упрека? Потом года берут свое, и добродетельная жена может совершенно исправить легкомысленного мужа.

Валицкая бросила сбоку на свою приятельницу мгновенный взгляд, который значил: ага! — и едва заметно закусила губы.

[1] Чрезвычайно строгой (франц.). — *Ред.*

— Я сама думала не ехать на этот бал, — сказала она, — но Ольга меня упросила; ей чрезвычайно хочется видеть молодых, для которых он дается. Она такой ребенок! танцует и забавляется, как десятилетняя. Я этим, впрочем, очень довольна. Вы знаете, что я совершенно разделяю ваши правила насчет воспитания, и должно признаться, что вы их приложили как нельзя успешнее. Cécile лучшее доказательство их справедливости.

Вера Владимировна с весьма самодовольной скромностью стала играть своим лорнетом.

— Да, я могу признаться, что мои старания не пропали: Cécile совершенно то, что я хотела из нее сделать. Ей всякая мечтательность вовсе чужда, я умела дать большой перевес ее разуму, и она никогда не будет заниматься пустыми бреднями; но, конечно, я с нее, так сказать, не спускала глаз.

— Первая обязанность матери, — заметила Валицкая, — мы должны всегда уметь читать в душе нашей дочери, чтобы предугадать всякое вредное впечатление и сберечь ее во всей детской невинности.

Между тем как маменьки так рассуждали в кабинете, их дочери разговаривали совсем иначе в Ольгиной комнате. Там сидела тоже пожилая англичанка, но все ее внимание было обращено на какое-то бесконечное одеяло, которое она вязала с незапамятных времен; притом же она, как обыкновенно все наши англичанки, едва ли понимала более двадцати русских слов, и потому Ольга, усевшись возле подруги, тотчас завела русский разговор.

— Так тебя не везут нынче вечером на бал к княгине?

— Нет, maman говорит, что я слишком устану, что мне должно беречься.

— Ты точно нынче очень бледна; что с тобою?

— Голова болит; я дурно спала. Представь, Ольга, я видела во сне того, про которого вчера у нас говорили, что он утром умер.

— Бог с тобой! да кто же это вчера утром умер?

— Сама не знаю; помнишь, говорили за чаем про кого-то.

— Ты вечно во сне видишь пустяки и разные ужасы. Ах, как жаль, что ты не едешь на бал! он дается для молодых и, говорят, будет прекрасный. На молодой будет наряд, выписанный из Парижа. А хочешь видеть мое платье?

Не дождавшись ответа, Ольга позвонила.

— Маша! покажи мое платье.

Горничная принесла прелестное воздушное платье, с талией, грациозно убранною чудесными лентами, с двойною юбкою, одна

накинутая на другую, как розовый туман; платье восхитительное! Цецилия занялась им и вполне оценила его достоинство.

— Кто сшил? Madame André?

— Да, насилу согласилась; у ней заказано одиннадцать платьев к нынешнему вечеру; я до смерти боялась, что не успеет. Как досадно, что ты не едешь! — Я уже почти на все танцы ангажирована; мазурку обещала князю Виктору.

— Что же князь Виктор, — спросила Цецилия вполголоса, — едет в Петербург?

Ольга потупила глаза и отвечала еще тише:

— Не знаю; может быть, поедет.

— То есть как тебе будет угодно?

— Нет, душенька, — шепнула Ольга, пожимая руку своей наперсницы, — нет еще; бог знает, что будет. Только, ради Христа, не говори никому. Maman мне строго запретила проронить слово об этом, и особливо с тобой: ты знаешь, она воображает, что тебе самой хочется идти за князя Виктора. Она не знает, что ты думаешь о другом.

Цецилия улыбнулась, и через несколько минут горничная Маша вошла с докладом:

— Цецилия Александровна! вас маменька приказали позвать; они тотчас изволят ехать.

Обе подруги сбежали вниз. Вера Владимировна уже стояла с Валицкой в зале, готовая отправиться домой; пожилые приятельницы пожали друг другу руку, молодые обнялись раза с три и наконец решились расстаться.

На лестнице своего дома Вера Владимировна встретила племянника:

— Здравствуй, Serge! куда ты?

— Я от вас, ma tante;[1] заезжал узнать о вашем здоровье, а теперь спешу к Ильичеву; мы с ним обедаем у Шевалье.

— Так я тебя не хочу задерживать; до свиданья, мой друг. Она взошла несколько ступенек и опять остановилась:

— A propos, Serge,[2] послушай!

— Что угодно, ma tante?

— Ведь ты, кажется, знаешь этого молодого человека, — как его? которого мне Ильичев вчера представил: литератор?

— Знаю, ma tante.

— Так сделай милость, привези мне его в будущую субботу,

---

[1] Тетушка (франц.). — *Ред.*

[2] Кстати, Серж (франц.). — *Ред.*

с тем чтоб он кое-что прочел; вчерашний вечер был как-то неудачен, и эта суббота будет последняя, так надо ее чем-нибудь наполнить. Настоящая епитимья!

— Очень хорошо, ma tante, я вам литератора доставлю.

— Да пожалуйста, не забудь.

— Помилуйте!

Племянник сбежал вниз; тетушка вошла к себе.

Почти все знакомые Веры Владимировны были в этот день на упомянутом бале, так что она провела вечер у себя очень тихо. Съехались, однако, у нее две старые дамы и одна немолодая; они с хозяйкой дома взялись вчетвером за преферанс — лучшее препровождение времени в подобных случаях. Муж Веры Владимировны (упоминая о нем, его обыкновенно называли мужем Веры Владимировны, и он сам раз, как незнакомец спросил его, с кем он имеет честь говорить, представился ему под этим названием), муж Веры Владимировны был, как всегда, в клубе.

У Цецилии голова к вечеру очень разболелась; она, разливши чай, попросила позволения идти ложиться спать.

— Изволь, мой друг, — сказала мать, — но не послать ли за доктором?

— Нет, maman, это ничего; я завтра буду здорова.

Она поцеловала руку матери, пошла к себе и легла.

Необыкновенное утомление, вероятно последствие утренних разъездов, овладело ею; было тяжело на́ сердце, неизвестно почему; она долго лежала без сна, с закрытыми глазами. Более и более усталость тяготела над ней; мысли затихали, сон налетал; она забыла все; а сквозь это забвение в глубине души таилось и яснело какое-то невнятное воспоминание. Туманным покрывалом ее как кто-то обложил, и словно она спускалась тихо-тихо-тихо — и вдруг по членам пробежала дрожь:

Как будто бы пришлось свершиться чуду...
«Да, как вчера, — ты здесь! .. ты вновь со мной!»
— «Я вновь с тобой! тебе я верен буду;
Я ждал тебя, — я призванный, я твой».

— «Кто ж ты?»
— «Я то, что ты искала
В сияньи звездной высоты;
Я грусть твоя средь шума бала,
Я таинство твоей мечты,
Чего умом не постигала,

Что сердцем понимала ты.
Ты, мыслей в мир несясь богатый,
Его границ не перешла ль?
Безвестным не была ль полна ты,
И не глядела ли ты в даль?
Тебе, не знающей утраты,
Чего-то не было ли жаль?»

Они сидят в сияньи лунном оба,
И им поет сребристая струя.
«Да, это ты! — живой ты встал из гроба!
Возможно ли? иль сплю и брежу я?»

— «Что невозможно, что возможно —
Как знать земному существу?
Быть может, там всё было ложно,
Быть может, здесь ты наяву.

Та узница людского края,
Та жертва жалкой суеты,
Обычая раба слепая,
Та малодушная — не ты.

Тебя они сковали с детства,
Твой вольный спеленали ум,
Лишили вечного наследства:
Свободы чувств и царства дум.

И под ярмом железным века
Затих в груди святой порыв;
Но в грешном теле человека
Господень дух остался жив.

Так хоть на миг же мимолетный
Вспорхни ты вольною душой:
Есть в прахе жизни край бесплотный,
Средь мира их есть мир другой.

Поймешь ты тайну вдохновений,
Жизнь духа проживешь вполне;
Что наяву узнает гений,
Узнаешь ты, дитя, во сне

И позабудешь, что узнала;
Не отравлю я дней твоих,
Не подниму я покрывала
С твоих очей, в стране слепых.

И там мое замолкнет слово,
Моей любви исчезнет след;
Меня, средь говора людского,
Ты как пустой припомнишь бред.

Но слетит молчанья фея,
Мир заснет как тихий дом,
И, молитвой пламенея,
Станут звезды пред творцом.

И неведомо приду я
С дивным сном к тебе в тиши;
Тайной силой поцелуя
Цепь сниму с твоей души,

Чтоб взнеслось святое пенье,
И повеял фимиам,
И зажглось богослуженье
Вновь в тебе, безмолвный храм».

3

Последняя суббота Веры Владимировны очень удалась: явился желаемый поэт. Общество в этот вечер состояло из самых избранных любителей и любительниц литературы; такого рода круг в теперешнее время составить вовсе нетрудно, потому что литературу чрезвычайно уважают, и в особенности дамы с некоторых пор так о ней заботятся, что только по едва заметным признакам возможно угадать, что они не в самом деле принимают в ней живое участие.

Итак, поэт явился, застенчивый, не совсем ловкий молодой человек, в не совсем свежих перчатках. Он вошел с некоторым чувством робкой гордости в этот освещенный и просвещенный салон, где такие важные особы, такие прекрасные женщины собрались его слушать. Но им всем было теперь не до него: племянник Веры Владимировны привез к ней неожиданно только что при-

бывшего в Москву путешественника — испанского графа, преинтересного, смуглого, гордого карлиста с блестящими глазами. Он, разумеется, сделался тотчас предметом общего внимания, средоточием всех женских взоров, центром салона. Все присутствующие дамы занялись им с тем страстным старанием угодить человеку приезжему, понравиться посетителю чужому, с той известной, неизлечимой приветливостию, которая иногда до того добродушна и ревностна, что становится несколько непристойна и делает нас часто смешными, а наших иностранных гостей почти всегда наглыми. Бедный литератор остался в углу, вовсе незамеченный. Да что же тут и удивительного, что никто даже не взглянул на него при таком непредвиденном обстоятельстве? Ведь московским дамам литераторы не в диковинку, а испанский граф для них еще невидальщина.

Но часа через два граф уехал, и тогда хозяйка дома взялась за поэта. Она к нему подошла и очень любезным образом высказала свое и общее нетерпение и ожидание обещанного чтения, потом усадила его у стола, а слушателей вокруг него, сама великодушно заняв самое видное и близкое к нему место, где уже нельзя было ни шепнуть, ни зевнуть. Бедный молодой человек несколько смутился, стал перелистывать свою тетрадь и не знал, что из нее выбрать. По всему было видно, что он в первый раз готовился занять собою этот разряд людей, отделяющихся от остального человечества и составляющих тот надменный *свет,* так наивно названный, для которого нет иного в господней вселенной.

По причине Цецилии и других присутствующих барышень, чтению надлежало быть совершенно нравственному и невинному; итак, робкий поэт, в недоумении, решился наконец прочитать свой неизвестный перевод «Колокола» Шиллера, кашлянул и произнес скромным голосом: «Песнь о Колоколе». Последовало минутное молчание; некоторые грациозные головки двинулись вперед, несколько розовых губок умильно улыбнулось, несколько милых слушательниц устремило на юного поэта свои приветливые взоры, и между тем вспомнили про себя, что, кажется, эта пиеса очень длинна. Ободренный таким лестным вниманием, молодой человек начал читать, сперва вполголоса, потом звучнее и живее. Он был до того молод и неопытен, что читал свои стихи при этом аристократическом обществе с тем же жаром, с каким говорил их в своей скромной комнате, наедине с самим собой; он был до того закален в огне поэзии, что не чувствовал веющего от всех этих лиц светского холода. Он провел перед ними тот ряд волшебно сменяющихся картин: мирное детство, бурную юность и восторги любви,

и спокойствие счастия, и беду, низверженную с неба, — пламень пожара, мрак опустошения и смерть матери; и потом, вдали, поляны в блеске вечера, с медленными возвращающимися стадами, тихо сходящую ночь, и благодатный порядок, и внезапный, ужасный мятеж; радости жизни и бедствия, звучно провозглашенные тем молитвенным, роковым отзывом колокола, и наконец с горячих уст его слетели последние вдохновенные слова:

И будь отныне таково
Предназначение его.
Там средь небесного объема,
Высоко над землей взнесен,
Пусть плавает, соседом грома,
И с миром звезд граничит он.
Пусть будет свыше глас священный,
Как всех созвездий хоровод;
Пусть славит он творца вселенной
И щедрый провожает год.
Лишь то, что свято, что всевластно,
Гласи он медным языком;
И мимолетом, ежечасно
Пусть время бьет в него крылом.
Да будет он глаголом рока,
Над всем бесчувственно стоя,
Да возвещает издалека
Игру земного бытия,
И, поражая быстротечно
Могучим звуком нас с высот,
Да учит он, что всё не вечно,
Что всё подлунное пройдет.

Тетрадь выпала из рук его, — он замолчал.

— C'est délicieux! c'est charmant![1] — шепнули некоторые голоса.

Вера Владимировна повторила с чувством:

— C'est charmant! — и поблагодарила поэта за доставленное удовольствие.

— Как это хорошо! — сказала Цецилия на ухо сидящей возле нее Ольге.

— Очень хорошо, — отвечала Ольга, смотря пристально в лорнет на кого-то.

---

[1] Это восхитительно! это прекрасно! (франц.) — *Ред.*

Последовало короткое молчание.

— Да, — молвил один низенький, миловидненький господин лет пятидесяти, — эта мысль о времени очень счастлива, но немного растянута на немецкий манер. Как сжато и сильно умел ее выразить в двух стихах Jean-Baptiste Rousseau: [1]

Le temps, cette image mobile
De l'immobile Eternité. [2]

Одна из прелестных соседок литератора наклонилась поближе к нему и спросила с участием:

— Сколько времени стоил вам этот прекрасный перевод?

— Не знаю, — отвечал бедный смущенный молодой человек.

Она отвернулась с едва заметной улыбкой.

— Действительно, хорошие стихи, — сказал усевшийся очень спокойно в больших креслах худощавый, серьезный мужчина, князь какой-то. — Но это, — он на минуту умолк, понюхал табаку, протянул правую ногу на левую и продолжал свою речь, — но это поэзия несовременная; мы уже не довольствуемся пустой мечтательностью, мы требуем дела. В наш век поэт должен также содействовать поколению трудолюбивому; поэзия должна быть полезна, она должна клеймить какой-нибудь порок или венчать какую-нибудь добродетель.

Вера Владимировна вступилась за Шиллера.

— Позвольте, князь! — заметила она. — Мне кажется, вы не совсем правы насчет этого стихотворения; в нем есть много нравоучительного и истинно полезного.

— Да, — прервал князь, разгорячаясь своим собственным красноречием, — но все это как-то не довольно живо, не довольно разительно. Мы хотим ясно видеть цель всякого стихотворения. Поймите это, — продолжал он, обращаясь к литератору, — ваше призванье теперь важнее прежнего, нравственнее, выше. Пишите стихи против жестокосердия эгоистов, против разврата легкомысленной юности, расшевелите совесть злодея, — и вы будете поэтом современным. Мы признаем только полезное человечеству.

Бедный молодой поэт подумал, может быть, что чувствовать и мыслить, любить и молиться — также несколько полезно для человечества, но он смолчал.

---

[1] Жан-Батист Руссо (франц.). — *Ред.*

[2] Время, этот изменчивый образ неизменной Вечности (франц.). — *Ред.*

Вера Владимировна хотела было попросить его прочесть еще какое-нибудь стихотворение, но, взглянув на присутствующих, она заметила, что они все казались несколько утомлены поэтическим наслаждением. Притом было уже и довольно поздно, так что вечер ее мог благополучно кончиться без помощи какой бы то ни было художественной примеси. И в самом деле, общество любителей литературы мало-помалу разошлось с очень довольным видом; и еще на лестнице слышались похвалы:

— Молодой человек с талантом.

— А испанец будет завтра у меня.

— Он очень интересен.

— Чудесные глаза.

— Какой приятный вечер!

— Особенно тем, что кончился, — примолвил мимоходом спесивый юноша, надвигая бойко шляпу на брови.

Через час после чтения богатый салон был пуст, и Цецилия перед своим туалетом завивала на ночь свои густые черные кудри.

Ей было как-то странно и неловко; в ее памяти невольно повторялись некоторые из слышанных стихов и мелькали снова ей так живо представленные виденья, и все это выходило вовсе из обычных пределов ее мыслей.

Цецилия была воспитана в страхе бога и общества; заповеди господни и законы приличия были равновесны в ее понятиях: нарушить, даже мысленно, первые или последние казалось ей равно невозможно и невообразимо; а Вера Владимировна, хотя, как уже доказано, очень уважала и любила поэзию, но все-таки считала неприличным для молодой девушки слишком заниматься ею. Она весьма справедливо опасалась всякого развития воображения и вдохновения, этих вечных врагов приличий. Она так осторожно образовала душевные способности своей дочери, что Цецилия, вместо того чтоб мечтать о маркизе Позе, об Эгмонте, о Ларе и тому подобном, могла мечтать только о прекрасном бале, о новом наряде и о гулянье первого мая.

Вера Владимировна, как уже известно, очень гордилась этим удачным воспитанием; тем более, может быть, что оно свершилось не без труда, что, вероятно, стоило времени и уменья, чтобы истребить в душе врожденную жажду восторга и увлечения; но как бы то ни было, Цецилия, готовая для высшего общества, затвердивши наизусть все его требования и уставы, никогда не могла сделать против них малейшего прегрешения, незаметнейшей ошибки, ни в каком случае не могла забыться на минуту, возвысить голос на полтона, вскочить со стула, увлечься разговором с мужчиной до

того, чтобы беседовать с ним на десять минут долее, чем следовало, или взглянуть направо, когда должно было глядеть налево. И ныне она, осьмнадцатилетняя, так привыкла к своему умственному корсету, что не чувствовала его на себе более своего шелкового, который снимала только на ночь. У ней, разумеется, были и таланты, но таланты умеренные, пристойные, des talents de société,[1] как называет их весьма точно язык преимущественно общественный. Она пела очень мило, и рисовала также очень мило. Поэзия, как выше сказано, была ей известна более понаслышке, как что-то дикое и несовместное с порядочным образом жизни. Она знала, что есть даже и женщины поэты; но это ей всегда было представляемо как самое жалкое, ненормальное состояние, как бедственная и опасная болезнь.

А теперь она невольно думала об этой странной способности души; в ней бессознательно просыпалось сочувствие новое и непонятное к этой гармонии стиха, к этим созвучным думам, к этим неприличным восторгам, и такое нежданное сочувствие почти пугало ее: она опять приводила себе на ум, что это все-таки пустые и ненужные бредни, которыми долго заниматься не должно; и так размышляя, она положила грациозную головку на подушку и осталась одна среди ночного молчания. Но нет-нет, сквозь дремоту, опять звучала в ней рифма, опять слышался стих, и ей, полусонной, вздумалось вдруг, что, может быть, и она умела бы так говорить, песнью... и уже засыпая, она улыбнулась этой нелепой мысли. А неотступное пение жужжало и звучало, и баюкало ее: все яснее она его слышала и все лучше понимала, и все естественнее казались ей гармонические порывы и вдохновенные слова; вокруг нее как будто волны катились переливные... ее как будто качал челнок... и нес далеко... и точно берег где-где мелькает, — луна взошла...

Река несется, и, ше́пча, льется
В реке струя.
Несется мимо неутомимо
С рекой ладья.

Навстречу девы скользят напевы
Средь тишины,
Как отзыв дальный, как музыкальный
Аккорд волны.

---

[1] Общественные таланты (франц.). — *Ред.*

И самовластно, с волной согласно,
В ней мысль поет,
И в звучной мочи взвился средь ночи
Мечты полет, —

Мечты унылой и тревожной
О всем, что тщетно ум хранил.
О трате жалкой и безбожной
И лучших благ, и лучших сил.
О лже житейской их преграды,
О козням светского суда,
О всем, убитом без пощады,
О всем, погибшем без следа.

Река несется, и, шепча, льется
В реке струя,
И с девой мимо неутомимо
Скользит ладья,

Плывет далеко по воле тока,
И звездный хор,
Блестя широко, лучом упрека
Встречает взор.

Ведет Путь Млечный в мир бесконечный
Вдали над ней;
И вздох сердечный к той воле вечной
Взлетел грустней:

«Да, пройдут, быть может, лета,
И настанет лучший век:
Не всегда сил грешных света
Будет жертвой человек!
Может быть, дни упованья,
Дни блаженства впереди,
И священные алканья
Вновь взволнуются в груди.
Но зачем встречать упреки,
Гибнуть даром в нашей мгле,
Бесполезные пророки,
Бог вас ныне шлет земле?

Жизни горестные чаши
Пьете тщетно вы до дна:
Людям чужды веры ваши,
Ваша песнь им не нужна».

И мимо, мимо неутомимо
Скользит ладья;
Река несется, и громче льется
В реке струя.

И волн вся стая поет, сливая
Свой звучный глас:
И даль чужая немого края
Отозвалась.

И ветр летучий, в тени дремучей,
Сквозь пенье вод,
Сквозь гул созвучий ответ могучий
Оттоль несет.

Они идут средь потрясений,
Бросая в мир свой громкий стих;
Им песнь важней людских стремлений,
Им сны нужней даров земных.
Их убежденьям нет ответа,
Их вдохновеньям нет наград;
Но, недоступны власти света,
Они поют, они творят
Не для толпы пустой отрады:
Ей тщетно жизнь полна чудес,
И звезд сияют мириады,
И солнце блещет средь небес, —
Но чтобы люди, тайну чуя,
Ее отвергнуть не могли;
Но чтоб поэта аллилуйя
Неслась над ропотом земли.
Но потому, что для вселенной
Неистощима благодать;
Что всюду сходит дар священный,
Его хоть некому понять;
Что мира каждое созданье

Должно, исполнясь бытием,
Свое взносить благоуханье,
Блеснуть сквозь мрак своим лучом;
И что в дали пустынь недаром
Век целый солнце пальму жгло,
Когда под ней, измучась жаром,
Склонилось хоть одно чело,
Когда в стране бесплодной зноя
Один пришлец, лишенный сил,
Нашел у ней хоть час покоя
И тень ее благословил.

4

Прошло уже несколько дней с тех пор, как Вера Владимировна переселилась в одно из тех милых готическо-фантастическо-китайских зданий, какими усеян Петровский парк. Тут также все соответствовало требованиям и условиям света. Вокруг нарядного домика нарядный садик, зелень везде отличная, избранная, зелень, можно сказать, аристократическая: нигде ни увядшего листика, ни сухого сучка, ни лишней травки; изгнано все, что в божьем создании есть грубого, пошлого, плебейского. Сами кустики около дома красовались с какой-то парижской чопорностью, сами цветы, усаженные и уставленные где только можно, принимали какой-то вид хорошего тона, сама природа делалась неестественна. Одним словом, все было, как следовало быть.

Среди этой красивой и искусной декорации стояли, в теплый и светлый июньский вечер, возле нарядных грумов несколько оседланных лошадей, из которых три с дамскими седлами. Вокруг них ходили и заботились пять-шесть молодых щеголей; в их числе был и князь Виктор, и недавно прибывший Дмитрий Ивачинский. Подальше — коляска и пара легких мужских экипажей ждали заложенные и готовые. Дамы сидели в салоне, ожидая наездниц, которые еще оканчивали свой наряд. Наконец они явились, и все общество вышло на широкое крыльцо. Цецилия и Ольга, еще стройнее обыкновенного в длинных верховых платьях темного цвета, еще грациознее в черных полумужских шляпках, из-под которых струились густые волосы и блистали живые глаза, остановились на чугунных ступеньках, с хлыстиками в руках, отважные, прекрасные. Им подвели нетерпеливых коней. Едва ступив узенькой ножкой на подставленное стремя, они взлетели на них, дернули

поводом и понеслись, опережая мужчин, с той буйной женской смелостью, которая так далека от храбрости.

Третья всадница была одна из тех драгоценных и полезных приятельниц, которыми обыкновенно запасаются умные светские женщины. Она принадлежала к бесчисленному множеству барышень, у которых нет денег, нет и красоты, нет даже и привлекательного ума — этой тщетной и недостаточной замены тех важнейших достоинств. Но зато Надежда Ивановна была необходима для Валицкой, зато Надежда Ивановна разделяла все увеселения этого блестящего круга, и она, бедная, ежедневно и неутомимо ставила свой толстый стан, свое тридцатилетнее, пошлое лицо, свое скудное платье возле стройной талии, свежего личика и чудесно искусного наряда Ольги и, вероятно, сама не понимала всего своего самоотвержения; а может быть, и понимала, как знать? Есть люди, которые готовы платить кровью жил своих за то, чтобы коснуться высшего общества и будто бы участвовать в его забавах.

Цель прогулки было Останкино.

Уже кавалькада, сопровождаемая экипажами, неслась вдоль свежей и широкой рощи, которую народ, с врожденным ему смыслом, избрал для своих увеселений и сделал своей неоспоримою собственностью, оставляя пыльный Петровский парк и песчаные Сокольники людям более просвещенным. Цецилия скакала вперед; она с детской радостью предавалась прелести верховой езды, быстрому влечению этой живой силы, этой полусвободной воли, которая ее уносила и которою она управляла. И притом вечер был прекрасен, поле широко, воздух живителен, небо бездонно ясно. Она ударила лошадь хлыстиком и помчалась во весь опор. Ею овладело какое-то непонятное опьянение: ей вдруг захотелось ускакать от всей жизненной неволи, от всех зависимостей, от всех обязанностей, от всех необходимостей. Она неслась с блестящими глазами, с распущенными кудрями. Внезапно кто-то поравнялся с ней, и чужая рука схватила поводья ее лошади и остановила ее.

— Вас лошадь понесла? — сказал князь Виктор.

Цецилия опомнилась и перевела дух.

— Нет, я ее пустила.

— Как вы нас испугали, — продолжал он и прибавил вполголоса: — Как вы меня испугали!

— Будто бы?

— Вы этому не верите?

Она улыбнулась, поправила волосы, надвинула шляпку на лоб и поехала шагом. Князь остался возле нее и продолжал разговор.

Чрез несколько минут послышался им неистовый галоп, и Ольга пролетела мимо их с Дмитрием Ивачинским; Ольга смеялась.

Но в коляске Валицкая не спускала лорнета с глаз и очень заботилась о Цецилии. Вера Владимировна сидела возле нее с более довольным, чем испуганным лицом и уверяла свою приятельницу, что Цецилия очень хорошо ездит верхом, и что ее лошадь самая верная и нимало ее не понесла. Валицкая не могла убедиться и до того была встревожена, что раза два прибегнула к своей золотой касолетке.

Наконец все они благополучно докатились и доскакали до входа Останкинского сада. Наездники соскочили и сняли с лошадей разгоряченных наездниц. В одной беседке готовился для общества чай с плодами и мороженым. Между тем отправились гулять. Цецилия и Ольга шли впереди, окруженные мужчинами. Осторожная Вера Владимировна убедилась быстрым взглядом, что ее услужливый племянник Serge совершенно понял несколько ему прошептанных ею слов и занимал очень усердно Ольгу, а что князь Виктор был возле Цецилии, и добрая, предусмотрительная мать, сопровождаемая Надеждой Ивановной, последовала за молодежью, очень довольная своими стратегическими распоряжениями. Валицкая шла последняя, взяв руку Дмитрия Ивачинского, шла скромно и медленно и разговаривала с ним о прелести вечера и о свежей прохладе Останкинского парка. Они незаметно несколько отстали от других; Валицкая продолжала разговор своим кротким, тихим голосом. (Она всегда говорила вполголоса.)

— Мы, кажется, идем вокруг всего парка: я боюсь, что прогулка слишком продлится и что нам придется ехать домой в сумерках. Который теперь час, Дмитрий Андреевич? на мне часов нет.

Дмитрий, который и не подозревал, к чему может иногда вести невиннейший вопрос: который час?, вынул часы и отвечал простосердечно:

— Без четверти восемь.

— Я не знаю, — продолжала Наталья Афанасьевна, — позволю ли я Ольге ехать домой верхом; я этой езды всегда боюсь. Я давеча донельзя испугалась, как лошадь понесла Цецилию.

— Да Цецилия Александровна уверяет, что ее лошадь совсем не понесла.

— Вздор, я сама видела. Да как же вы тотчас не поскакали за нею? она была на волос от смерти.

— Да я... я не заметил; она была впереди.

— Хороши же вы, господа! однако князь Виктор тотчас это заметил и помчался без ума, чтобы остановить лошадь.

Дмитрий чуть-чуть улыбнулся.

— Это доказывает, что князь Виктор расторопнее меня.

Валицкая тоже немного улыбнулась, отвечая:

— Это доказывает, может быть, и что-нибудь другое.

Улыбка осталась на лице Дмитрия.

— Я думаю, — сказал он, — что князь Виктор никогда не будет подвержен опасности влюбиться.

— Почему же? Цецилия чрезвычайно мила; да она будет и очень хорошая партия. Старая тетка, после смерти сына своего, намерилась сделать ее своей единственной наследницей; я это знаю наверно; а у старухи имение очень значительное, и она едва ли долго проживет; мне Вера Владимировна еще вчера говорила о ее совершенно расстроенном здоровьи. Вера Владимировна ее искренне любит и очень о ней заботится и тужит. Бедная Вера Владимировна! ей угрожает еще другое горе, несравненно высшее. В ее молодом сыне развивается та же бедственная болезнь, которая, как вы знаете, убила в первом возрасте уже троих детей несчастной матери. Цецилия, вероятно, останется ее единым утешением.

И при этой грустной мысли Валицкая со вздохом поникла головой и прекратила разговор.

Дмитрий Ивачинский был добрый человек, даже благородный человек в обыкновенном значении этого слова; но почему доброму и благородному человеку не желать быть вдобавок и богатым? Как для большей части нашего поколения, деньги, и даже много денег, были для него нужнейшей стихией жизни. Он сам имел изрядное состояние; но к чему служит в наш век изрядное состояние, как разве только к тому, чтобы беспрестанно ограничивать свои желанья и живее и болезненнее чувствовать всю необходимость богатства? Цецилия ему давно нравилась, но он ее полагал так называемою бесприданницею и очень благоразумно и справедливо рассчитывал, что если с пятнадцатью тысячами годового дохода ему, холостому, и можно было (по его выражению) жить кое-как, то женатому будет плохо. Ума притом ограниченного, он обыкновенно глядел только туда, куда ему указывали; и теперь, следуя указанию, он в первый раз увидел Цецилию в другом освещении, и в необыкновенно для нее выгодном. Он решительно не желал смерти ни брату ее, ни даже старой тетке; но так как ему невозможно было никакими силами спасти ни бедного мальчика, ни доброй старушки, то он стал их считать уже похороненными. А Цецилия была решительно премилая, прехорошая и пре-

добрая девушка; девушка, которая могла сделать мужа пресчастливым.

Размышляя об этом, Дмитрий шел молча возле Валицкой, которая также молчала и думала про себя, что с некоторыми людьми неимоверно легко справиться.

Воротились к беседке, где прислуга ждала с чаем, и уселись. Валицкая подошла к дочери, стоявшей поодаль, по-видимому чтобы поправить ей волосы, совсем развитые ездой; этот материнский труд продлился минут с десять, вследствие чего Ольга взяла Цецилию под руку и пошла с ней бродить по обширному партеру. Никто из мужчин не смел вмешаться в эту дружескую беседу; видно было, что они обе говорили очень живо, особенно Ольга. Мать ее глядела издали и могла заметить, что Цецилия сначала имела вид довольно серьезный; но вскоре она стала веселее и потупила глаза с премилой улыбкой. Тогда Наталья Афанасьевна оборотилась к столу и с большим удовольствием стала кушать мороженое, которое уже давно стояло пред нею.

Накушавшись, нагулявшись, стали собираться ехать домой. Дмитрий Ивачинский подвел лошадь Цецилии и подставил руку ступенькой для стройной ножки.

— Цецилия Александровна, — сказал он полушепотом, поправляя длинное ее платье, — позвольте мне ехать с вами рядом; вы меня давеча так испугали, что я совсем потерялся.

— Вы имели время и опомниться, — отвечала она.

— О! когда я опомнился, вы были уже *спасены* рыцарским князем, и я не смел помешать вам в изъявлении вашей благодарности.

Цецилия слегка засмеялась очень весело, взглянула быстро на Дмитрия и поскакала. В этом полусмехе, в этом полувзгляде было позволение, о котором он просил, и они вместе пустились чрез зеленый луг, на который уже сумерки бросали легкую тень и восходящая луна — бледные лучи. Покинутый князь Виктор стал ухаживать за Ольгой, считая это, в наивности своего благоговения к себе, жестокою местью за обиду, нанесенную ему Цецилией. Лошади бежали живее на возвратном пути и вскоре донеслись до цели.

У крыльца Дмитрий соскочил и подошел к Цецилии, чтобы снять ее. Она нагнулась, прыгнула, опираясь на его поднятую руку, и в течение полминуты эта охраняющая, твердая рука пожала ручку нежную, как будто бы она ее никогда выпустить не хотела. Цецилия вошла поспешно в дом, раскрасневшись уже не от верховой езды.

А вы, Вера Владимировна, в эту роковую минуту вы спокойно выбирались из коляски. Где же был ваш зоркий глаз, осторожная мать? где же был ваш неизбежный лорнет?

Наступала уже полночь, когда Цецилия, раздевшись, отослала горничную и в легком пеньюаре села у открытого окна своей уютной комнатки. Теплый, едва движимый ночной воздух веял ей в лицо. По небу проносились тихие тучи; кругом все было пусто. Великолепная ночь отнимала даже у Петровского парка его чопорную пошлость. Виднелся только таинственный простор, чернели только массы дерев, мерцали только кое-где огоньки спокойных жилищ. Широколистный клен пред окном чуть роптал. Поодаль ходил сторож и пел. Протяжная русская песня раздавалась в тишине, полная грусти смиренной, раздольной, беспредельной, как страна.

Долго сидела Цецилия в тихом, неопределенном раздумьи. Наконец, усталая, легла, еще слушая унылый напев и слыша только собственные мысли и думы; печально усыпляли ее дальние звуки, радостно убаюкивали сердечные мечты. Листья под окном перешептывались...

На всех царем служба сказана,
Мому милому давно явлена;
На всех царем по коню дали,
Мому милому коня не дали;
Коня не дали, ехать не на чем.
Ты, мой милой друг, заложи меня,
Заложи меня, ты купи коня;
Послужи службу: службу выслужишь,
Коня выучишь, меня выручишь.
И все домой поприехали,
Мово милого и вести нет;
Один конь бежит, на нем знак лежит,
На нем знак лежит, пухова шляпа,
Во шляпе-то мой шелко́в платок.
Мне не жаль платка, в шляпе носится,
Мне жаль дружка, с иной водится,
С иной водится, со мной ссорится.

Тихий час, простор туманный,
Теплота и пустота;
Ходит в роще шорох странный,
Шепчут листья, как уста;

Темен дол благоуханный,
Светлозвездна высота.

И фонтан, вдали сверкая,
Сыплет слезы без числа;
Слышится, в объеме края,
Будто тихая хула.
В сердце радость молодая
Тяжким горем залегла.

Там идут, как духи ночи,
Тени черной чередой;
Там возникнет, в строгой мочи,
Посетитель роковой.
Глубоко вперились очи
В мрак бездонный и немой.

И, сливаяся с родною,
Тайной жалобой тиши,
С грустно шепчущей струею,
С ропотом лесной глуши, —
Напоенные тоскою,
Полились слова души:

«Смирись! смирись! что спрашивать напрасно?
Ужель нам всем удел наш незнаком?
Недаром, грусть, ты входишь ежечасно
В грудь женскую, как в собственный свой дом.

Бессильному когда была пощада?
И кто его уважит бытие?
Не ты один хранишь, утес Левкада,
Печальное предание свое!

О глас любви и самоотверженья!
Ведешь ты нас к обманам и бедам.
Восторга луч, святые откровенья,
Дары небес! — вы бесполезны нам.

Всё суета! высокие призванья,
Порывы чувств, и радости мечта,
И все борьбы, и жертвы, и страданья,
Дела земли — всё та же суета!»

Смолкнул вздох. И светлым привиденьем
Он стоит перед лишенной сил;
И, взглянув к лучам ночных светил,
С горестным любви благословеньем
На главу ей руку положил.

И катясь, как мочных волн разливы,
Носятся созвучно перед ней
Чувств ее и грустных дум отзывы,
Но ясней, и строже, и полней:

«Что ищешь ты, безумица младая?
Взгляни кругом, о чем хлопочет мир!
Всю жизнь свою призраку посвящая,
Поверь ему, найди себе кумир!

И наряди его в твои мечтанья,
И счастья жди, упрямое дитя!
На пыл души, на сердца излиянья
Ответит он, скучая иль шутя.

Твою любовь вознаградит порою
Рассеянный, поспешный поцелуй.
Ты женщина! умей владеть собою,
Сомкни уста и душу ты закуй!

Сдержи порыв, уйми свои ты стоны,
Свою слезу учи не кануть с вежд!
Ты — женщина! живи без обороны,
Без прихоти, без воли, без надежд.

Рабов нужды, слепых сынов заботы
В свой тайный мир, в мир сердца не зови:
Их с каждым днем ждут новые работы,
Им время нет для счастья и любви.

Но ты храни священные химеры,
Но ты, в душе обманутой своей,
Умей сберечь завет нетленной веры
В тревоге их языческих страстей.

Не ведай ты бесплодной их свободы,
От дела их свое отсторони;
Пускай спешат, пускай шумят народы, —
Не спрашивай, о чем шумят они.

Иди, смирясь; иди опять к пустыне,
К свершению напрасного труда;
Иди опять к тому, что было ныне,
Что будет вновь и завтра, и всегда!

И у конца томительной дороги
Спроси, к чему так много тяжких дней,
Зачем творца веления так строги
И немочных зачем удел трудней!»

5

Около недели после прогулки в Останкино, в начале знойного дня, Вера Владимировна с дочерью кушала чай на своем балконе, в тени нескольких тощих, запыленных, сероватых дерев. Перед садиком блистала на солнце во всей своей яркости широкая белая дорога; ветер взвивал по ней мелкий песок; по обеим сторонам виднелись один за другим красивые столбики тротуара; напротив стоял точно такой же нарядный домик с балконом, цветником, деревцами и зеленой решеткой. По понятиям обеих дам, было еще очень рано, то есть около десяти часов, и они, завтракая, наслаждались тем, что представляли себе природой и утром. Цецилия была бледнее и молчаливее обыкновенного; она бессознательно чувствовала в себе что-то непривычное и неудобное, с чем она не умела справиться. Ее душа была так обделана, ее понятия так перепутаны, ее способности так переобразованы и изувечены неутомимым воспитанием, что всякий жизненный вопрос затруднял и стращал ее. Материнские уроки и нравоучения были ей, в отношении жизни, точно так же полезны, как полезны, относительно к Шекспиру и Данте, бесконечные комментарии усердных ученых, которые прочитав, не поймешь уже и самого ясного и простого смысла в творении поэта. Ее нравственность и рассудок улучшили так же произвольно и тщательно, как улучшали бедные деревья в Версальских садах, бессовестно обстригивая их в колонны, вазы, шары, пирамиды, так что это представляло что̀ угодно, только не дерево. Впрочем, матери вроде Веры Владимировны, вероятно, не-

сколько понимают возможные последствия своей методы, потому что они все неимоверно спешат сбыть с рук усовершенствованных дочерей и возложить на другого опасную обязанность, тяготеющую на них.

По звонкому шоссе прогремел перед домом быстрый экипаж и остановился у подъезда.

— Наталья Афанасьевна, — сказала Цецилия, взглянув; и Наталья Афанасьевна вошла с Надеждой Ивановной.

— Bon jour, chère! [1] вы меня не ожидали так рано; но я боюсь жара; ведь мне надо проехать весь парк, чтобы вас увидеть. Я встала нынче по-деревенскому, et me voilà. [2] Что же вы делаете?

— Да ничего особенного, — отвечала Вера Владимировна. — Cécile была эти два дня не совсем здорова, но нынче ей уже лучше; да и у меня сегодня сильное головокружение. А Ольга?

— Ольга здорова; она очень спешит кончить свой ковер для нашей лотереи. Кстати, сколько вы поместили билетов?

— Только двадцать, да восемь дала Сергею.

— Пожалуйста, постарайтесь раздать и остальные; у меня их еще остается с пятьдесят; но я дам завтра половину княжне Алине: она мастерица их помещать. A propos, [3] едете вы нынче на похороны бедной Стенцовой?

— Да кажется, должно бы, — отвечала Вера Владимировна, — мне вчера княгиня Анна Сергевна сказала, что и она поедет. Только я не знаю, как мне быть: я нынче решительно так нездорова, что не в силах простоять во время всей службы; я думаю в церковь не ехать, а просто сесть в карету и проводить до кладбища, так, из уважения к старой матери.

— Очень хорошо; и я точно так же сделаю; мне нынче утром пропасть дел необходимых, я в церковь не поспею, а приеду только к концу церемонии. Итак, мы можем ехать вместе. Если вы хотите, заезжайте за мной, вам по дороге.

— Именно. Какая неожиданная смерть!

— Да; она, бедная, еще была на последнем вечере у княгини.

— Точно; я там с ней говорила. Каких она лет умерла?

— Лет около тридцати двух; но она казалась старше.

— Очень жаль ее! она была премилая и предобрая женщина. Муж должен быть вне себя.

---

[1] Добрый день, дорогая! (франц.) — *Ред.*
[2] И вот я здесь (франц.). — *Ред.*
[3] Кстати (франц.). — *Ред.*

— Ну, муж-то, кажется, в себе, — отвечала Валицкая с легкой улыбкой. — Да и не о чем ему слишком грустить; его счастье было незавидное.

— Да, говорят. Впрочем, она его очень любила.

— Да, любила по-своему; может быть, и слишком. По крайней мере, он сам объявлял, что желал бы уменьшить эту любовь.

— Ужели он не успел в этом? — спросила Вера Владимировна.

— Да кажется, что нет, как ни старался.

Вера Владимировна вспомнила о присутствии Цецилии и воспользовалась удобным случаем, чтобы поместить нравственное правило.

— Во всех проступках мужа, — сказала она строгим голосом, — виновата жена. Ее долг уметь привязывать его к себе и заставить любить добродетель.

С этим Валицкая была, разумеется, совершенно согласна.

Разговор продлился еще несколько минут подобным образом, потом Наталья Афанасьевна встала.

— Итак, прощайте покамест; я вам оставляю Надежду Ивановну; вы мне ее ужо́ привезете назад. À tantôt;[1] да пожалуйста, не опоздайте, будьте у меня в два часа.

Она уехала; а Надежда Ивановна, вследствие долговременной привычки нимало не изумляясь тому, что ею так простосердечно располагали, как вещью, которая берется и дается взаймы, вынула из кармана полуоконченный кошелек, назначенный также для благотворительной лотереи, и принялась его вязать.

Вид парка мало-помалу изменялся, тротуары становились многолюднее, дорога шумнее, пыль гуще и обильнее; катились коляски, скакали верхом блистательные мужчины; шли по сторонам шоссе привлекательные дамы воспользоваться прохладой полуденной. Другие уселись на свои балконы и террасы, под тенью широких маркиз. Оживился весь этот условный, богатый, спесивый быт.

Простолюдинов уже не видно было, работники ушли домой. Разве где под кустом отдыхающий мужик, услыша вдруг какой-нибудь неистовый грохот колес или галоп коня, приподнимал немного голову, взглядывал спокойно и ложился опять, дивуясь молча.

Настало время утренних визитов. Салон Веры Владимировны посетили две-три дамы, пять-шесть мужчин; приехал и Дмитрий

---

[1] До скорого свидания (франц.). — *Ред.*

Ивачинский, явился и князь Виктор. Заговорили опять о скоропостижной смерти Стенцовой и пожалели об умершей.

— Она была очень недурна, — сказал князь Виктор.

— Слишком смугла, — молвила Надежда Ивановна.

Князь оглянулся на нее с некоторым удивлением, не ожидав неприличности возражения от этой живой мебели, и продолжал лениво:

— Очень недурна, замечательные глаза, только прескучная.

— Женщина довольно пустая, — сказала одна дама, — я с ней никогда не могла проговорить более десяти минут, и то с трудом.

— Она, к сожалению, была женщина безрассудная, — отвечала Вера Владимировна, — и не умела сохранить любовь мужа, которому она была обязана всем своим состоянием.

— Состояние не огромное, — заметил Дмитрий Ивачинский, — шестьсот душ.

— Да в том числе и костромские, — прибавил какой-то толстый господин, у которого были души тамбовские и ярославские.

— Счастье, что нет детей, — сказала другая дама. — Стенцов, верно, опять женится.

— Да уже и догадываются на ком, — примолвил толстый господин, с несносно замысловатым смехом.

В продолжение этого разговора Цецилия сидела у окна за пяльцами. Дмитрий Ивачинский встал с своего места, подошел, приближаясь к этому окну, к недалеко усевшейся Надежде Ивановне, и начал с ней говорить что-то, глядя между тем пристально и неотступно на порожний табурет возле Цецилии.

Подобную риторику не объясняет ни одна мать и понимает каждая дочь. Цецилия подняла тихо глаза с благосклонным, немым ответом на скромный вопрос и опустила их вдруг строго и неприветливо. Против нее, прислоняясь к двери балкона, стоял князь Виктор с едва приметной улыбкой и смущающим взглядом. Послушный Дмитрий остался за стулом Надежды Ивановны, а князь медленно приосанился, пошел прямо к заветному табурету и сел на него не спросясь. Цецилия нагнула краснеющее лицо к стоящим возле нее цветам и, долго выбирая, сорвала веточку гелиотропа. Князь заговорил о вчерашнем водевиле и о будущей скачке. Цецилии нельзя было не слушать и не отвечать. Князь, говоря, протянул небрежно руку на пяльцы, где Цецилия играла сорванной веткой, и взял ее. Вера Владимировна, спокойно сидя в своих длинных креслах, следила незаметно за всеми его движениями. Присутствующие дамы, так же искусно, как и она, видели все то, на что они не обращали внимания, но все были достаточно образованны и

знали, что благоразумной матери следует поступать строго только с бедными претендентами и что неуместны законы утонченнейших приличий с тем, кто может в замену взятого цветочка дать полмиллиона ежегодного дохода.

Князь минут через десять слегка зевнул, встал, чуть-чуть наклонился, вышел и умчался в своем заграничном экипаже, в своем заграничном платье, с своим заграничным умом, оставляя измятую веточку гелиотропа на полу и обиженного Дмитрия возле Надежды Ивановны.

Цецилия из своего окна взглянула вслед бурным вороным, уносившимся в пыльном облаке. Пожалела ли она внутренне о том, что у Дмитрия такой упряжи не было? заметила ли про себя, что его русский кучер неимоверно терял в сравнении с английским грумом князя? подумала ли, что все женщины позавидовали бы той, которая пролетела бы мимо их в этом обворожительном произведении лондонского fashion?..[1] Она взглянула мгновенно и наклонилась на свое шитье.

В салоне шел спор довольно живой:

— Пренелепая свадьба, — сказал кто-то.

— Она очень умно поступила, — утверждала одна дама, — их состояние совсем расстроено, имение должно было продаваться с молотка; долгов множество. Она отыскала себе зятя, который все поправит и заплатит.

— Monsieur Chardet![2] — отвечал разговаривающий мужчина.

— Да хоть и monsieur Chardet, — возразила она, — он, право, человек очень порядочный.

— Точно ли он богат?

— Разумеется; он делал какие-то превыгодные дела; Софья с ним будет очень счастлива.

— Он ей подарил чудесный изумрудный наряд, — сказала другая дама, — я его вчера видела.

— Все-таки неприятное средство спасения.

— Помилуйте, вы отстаете от века; что значат в таком случае аристократические предрассудки! теперь мезальянсы очень в моде. Жорж Занд придала какую-то прелесть простолюдинам.

— Разве вы жорж-зандистка? — спросил ее, улыбаясь, Дмитрий Ивачинский.

— В некотором отношении: я очень люблю народный элемент.

---

[1] Модного обычая (англ.). — *Ред.*
[2] Господин Шарде (франц.). — *Ред.*

— За исключением народных нагольных тулупов, — заметил он.

— Да, разумеется; но есть в самом деле мужики прекрасные, их можно видеть с удовольствием, только, конечно, не у себя в гостях.

Между тем время проходило; салон Веры Владимировны опустел.

— Cécile, — сказала она, — мне пора ехать на похороны; ты останешься с мистрис Стивенсон; я, может быть, возвращусь поздно; мы, вероятно, с Натальей Афанасьевной вечером побываем у матери Стенцовой да еще кое-где; так не дожидайся меня и ложись спать заблаговременно; ты все еще нездорова. Прощай, мой друг!

Вера Владимировна уехала с Надеждой Ивановной, и Цецилия осталась одна с мистрис Стивенсон, то есть совершенно одна. Ей было решительно не по себе. Что тяготело в ее душе, этого она не могла себе растолковать, и не слишком старалась. Она себе не делала единственно нужного вопроса, она не спрашивала себя, любит ли она в самом деле Дмитрия Ивачинского. По ее понятию, тут не было сомнения. Но она не знала, что ей должно было делать, как дойти до исполнения своих желаний, как поступить! Если б она была в состоянии понять, что истинное чувство затрудняться и колебаться не может, что с той минуты, где сознание естественно и ясно, так же ясно и естественно действие, потому что оно сделалось необходимостью, а для необходимости препятствий нет; если б ее научили глядеть в лицо какой-нибудь правде, если б она могла догадаться, чтó значит *любить*... но где была возможность, когда не только это чувство, не только понятие о нем, но и самое слово всегда было от нее отдалено и отброшено, как чумная вещь? когда все старания вели к тому, чтобы подавить в ней всякие духовные силы, убить все внутреннее существование! А молодая грудь все-таки не могла разучиться трепетать, а сердце все-таки не могло отречься от бытия и любви, и взыскивающая, нетерпеливая душа была готова обнять облако и призрак вместо небожительницы! — Она теперь смутно и безотчетно чуяла что-то ложное, но что и где? во внутреннем или внешнем ее быте — этого она не смела отыскивать и уяснять... увы! вся ее жизнь была только долгая и беспрерывная ложь!

К вечеру ее несколько лихорадочное состояние усилилось. Мистрис Стивенсон посоветовала ей напиться малины и лечь, — она легла. Несвязные мысли бродили в голове; она вспомнила и о поездке в Останкино, и о нынешнем утре, и о князе Викторе, и об этой бедной, только что похороненной женщине, которая еще

немного дней тому назад сидела перед ней наряженная и веселая... Становилось поздно... она глубоко задумалась. Долго ее глаза смотрели в полумрак спальни; но вечер темнел, спальня начинала исчезать перед глазами, наконец исчезла, — и тьма широкая легла... но что-то издали сверкало и светлело... и было много лиц, и много там огней... и между тем в тени, таинственно заветной, *Его* чуть внятный вздох повеял вновь над ней...

И между тем опять носился шум нестройный,
Теснилася толпа среди блестящих зал,
Струилося вино, — шел пир заупокойный,
И гул вокруг стола ширел и возрастал.
И звонкие слова сменяли речь глухую,
Улыбки ожили, проснулась клевета,
Стучалась дерзостно и в доску гробовую
Неотразимая мирская суета.

А там, вдали, луна всходила;
А там, в безвестности ночной,
Чернела новая могила,
Уже забытая толпой.
И липы, шепча меж собою
На непонятном языке,
Качали тихо головою
В своей таинственной тоске;
И заливалася поляна
Слезами крупными росы,
И в легком сумраке тумана
Две забелели полосы;
Два дуновенья близ могилы
Повеяли в пустынной тьме;
Два голоса слились, унылы,
С роптаньем листьев на холме.

Первый голос

И ты скрестила в гробе руки,
Оставя мира шум вдали,
И все борьбы, и все разлуки,
И все стремления земли!
Свой чистый перл в житейском море
Искала, бедная, и ты;

И ты угасла в тщетном горе,
Добыча пагубной мечты!

Второй голос

Она в сей мир вступила для того ли,
Чтоб праздно жить и бесполезно пасть?
И не грешна ль слепая трата воли?
И не стыдна ль безумной думы власть?
Где дань ее? где жизненное дело?
Чем разочлась душа ее с землей?
В лицо судьбы она взглянула ль смело?
Не солгала ль она себе самой?
Не уняла ль мочь внутреннего зова?
Свершила ль долг, препорученный ей?
Пошла ль вперед? искала ль жизни слово?
Своей тоски была ль она сильней?

Первый голос

Она ярмо земных стеснений
Не приняла в земном краю,
Не усумнилась средь сомнений,
Не убоялася в бою.
Любила горестно и страстно,
В чужие верила сердца
И до конца ждала напрасно,
И уповала до конца.

Второй голос

Зачем роптать на вечные законы?
Возможности не признавать межи?
Трудов святых не заменяют стоны;
Жизнь лучше снов, и правда выше лжи.
Кто виноват, что мочи ей не стало
Глядеть на путь, измерить крутизну,
Не ждать чудес, людей понять сначала
И на себя надеяться одну!
Зачем, обман встречая ежедневный,
От ложных вер она не отреклась
И в пагубной алхимии душевной
Высоких благ истратила запас?

Первый голос

Сильней обид, сильней обмана
Был в ней любви священный жар;
В ней не могла затихнуть рана,
Не мог иссякнуть грустный дар.
Кто́ знал, в том мире лживо-строгом,
Где скорбь постыдна и смешна, —
Как безутешно перед богом,
Смиряясь, плакала она?
Какие жертвы приносила?
Какой в груди роптал вопрос?
В какой грозе ее ветрило,
Противясь долго, порвалось?
Нет! кто стремился непонятно
К тому, что в жизни не сыскать,
Кто мог, обманутый стократно,
Сберечь надежды благодать;
Кто на земле душой измерил
Избыток тех надземных сил, —
Не виноват он в том, что верил,
Не виноват он, что любил!

6

Приближался день, который Вера Владимировна всегда праздновала, — день рождения Цецилии. И в этот раз она делала разные приготовления, чтобы его провести как можно веселее: обед, концерт, bal champêtre,[1] ужин, — все только возможное учреждалось с большим старанием и с большими издержками. Веселие людей высшего круга неимоверно дорого. В этот день Цецилия, просыпаясь, нашла на своем диване материнские подарки: два прелестные платья — одно для обеда, другое для вечера — и чудеснейший, из Парижа выписанный кружевной шарф. В течение утра она получила дюжины две букетов и дюжины три дружеских записок, — все одного и того же содержания, на которые должно было отвечать одно и то же разным образом. Светские женщины дошли до этого изумительного искусства варьировать раз тридцать фразу, которая и с первого раза ничего не значит. Потом приехала Валицкая с дочерью (других в это утро не принимали). Цецилия

[1] Сельский бал (франц.). — *Ред.*

пошла с Ольгой в садик немного отдохнуть от переписки. Они уселись в самый уголок, где было несколько тени, и заболтали между собой; поговорили о двадцати разных предметах, потом голос Ольги сделался еще тише и таинственнее.

— Послушай, — сказала она, — ты погубишь Ивачинского; он так был убит твоим вчерашним равнодушием, что с отчаяния всю ночь проиграл в карты у Ильичева и был совсем как безумный.

— Кто тебе сказал? — спросила Цецилия.

— Двоюродный брат рассказывал маменьке; он там был и видел Дмитрия. Ты его, право, доведешь до бог знает чего; он сделается игроком.

Это говорила не сама Ольга, это был урок ее матери. Одна Валицкая знала всю силу и наивность женского самолюбия, одна Валицкая ведала, до какой степени мужчина становится интереснее для женщины и ей милее, как скоро она видит возможность изменить его по-своему, исправить от порока, спасти от гибели. Чем важнее опасность, чем бездоннее пропасть, готовая его поглотить, тем лучше, тем выше торжество, тем соблазнительней успех, тем приятнее протянуть погибающему спасительную ручку, слабую и всесильную. Валицкая решила, что Цецилия должна была сделаться женою Дмитрия, чтобы не сделаться как-нибудь женою князя Виктора, и Валицкая шла к цели; а Ольга, с своей стороны, имея также в виду сберечь для себя драгоценного князя и не очень будучи уверена в Цецилии в этом отношении, была хоть слишком молода, чтобы придумать нужные рычаги, но довольно умна, чтобы их употребить по материнскому указанию. В словаре языка светского такого рода поступки называются ловкими или смышлеными.

Цецилия вместо ответа склонила голову и задумалась. Но в этот день ей долго задумываться было некогда· приходило время одеваться к обеду. Валицкая уехала с дочерью, чтобы также одеться и воротиться часа через два; а Цецилия пошла в свою комнату, позвала горничную и села перед туалетом, распуская свои черные косы. Она до того была занята мечтами и мыслями, что не обращала ни малейшего внимания на свою прическу, над которой трудилась Аннушка; она, глядя в зеркало, думала только об Ольгиных словах. Итак, она могла довести Дмитрия до отчаяния! — возможность всегда лестная и удовлетворительная для женщины, вследствие которой она стала ожидать его с большим нетерпением.

Но как эти думы ею ни обладали, нельзя же было не развлечься, хоть на несколько времени, надевая новое, прекрасное

платье! И в самом деле, когда она, готовая, остановилась перед зеркалом, оно ей представило такую грациозную картину, что она, смотря в него, совершенно поняла сердечные терзания бедного Дмитрия.

Обед был, как все обеды такого рода, — длинный и скучный. Кроме мужа Веры Владимировны и двух-трех на него похожих гостей, которые кушали с большим аппетитом, все ждали конца; более всех Цецилия и Ольга, потому что князь Виктор и Дмитрий должны были приехать только вечером. Справившись с обедом, сумели еще провести часа два с удовольствием, не очень заметным.

Наступило наконец время концерта; умноженное общество втеснилось в залу и стало слушать, очень терпеливо, вариации и фантазии, арии и дуэты, аккомпанированные ежеминутным двиганьем стульев, которые ставили приезжающим. Концерт заключил итальянский дуэт, петый Ольгой и Цецилией; он, разумеется, был восхитителен, потому что взят из самой новой оперы, и, разумеется, восхитил слушателей донельзя. Весь тройной ряд токов и чепцов перед фортепиянами заколебался; все в углах и вдоль стен безжалостно стиснутые мужчины захлопали с буйным восторгом; только что вошедший в двери Дмитрий Ивачинский так не щадил себя, что в куски изорвал свои перчатки; сам князь Виктор аплодировал более, чем когда он в Париже слушал Гризи. Одним словом, дуэт произвел огромный эффект, после которого все разошлись в сад с искренней радостью.

Цецилия взяла Ольгу под руку и побежала с ней в свою комнату, чтобы укрыться от всеобщей благодарности, поправить прическу и переодеться для бала. В дверях стоял Дмитрий Ивачинский; он ей поклонился и прошептал пять-шесть слов; Цецилия кивнула головкой и промелькнула.

— Ольга! — сказала она, вбежавши к себе вверх и приглаживая перед зеркалом темные струи своих волос. — Ты ангажирована на мазурку?

— Со вчерашнего утра, — отвечала Ольга таким довольным голосом, что нельзя было сомневаться, кем она была ангажирована. — А ты?

— Только что, с минуту тому назад, — сказала Цецилия еще довольнее ее, бросая на диван свой чудесный шарф.

Ей было необыкновенно весело, как-то буйно и отважно весело. Она предавалась новым, увлекательным впечатлениям; она темно понимала какие-то неведомые возможности. Дочь Евы вкушала запрещенный плод; молодая пленница дохнула вольным,

ароматным, незнакомым воздухом и опьянела от него. Этого никогда не хотела предвидеть Вера Владимировна; этого никогда не предвидят эти благоразумные, предусмотрительные, осторожные женщины. Они совершенно надеются на свои материнские старания; они неимоверно последовательны с дочерями. Вместо духа они им дают букву, вместо живого чувства — мертвое правило, вместо святой истины — нелепый обман; и им часто удается сквозь эти искусные, предохранительные потемки довести благополучно дочь свою до того, что называется хорошая партия. Тогда их цель достигнута; тогда они спутанную, обессиленную, неведающую и непонимающую оставляют на волю божию и потом спокойно садятся за обед и ложатся спать. И эту же дочь они, шестилетнюю, не решались оставить одну в комнате, опасаясь, чтоб она не упала со стула. Но тогда дело шло о телесных ранах: кровь бросается в глаза, физическая боль пугает; это не душевное, безвестное, немое страдание.

Если б так поступали дурные матери, можно бы утешиться: дурных матерей не много. Но это делают самые добрые матери и будут делать бесконечно. И все эти воспитательницы были молоды, были так же воспитаны! Неужели они остались до того довольны своей жизнию и собою, что рады возобновить опыт на своих детях? неужели всякая нелепость так же живуча, как те гадины, которые, разрезанные на куски, продолжают существовать? Разве эти бедные женщины не плакали? не обвиняли себя и других? не искали напрасно помощи? не испытали ничтожества им данных опор? не познали горького плода этого семени лжи?..

А может быть, многие и нет! Есть невероятные случаи и странные исключения. Бывали примеры, что люди падали с третьего этажа на мостовую и оставались невредимы; почему не столкнуть и дочь?

А опять-таки и то сказать: так многое забывается в жизни, годы так странно изменяют и перерабатывают нас! Так много молодых, восторженных мечтателей делаются со временем откупщиками и винокурами; так много юных беззаботных ленивцев — сибирскими золотопромышленниками; так много ветреных негодяев — безжалостными карателями всякого увлечения. Время — странная сила!

Когда обе подруги сошли вместе вниз в своем бальном наряде и явились среди гостей, они были истинно прекрасны. Ольга, в белом платье неимоверно дорогой простоты, с васильками в белокурых, длинных локонах, была удивительно хороша; но Цецилия, также вся в белом, с венком белых роз, накинутым на черные,

гордые косы, была лучше ее. Ольга еще искала, Цецилия уже нашла; Ольга озарялась надеждой, Цецилия сияла торжеством. В ее лице, в ее улыбке, во всяком взгляде, во всяком движении было что-то даже слишком прекрасное для хорошего тона; что-то великолепно-упоительное, какая-то Полтавская победа. И это была только тень любви! но любовь до того невыразимо восхитительна, что даже и тень ее прелестна и лучше всего другого.

Погода была самая благоприятная; звездная ночь веяла чудесной, животворной теплотой. Бал, так называемый сельский, был устроен по примеру одного, недавно данного, парижского праздника и в совершенно новом вкусе. Бальной залой служил тщательно укатанный двор перед подъездом; он кругом был тесно обставлен двойным рядом лавровых и померанцовых дерев и высоких редких цветов. Промежду ветвей горели газовые лампы и обливали весь объем своим ярким светом. Смежный сад был также освещен, но слабее, тихими огнями в полупрозрачных фарфоровых шарах и алебастровых вазах. Он обратился в салон, кабинеты и буфет. По нем была искусно расставлена богатая мебель; под благовонными кустами стояли чайные столы; посреди разноцветных далий и прекрасных камелий, соединенных в роскошные кучи, плоды возвышались пирамидами. Фантастически сияли, сквозь темную зелень, таинственные лучи. Все это было в самом деле удивительно хорошо.

Из-за густой массы акаций заиграл незримый оркестр; бал начался. Благодаря этой необыкновенной обстановке и привлекательной новизне пристойно-ленивое аристократическое общество неожиданно оживилось; танцы следовали быстро один за другим, иногда слышался в ночном воздухе легкий женский смех; все двигалось, шумело и забавлялось. С высот глядели спокойные звезды, несколько старых дерев стояли мрачно и неподвижно среди толпы в угрюмом молчании.

Время текло, танцы продолжались. Цецилия, всегда скоро утомленная, в этот вечер не чувствовала усталости. В ней развивалось новое, неизъяснимое существование. Ей пробил один из тех благодатных часов жизни, где сердце до того самонадеянно, что никакое счастье не может его удивить. В эту минуту ей чудо показалось бы естественным и обыкновенным; она даже на него не обратила бы внимания. Если б теперь одна из тех сияющих звезд упала на землю перед ней, она бы ее просто оттолкнула ногой.

Провидение дарует иногда земному бытию такие мгновения!

Было около полуночи; праздник, как всегда бывает об эту пору, достиг своего самого блестящего момента. Везде был гул и

движение; везде сквозь зелень мелькали разноцветные одежды, веющие шарфы, сверкающие браслеты на белых руках; везде слышались голоса; шутки, насмешки, любезности, злословие, пошлость иных, остроумие других, кокетство третьих, — все смешивалось и сливалось в один всеобщий говор. Своей мрачною бездной сияло странно ночное небо над этой суматохой; как-то дерзко звучали в темной беспредельности эти речи салонов, эти пустые слова; как-то грешно и святотатственно шумел светский, ложный, цивилизованный быт в божьем свободном просторе.

После многих кадрилей сидели, отдыхая втроем на диванчике, в уютном, полускрытом углу садика, Ольга, Цецилия и еще одна молодая девушка. Дмитрий Ивачинский подошел и стал говорить с последней; она смеялась и отвечала ему очень весело. Внезапно раздалась мазурка. Ольга схватила за руку свою соседку, говорившую с Дмитрием, и побежала с ней. Цецилия также встала, сделала два шага, оглянулась и остановилась. Она на минуту была одна с Ивачинским.

— Дмитрий Андреевич, — сказала она вдруг, прелестно краснея, — у меня есть до вас просьба: не играйте в карты, как вчера у Ильичева. Вы это сделаете, не правда ли? вы более не будете играть?

— Не буду, — отвечал он, — если вы мне дадите этот цветок, который вырвали из своего букета и мнете в пальцах.

Мазурка загремела звучнее. Цецилия порхнула сквозь сад, но цветок упал из рук ее на дорожку.

Она на секунду остановилась на повороте: надо же было взглянуть, найден ли он? Он был в руке за ней следовавшего Дмитрия; она слегка протянула свою, с неискренним намерением взять его назад; но взор был добросовестнее руки. Никого не оставалось в садике, Дмитрий схватил ее протянутые пальцы и быстро поцеловал.

Две минуты спустя она с ним начинала мазурку и скользила в светлом кругу, обставленном стульями, среди толпы зрителей. Но кто из них мог видеть, как нежно была сжата эта трепетная, в первый раз поцелованная ручка?

Это была опять та же простая, старая и вечно новая повесть!

Дмитрий и в самом деле пленялся Цецилией. На него всегда удивительно действовал магнетизм чужого мнения. Видя ее в этот вечер такой блистательной и окруженной, он не мог не быть довольным ею и не быть еще гораздо довольнее собой. Он был один из тех не сильных существ, которые пьянеют от успеха. В этот миг он уже не рассчитывал: он видел себя поставленным Цецилиею

выше всех других, выше даже князя Виктора, спесивого предмета его тайной зависти, и голова его закружилась. В нем заиграло буйство юности и неодолимый порыв, похожий на разгар боя, когда сражающийся слепо бросается вырвать знамя из вражьих рядов во что бы то ни стало. Это действительно походило на любовь. Может быть, тут и вмешивалось некоторое сердечное влечение; но это было только то мужское, безжалостное чувство, которое, по случаю какой-нибудь неловкости со стороны женщины, его внушающей, по причине какой-нибудь некрасивой прически или не модной шляпы, готово обратиться в злобную свирепость.

Но можно было побиться об заклад, что Цецилия не способна сделать малейшей неловкости и всегда будет отлично одета и причесана.

Мазурка наконец прекратилась; ужин ждал на разных столах и столиках, расположенных в саду. Цецилия и Дмитрий сели на самых противоположных сторонах. они теперь уже умышленно удалялись друг от друга; это были уже два заговорщика, скрывающие свое сообщество.

Праздник кончался, стали подавать кареты и коляски. По просьбе Валицкой Дмитрий отыскал ее экипаж и повел ее к нему. Идучи, он немного наклонился к ее уху и прошептал замысловатым голосом:

— Позвольте мне завтра утром быть у вас, Наталья Афанасьевна; я должен вас попросить о важной услуге.

— Я вас буду ждать с большим удовольствием, — отвечала она, — приезжайте в первом часу.

Лакей отворил дверцы кареты; Валицкая села в нее почти так же живо и весело, как ее дочь.

Короткая летняя ночь уже бледнела, когда общество совсем разъехалось. Можно было сказать, что все, или, по крайней мере, почти все остались удовлетворенными. Они насуетились, наплясались, нашумелись и назабавились до упада. С своей стороны Вера Владимировна легла спать очень довольная: ее праздник вполне удался, и князь Виктор часто смотрел на Цецилию и дважды объявил, что она необыкновенно хороша. Валицкая легла также очень довольная: нужен был только еще один толчок, чтобы отсторонить эту опасную Цецилию. Ольга легла еще довольнее: князь ей наговорил множество вздору в продолжение мазурки и заметил, что ее наряд ей удивительно к лицу. Дмитрий не мог быть недовольным: его самолюбие было еще в полном разгуле, и он, засыпая, внутренне торжествовал. Князь Виктор всегда ложился совершенно довольный собой и другими. Наконец, даже бедная Надежда Ива-

новна, которой ничего никогда не удавалось, которая ничего не устраивала и не ожидала, с которой никто не танцевал и не говорил, — без всякой причины уснула чрезвычайно довольная.

Но Цецилия легла с этой роскошной радостью, которая иногда наполняет мгновенно осьмнадцатилетние сердца и которая до того жива, что средь тишины и уединения от нее становится почти больно. Она ничего не могла думать, но грудь волновалась, и мечты играли. Ее сомкнутые глаза еще видели бал, пеструю толпу и освещенный сад. И засыпающее сознание непонятно омрачалось каким-то безотчетным чувством; она, счастливая, горестно вздохнула, не зная о чем. И успокоительно спускалась на нее томная дремота. Сквозь безмолвие носились будто бы еще отголоски оркестра — созвучья дальные, полупечальные, то утихали, то запевали снова, и в говоры сливались странные, — в слова таинственных бесед, во звуки чудные, желанные, в *Его* призыв, в *Его* привет:

«Звезда далекая
Давно зажглась;
Давно жду срока я,
Проходит час.
Злым сном томимая
В чужбине той,
Проснись, любимая,
В стране родной;
Среди торжественных
Ночных святынь,
Тревог вещественных
Обман откинь!»

Печальна уст его улыбка,
Его слова текут нежней:

«О, сердца вечная ошибка,
Как рано ты сроднилась с ней!
Как скоро смелых убеждений
Проснулся глас в ее груди!
Как много тяжких откровений,
Как много горя впереди!
Как будет душу жизнь напрасно
Разуверять до поздних лет!
Увы! там в мире всё неясно,
Там всё слепой и лживый бред!

Ты думой темною, немою
Меня там ищешь одного;
В меня ты веруешь душою,
Меня ты любишь, не его.
Но я, средь суеты превратной,
В житейском бытии твоем
Тоской останусь непонятной,
Несбыточным сердечным сном.
И, чуя луч за глубью мрака,
Вверяясь тайне неземной,
Пойдешь к призра́ку от призра́ка,
От грусти к грусти ты другой.
Во всем, что сердцу будет мило,
Во всем увидишь ту же ложь;
Ты бесконечность полюбила,
Неизмеримости ты ждешь.
Не жизнь, о жажда роковая,
Порывы утолит твои!
Тебе есть будущность другая,
Другие есть тебе струи.
Так пусть удел свершится строгой,
Надежд исчезнет светлый рай!
Свыкайся с трудною дорогой
И силу слабых узнавай.
Пойми, что го́спода веленья
Вас, безоружных, обрекли
На безусловное терпенье,
На дело высшее земли.
Учись, жена, жены страданьям,
Знай, что, покорная, она
К своим мечтам, к своим желаньям
Искать дороги не должна;
Что ропщет сердце в ней напрасно,
Что долг ее неумолим,
Что вся душа ему подвластна,
Что скованы и мысли им.
К немым слезам, к борьбе безвестной
Все силы юные готовь,
И дай тебе отец небесный
Непобедимую любовь!»

7

В следующее утро, еще прежде двенадцати часов, Наталья Афанасьевна сидела на своей террасе. На столике перед ней стояла чашка шоколада и лежал новейший из бесчисленных романов Александра Дюма; но чашка вкусного напитка оставалась полна, и книга увлекательного рассказчика не развернута. Валицкой было теперь не до шоколада и не до сказок: она сама готовила развязку пролога одного для нее очень интересного жизненного романа. Она облокачивалась задумчиво в своих мягких креслах, потом вынимала часы из-под кушака своего утреннего пеньюара и бросала на них мгновенный взгляд, потом иногда вставала, подходила к одной стороне террасы, откуда было видно широкое шоссе парка, и глядела лорнетом в пыльную даль. Возвращаясь неудовлетворенная к своим креслам в третий или четвертый раз, она стала нетерпеливо играть перламутровым ножиком, вложенным в книгу.

Послышались шаги; на террасе явилась Надежда Ивановна, очень красная и утомленная.

— Откуда вы? — спросила Наталья Афанасьевна.

— Мы с Ольгой гуляли и обошли почти половину парка; устали донельзя.

— Зачем вы ходите в жар? Где же Ольга?

— Она пошла с мисс Джеффрис в свою комнату. Мы, как шли назад, встретили молодых — Софью Chardet с мужем; они были в коляске.

— В самом деле?

— Да; на ней был чудеснейший бурнус.

— Послали вы узнать о здоровьи Катерины Васильевны?

— Послала; еще не пришли с ответом.

Валицкая опять поглядела на часы. Продолжая делать пустые вопросы вслух, она себе делала внутренне совсем другие, беспокойные вопросы:

«Неужели он надумался и не приедет?.. Невозможно. Как нам будет сладить с Верой Владимировной! Она не согласится: партия-то не блистательная. Ужели я с этим не справлюсь! Надо что-нибудь придумать! Что же?»

Гремя примчалась быстрая пролетка и остановилась. Это был Дмитрий.

В ту же самую минуту, будто вызванная этим стуком колес, блеснула Валицкой внезапная, вовсе неожиданная, смелая и великолепная мысль.

— Надежда Ивановна, — сказала она поспешно, — прикажите

мие, пожалуйста, заложить карету; да оставьте меня одну с Ивачинским, мне иадо с ним переговорить о деле. Скажите, чтобы никого не принимали. Да чтоб не входили сюда доложить, когда карета будет готова: я сама позвоню. Подите же.

Послушная Надежда Ивановна, исправляя свое почти ежедневное дежурство, вышла, а Дмитрий Ивачинский вошел.

Валицкая ему протянула дружески руку.

— Наталья Афанасьевна, — сказал он, — я являюсь к вам с величайшей просьбой.

— Я готова сделать все возможное, — прервала она одобрительно.

— Дело идет о счастьи моей жизни, — продолжал он, — я с вами объяснюсь прямо и без приготовлений: я люблю Цецилию Александровну; эта любовь давно владеет мною; вот уже более года, что я ее скрываю. Но дольше скрывать не могу.

Дмитрий всегда увлекался своими собственными словами. Можно было сказать, что не он ими управлял, а они им. Из этого выходило иногда нечто похожее на ложь.

— Я вашу тайну давно угадала, — отвечала Наталья Афанасьевна своим добрым голосом.

— Умоляю вас, — прибавил он, — помогите мне достигнуть этого счастья! возьмите на себя передать мою просьбу Вере Владимировне; склоните ее; будьте моим провидением.

— Вы уверены, что вас Цецилия любит? — спросила она.

— Я имею причины это полагать, — отвечал он с улыбкой, которая давала меру его ума.

— Мне самой это казалось; но видите, Дмитрий Андреевич, все это дело очень трудное. Будемте говорить откровенно друг с другом. Тут есть препятствие: князь Виктор...

— Князь Виктор! — проговорил Дмитрий с гордым пренебрежением, не будучи в силах отказаться от наслаждения в первый раз произнести это имя с такой интонацией.

— Да, князь Виктор, хотя я и совершенно убеждена, что он никогда не думал серьезно о Цецилии как о невесте для себя...

— Он, может быть, и думал о ней, — прервал снова Дмитрий с самонадеянной полушуткой, — но она-то о нем не думает.

Валицкая сделала ту известную мину, которая может значить все что угодно, и продолжала:

— Может быть; но он все-таки с ней любезничает, а мать надеется, что из этого выйдет свадьба. Огромное его состояние ее невольно прельщает. Я, с своей стороны, никогда не думала искать богатства при выборе мужа для Ольги, но Вера Владимировна на

этот счет мнения другого. Я не знаю, могу ли я вам быть полезна в этом деле.

— Наталья Афанасьевна! будьте жалостливы! не откажите мне в вашей помощи! Вы одни можете все это устроить. Вы так коротки с Верой Владимировной, убедите ее согласиться на наше счастие! Это любовь взаимная; Цецилия будет несчастна с другим мужем, как я с другой женой. Вера Владимировна, верно, не захочет бедствия своей дочери, как и вы бы не захотели. Ужели вы бы не согласились с радостью в подобном случае, если бы дело шло об Ольге Алексеевне?

«Дурак!» — подумала Наталья Афанасьевна.

— Я не могу судить о других по себе, — сказала она умильно, — и не в праве требовать от них моих чувств и мнений. У меня другие понятия о счастье жизни, и я бы, разумеется, в подобных обстоятельствах не задумалась ни на минуту на месте Веры Владимировны. Но я боюсь, что она в этом отношении на меня не похожа. Однако я вам искренне желаю успеха. Но для этого надо поступить чрезвычайно осторожно. Видите, я, разумеется, очень дружна с Верой Владимировной; но я на нее почти никакого влияния не имею. Надо бы нам, чтобы сделать ей ваше предложение, найти кого-нибудь, чье мнение могло бы на нее подействовать; кого-нибудь, кто бы ей внушал почтение. Дайте подумать... Да вот, чего лучше?.. только возьмется ли она?

— Кто же? — спросил Дмитрий.

— Именно княгиня Анна Сергевна, мать князя Виктора. Ее просьба будет иметь большой вес, и можно бы почти ручаться за успех. Только трудно будет ее уговорить: вы с ней мало знакомы.

— Но вы очень знакомы, Наталья Афанасьевна. Нельзя ли вам ее попросить?

— Да, может быть, она мне в этом не откажет. Она, впрочем, очень любит устраивать свадьбы. Попробуем! Я желаю вполне оправдать ваше доверие ко мне. Хотите, я вас повезу к ней теперь же и постараюсь ее упросить?

— Наталья Афанасьевна! я вам невыразимо благодарен. Какие вы добрые!

— Я всегда душевно рада оказать услугу моим друзьям, — сказала она, — особенно такую важную услугу. Дело идет о вашем счастии; я употреблю все старания.

Она позвонила; человек вошел.

— Карету через десять минут, — приказала Наталья Афанасьевна.

— Подождите меня здесь, — продолжала она, обращаясь к Ивачинскому, — я тотчас буду готова.

В самом деле, она через очень короткое время воротилась одетая и в шляпке, а карету подали так скоро, что можно было бы угадать, что она уже стояла заложенная. Валицкая и Дмитрий сели в нее и поехали к княгине Анне Сергеевне.

На дороге Наталья Афанасьевна, прислонясь в угол кареты, молчала или отвечала рассеянно на слова Ивачинского. Мысль, вследствие которой она уже теперь действовала, лежала еще в ней полутемная и неразвитая. Это был внезапный проблеск, одно из тех гениальных внушений, которые никогда не обманывают, как бы они неестественны и странны ни казались: веришь в успех, не видя еще возможности, не понимая еще исполнения. Теперь она обдумывала все, уясняла все подробности, приготовляла мысленно всю сцену и все более понимала, что дело пойдет на лад, что невероятное сбудется, что случай не изменит, что никакое обстоятельство, никакая песчинка не помешает удаче. Эта удача висела только на волоске, могла рушиться от одного слова; но Валицкая предчувствовала, что волосок не оборвется, что слово не скажется. Это было чутье интриганки, похожее иа ясновиденье великого человека.

Они доехали, о них доложили, их приняли. Старуха княгиня была очень занята осмотром и выбором новых материй на платья. Но ради Валицкой она прекратила свои глубокомысленные толки и рассуждения с французской мамзелью, которая раскладывала перед ней свой заманчивый товар, и, отсылая ее, приказала прийти с ним вечером, чтобы можно было судить об эффекте материй при свечах. Потом она обратилась с приветом к Наталье Афанасьевне.

— Княгиня! — начала эта последняя. — Зная, до какой степени вы добры, я позволила себе привезти к вам молодого человека, счастию которого вы можете содействовать. Я была вперед уверена, что вы не откажетесь.

— Очень рада, — пробормотала княгиня, еще не понимая и не узнавая Ивачинского.

— Дмитрий Андреевич Ивачинский, — сказала Валицкая, его представляя. — Вы его встречали в свете.

— Очень рада, — повторила спесиво княгиня.

— Позвольте мне войти с вами в ваш кабинет, — продолжала Наталья Афанасьевна, — я вам причину нашего приезда объясню в пять минут. Я знаю, что вы всегда ради случаю сделать доброе дело. Побудьте здесь покамест, Дмитрий Андреевич.

Она пошла в кабинет с княгиней, которая, по правде, вовсе не была так падка к добрым делам и услугам, как уверяла Валицкая;

но таким уверениям и убеждениям очень трудно противоречить; княгине же это было еще труднее.

Княгиня Анна Сергеевна, бог весть по какому откровению, догадываясь как-то, что для того, чтобы быть женщиной совершенной, следует к богатству еще прибавить нечто другое; между тем, презирая глубоко умственные способности и таланты, которые ей всегда казались признаками плебейства, давно потеряв свое прежнее преимущество — красоту; понимая опять-таки, что в ее лета уже не великая добродетель быть добродетельной, — решилась под старость быть доброй; это неимоверно стоило ее эгоистической натуре; но она упорствовала и в самом деле прослыла наконец доброй до невозможности. Воспользовавшись этим, Валицкой было очень легко ее уговорить, хотя княгиня сначала и не слишком понимала, зачем ей брать такое участие в этом Ивачинском и ехать сватать его. Но Наталья Афанасьевна была мастерица в таких случаях: она, наедине с княгиней, ей все дело превосходно объяснила и растолковала.

— Видите, княгиня, эти бедные дети страстно любят друг друга; но Вера Владимировна ищет для дочери партию блистательную, а молодой человек не богат.

— Не всем быть богатым, — заметила очень справедливо княгиня.

— Совершенная правда! но все-таки Вере Владимировне не хочется отдать Цецилию за него. Но она вас до того почитает и уважает...

Лицо княгини говорило: еще бы не уважала!

— Ваше мнение, — продолжала объяснительница, — имеет такой вес, что она, верно, согласится, если вы только возьметесь ей поговорить на этот счет. Вы понимаете, что ей вам отказать будет неловко.

— Разумеется, — подтвердила княгиня.

— Итак, вы поедете и пожертвуете часом, чтобы устроить счастье двух сердец и спасти их от отчаяния. Я ни минуты не сомневалась в вашей готовности исполнить мою просьбу.

— Хорошо, — отвечала княгиня, — я поеду хоть сейчас: доброе дело не должно откладывать.

— Я вас угадала, — сказала Наталья Афанасьевна. — Но еще одно. Вы понимаете лучше кого бы то ни было, как в подобных случаях надо воспользоваться слабостями людей. (Валицкая, говоря это, была истинно неподражаема.) Вы знаете, как Вера Владимировна гордится своей материнской проницательностью; и в самом деле, она необыкновенно следит за всеми чувствами и поступ-

ками своей дочери; она бы чрезмерно обиделась, если б вы ей об этой взаимной любви заговорили, как о событии, ей не известном, и если б вы даже почли за нужное назвать имя молодого человека. Вы ей, разумеется, только намекнете о нем, чтобы не оскорбить ее главного самолюбия. Она вас поймет при первых словах и будет очень довольна вам показать, что поняла и что от нее ничего касательно Цецилии укрыться не может. Что же делать! Она такая добрая женщина, что ей можно простить это маленькое материнское тщеславие.

— Разумеется, — молвила княгиня, — и я постараюсь ее пощадить.

— Вы всегда так деликатны, — продолжала Валицкая, — и так умеете поступать со всеми! Вы знаете, что для того, чтобы склонить Веру Владимировну, ей советов давать не должно; она их не любит.

— Знаю, — отвечала княгиня, — я ей просто скажу, что я взяла на себя испросить ее согласия.

— Именно, — сказала Наталья Афанасьевна.

Они вместе вышли в салон, где ждал нетерпеливый Дмитрий. Княгиня приняла красноречивые излияния его благодарности и велела подать свою карету.

— Будьте покойны, — повторила она, сажаясь в нее. — Я все устрою и пришлю вам сказать.

— Я уверена, княгиня, — отвечала Наталья Афанасьевна, — что вы чрезвычайно ловко поступите и ничего не забудете, что бы могло довести до цели. У вас память сердца.

С этим княгиня отправилась, уже очень довольная своим великодушным самоотвержением, которое ее увлекло ехать в самый жар, почти через весь парк, для чужой пользы. А Наталья Афанасьевна села опять с Дмитрием в свой экипаж и не могла не выговорить несколько вдохновенно:

— Домой!

Вера Владимировна была готова отправиться по своей привычной визитной должности, когда ей доложили о приезде княгини Анны Сергеевны. Это было событие необыкновенное: княгиня по утрам редко выезжала и, пробывши накануне весь вечер у Веры Владимировны, очень ее удивила, являясь опять на другой день: тут можно было что-то вообразить. Вера Владимировна поспешила ей навстречу и усадила ее.

— Я к вам нынче приехала не с простым визитом, — начала княгиня, — я взяла на себя дело довольно деликатное: мне поручено сделать вам предложение...

Она остановилась, чтобы понюхать табаку. Вера Владимировна

внутренне вздрогнула, как от галванического удара. Она еще не смела радоваться.

— Предложение насчет Цецилии, — продолжала княгиня медленно. — Вы, верно, понимаете, о ком идет речь.

Вера Владимировна не могла уже не обрадоваться.

— Вы, верно, вчера заметили, — прибавила княгиня и опять понюхала табаку.

— Я, — сказала Вера Владимировна, — я точно заметила.

Как ей было не признаться в этом? Она и действительно так зорко следила в течение вчерашнего вечера за всеми словами и шагами князя Виктора!

— Да, — примолвила еще княгиня, — и я также нечто видела. (Это доказало бы невероятную способность видеть, потому что княгиня почти весь вечер провела за карточным столом, в особенной комнате.) Конечно, — продолжала она, — вы уже отгадали и Цецилину любовь!

Со стороны всякого другого Вера Владимировна чрезвычайно бы обиделась даже и предположением, что Цецилия тайно любит кого-то. Но это говорила сама мать князя Виктора; Вере Владимировне нельзя было ей тут противоречить; да и дело шло уже не о том, чтобы обижаться.

— Любящая мать всегда отгадывает все сердечные движения своей дочери, — возразила она с чувством, едва скрывая свое торжествующее блаженство.

— Я думаю, — молвила княгиня, — что вы ничего не имеете против этого.

Если б ее слова были выбраны самой Валицкой, они не могли б более соответствовать цели этой последней. Можно было пожалеть о смелой учредительнице этой сцены, что она ее не видела.

— Я никогда не хотела стеснять Цецилию, — отвечала нежная мать, — она была вольна в своем выборе. Ее воспитание ручалось мне за то, что этот выбор будет мной одобрен.

— Я так и полагала, — сказала княгиня, — и была уверена, что вы не будете противиться этой взаимной любви. Итак, вы соглашаетесь?

— Княгиня, — отвечала Вера Владимировна, уступая очень естественному искушению воспользоваться благоприятной минутой, которая ей позволяла быть безнаказанно женщиной великодушной и стоической, — я не думала о богатстве для Цецилии; я только желала ей найти мужа с душевными достоинствами и с теплым сердцем, человека благородного в истинном смысле этого слова. Мои желания исполнились; бог услышал мою молитву!

— Итак, — повершила опять княгиня, — я могу ехать домой с удовлетворительным ответом? Вы соглашаетесь?

— Соглашаюсь с искренней радостью, — подтвердила Вера Владимировна, — я для моей дочери лучшего мужа желать не могла. Я знаю, что она будет счастлива.

— Конечно, — молвила княгиня, — вы совершенно правы. Счастье ведь не в деньгах.

«Разве она сына хочет лишить наследства?» — подумала испуганная Вера Владимировна.

— Любовь все переносит, — продолжала княгиня, прибегнув опять к своей золотой табакерке, — ваша Цецилия с радостью пожертвует пустым излишеством и некоторыми маловажными привычками. Вы так прекрасно умели развить ее рассудок; ее будет удовлетворять и умеренная доля.

«Это что? это что?.. — думала бедная Вера Владимировна. — Господи! что это значит?.. Уж не затеяла ли и она сама идти опять замуж? имение-то ведь все ее...»

Она взглянула на княгиню. Трудно было сделать такое предположение.

— Итак, — сказала княгиня, вставая, — я поеду домой утешить молодого человека, который ожидает ответа с нетерпением. Я за него очень рада; он меня давиче так умолял, что я не могла ему отказать взяться поговорить вам о его предложении, хотя мне это сперва и показалось не совсем кстати. Ну, слава богу! дело с концом. А он, бедный, боялся отказа. Но я знала, что вы согласитесь, вы такая добрая мать. Да он, кажется, и человек очень порядочный; у него хорошие знакомства; он может вступить в какую-нибудь выгодную службу, найдет протекцию и выйдет в люди. Я скажу Виктору, чтобы он об нем похлопотал. Ну, так прощайте же.

Вера Владимировна уже ровно ничего не понимала. «Так это и вовсе не князь Виктор? — спрашивала она себя внутренне с отчаянием. — Да кто же он такой?..»

А нельзя было осведомиться об имени человека, за которого она согласилась отдать дочь.

Она, смущенная, искала возможности спасения и не находила; в ее голове все перепуталось. Ей мелькнуло, однако, будто бы средство, и она за него ухватилась с жадностью погибающего.

— Позвольте, княгиня, — вымолвила она, — не слишком ли мы в этом поторопились? Я должна поговорить серьезно с Цецилией.

— Вам ее любовь известна, — отвечала княгиня, — ее и спрашивать нечего.

— Разумеется... но все-таки... этот шаг так важен, что надо молодой девушке его совершенно обдумать; так легко ошибиться!

— Вы сейчас же говорили, что вы для Цецилии лучшего мужа желать не могли.

— Разумеется... я уверена... однако... позвольте мне ее спросить...

Несчастная Вера Владимировна совершенно терялась.

— Извольте, — сказала княгиня, — поговорите с ней, хотя мне это кажется и вовсе ненужным. Она, верно, будет готова идти за человека, которого любит. Прощайте же.

Вера Владимировна была спасена: с Цецилией она могла справиться, она могла проведать ее тайну, запретить ей думать об этом человеке без состояния, истребить эту глупую любовь и найти какой-нибудь предлог, какую-нибудь отговорку, чтоб отказать. Она, конечно, была предобрая мать, она всегда была готова исполнять прихоти и желания своей дочери; но тут уж дело шло о другом, тут уж было не до шутки.

Все это быстро смекая, она, несколько ободренная, провожала княгиню.

Гениальный план Валицкой не удался, дело было для нее проиграно, несмотря на ее твердую веру в успех. Чтоб эта вера ее не обманула, надо было теперь вступиться какому-нибудь вовсе постороннему, непредвиденному обстоятельству.

Обстоятельство явилось.

Иначе и быть не могло! Наполеон не погиб от адской машины, потому что женщине вздумалось надеть другую шаль.

Валицкая в эту минуту имела также свою звезду. Княгиня, сопровождаемая Верой Владимировной, шла к двери. Эта дверь отворилась, и Цецилия вошла в бурнусе и шляпке, готовая ехать с матерью.

— Да вот и она сама! — воскликнула княгиня. — Мы ее сейчас же спросим. Послушай, ma chère enfant,[1] Ивачинский просит твоей руки, мать твоя согласна; хочешь ли ты идти за него?

Цецилия вспыхнула, побледнела опять и сказала в радостном смущении:

— Если маменька согласна, я буду счастлива!

— Вот видите, — подхватила княгиня, — я была права. Бедные дети! Ну, теперь все хорошо; я ему сейчас пошлю сказать.

Вера Владимировна не могла говорить, не могла почти уж и понимать.

---

[1] Дорогое дитя (франц.). — *Ред.*

Дверь снова отворилась. Валицкая с Ольгой явилась как призванная в эту решительную минуту. Ее инстинкт руководствовал ею так же верно, как чутье ворона ему указывает путь к трупу.

Она, едва входя, была уже совершенно спокойна: она успела взглянуть и отгадать.

— Поздравьте Цецилию, — сказала ей княгиня, — она невеста Ивачинского.

Ольга бросилась на шею подруги; Валицкая с чувством пожала руку своей приятельницы.

— Вы счастливая мать! — сказала она ей.

Вера Владимировна заплакала.

Добрая княгиня послала свою карету за Дмитрием. Он приехал; все пошло обыкновенным порядком; все были очень тронуты, особенно Наталья Афанасьевна. Приехал домой и муж Веры Владимировны; Валицкая, его встречая, тотчас уведомила о случившемся, и что недоставало только, чтобы согласился и он. Он согласился и благословил дочь.

Вера Владимировна содрогнулась от внезапной досады на себя: она в своем смущении забыла про мужа! он мог бы быть орудием спасения, будто бы не захотеть выдать Цецилию за Ивачинского. Теперь было уже поздно хватиться.

Княгиня была осыпана благословениями и похвалами. Она объявила, что весьма довольна своим утром, и сама вызвалась быть посаженою матерью.

Дмитрий Ивачинский остался обедать и вступил во все права жениха. Вера Владимировна была, как все женщины хорошего общества, достаточно образована и усовершенствована, чтобы в нужном случае иметь вид, вовсе не соответствующий ее внутренним чувствам, и сумела и тут превосходно сохранить все приличия. Для Цецилии этот день прошел в радостном волнении; она едва могла верить в истину сбывшегося.

Итак, она была в самом деле невеста Дмитрия? Препятствия, которые ее пугали, исчезли, затруднения все сгладились; она осязала свою осуществленную мечту.

Вечер прошел неимоверно скоро. Было уже поздно, когда Вера Владимировна отослала Дмитрия домой.

Утомленная от радости, вошла Цецилия в свою комнату: стала раздеваться машинально, машинально легла, с думой единой, восхитительной. Благодатно окружала и живила ее атмосфера спокойного счастия. Всякая мысль ласкала, всякое чувство лелеяло...

Тихая ее улыбка встречала приближающийся сон... он уже носился над ней...

А вдали было так много чудных видений, светлых блаженств...

И ветр чуть шепчет, тихо вея;
Сквозь мглу ветвей глядит луна;
И бесконечная аллея
Густого сумрака полна.

Кто, в глубине ее вставая,
Мелькает там чрез лунный сад?
Чернеет ближе тень немая,
Сияет ярче звездный взгляд.

«Да, знаю я, идешь ты снова;
Опять мне в сердце смотришь ты;
Опять твое прогрянет слово,
Младые разобьет мечты.

Всегда ты, горестная сила,
Мне радость обращаешь в ложь:
Как пламя жгучее в кадило,
В меня ты мысли луч кладешь.

Оставь меня, о строгий гений!
Ты всё печальней и мрачней;
Боюсь твоих я откровений,
Любви безжалостной твоей.

Пускай к вседневной, пошлой доле
Свою я душу приучу:
Я не хочу предвидеть боле,
Я боле ведать не хочу!

Зачем напрасно рвешь от мира
Немую узницу его
И без земного жить кумира
Земное учишь существо?

Ужель должны мы так тревожно,
Так тщетно путь пройти земли?
Лишь то любить, что невозможно,
В то верить только, что вдали?

Зачем же краткий день обмана
Оставить сердцу ты не мог?
Зачем вперед, зачем так рано
Мне твой губительный урок?»

— «Затем, чтоб ты туда глядела,
Где вечность роковая ждет;
Чтоб поняла иное дело,
Чем этот ряд пустых забот.

Затем, чтобы души светило
Не угасало в тьме земной;
Затем, чтобы не совершила
Ты святотатства над собой.

Вставай из жизненного праха!
Уйми смятение в груди!
В лицо ты истине без страха,
Душа бессмертная, гляди!

Пойми, что тщетны все желанья,
Что бытие — чреда утрат;
Что жертвы в нем без воздаянья,
Что в нем страданья — без наград.

И чувствуй, что в тебе есть что-то
Неизъяснимое теперь,
Что выше всякого расчета,
И всех блаженств, и всех потерь!»

8

После достопамятного утра, которое так внезапно решило судьбу Цецилии, вокруг нее все изменилось и оживилось, как это обыкновенно бывает в доме, где невеста. Дни быстро проходили один за другим, до того наполненные, что становились совершенно пусты. Пылкий жених, как водится, умолял поспешить свадьбой; благоразумная мать откладывала ее, требуя времени, необходимого для приготовлений. Вера Владимировна, видя, что уже делать нечего, доказала, что она очень умная женщина, решась, назло своим неприятелям и приятелям, быть совершенно довольной этим браком и, употребляя его рамкой, в которую она стала, весьма выгодно, встав-

лять бо́льшую часть своих добродетелей: бескорыстие, великодушие, материнскую любовь и прочее, и прочее, по случаю чего она имела удовольствие говорить прекрасные фразы и принимать трогательные похвалы.

Дом был завоеван торговцами, приказчиками, драпировщиками, татарами, швеями, модистками. Везде находились образчики, свертки, картонки, пакеты. Поздравительным визитам не было конца; разъезды, обеды, вечера сменяли друг друга. Весь суетный, коловратный ход светской жизни ускорился до головокружительного движения. Эта живая тревога, этот веселый шум около невест напоминает невольно оглушительную музыку и барабанный бой, с которыми ведут солдат на смертную битву. Оставалось так мало времени для необходимых распоряжений, надо было заботиться о столь многоважных подробностях, рассматривать столько модных журналов, выбирать столько различных и всевозможных материй и штофов, толковать так часто с брилиантщиком и золотых дел мастером, примеривать столько платьев, пеньюаров, бурнусов, шалей, шляпок, чепцов и уборов, одним словом, так заняться сущностью дела, что не оставалось ни одной свободной минуты помыслить праздно о чем-нибудь другом.

Да и о чем и к чему было тут и мыслить, особенно для Цецилии? Желания ее исполнились, тайные сны сбылись; вокруг нее было светло и прекрасно, она достигла этих волшебных часов жизни, когда занавес чудесной близкой будущности ежеминутно чуть-чуть приподнимается, позволяя девственному взору мгновенно взглянуть, чуткому сердцу радостно содрогнуться. И все для нее было так ново, неожиданно, неслыханно; весь этот мир, в котором она вдруг очутилась, был до сих пор всегда так утаен от нее, так тщательно отстоpонен и укрыт, что ее понятиям не могло предстать никакого сравнения с чем-нибудь похожим, и что она должна была счесть себя каким-то блаженным, великолепным исключением из общего порядка. Дмитрий притом не изменял всегдашнему обычаю женихов и так же невинно и добросердечно, как они все, вел эту неведущую, легковерную душу от обмана к обману, от заблуждения к заблуждению, одно другого утешительнее и прелестнее. Ложь осторожной матери он сменял ложью нежного любовника, сберегая неумолимую правду для изречений строгого мужа. Куда ни оглянись, везде встречались угождение и лесть, веселые лицы и приветливые слова. О чем же тут было размышлять и задумываться? Ровно ни о чем. Все представлялось в прекрасном виде; лучшего Цецилия и придумать не могла. Дмитрий был небогат, по светским понятиям почти беден, но даже и это самое обстоятельство умно-

жало ее удовольствие. Вопреки всему слышанному и виданному, вопреки всем общим мнениям, всем материнским нравоучениям, она, бог весть почему, безотчетно чувствовала в себе, что чем-то выше и лучше предпочитать бедность богатству, Ивачинского — князю Виктору. Она искренне радовалась своему выбору. Правда, она бедность понимала по-своему, как нечто грациозное, привлекательное, какой-то новый наряд, который ей будет очень к лицу; и она уже мысленно нетерпеливо устроивала тесный быт, на который пошло бы более денег, чем на пышный; она мечтала, как будет мило жить в бедности, носить платья самые простые, сшитые у Madam André, у которой фасон стоит вдвое дороже самой ткани; убрать себе отлично и изысканно маленькие комнаты, ездить в легкой, красивой карете, заложенной только парой прекрасных серых лошадей; даже иногда, в хорошую погоду, ходить с мужем пешком, в нарядном бурнусе или в бархатной шубе, подбитой горностаем. Других стеснений она не ведала и себе представить не могла. Она, конечно, иногда замечала некрасивое платье или старую, неуклюжую коляску иной дамы, про которую говорили с обидным сожалением, что она бедна; но ведь это было только недостаток вкуса и неуменье: как возможно не быть в состоянии сшить себе модного платья и иметь пристойный экипаж? какая бедность не позволяет даже этого? Ей случалось, в своих прогулках, видеть гнусные лачужки, встретить женщин в скудной, затасканной одежде, которые в мороз укрывались только старым платком, бледных мужчин в изодранных шинелях, изнуренных детей в отвратительно грязных рубашонках; но это были уже жители иного мира, существа иного разряда, с которыми она ничего не могла иметь общего. У ней был ежедневно перед глазами пример другого, может быть еще более жалкого существования, разительный пример бедности салонной — Надежда Ивановна; но это было опять-таки совсем другое: это была Надежда Ивановна; да она про нее и не помнила.

Итак, чего же ей оставалось более желать? Дмитрий был страстно влюблен в нее, Дмитрий был очень хорош собою, чрезвычайно *comme il faut*[1] и совершенно образован и умен. Он ей иначе казаться не мог: она, прожившая весь свой век в этой всеобщей атмосфере пошлости, не могла быть поражена пошлостью Ивачинского, точно так же, как бедный артельщик, не выходящий из грязной мастерской, не может замечать тяжкой духоты своего жилья. Да не легко и женщине с более обширными понятиями скоро разгадать посредственный ум среди условной образованности общества. Как

[1] Порядочен (франц.). — *Ред.*

и чем различить в аристократическом салоне пошлого человека от гениально умного? разве только тем, что первый тут обыкновенно кажется умнее. Наконец, вдобавок ко всему, Дмитрий был неимоверно добр и кроток донельзя, даже почти и слишком: отличительная черта всех мужей будущих, излишество, к счастью потом исчезающее.

Стало быть, опять-таки чего же Цецилия могла еще желать? как ей было не чувствовать себя блаженнейшим существом в мире? чего ей недоставало?

Может быть, одного: несколько истины среди всей этой прекрасной фантасмагории... Но что есть истина?..

Солнце спускалось за пестрые домики парка, нарядное население высыпáло из них; большая часть этих загородных жителей, этих прелестных любительниц природы катилась по шумному шоссе в освещенный театр, привлекаемая новым французским водевилем. Вечер возобновлял обыкновенное, ежедневное движение; вчерашнее повторялось однообразно и неутомимо в Петровском парке, так же как и на небе, где напротив пылающего заката всходила белая луна и мерцал еще чуть видный Арктур.

В салоне Веры Владимировны шла очень живая и интересная беседа. Она с несколькими приятельницами, в числе которых Валицкая сохраняла первое место (так ловко и искусно она сумела скрыть свое гениальное сватовство), занималась главной заботой материнского сердца — близкой свадьбой Цецилии, просила дружеских советов насчет подвенечного платья и драгоценных камней, присланных брилиантщиком и разложенных на столе перед ней. Надлежало выбрать из них те, которые шли всего более к невесте.

— Я ей к венцу подарила лучшую часть своих алмазов, и их обделали с большим вкусом, — сказала она, — но не знаю теперь, на что решиться для другого наряда. Бирюзы ей вовсе не к лицу.

— Очень хороши эти аметисты, и работа отличная, — заметила одна дама, — но аметисты, как бы хороши ни были, никогда не производят эффекта.

— Возьмите опалы, — предложила другая, — это, по-моему, лучший камень.

— Нет, — возразила Валицкая, — если надевать опалы, то они должны быть уже необыкновенно прекрасны и цены царской; я бы взяла изумруды, они чудесно идут к черным волосам и бледности вроде Цецилииной.

— Я сама бы их предпочла, они точно очень выгодны для нее, — подтвердила Вера Владимировна, — но если так, то я уже возьму парюру, которую приносили вчера; она несравненно лучше этой.

Эти камни довольно посредственны; они бы много потеряли в сравнении с изумрудами Софьи Chardet, а я этого не хочу. Вы их видели? — прибавила она, обращаясь к одной из присутствующих.

— Да, — отвечала та, — молодая была в них, два дня тому назад, на вечере своей тетки; они удивительно хороши, особенно браслеты и пуговицы, и этот наряд шел превосходно к ее палевому платью.

— Она прекрасно одевается, — молвила другая дама.

— Особенно с тех пор, как вышла за денежный мешок, — прибавила третья, улыбаясь.

Вера Владимировна также улыбнулась.

— Я не постигаю, — сказала она потом очень серьезно, — как можно из денег жертвовать своей дочерью таким образом; по-моему, обязанность матери заключается не в том, чтобы добыть себе богатого зятя. Я ее понимаю иначе и выше. На всякую мать возложена святая ответственность, и она виновата, если не предпочла счастье своей дочери всем другим расчетам и выгодам.

— Вы не довольствуетесь тем, чтобы прекрасно определять долг матери, — отвечала ей тронутая Наталья Афанасьевна, — вы этот долг еще прекраснее исполняете, что встречается гораздо реже.

— Я могу по крайней мере дать себе свидетельство, — продолжала Вера Владимировна добросовестно и скромно, — что мои слова и поступки согласны между собой. Я свои убеждения всегда искренне высказывала и всегда действовала соразмерно с ними.

Во время этих рассуждений Цецилия сидела поодаль с Дмитрием и слушала только его тихие слова, сказанные ей почти на ухо, в виде тайны, хотя тайны тут и вовсе не было. Общие места, которые он ей таким образом поверял, могли быть провозглашены где угодно и поведаны всему миру; но ей все эти пустые речи казались, разумеется, преинтересными. Да ведь дело было и не в речах: тут действовал магнетизм взгляда, улыбки, голоса; тут значение таилось в тысяче незаметных обстоятельств. Этот влюбленный шепот, эта замысловатая беседа была, конечно, благоразумна и прилична в высшей степени; но как бы молодая чета ни соблюдала требований хорошего общества, как бы Дмитрий ни был благопристоен, как бы Цецилия ни была превосходно воспитана, все-таки они не могли проявляться совершенными куклами; и между ними укрывались от взора Веры Владимировны беспрестанные прегрешения против строгих законов света. И все это делалось так тайно, что походило на грешный поступок и было тем сладостнее. И какая девственная душа не поняла прелести этих легких преступлений? какая женщина, исповедываясь сама себе, не созналась, что коснуться этих сердеч-

ных, смущающих радостей украдкой, вскользь, со страхом и трепетом во сто раз упоительнее, чем их вкушать явно и спокойно? и что мы, дети Евы, все больше или меньше мнения той италнанской графннн, которая, кушая прекрасное мороженое в палящий день, воскликнула чистосердечно: «Ах! как жаль, что это не грех!»

Цецилия встала с своего места и вышла на балкон; Дмитрий вскоре последовал за ней, и они оба очутились почти одни; их отделяли от салона и укрывали два густые померанцевые дерева, которых бесчисленные цветы благоухали ароматнее к ночи. Сумерки уже сгущались, далекие звезды светлели одна за другой. Других свидетелей тут не было, и Дмитрий понял, что под божьим небом, в виду звезд, не стыдно предаться сердечному движению: он быстро обхватил свою прекрасную невесту и прижал смелые уста к ее бледной щеке... Она вздрогнула, вырвалась... и потом остановилась недвижная, прислоняясь к стеклянной двери; в ней что-то пробудилось и засияло ярче тех ночных светил. Сквозь все умственные пелены, сквозь все незнания, сквозь всю ложь ее жизни сверкнул отблеск небесной истины, чувство искреннее, откровение душевное... протекла минута, может быть единственная в ее земном бытии... и она тихо вошла опять в комнату и села задумчиво.

Разговор вокруг стола продолжался. Цецилия слушала эти толки, не вникая в их смысл, и отвечала как следовало на непонятные вопросы с той странной способностью, которою мы иногда владеем или которая, точнее сказать, владеет нами в часы сердечного сомнамбулизма. Наконец все посетительницы разъехались; уехал и Дмитрий, и Вера Владимировна осталась одна с дочерью. Она воспользовалась остальным вечером, чтобы с Цецилией рассмотреть и выбрать прекрасные кружева и дать ей кстати множество нравственных наставлений и полезных советов; потом перекрестила ее и послала ложиться спать. Цецилия ждала с нетерпением этой возможности быть одной; она поспешила раздеться и отправить горничную.

Наедине с самой собою она облокотилась на мягкие подушки н предалась своим блаженным мечтаниям. Ее душой овладело упоительно надменное спокойствие; несчастие было для нее бессмысленный звук; она царила над судьбой; она стояла перед жизнию, как заимодавец перед должником, с правом взять свою собственность; она дерзновенно и неустрашимо верила и в незнакомую будущность, и в сердце свое, и в сердце чужое. Странное, вечно новое, вечно неизъяснимое проявление! Где причина так радостно стремиться к неизвестному? так слепо доверять? где залог? где обеспеченье? И оно право, это неестественное, это безумное, это всегда обманутое убеждение. Тут то же величавое сумасшествие Дон-Кихота, который

конвойной страже велит освободить каторжников и предоставить их небесному правосудию. Он прав, восторженный безумец, когда он доверчиво снимает оковы с преступника, и только разврат других делает его виновным и смешным.

Высокие души сохраняют всегда это верование в человечество; но все его почувствовали в себе хоть на несколько мгновений.

И нам, детям, рассказывают прекрасную черту Александра Македонского. Дайте срок, мы все, хоть раз в своей жизни, станем с ним наравне; мы все, как он, выпьем кубок, когда б и весь мир нас уверял, что он отравлен.

И она продолжала сладостно бредить, молодая счастливица. Уже мысли подернулись туманом, и мечты блуждали, перепутанные дремотой; но блаженство в душе сияло сквозь полусон. Ее голова наклонялась медленно и коснулась подушки... длинные ресницы опустились... и сладко засыпающая вдруг содрогнулась, как в нежданном испуге; взор ее блеснул и снова погас. И луна шла высоко и глядела в окно... и внезапным взрывом, издалека, чрез простор полет промчался бурный, и вершины сонные дерев в темноте мгновенно зашумели, и опять умолкли, чуть дыша...

Стихло всё; фонтана только слезы
Падают незримо в тьме аллей;
Спят листы, не трогаются лозы,
Тишина недвижней и немей.

Что же вдруг, как бы с покоем споря,
Слышится в безмолвии ночном?
Бьется ли глухая бездна моря?
Ропщет ли вдали грозящий гром?

Чей то зов безвестный и могучий?
Ей с высот в глаза глядит луна,
Мирен дол, и небеса без тучи.
Что ж душа боязнию полна?

Там он ждет, где тению немою
Недвижим чернеет кипарис:
Легкою сошлись они стопою,
За руку, безмолвные, взялись.

Темные проснулись в ней понятья,
Грудь ее наполнил вещий глас;

И она, склонясь в его объятья,
Током слез внезапно залилась.

Чья ж над ней живительная сила
Протекла среди ночных чудес?
Чья же мысль над ней заговорила,
Уносясь в бездонности небес?

Не его ль?.. не в чувстве ли взаимном
Потряслось в ней сердце, как струна?
Не с его ль поют созвучным гимном
И фонтан, и звезды, и она?

Пора пришла!.. душа готова!..
Заветный звук, вложись в уста!..
Втеснись в таинственное слово,
Всего высокого мечта!

Любовь! непонятое чудо!
Как сходишь в бренные сердца
Ты, гостья светлая, оттуда,
Где нет начала ни конца?

Любовь! вступая в мир телесный,
Рабой ты отдана судьбе;
Защиты нет тебе небесной,
Нет свыше помощи тебе!

Не сокрушишь толпы устава,
Не победишь ее страстей;
И будешь ты всегда неправа,
Всегда безвластна перед ней.

Блаженный сон людского края,
Несешься ты в житейской мгле,
Знакомая, но всё чужая,
Всё недоступная земле.

Вотще тебя, святая треба,
Стремится сердце воплощать:
О херувим, слетевший с неба,
Уходишь в небо ты опять!

Но божества душа коснулась,
Но тайны в ней нашли язык,
Но бесконечность распахнулась,
И взгляд в нездешнее проник.

Пошли ж на миг, о дух вселенной,
Блестящий в светлых тех мирах,
Неизмеримость в образ тленный,
Небесный луч в житейский прах!

На миг трепещущие души
В священных силах закали;
Да видит взор, да слышат уши,
И смолкнут ропоты земли!

9

Успев наконец устроить как следовало все необходимое для брака Цецилии, Вера Владимировна назначила день свадьбы, по причине которой она оставила Парк и возвратилась с дочерью в свой дом иа Тверском бульваре. Между тем Дмитрий Ивачинский съездил в дерсвню к больному отцу, чтобы получить его благословение и, сколько возможно, приготовить там свое скромное жилье для приезда Цецилии, пожелавшей провести с ним, в его сельском уединении, этн первые дни супружества, в которые влюбленные новобрачные не могут насытиться созерцанием друг друга и впадают в счастливое заблуждение, воображая, что весь остальной мир создан совершенно без нужды и пользы.

Отсутствие Дмитрия продлилось неделю, и в течение этой недели он отправил к Цецилии семь длинных писем, из коих Вера Владимировна, через руки которой они проходили, конфисковала два, по своему строгому, самовластному цензурному уставу нашедши в них какой-то неприличный запах жорж-зандизма, долженствующий остаться чуждым ее дочери до самой свадьбы. Может быть, она была права, но последствием ее осторожности были для Цецилии две бессонные ночи, в которые она себе до утра ломала голову насчет возможного содержания этих заветных двух писем, неутомимо придумывая бесчисленные разрешения интересной загадки.

Наконец после этого семидневного, бесконечного отсутствия Дмитрий воротился, влюбленнее чем когда-нибудь. Он принадлежал

к числу тех людей, которые во всех своих чувствах и действиях будто сходят с горы по крутой наклонности. Они уже не в силах остановиться на минуту и с каждым шагом увлекаются более и более. Так же, как они все, Дмитрий принимал этот недостаток силы за пылкость характера и неодолимую буйность страстей. Свидание было трогательно, сама Вера Владимировна расчувствовалась при этом случае и убедилась в будущем счастьи своей Цецилии, о котором все знакомые и даже незнакомые говорили с большим участием.

Жданный срок приближался и наступил. Накануне дня, который должен был так благополучно изменить всю ее жизнь, невеста сидела у окна своей комнаты и глядела в тихом раздумьи на длинный бульвар. Начиналась вторая половина августа, месяца у нас почти всегда уже осеннего. День был пасмурный; сизые, холодные тучи тянулись лениво по небу. Москва еще сохраняла свой летний, пустынный вид; редко проносился экипаж по степенной улице; на безлюдном бульваре являлся только иногда какой-нибудь плебейский поспешный прохожий в синем кафтане или сером армяке. Пыльные липы стояли неподвижны, с каким-то усталым, скучливым выражением; сырой воздух веял дождем.

О чем думала Цецилия так долго, с таким рассеянным взором? что было причиной такого почти унылого мечтанья? Она сама не могла бы этого сказать. Мы невластны над своими непонятными чувствами, и не от внешних событий зависят наши впечатления. Кому не делалось иногда тяжело и грустно на сердце среди блистательного праздника, общего шумного веселия и своей собственной радости? Она, может быть, испытывала в эту минуту, как странно иногда стесняет грудь человека наступающее исполнение его страстных желаний, как будто б он, хотя на одно мгновение, понимает всю их слепоту и ничтожность.

Своенравную эту думу прервала вошедшая горничная Аннушка.

— Маменька приказали вам доложить, чтобы вы пожаловали кушать; они уже изволили сесть за стол.

— Как, — сказала Цецилия, — разве уж так поздно?

— Пробило пять часов-с.

Цецилия поспешила в столовую, где ее ждала мать.

Дмитрия в этот день не было

Вера Владимировна захотела, чтобы Цецилия провела этот вечер наедине с своими подругами. Это было нечто вроде девичника.

Вера Владимировна была известна по своему патриотизму и любви ко всем русским обычаям, хотя она, когда ей случалось их исполнять, давала им физиономию довольно французскую.

Часу в девятом съехались к Цецилии ее молодые приятельницы. Прежде всех приехала Ольга, необыкновенно веселая. Князь Виктор был все эти дни с нею чрезвычайно любезен, что она и поспешила рассказать тотчас Цецилии наедине.

— Представь, душенька, я вчера находилась в ужасном положении. Ты знаешь, что у нас была учреждена большая кавалькада в Покровское. Прекрасный путешественник, которого ты у нас видела, лорд Гранвиль, участвовал в ней и предложил мне пари, что он меня перегонит. Я согласилась, надеясь на свою лошадь. Вот утром приходят мне вдруг сказать, что она хромает. Это было в присутствии князя Виктора, который заехал узнать о маменькином здоровье. Я была в отчаянии, что должна отказаться от кавалькады, а особенно от пари с лордом. Между тем князь Виктор уехал, и вообрази, через час потом он мне присылает своего грума с Гульнарой, лучшей из его лошадей, и велит мне сказать, что он искренне желает, чтобы я с ней выиграла свой пари. Я и в самом деле выиграла! Каково?

Цецнлня приняла сердечное участие в Ольгиной радости.

— Я всегда думала, — сказала она, — что ты будешь женой князя Виктора. Дай тебе бог счастия!

Ольга бросилась ей на шею. Вошли другие посетительницы, и началась обыкновенная беседа молодых девушек: веселая болтовня, легкие насмешки над отсутствующими приятельницами, невинные тайны, прошептанные на ухо, иногда, невзначай, колкое словечко — и все это удивительно грациозно.

Цецилия, разумеется, была царицей пленительного круга; ей подруги платили ту невольную дань, на которую имеет право торжественная избранница любви, что понимают все эти догадливые, непосвященные Ундины. Она сама дышала сладкой гордостью, какую чувствует в себе каждая невеста, даже бедная нареченная ремесленника. Ее утренние, неясные думы совершенно исчезли в ней. Она опять доверяла радостно своей судьбе. Молодые гостьи занялись подарками, сделанными ей женихом, матерью и родными, рассматривали, расспрашивали, хвалили, оценяли, завидовали, — и часы проходили живо и весело.

Они проходили еще веселее в то же самое время в зале одного дома у Арбатских ворот, где жил Дмитрий Ивачинский. Он в этот вечер, буйно беседуя с десятком друзей, прощался со своим холостым бытом. Шампанское текло, сигарки дымились вокруг стола, где недавно кончился обед и на скатерти которого теснились бутылки, сверкали бокалы и темнели широкие пятна пролитого бургондского и лафита. Молодые повесы приходили в восторженное

состояние. Раздавался крик, спор, бойкий смех, резкие шутки и вся примесь грубой мужской утехи. Ильичев рассказывал непристойные анекдоты, слушатели хохотали во все горло; громче всех хохотал Дмитрий, который пересаливал и веселье, так же как чувствительность и печаль. Он всегда боялся не оправдать перед самим собой собственного почтения к своей необузданной силе.

Между тем Цецилия в кругу своих приятельниц говорила им о неимоверной кротости и застенчивой любви своего будущего мужа и вычисляла все его добродетели.

Было уже довольно поздно. Молодые девушки вышли на балкон; звездное небо сверкало; темные тучи утра сошли с него и легли черным поясом вдоль горизонта. Цецилия прислонилась к решетке и вспомнила, как стояла с теми же посетительницами, на том же балконе в одну майскую ночь, три месяца тому назад; и она с душевным наслаждением подумала про себя, как много сбылось для нее, как счастливо изменилась ее судьба в эти три месяца.

Когда все веселые гостьи уехали, когда Цецилия пожелала матери доброй ночи и вошла в свою спальню, она была исполнена радостным волнением; она в течение всего вечера так много говорила с подругами про Дмитрия, так припомнила и расхвалила все его достоинства и прекрасные качества, так похвастала его любовью и своим счастьем, что, упившись сладким хмелем этого разговора, находилась еще под приятным влиянием своих собственных слов. Она позвонила горничную, освободила свои длинные косы, растянула сжимающий кушак, сбросила платье и тесный корсет, стряхнула легким движением стройный башмак и, вложив босые ножки в мягкие турецкие туфли, надев свободный пеньюар, отпустила Аннушку и села на диван. Дверь затворилась за горничной, молодую невесту окружило молчание и мирные сумерки. Одна лампочка иконы освещала уютную спальню, слабо и таинственно сияя с высоты киоты. Томный луч падал на склоненную голову с раскинутыми черными волосами, на чистое чело, на сладостную полуулыбку нежной мечтательницы. Юная душа рассказывала себе в тишине ночной какую-то безмолвную чудесную повесть. Звезды мерцали сквозь длинные кисейные занавесы окон тихой комнаты.

В зале Дмитрия шум возрастал. Шампанское сменялось ромом, жженка пылала синим огнем среди стола, оргия дошла до полного разгула. Две-три слабые натуры уже лежали на диванах, но остальные герои кричали и хохотали тем громогласнее, хотя н несколько бессмысленно.

— Ивачинский! — возопил Ильичев, — ты, знать, в самом деле прощаешься с радостями жизни, что пьешь так отчаянно?

— Я теперь вижу, что ты пьян, — отвечал Дмитрий, — потому что начинаешь говорить нелепости.

— Господа, — продолжал громким голосом Ильичев, поднимая свой полный стакан, — я пью за здоровье Ивачинского и предлагаю пари, что он с завтрашнего дня сделается самым нравственным человеком и добродетельным семьянином: будет прогуливаться по бульвару с женой под ручку, пить только невинный чай, а потом с детьми и кипяченое молочко.

Гул хохота поднялся снова.

— Слышишь, Ивачинский? — закричало несколько голосов.

— Слышу.

— Что ж ты не отвечаешь?

— Что мне отвечать на такой вздор!

— Видишь, Ивачинский, — сказал Ильичев, — какая у тебя прекрасная репутация: они все со мной согласны, и никто не хочет держать моего пари.

Изо всех душевных впечатлений стыд есть чувство самое условное и способное к ложному применению. Дмитрию сделалось стыдно, что эти гуляки предполагали в нем возможность остепениться. Ему, может быть, в обществе наглого вора сделалось бы стыдно, что он не крал.

— Я держу пари, — закричал он, — и с нынешнего дня через неделю зову вас всех на богатырскую попойку у цыган.

— Браво! — зашумели гости, — дело!

— Разумеется, — прибавил один, — кому бы пришла охота жениться, если б блаженное состояние супружества заставляло отказываться от вина и веселья.

— Хвастает, — сказал Ильичев, — где ему! неравно жена узнает!

Дмитрий взмахнул рукой с невыразимо героическим презрением и сразу выпил до дна свой стакан жженки.

Цецилия в своей тихой спальне все еще сидела в глубокой задумчивости, но мало-помалу ее мечтания безотчетно изменялись. Она взглянула кругом на эту скромную, целомудренную комнату, которую должна была завтра покинуть навсегда, и темно поняла многое в эту минуту. Все ее детское, ясное, ею так гордо презренное спокойствие мелькнуло вдруг перед ней, как бесценный, потерянный клад. У нее лежал камень на груди. Она старалась утешиться, исчисляя себе сызнова все достоинства Дмитрия, все поруки ее будущего счастия; но теперь они как-то не приходили ей на ум. Больнее и больнее стесняла душу бессмысленная боязнь, загадочное горе. Нервы ее напрягались тягостно. В ней не было силы сбро-

сить с сердца подавляющую думу; она сидела с поникшей головой, вся немея под бременем неизъяснимого чувства. Внезапно дрожь пробежала по ней, и она осталась неподвижною, как в магнетическом сне. Наклонившись немного вперед, со взором, странно вперяющимся в сумерки, с невыразимой грустью на лице, Цецилия, сквозь стены и пространство, словно достигала до того буйного пира, словно видела острый пламень жженки и слышала резкий хохот знакомого голоса.

Наконец она, слабая, встала, подошла к углу, где икона сверкала золотым своим окладом, и с тяжелым вздохом упала на колени пред священным ликом, который глядел так спокойно на все бури сердечные, на все горе земное.

Долго она лежала перед образом, стараясь напрасно овладеть своими мыслями, в горьком забытьи, не молясь — если скорбь и смирение не молитва; потом, несколько облегченная, поднялась, подошла к своей кровати и в последний раз легла иа эту мирную постель девы, где столько ночей так сладко мечтала, так тихо спала. Бледное ее чело упало на подушки; она несколько времени пролежала, как мраморная статуя гробницы.

Нарядные часы на маленькой колонне между окон пробили в ночном безмолвии один звонкий удар. Цецилия медленно приподнялась и взглянула. Ей помнилось что-то и не могло ясно припомниться; какое-то слово, которого она не находила, какое-то имя, которое ей не давалось... И она чувствовала и знала наверное, что все теперешнее уже когда-то с ней было, что эта минута повторялась в ее бытии, что она ее уже раз прожила... «Боже мой! — шепнула она почти вслух, — кто же умер?.. как это?..»

Она боролась со сном.

Но ей постепенно наполняло всю душу робкое сладостно-грустное ожиданье, желание невнятное, будто другая, непостижимая любовь. Из-под опущенных темных ресниц скользили медленно тихие, светлые слезы. Она засыпала как обиженный, полуугомоненный ребенок... И вот ей вспомнилось... кругом все глухо... не пора ли?.. она одна... чему же быть?..

Над ней сияют звезды грозно,
Бездонна ночь, чуть виден дол;
Она одна... быть может, поздно,
Быть может, встречи час прошел.

Полночная вспорхнула птица...
Молчит, как гроб, объем земли;

Порой сердитая зарница
Сверкает в сумрачной дали.

И с нею вдруг стоит он рядом,
Поникнув пасмурным челом,
Недвижный, с безнадежным взглядом,
В раздумьи тяжком и немом.

«Ты вновь пришел! .. и не во сне мы? ..
Зачем так розен был наш путь? ..
Зачем уста твои так немы? ..
Зачем мне страх ложится в грудь? ..»

И он склонился, грустно-бледный,
И он печали дал слова:
«Простимся ж ныне, друг мой бедный:
Да вступит жизнь в свои права!

Иди назад к земному краю,
Иди к земному ты венцу, —
Тебя я миру уступаю,
С молитвой трепетной к творцу.

Горе всем дал он равно нам,
Всем дал меру грустных дней;
Покори его законам
Ропот гордости твоей.

Жить учись в тревоге внешней,
Юных грез забыв Эдем,
Тайной думы безутешной
Не делясь уже ни с кем.

Не вотще рвались так жадно
Бредни сердца к бытию:
Жизнь исполнит беспощадно
Просьбу страстную твою.

И волшебного тумана
Разнесется светлый пар;

Слишком поздно, слишком рано
Ты познаешь жданный дар.

И свершит судьба в избытке
Над тобою казнь свою:
Но не лечь в жестокой пытке,
Но не пасть тебе в бою.

Ты найдешь среди борений
Беспризрачных, тяжких лет
Много чистых увлечений,
Много радостных побед.

Ты снесешь друзей обиды,
Злую ложь сердечных снов, —
И таинственной Изиды
Приподымешь ты покров.

Бытие поймешь земное
Созревающей душой:
Купишь благо дорогое
Дорогою ты ценой.

Усмиришь в груди вражду ты,
Пред бедой не склонишь вежд,
Не смутят тебя минуты
Ни обманов, ни надежд.

Всё, что ныне без сознанья,
Чуждо всем, в тебе цветет, —
Жизни жгучие страданья
Обратят в богатый плод.

Так иди ж по приговору,
Только верою сильна,
Не надеясь на опору,
Беззащитна и одна.

Не тревожь преступно неба,
Заглуши свои мечты
И насущного лишь хлеба
Смей просить у бога ты».

10

На другой день, в осьмом часу вечера, блистал в темнеющих сумерках великолепно освещенный и убранный дом Веры Владимировны. Народ толпился на Тверском бульваре напротив сияющих окон и, как обыкновенно, любовался добродушно надменной пышностью и недоступным счастьем богачей. В роскошном кабинете, перед огромным зеркалом, озаренным ярким светом канделябров, Цецилия, окруженная своими молодыми подругами, надевала то прекрасное, торжественное платье, о котором мечтали все эти милые головки, которого призрак так пленительно и упорно восстает в девственных грезах и в которое облачиться еще не отчаивалась даже и бедная Надежда Ивановна, суетившаяся около невесты.

И невеста была невыразимо прелестна в этой брачной одежде, с этим чудесным вуалем, прозрачно спадающим на ее юные плечи, с этими белыми померанцевыми цветами, дрожащими ярко в черноте ее кудрей, с этими искрометными алмазами, с этим бледным лицом, с этими задумчивыми глазами.

Цецилия находилась в нервном расстройстве, естественном в подобную минуту, и не могла понять своих внутренних, таинственных движений. Ей порою сдавалось, что она во сне, что ее не в самом деле везут в церковь венчаться, и спрашивала себя: как же это все сделалось так скоро? как же это́ она идет замуж за Дмитрия?

Наряд был окончен. Ей подали еще один богатый браслет, подаренный женихом; она протянула руку, чтоб ей его надели, и, смотря рассеянным взором, как Ольга смыкала замок, прошептала в глубокой думе:

Так иди ж по приговору,
Беззащитна и одна...

— Что ты говоришь? — спросила Ольга, взглядывая на нее с удивлением.

— Не знаю, — отвечала Цецилия, — это какая-то песня, которая у меня вертится на уме. Не могу припомнить, где я ее слышала.

— Какой вздор! — сказала Ольга. — Ступай, ты готова; надевай перчатки, уже пора.

Через час потом близ Арбатских ворот, у богатого прихода Николы Явленного, уставились длинным рядом нарядные экипажи; церковь сияла огнями; в ней теснилось аристократическое общество, а в дверях плебейская толпа зевала на свадьбу и толкалась ревностно, стараясь увидать издали прекрасную чету.

Бледная Цецилия стояла с тихо наклоненной головою под тяжелым венцом, которого бремя, может быть символическое, она будто чувствовала на молодом челе. Ее члены слегка дрожали, и два-три раза взор ее взлетал трепетно вдоль иконостаса до верху купола, где сквозь высокое окно чернело ненастное небо.

Между зрителями близ дверей шли полушепотом обыкновенные толки и замечания, вопросы и ответы.

— Что же она такая суриозная? разве нехотя идет?

— Нет, по любви.

— Каковы бриллианты!

— А что он-то, богат?

— Говорят, беден.

— Зато хорош собой.

— Помилуй, — сказал Ильичеву один приятель, стоящий с ним в углу церкви, — как это она прославилась красавицей? совсем не хороша; бледна как мертвая.

— Она больна нервами, — отвечал Ильичев.

— Тьфу! — продолжал тот, — эти нервные жены наказание божие! Он с ней не рад будет жизни.

— Вылечит, — сказал хладнокровно Ильичев.

Торжественный обряд кончился; родные, друзья и знакомые обступили молодых с поздравлениями, провожая их к паперти. У выхода князь Виктор подошел к Валицкой со своим чопорным, едва заметным поклоном.

— Нет ли у вас препоручений в Париж? — сказал он ей небрежно. — Я завтра отправляюсь туда.

— Как?.. — спросила испуганная Наталья Афанасьевна, — вы едете?.. я надеюсь, ненадолго?

— Не знаю! — отвечал князь. — Вероятно, надолго.

Наталья Афанасьевна нашла силу почти улыбнуться и проговорить несколько слов, в которых заключалось, не совсем ясно, желание счастливого пути. Князь опять слегка поклонился и исчез со всеми ее прекрасными надеждами.

Из чего же она, бедная, так усердно старалась и так искусно сосватала Цецилию с Ивачинским? Все ее уменье было напрасно; весь ее труд пропадал даром...

Она закусила губы и пошла вслед за другими.

Вера Владимировна на паперти утирала глаза, полные радостных слез.

Подавали экипажи, раздавался грохот колес, топот коней, визг форейторов, крики кучеров и лакеев — вся громкая тревога разъезда. Народ расходился, в церкви гасили огни.

Скоро потом она стояла на опустелой, широкой улице темная и немая. Над нею проходили медленно тяжелые, грозящие тучи и неслися неведомо куда.

Взяла свое взлелеянная дума,
Нашла язык, в мир внешний перешла;
Давно жила среди людского шума
Она во мне, свободна и светла.

И долго я в душе ее умела
Безмолвною сберечь себе одной,
И па свое гляжу теперь я дело
С невольною и странною тоской.

И мне потом на ум приходит снова,
Что жизнь встречать иначе мне пора,
Что грезы — ложь, что бесполезно слово,
Что звук и стих — ничтожная игра.

Последняя, быть может, песня эта:
Скорей годов уносятся мечты!
Признать и мне ль власть суетную света?
Забыть и мне ль служенье красоты?

Мне глубь души согревшая впервые,
Простишься ль ты, поэзия, со мной?
Покину ль вас, о веры молодые?
Найду ли я бессмысленный покой?

Познав земли восторги и печали,
Свои прожив тревожные лета,
Скажу ли я, что многие сказали:
Всё бред пустой! всё грустная тщета!

Слабеет дух, и до меты далеко.
Безумная надежда прежних дней
Чуть помнится, и глас самоупрека
В моей груди всё громче и грозней.

Меня томит бессильное исканье,
Вопросами я тяжкими полна.

Одно лишь есть в душе моей сознанье,
Одна лишь мочь, и не умрет она!..

Так пусть грозит грядущее утратой
И с каждым днем редеют сердца сны;
Пусть поплачусь я горестною платой
За светлые дары моей весны;

Пусть брошу я, средь жизненного моря,
За кладом клад на бурной глуби дно:
Блажен и тот, кто мог, с грозою споря,
Себе спасти сокровище одно.

Между 1844 и 1847

КАДРИЛЬ

ПОСВЯЩЕНИЕ Е. А. БАРАТЫНСКОМУ

Ты мечты моей созданью
Ждал счастливого конца...
И, верна души призванью,
Этот труд печальной данью
Я кладу на гроб певца:

В память дум твоих, Евгений,
Полных чистого огня,
В память светлых вдохновений,
В память радостных мгновений,
В память горестного дня.

Для маскарада уж одета,
Замок алмазного браслета
Смыкая на руке, вошла
Графиня в двери кабинета;
И в этот вечер как была,
В наряде вишнево́го цвета,
Она прекрасна и бела!
Каким сияньем талисмана
В ее венце блестел опал!
Как пышно вкруг младого стана
Тяжелый бархат упадал!

Бьет девять. Взор склонивши томный,
Она сидит и ждет подруг;

Сложила на одежде темной
Блестящий мрамор дивных рук.
Как знать, что́ под густой ресницей
Высказывает яхонт глаз?
В какую даль младою птицей
Теперь мечта ее взвилась?
О чем задумалась так мило?
Каким забылась тайным сном?
Владеет ли ее умом
То, быть чему... иль то, что было?..

Но вот к хозяйке молодой
Три юные подруги, рядом,
Шелко́вым зашумев нарядом,
Вошли в затейливый покой.
Встает с богатого дивана
Графиня: «Как любезны вы,
Что съехались ко мне так рано!»
И быстро с ног до головы
Их осмотрела: «Как пристало
К Надине яркое жонкиль!
Как белый бархат рядит Олю!» —
И язычкам своим дал волю
Очаровательный кадриль.

А засыпал уж православный
Широкий город между тем;
В его средине Кремль державный
Светлел, как призрак, грозно-нем.
Ночь воцарилась.

Южной ночи
Не знаю я, России дочь;
Но как у нас, в морозной мочи,
Январская волшебна ночь!
Когда, молчанием объяты,
Бело стоят Москвы палаты;
Когда стозвездна синева,
И будто в ледяные латы
Одета дивная Москва!
На эти долгие морозы
Роптала я в моей весне;

Играли молодые грезы,
Просили многого оне...
Теперь с тобою было б больно
Расстаться мне, Москва моя!
Безвестной долей я довольна,
Страшусь иного бытия!
Прошли воображенья чары;
Давно не возмущают сна
Ни андалузские гитары,
Ни грохотанье Ниагары,
Ни глав Альпийских белизна.
Привыкла к скромной я картине,
К уединенному труду,
И взорам вид любимый ныне —
Дитя веселое в саду.

. . . .

Зачем, качая головою,
Так строго на меня смотря,
Зачем стоишь передо мною,
Призрáк Певца-богатыря?
Ужели дум моих обманы
Увлечь дерзнут мой детский стих
В заветный мир твоей Татьяны,
В мир светлых образов твоих,
Где облачал мечту-царицу
Ты в лучезарный дифирамб
И клал ей в гордую десницу,
Как звучный меч, свой мочный ямб?
Увы! где тот в отчизне целой,
Кто б мог, как ты непобедим,
Владеть теперь, в надежде смелой,
Твоим оружьем золотым?
Сраженный смертию нежданной,
Доспех ты чудный взял с собой,
Как в старину булат свой бранный
В свою гробницу брал герой.
И все робеют и поныне,
Поэта вспоминая вид:
Всё страшен ты певцов дружине,
Как рати мавров мертвый Сид.

. . . .

Страшусь иного бытія!
Прошли воображенья чары;
Давно не возмущаютъ сна
Ни Итальянскія гитары,
Ни грохотанье Ніагары,
Ни глыбъ Альпійскихъ бѣлизна.—
Привыкла къ скромной я картинѣ
Къ уединенному труду;
И взоромъ видъ любимый нынѣ
Дитя веселое въ саду —

Ночь воцарилась.— Чуть мерцали
Ряды Московскихъ фонарей;
Кой-гдѣ, какъ бы по твердой стали,
Звучалъ мгновенно скрыпъ саней
На улицахъ первопрестольной
Все было тихо, холодно;

Ночь воцарилась. Уж мерцали
Средь мрака фонари бледней;
Кой-где, как бы по твердой стали,
Звучал летучий скрип саней.
На улицах Первопрестольной
Всё было тихо, холодно;
Гулял по ним лишь ветер вольный,
Метель стучалася в окно.

Но, недоступны хладным вьюгам,
Зимы чудесные цветы,
Перед камином тесным кругом
Четыре сели красоты.
В непринужденном разговоре
Уже быстрее их слова
Сливаться стали. Речь сперва
Была о светском, пестром вздоре,
Которым тешится Москва;
Но женская беседа вскоре
Пошла привычной колеей;
И, тотчас вспыхнув, спор живой
Родное принял направленье:
Мужчин и женщин назначенье,
И сердца выбор роковой,
И тяжкое разуверенье. —
Всегда в беседе мы своей
Невольно в речь впадаем ту же:
Молчим почтительно о муже,
Но вообще браним мужей.

«Нет, я не соглашуся с вами;
Признаемся, почти всегда
Во всем мы виноваты сами».
— «Помилуйте, графиня!»
— «Да;
Тех бедствий женщина могла бы
Избегнуть, если бы она
Сама себе была верна;
Но все мы ветрены и слабы.
Глубоко в сердце вложенó
Нам чувство счастия и блага;

Но от решительного шага
Когда удержит нас оно?
Нас самолюбье губит вечно:
Кто скажет нам, что, не греша,
Нельзя нас не любить сердечно, —
В том и высокая душа,
Тому вверяемся беспечно.
Притом пугает, с ранних пор,
Нас предрассудка приговор.
Не смеем ждать мы благородно
Того, чье сердце с нашим сходно,
С кем мы сойтись бы на пути
Могли; с кем и сошлись, но поздно,
Когда обоим уже розно
Навек назначено идти.
Не мы ль, скажите, виноваты?»

— «Легко вам говорить о том,
Графиня: были вы богаты,
Не принуждали вас ни в чем.
Вы жили вольно, прихотливо,
Всем наслаждалися вполне;
Вам было золото не диво,
Вам не твердили суетливо
Вседневно о его цене.
Вам и не грезилось во сне,
Что часто дочь — у нас уплата
Долгов отца, издержек брата,
И что избегнуть не вольна
Она законного разврата.
Ее ли грех? ее ль вина?..
Быть может, искренне и свято
Любить умела и она!»

— «Так, правда; но признайтесь, Лиза,
Что замуж часто же идем
Мы из досады, из каприза;
И горько каемся потом».

— «Нет, не всегда. Судите сами,
Могу ль я согласиться с вами?

Идти за мужа тщетно мать
Меня просила; давши слово,
Отказываться я опять
Уже совсем была готова.
Да вышла ж! да и не тужу.
А странная тому причина...»
— «Что ж? расскажите же, Надина».
— «Коли хотите, расскажу».

РАССКАЗ НАДИНЫ

Тому шесть лет, ни роскоши я светской,
Ни пестроты не знала городской.
Жила я жизнию простой и детской
У матери, в губернии Тверской;
Езжала с ней лишь в городок уездный;
Занятья были те же и одни
Всегда, и проходил мой день полезный
Скорей тогда, чем нынешние дни.
Раз, помню, в утро жаркое июня,
К нам с дочерью приехал наш сосед;
Она была со мною равных лет.
Пошли мы обе в сад, и стала Дуня
Рассказывать, что вдруг, тому дня с два,
В село Покровское помещик новый
Явился, что идет о нем молва
Престранная, что, мрачный и суровый,
Он по ночам гуляет, как сова...

Есть старые, всеобщие обманы;
По-моему, то мненье в их числе,
Что вредно девушкам читать романы,
Что нас занять прилично лишь игле.
Я по себе сужу: я не читала
Романов; должно было жить весьма
Расчетливо; досугов было мало;
Я матери в хозяйстве помогала
И на себя работала сама.
Но думаю, что никакое чтенье,
Что никакой бы пламенный поэт
Не мог во мне развить воображенье

Так, как оно, в тиши тех юных лет,
В уме без дела возрастая скрытно,
Свободно расцвело и самобытно,
Глухих пустынь роскошно-дикий цвет.
Вы знаете, покуда наши пальцы
По кисее скользят или тафте, —
Как пагубно-благоприятны пяльцы
Сердечным снам и молодой мечте!

Я помню, как, работая без скуки
Весь день, душой была я далека;
Как, на шитье остановивши руки,
Недвижный взор вперяла в облака;
Как ночью, спрятавшись под одеяло,
Чудесные событья вымышляла
Средь полутьмы, при лампочке икон;
И сказку, спутанную сном, с начала
Трудясь вести, сердилась я, бывало,
На молодой неотразимый сон.
И поутру, на лбу свивая локон,
Пред зеркалом задумчиво стоя,
Уж в тайный бред вновь погружалась я.
Мужчина, если б нас подслушать мог он,
Подумал бы, что должно знать мне честь
И болтовне не предаваться женской.

Я объяснить хотела, как та весть
Подруги, в мире жизни деревенской,
Мои мечты должна была занять.
Меня не раз с тех пор бранила мать.
Случалося, что, в думе беспредельной,
Сводя по-прежнему расход недельный,
Чрез полчаса умела я едва
Счесть вместе, без ошибки, дважды два.
Кто ж мог он быть, затворник тот надменный,
Тот недруг дня, в глуши уединенной
Так глубоко сокрывшийся от всех?
Его душа таила незабвенный,
Тяжелый, может, и безвестный грех.
Мне незнаком был и Манфред, и Лара,
Но мне фантазия, поэт немой,
Их создала; и всюду предо мной

Сверкал средь грез душевного угара
Двух мрачных глаз взор грозный, но родной. —
Под осень раз, вечернею порой,
Вхожу я в чайную: у самовара
Сидел там гость какой-то, мне чужой,
Толстяк сутулый, лысый и рябой.
Мать назвала его... Как от удара
Шатнулась я, — то был страдалец мой,
Мой собственно-изобретенный Лара,
Мой инок, мой преступник, мой герой, —
Андрей Ильич! Чуть-чуть я не всплеснула
Руками. Он, с трудом привстав со стула
И поклонясь, опять сел тяжело.
Возобновилась речь их: дело шло
О том, что уродилася гречиха.
Я вышла вон, в пустынный сад скорей
Ушла, и, средь желтеющих аллей,
Заплакала я горестно и тихо,
Как об умершем, о мечте моей.

Прошли четыре дня; в конце недели,
Я только что успела встать с постели,
Как девушка мне доложить пришла:
«Вас маменька к себе позвать велели».
Мать в спальне уж сидела у стола
С письмом и, на меня с улыбкой глядя,
Спросила тотчас: «Хочешь ли ты, Надя,
Женою быть Андрею Ильичу?» —
Я громко крикнула: «Нет! не хочу!
Нет! ни за что на свете!»
Тут мне стала
Мать говорить всё, что сама я знала:
Что жениха такого мне вовек
Не встретить; что он добрый человек;
Что не найду ж я мужа-идеала;
Что мне грешно нейти за богача;
Что жить нельзя одними лишь мечтами;
Что всякая обеими руками
Сейчас взяла б Андрея Ильича.
Я слушала и всё одно твердила:
«Нет! не хочу!»
Весь день прошел уныло;

А на другой приехала родня,
И упросили наконец меня
Хоть подождать с решительным ответом...
Как объяснилась, впрочем, мать об этом
В своем письме к Андрею Ильичу, —
Не знаю, только в церкви нашей тесной
Всегда с тех пор, как помню, в день воскресный
Она в обедню ставила свечу.
Так время шло, и положенье это,
Не изменясь, продлилось до зимы.
Но матушка уже с исхода лета
Хворала; стало хуже ей, и мы
Решилися в Москву поехать с нею,
Ее лечить. Пришел отъезда час;
Андрей Ильич в то утро был у нас.
Как всё сбылось, сама вам не умею
Сказать; мать вдруг мне бросилась на шею
И, вся дрожа, слезами залилась.
Мне показалась грешной и безбожной
Моя упорность, и как раз потом
Стояла в шляпе я уже дорожной,
Рука с рукой с Андреем Ильичем.
Мы прибыли в Москву, и жизнь столицы
Черезвычайно полюбилась мне.
По милости двоюродной сестрицы
Я шумом насладилася вполне;
О будущем супруге забывала
Частехонько в очарованьи бала
И, руку взяв любого усача,
Оставить полагала долгом только
Я свой букет, когда гремела полька,
Под стражею Андрея Ильича.
А между тем привыкла к блеску света,
К причудливым заботам туалета
И к суете, к веселому житью;
И видела, как радостно бы дочки
Знатнейших дам, не требуя отсрочки,
Решилися на будущность мою.
Но, на нее хоть и с другой уж точки
Смотря, бралась за каждый я предлог,
Чтоб отложить докучной свадьбы срок.
И мне своим расстроенным здоровьем

Всю зиму в том способствовала мать.
Я соглашалася спокойно ждать
Решительного дня, но лишь с условьем
Ждать долго, может, без конца... Как знать?
Зачем мечта мне б не сдержала слова?
Зачем бы мне не сделаться женой
И богача, прекрасного собой,
И прелюбезного, и молодого?
Терпение Андрея Ильича
Не истощалось. Дни летели мимо,
Зима прошла, и, по словам врача,
Пришлося маменьке необходимо
В Германию отправиться к водам.
Андрей Ильич, чтоб угодить невесте,
Уговорил maman на это сам
И захотел поехать с нами вместе
И новый мир открылся снова мне,
И удовольствия, и впечатленья
Без устали меняла каждый день я,
И я жила как будто в дивном сне,
И как во сне сдавалось мне порой,
Что, может, это всё не в самом деле,
Что дома я проснусь в своей постеле
И рощицу увижу под горой.

Не стану говорить про быт Карльсбада;
Уже давно переменить бы надо
Нам это прозвище *чужих краев:*
Путь к ним, хоть раз, ведь как урок нам задан,
И знаем все почти Веймар и Баден
Мы лучше, чем Рязань или Тамбов.
Вам также за границей жить не ново.

Приехали в начале сентября
Мы в Дрезден; мать почти уже здорова
Была тогда, водам благодаря.
Здесь мать мне объявила наконец,
Что дольше ждать мы права не имели,
Что срок прошел, и через две недели,
А много три, пойду я под венец.
Я приняла, не возразив ни слова,

Известье матери; была готова
Почти уж год его я слышать, но —
(Хоть это странно) словно потому-то —
Казалось мне, что не придет минута,
Мне угрожающая так давно.
День целый размышляла я серьезно
О том, что делать и как быть. Не раз
Мне смелый и решительный отказ
Пришел на ум; но было слишком поздно:
Как матери мне вынести укор?
И что сказал бы строгий голос света?
А между тем казалась свадьба эта
Противнее мне с некоторых пор,
Бог весть с чего. А может, шепот сердца
Напоминал невнятно мне тогда
Про одного красивого венгерца,
С которым я встречалась иногда.
До ночи всё я задавала снова
Себе вопрос всё тот же, и легла,
Придумывая средства без числа,
Одно всё невозможнее другого;
И очень долго не могла заснуть,
И наконец заснула с тем, что к цели
Найдется, может, мне нежданный путь,
Что мне еще остались три недели,
Что, может быть, случится что-нибудь.
И возложив, как долг, на власть судьбины,
Что было в тягость мне свершить самой,
Я будто успокоилась душой.
Шло время; но ведь не было причины,
Прождавши день, не переждать другой.
Напрасно так прождав почти до срока
И тайного стыдясь самоупрека,
Я принялася рассуждать о том,
Что в самом деле ведь не так жестоко
Супружество с Андреем Ильичем;
Что детская некстати тут причуда,
Что ведь судьбе противиться нельзя ж,
Что, впрочем, всё-таки иметь не худо
Роскошный дом, блестящий экипаж,
Хоть речь идет совсем не о фортуне.
И будущего своего житья

Себе удобства исчисляла я
До самого дня свадьбы.
Накануне
В своем я кабинетике одна
Уж под вечер стояла у окна.
За Эльбою носились звуки песен;
В осеннем воздухе сияла даль,
Спускалось солнце, вечер был чудесен.
Мне грустно стало и чего-то жаль;
Раздумие о предстоящей доле,
О прежней жизни залегло во мне.
Всё утихало; ласточки по воле
Кружилися в прозрачной вышине;
И, на брега смотря веселой Эльбы,
Подумала с тяжелым вздохом я,
Что избрала иную в жизни цель бы,
Что не того ждала душа моя!
Что, может быть, сквозь винограда лозы
Желанный там белеет уголок,
Что здесь легко мои сбылись бы грезы,
Что сердца сон здесь воплотиться б мог!..
И долго в забытьи своем глубоком
Глядела вслед я лодочке одной,
Качаемой вдали спокойным током.
Вдруг чей-то шаг послышался за мной;
Я оглянулась с трепетом испуга:
Входила горничная и, с письмом
От будущего моего супруга,
Мне ларчик подала; нашла я в нем
Наряд брильянтовый, цены огромной,
Роскошный дар Андрея Ильича.
Горели камни на подушке темной
Сиянием стоцветного луча.
Нежданные бывают проявленья!
Увидя этот дорогой наряд,
Была бы вне себя от восхищенья
Я, вероятно, час тому назад;
Но в поэтическую ту минуту,
Когда я уносилася мечтой
К блаженному какому-то приюту,
В какой-то мир прелестный и святой, —
Внезапный вид надменного подарка

Мне чувством тягостным наполнил грудь,
И сделалося больно вдруг и жарко,
Как от обиды мне какой-нибудь.
В своих руках я светлые каменья
Держала, будто взвешивая их
В невольной думе горького сравненья
С ценой надежд и чудных снов моих.
В досаде тайной на восторг служанки
Я ей велела выйти, оперлась
На стол вблизи сверкающей приманки,
И слезы гнева брызнули из глаз.
Толкнула от себя я дар богатый,
И зазвучал сердечному чутью
Он грозно, как задаток, мною взятый
За проданную будущность мою.
И тут во мне проснулася отвага,
И я, в душевном взрыве, сгоряча,
Решила: что ни за какие блага
Не выйду за Андрея Ильича,
Что́ б мать ни говорила негодуя
И как бы свет ни осуждал меня,
Что не пойду, что с завтрашнего дня
Ему его брильянты отошлю я;
Что мне невыносим Андрей Ильич;
Что легче соглашусь я жить в затворе;
И, горячась всё больше на просторе,
Я понесла решительную дичь
И бунтовала так до поздней ночи,
И, наконец, мятежных дум полна,
Наплакавшись и выбившись из мочи,
Я в креслах задремала у окна.
И помню, сон приснился мне превздорный.
Уселась будто при лучах луны
Я дома в маленькой своей уборной.
И всё там — как бывало; у стены
Лишь зеркало огромной вышины
Чужое мне, и вижу, как картину,
Я в нем и сад, и рощу, и осину,
Стоящую перед моим окном;
И, где куртин вдали чернеют тени,
Является из-за куста сирени
Вдруг человек, окутанный плащом:

Нежданный гость, испанский caballero[1],
Под мышкой меч, на голове sombrero[2],
Гитарою рассеянно бренча,
Подходит он небрежно и удало,
И с плеч его скользнула епанча,
С него слетела шляпа — и узнала
В испанце я Андрея Ильича.
И на меня взор устремив он ярый,
Шагнул вперед — и бросил вдруг гитарой
Мне прямо в лоб. Меня едва спасло
Счастливое движенье от удара,
И стукнулась о зеркало гитара,
И вдребезги рассыпалось стекло.
Передо мной исчезла вся картина;
И я, при звуке звонкого стекла
Проснувшись, голову приподняла.
Гляжу — в окно прыгнул ко мне мужчина.
Вскочила я, всмотрелась: точно, да,
Мужчина стройный, молодой, прекрасный,
Высокий стан, взор дерзостный и страстный,
И черная, густая борода.
Глядела неподвижно, боязливо
Во все глаза я: что это? — обман?
Сон? иль давно ожиданный роман?
Он подошел и шляпу снял учтиво:
«Сударыня, — сказал он мне, — у вас
Чудесные брильянты здесь в шкатулке;
Они мне нужны, нужны сей же час.
Мы здесь одни, и в этом переулке
Кругом всё пусто как бы на заказ;
В дóму же все отсюда спят далеко,
Так в крике вам не много будет прока;
Наш разговор быть может очень тих.
Алмазы эти стерегу давно я,
Осмелюсь взять их, вас не беспокоя.
Жалеть тут не о чем: вам вместо их
Другие, верно, подарит жених.
И случаем подобным было б глупо,
Признайтесь, не воспользоваться мне.

---

[1] Кавалер (исп.). — *Ред.*
[2] Сомбреро (исп.). — *Ред.*

Позвольте же».
Бессмысленно и тупо
Я слушала сначала как во сне;
Однако же в себя довольно скоро
Пришла, и даже удалого вора
Не слишком испугалась. В тот же миг
Я вспомнила моих любимых книг
Свидетельства, что в мире жил разбоем
И не один прекрасный человек.
Так и глядел он сказочным героем!
Приятно встретиться хоть раз в свой век
С каким-нибудь Сбогаром иль Роб-Роем.
Итак, совсем без страха уж взирала
На гостя я незваного, хотя
Немного и смутилася сначала;
Но видя, что шагнул он не шутя
К столу, где ларчик был оставлен мною, —
Остановила смелою рукою
Его я вдруг, и, перед ним стоя:
«Послушайте, — ему сказала я, —
Здесь против вас мои усилья слабы...
Так точно, с вами я наедине,
Нет помощи, и, право, верьте мне,
Те камни вам сама я отдала бы.
Но слушайте: предложены они
В замену мне за все мои желанья,
За все мои святые ожиданья,
За все мои блаженнейшие дни.
Брильянты эти отослать должна я,
Или навек пожертвовать собой,
Жить без любви и сделаться рабой...
Ужель вы их возьмете, это зная?
Решите вы, и будьте мне судья:
Должна ли я утратить, вам в угоду,
Мои права на радость и свободу,
На мир души, на счастье бытия?
Нет! вы не совершите святотатства:
В том ларчике не только блеск богатства,
В нем будущность, надежда, жизнь моя!»
И много тут наговорила я
Прекрасного ему в пылу порыва;
И очень я была красноречива.

А он меня, не тратя лишних слов,
Отсторонил с весьма любезным взглядом
И, ларчик взяв с брильянтовым нарядом,
Пошел к окну, прыгнул — и был таков.
И вот чем дело кончилось. И так-то
Осталася я в комнате одна,
Ужасно, признаюсь, раздражена
Разбойником без чувства и без такта;
И наглого Сбогара своего
Бранила я в душе с великим жаром,
Особенно сердяся на него
За то, что речь моя пропала даром.
Но, гневом так натешившись вполне,
Спросила я себя: где тут спасенье?
Как с женихом теперь расстаться мне?
Отдать ему, что стоили каменья, —
Но где добыть? всё, что имела мать,
Составило б не больше третьей доли.
А иначе возможно ль отказать?
Взять на себя весь стыд бесчестной роли!
И до утра, глаз не смыкая сном,
Проплакала я тут и протужила,
И обвенчалася, весьма уныло,
В тот самый день с Андреем Ильичем.
Живу теперь, без горя и разбора,
С ним пятый год; и уверяю вас
По совести, что дрезденского вора
Благодарить желала я не раз.

«И всё, Надина?»
— «Всё».
— «Чудесно!
Вы героиня хоть куда!
И точно вы, признайтесь честно,
Не будь с алмазами беда,
Не вышли б?»
— «Нет, а может, да.
Легко на всё решиться смело:
Покуда не дошло до дела,
Мысль удивительно храбра!
Но женщине, как и мужчине,
Случится редко сделать ныне,
Что было решено вчера.

И потому я лишь девиза
Держуся: qui vivra, verra.[1]
Со мной вы не согласны, Лиза?»
— «Нет! думаю, что не всегда
Души намеренье ничтожно.
Одну минуту иногда
Во весь свой век забыть не можно,
И нам от слова одного,
От одного полунамека
Приходит снова то на ум,
Что годы увели далеко
И заглушил житейский шум.
Мне вызвал вдруг рассказ Надины
Житья прошедшего картины,
И пред умом они стоят:
И ветхий дом, и старый сад,
Где зелень разрослась так густо,
Где пруд засох от тростника,
Где рядом возле цветника
Насажена была капуста;
И то местечко, где ветла
Раскинулась над косогором,
Где, глядя в поле жадным взором,
Я часто трепетно ждала;
И на краю полей широких
Скамейка та среди берез,
Где много горьких, одиноких
И тщетных пролила я слез».
— «Последуйте ж примеру Нади,
Вслух вспомяните о былом».
— «Пожалуй, только бога ради!
В рассказе о житье моем
Не ожидайте приключений:
Он будет полон общих мест
И вам, наверно, надоест».
— «Ну, полно, и без опасений
Начните».

Лиза повела
По кудрям белою рукою,

---

[1] Поживем, увидим (франц.). — *Ред.*

Облокотясь на край стола,
И, вновь взволнованной душою
Сродняясь с жизнию былою,
Рассказ свой тихо начала.

РАССКАЗ ЛИЗЫ

Средь степей и я, сует не зная,
Провела развития лета.
Но судьба моя была иная:
С третьего уж года сирота,
В дом взята была я к старой тетке.
На нее гляжу как бы теперь!
Хоть она, давно уже в чахотке,
Спальни чуть переступала дверь,
Но весь дом терзала. В околотке
О ее богатстве шла молва;
Знали всюду, что хотя едва
Душ она всего имела двести,
Но хранила денег тьму в казне.
По причине общей этой вести
Вся родня завидовала мне,
Говоря, — а с нею всё соседство, —
Что себе от тетушки наследства
Я дождусь; что так везет не всем.
Незавидно я жила меж тем!
Как пересказать, да и к чему,
Все мои вам горести? — В дому
В должности жила я фаворитки.
О такой несчастной вы не раз,
Может быть, жалели, но из вас
Ни одна ее не знала пытки.
Оскорбить ее всегда предлог
Встретится: чай подан, сливки жидки, —
Ей упрек; сгнил как-то сена стог,
В чем-нибудь понесены убытки, —
И опять, и всюду ей упрек.
Ищут ей со тщаньем новой муки,
Так, от делать нечего, от скуки,
Чтоб занять какой-нибудь игрой
Свой досуг, чтоб день скорей шел мимо.
Так, как в праздный час вельможи Рима

Резали невольников порой.
Странно мне, как эти все напасти,
Эта вся жестокая вражда,
Эти все мучения — без власти
Надо мной бывали иногда;
Как меня под сень своей эгиды
Чудный сон брал часто день и ночь,
Как всю грусть, все горькие обиды
Юности превозмогала мочь!..
Жили мы средь местоположенья
Самого простого: сад и дом
В стороне убогого селенья,
Избы скудные и степь кругом;
Степь тамбовская: ни возвышенья,
Ни кустарника, ни деревца, —
Даль, непостижимая для зренья,
Поле без границы, без конца.
И когда, пурпурно догорая,
Рдел закат, глядела в поле то
Я с мечтой, что из-за неба края
Явится мне что-то — бог весть что!
И когда сон принял вид телесный,
И когда уж взор не наобум
Мчался вдаль, но к точке уж известной
Он летел в часы заветных дум, —
Как тогда, сквозь боли и печали,
В нем души сияло торжество!..
И теперь от этой дивной дали
Не могу я взгляда своего
Оторвать, хоть все волненья пали,
Хоть не жду оттуда ничего.

И вела жизнь тягостную эту
Я в глуши покорно день за днем:
Утром вслух читала я газету,
Разливала чай, и под окном
Вслед за тем садилася с шитьем;
Вскакивала в продолженье часа
Двадцать раз — то чтоб поднять платок,
То чтобы принесть бутылку кваса,
То чтоб снять подушку тетке с ног,
То чтобы велеть сказать ребенку

На дворе, чтоб он не смел кричать,
То чтоб вынести за дверь болонку,
То чтобы впустить ее опять;
Всё при брани, до поры обеда,
В месяцы поста и мясоеда,
Скудного и гадкого равно.
И потом приказ глядеть в окно
В ожиданьи старика соседа;
И потом чай снова, и беседа
О дожде, о том, что вряд оброк
Соберешь, что время наше люто;
И потом, и наконец — минута,
Жданный мной с утра счастливый срок,
Где, испив дня горестную чашу,
К тетке на ночь я пошлю Агашу
И уйду в свой тесный уголок.
И меж тем сменялись непогоды
Ясностью роскошных майских дней;
Шли себе и месяцы, и годы;
Как среди удобства и свободы,
Жизнь текла не тише, не скорей.
Раз сосед привез с собою сына,
Из Москвы прибывшего. Москва
Нам была, как дальняя чужбина,
Незнакома; и его слова
Слушала я, как во время оно
Слушала речь Мавра Дездемона,
И мне жизнь вдруг сделалась нова.

То сбылось, что было вероятно,
Что почти не сбыться не могло:
Луч любви блеснул мне благодатно,
Залегла нежданно, непонятно
Дума в грудь, роскошно-тяжело!
И как цвет душистый туберозы —
Через ночь надежда расцвела;
Вспыхнули желания и грезы,
Гимн мечты средь внешней, вялой прозы,
Гордый хмель волнений без числа.

Мир тем дням! Я здесь на описанье
Не решусь, каков был Алексей

(Ни к чему вам прочее названье).
Чем тогда, мной управляя всей,
Мне в глухой казался он пустыне,
Тем, конечно, не был, быть не мог:
Я бы вряд его узнала ныне.
Что же в том? Я в нем нашла предлог
Для любви, для счастия без меры.
Все же мы, мечтая и любя,
Дань свою кладем к ногам химеры,
Все в другом мы ищем лишь себя.
День прошел; проснувшись до рассвета
На другой, была уже с утра
Я совсем готова и одета.
Осень наступала (как вчера
В памяти осталось утро это);
Осень чудная, теплее лета;
Зелень вся уже была пестра.
Вышла в сад я и пошла вдоль вала,
И сама с собою рассуждала,
Трепетно дошедши до лужка,
Что нельзя приехать вновь так скоро,
И меж тем глядела с косогора,
И вдали узнала ездока.
Сколько раз, несясь так издалёка,
Душу мне он волновал до дна!
Сколько раз отозвался глубоко
С той поры в ней топот скакуна!

Алексей стал часто ездить, вскоре
Уж почти вседневно; с теткой он
Толковал о всяком скучном вздоре,
Клал пасьянс или играл в бостон.
Хоть со мной беседовал и мало,
Ей он явно угождал... Зачем? —
Спрашивала я; душа шептала
Мне ответ. — Зима пришла меж тем.
Время проходило, и летели
В тишине, всё так же, как одна,
Ровным лётом для меня недели.
Я ждала поутру близ окна.
Тетки злость мне шла невнятно мимо:
Как броней алмазной херувима

Грудь моя была охранена.
Я сквозь шум неистощимой брани
Слушала, не проскрипели ль сани
По снегу замерзшего двора;
И потом ловила знак участья,
Два-три слова, взгляд, — довольно счастья,
Чтобы им упиться до утра!
И пришла минута.
Было уже
Месяца с четыре тетке хуже.
Раз она к себе в начале дня
В спальню вдруг велела звать меня;
Ожидая новую причуду,
Я вошла, молитву сотворя.
Вид ее в то утро не забуду
Весь свой век! День серый января
Рассветал, и свечка догорала,
Вставленная криво в медь шандала;
Близ печи, закутана в тулуп —
Хоть и жарко было, точно в бане, —
В комнате лежала на диване
Дряхлая старуха, полутруп,
Холодна, недвижна, не способна
Ни к чему, бессильна, чуть дыша;
Но в глазах еще сверкала злобно
Лютая, упрямая душа.
Только что войти успела в дверь я,
Встретил странный уж меня привет:
«Знаешь ли, зачем вчера Лукерья
Власьевна была? не знаешь?» — «Нет!»
— «Знаешь ли ты, что село Грачево
С месяц уж купил майор Шенков?»
— «Знаю». — «Знай же, на тебе готов
Он жениться. Ну! промолвь хоть слово;
Что ж стоишь на месте как чурбак?»
Собралась я с духом кое-как:
«Не хочу идти я за Шенкова,
Тетушка». — «Не хочешь? вот-те на!
Так тебе какого ж надо хвата?
Ты не слишком для него ль знатна,
Мать моя? иль чересчур богата?
Жить ей не угодно госпожой!..

Хороша с тобою мне потеха!
Так ты век есть хочешь хлеб чужой,
Быть для всех обузой и помехой?
А притом — затеи хоть куда!
Будто жизнь себе она свободна
Избирать; не знает и стыда!..»
Обернулась я: «Как вам угодно,
Тетушка, не буду никогда,
Ни за что женою я Шенкова».
Тут старуха рассердилась снова.
Молча вышла я, ушла к себе
И заплакала тогда на воле
О своей суровой, горькой доле,
О своей безжалостной судьбе.

Алексей приехал в час обеда.
Чуть лишь вышли мы из-за стола,
Как ему уж тетка начала
Говорить про нового соседа,
И про то, что я сегодня с ней
Поступила как нельзя скверней,
И что я надменна и упорна...
Мало ль что еще!.. Ушла проворно
В залу я и села там одна
В темноте, и долго просидела,
Глядя в степь. Сквозь мглу сияла бело
Тихая, пустынная она.
Может быть, вам это непонятно:
Мне, сама не знаю почему,
Было больно, и меж тем приятно,
Что меня бранили так ему.
Словно от него я оборону
Ожидала, словно знала я,
Что он мне, по высшему закону,
Праведный быть должен судия.

Я в гостиную во время чая
Воротилась. В ней один, угрюм,
Он ходил, в волненьи тайных дум,
Быстрым шагом и, меня встречая,
Отвернулся. Чай — бог весть какой —

Стала делать я, на Алексея
И взглянуть украдкою не смея.
Вдруг, остановившись предо мной,
Он сказал вполголоса, сурово:
«Для чего нейти вам за Шенкова?»
Врезался мне в грудь его вопрос!
Я, дрожа, слов не найдя к укору,
Наклонилась к чайному прибору,
И слеза упала на поднос.
Тетка шла уже по коридору...
Быстро руку он мою схватил
И поцеловал... За счастье это
Отдала б я все богатства света,
Заплатила бы я кровью жил!
Знали вы подобные мгновенья,
Где душа трепещет от стесненья
Новых, чудных, необъятных сил?
Так во мне забилось сердце громко
В этот миг! Уж я ждала, что вдруг
Разорвет его восторг... Но ёмко
Для блаженств оно, как и для мук.

Впрочем, всё осталось, как сначала,
В нашей внешней жизни. Всё сильней
Тетка с каждым днем занемогала;
Мучилась без отдыха я с ней.
Часто от ее задора злого
У меня кружилась голова;
Мстила всячески она всё снова
Мне за то, что я была здорова,
Что могла остаться я жива.
С Алексеем обменять едва
Я украдкой успевала слово:
Редко уж к больной входить он мог.
И когда от пытки я всечасной
Отрывалась на минутный срок, —
Не могла от мысли я ужасной
Ум освободить: больной, несчастной,
И себя терзающей, и всех, —
Той, уж полумертвой, — было ль грех
Смерти пожелать?.. Не это ль бремя
Тяготело на моей судьбе?..

И не смела я в иное время
В глубь души глядеть самой себе.

Приближалася весна проворно;
Шел к концу недуг. Изнурена
Немочью, со смертию упорно,
Яростно боролася она.
На нее смотря с недоуменьем,
Я порой была готова ждать,
Что она над страшным разрушеньем
Верх возьмет и оживет опять;
Что сильнее будет воля эта,
Чем сама природа и судьба.
Проходили дни; почти до лета
Длилася жестокая борьба.
Наконец, закон свой понимая,
Плоть сдалась, и грозный срок пришел.
Помню, было то шестого мая,
В воскресенье утром. Тихий дол
Ранними подернут был парами;
В спальне я сидела под окном;
Из села священник шел с дарами,
Было всё в дому уже вверх дном.
Начинался благовест обедни,
Но мне в ум теснились той порой
Грешные видения и бредни,
Резвых дум неугомонный рой;
И ни этот звон богослуженья,
И ни совести моей упрек,
И ни вид предсмертного мученья
Их смирить в душе моей не мог.
Впереди ждала меня свобода,
Будущность в соединеньи *с ним*...
Пусть брала права свои природа:
Праху прах! Жизнь полная живым!

Раз еще в том изнуренном теле
Жизнь мелькнула. Под вечер больной
Стало лучше; сидя на постеле,
Мне она остаться с ней одной
Приказала, и недуга муки,
Как и прежде, победив опять,

Мне дала она бумагу в руки
И велела вслух ее читать.
Стала исполнять я приказанье:
Это было тетки завещанье,
Писанное ею начерно;
Делало наследником оно
Двух ее тамбовских деревенек
Родственника дальнего, а мне
Назначало всех наличных денег
Сумму, сохраненную в казне:
Пятьдесят семь тысяч. — Живши с детства
Чуть ли не с прислугой наравне,
Я должна была принять вполне
Это за огромное наследство;
Не ждала его я и во сне.
Но старалась тетке я напрасно
Быть признательной за этот дар;
Мысль одна лишь наполняла властно
Душу мне, как радостный угар,
Что могла теперь я Алексею
Жертвовать фортуною своею,
Что она довольно велика,
Чтоб, других богатств и не желая,
Жить в довольстве. И ее брала я
Как платеж нежданный должника...

Тяжким сном забылась в ночь больная.
В креслах отдохнув часа два-три,
Утром я проснулась до зари;
Бледная лампада образная
Резко освещала с высоты
Дремлющей иссохшие черты;
На полу в углу спала служанка.
Несколько минут повременя,
Вышла я: в саду ждал спозаранка,
По условью, Алексей меня.
Лишь мгновенны быть могли и редки
Наши встречи уже с давних пор.
Из дому, как ласточка из клетки,
Быстро я порхнула, через двор,
Через сад на близкое свиданье
Трепетно спеша; из-за берез

Бегуна знакомое мне ржанье
Ветр степной порою звучно нес.
Утро было пышно, дивно-ясно,
Мир сиял под бездной голубой;
Я неслась стремглав, молясь безгласно
Радостной, торжественой мольбой,
Горестям житейским непричастна
И земли не слыша под собой.
Сладко в грудь минуты упоенья
Мне лились... Не знала я тогда,
Что им нет на свете повторенья,
Что опять такого же мгновенья
Принести не могут мне года!

Я неслась, собой едва владея;
Предо мною, вновь позеленев,
Длинная шумела уж аллея,
И мелькал стан гибкий Алексея
В промежутках боковых дерев.
Памятна мне эта встреча наша!
В счастии ребяческом моем,
«Алексей, — сказала я, с трудом
Дух переводя, — испита чаша!
Я свободна наконец, я ваша.
Цепь моя распалась, и вполне:
Тетушка отказывает мне
В завещаньи — этого нисколько
Не ждала я — весь свой капитал,
Тысяч до шестидесяти».
— «Только!..» —
Вскрикнул он и снова замолчал.
Этот крик кольнул меня, как жало.
Молча мы стояли. Я сказала,
Не подняв склоненной головы:
«Может быть, вам это слишком мало?
Верно, больше ожидали вы?»
Он не отвечал. Пошли мы оба
Медленно в аллее... мне она
Показалася дорогой гроба;
С ним вдвоем я шла уж, как одна.
Раза с два взглянул он молчаливо
На меня; одолевал нас вдруг

Этого нежданного разрыва
Горестный, болезненный испуг.
Содрогалась я порой невольно:
Каждый миг мне тяжестью свинца
Падал в грудь невыносимо больно.
Мы прошли аллею до конца.
Он не повернул идти обратно
Вновь по ней; он, пасмурно стоя,
Хлыстик свой сгибал. «Вам, вероятно,
Уж пора домой?» — сказала я.
«Кажется», — промолвил он. И снова
Мы пошли, не говоря ни слова
И боясь душевного чутья.
Каждая во мне дрожала жила, —
Страшный сон свершался наяву.
За калиткой горько я спросила:
«Скоро ли вы едете в Москву?»
— «Завтра!» — отвечал он мне жестоко,
На лошадь вспрыгнув. Глядела вслед
Я ему: он уже был далеко...
Там он словно обернулся... Нет...
И пошла и я своей дорогой,
Тою же, которой в этот сад,
Так полна счастливою тревогой,
Пронеслась я час тому назад.

Тихо, как под гнетом тяжкой лени,
До дому дошла я. Двери в сени
Были настежь; встретили меня
Восклицанья, шум и беготня;
Наполнялася народом зала.
Я вступила в спальню: там лежала
Тетка, как вчера, бледней едва ль,
Но уж мертвая. К ее постели
Подошла я; странная печаль
Сжала грудь. Стояла я у цели:
Широко тянулась жизни даль
Предо мной пустынею свободной.
Поглядела я на труп холодный...
Стало мне старухи этой жаль.
Мирно вспомнив каждую обиду,
Каждое мученье прежних дней,

Я в душе свершила панихиду
По себе, равно как и по ней.

Алексей свое исполнил слово:
Он уехал; не сошлись мы снова.
Он женат в Одессе, помнит вряд
Нашу степь; проводит жизнь приятно;
За женою взял он, вероятно,
Более, чем тысяч шестьдесят.

Умолкла Лиза — пробегала
По ровным складкам опахала
Ее рука, и грустный взор
Склонился тихо на ковер.
Противоречила улыбкой,
Не дав слезе скатиться с глаз,
Она тому, о чем ошибкой
Ее промолвился рассказ.
В раздумьи молодые жены
Почли молчанием своим
Души подавленные стоны,
Недуг, не высказанный им.
И их слова равно клеймила
Приличий строгая печать,
И в них таилась та же сила
Порывам воли не давать;
И горе помысла немого,
Смеясь, быть может, и шутя,
Скрывали все, как зверя злого
Лакедемонское дитя.
Шумел, в безмолвии покоя,
Камина только треск живой,
И вихрь вдруг проносился, воя,
Вдоль опустелой мостовой.
Забыв о близком часе бала,
Букет небрежно уроня,
Хозяйка дома взор вперяла
В извивы резвого огня.
И вдруг взглянула:
«Что же, Оля?
И ты ведь уж теперь должна

Рассказывать». —
«Да, и она,
Необходимо».
— «Ваша воля,
Мне нечем вас и пять минут
Занять: вам жизнь моя известна;
Ужель была бы интересна
Вам болтовня про институт?
Из быта моего пустого
Что рассказать я вам могу?
Вы это всё, даю вам слово,
На каждом встретите шагу».
— «А хоть и так; что ж в мире ново?
Решайся, Ольга, и начни
Скорей».
— «Извольте, я готова
Про эти молодые дни
Вам говорить; хотя и тщетно
Тревожить, да и тяжело,
То, что нам стало безответно
И так сполна для нас прошло.
Порой в театре в час антракта,
Иль в бальном шуме больно как-то
Вдруг вспомнить о самой себе,
И странно думать, отчего же
Всё на былое не похоже
И в чувствах ныне, как в судьбе?
И то, чем сердце билось страстно,
Уже глухая старина...
Пожалуй, вам в увеселенье
Я расскажу теперь (ведь мы
Между собою) приключенье
Мне очень памятной зимы...»
— «Ну, расскажи же, расскажи;
Нам время есть, еще не поздно».

Ее головка поднялась,
Улегся локоть грациозно
На кресел вышитый атлас;
Пронесся луч живого взгляда
К стене, где зеркала кристалл
Ее изящного наряда
Всё совершенство отражал.

Вещь непонятная... Вы, Лиза, справедливо
Сказали давеча, что, бог весть почему,
Давно прошедшее вдруг так светло и живо,
И так отчетливо рисуется уму,
Что звук рождает мысль нежданную. Да это
И Байрон прежде вас уже заметил где-то.
Подробно помнится — зачем, могла бы вряд
Сама я объяснить, — теперь мне та минута,
Где, чуть лишь вырвавшись из клетки института,
Я перед зеркалом, окончив свой наряд,
С неукротимою тревогой ожидала
Блаженства первого обещанного бала.
Я, глядя на себя, своим глазам почти
Не верила; весь день была я как в угаре;
Со страхом думала: как быть мне? как взойти?
Бал! настоящий бал!.. Мы, живши взаперти,
Как часто речь вели об этом в дортуаре;
И как мы трепетно, защелкнув тихо дверь,
Шептали, вопреки надзору классной дамы,
О блеске этой всей чудесной панорамы,
В которую вступить сбиралась я теперь!
Я свыклася потом, увидев балов с двести,
С таким событием, — но грозен был, даю
Вам слово, этот час, и вызвала при вести,
Что подан экипаж, всю храбрость я свою:
Как рекрут, в первый раз я шла на поле чести
И переведаться надеялась в бою.
Смешно мне вспоминать, как сердце билось громко,
Как я готовилась увидеть диво див.
Весь дом: мать, тетушка, служанка, экономка
Теснились вкруг меня, судя наперерыв
О том, не широка ль на рукавах бахромка?
К лицу ль мне локоны? не мало ль вынут лиф?
В недоумении я слушала их толки,
Уже успев понять, что в свете, мне чужом,
Вещь важная наряд; что дело всё не в том,
Чтобы он дорог был и только что с иголки;
Что выбор пояса, мантильи иль наколки
Быть может бедствием, позором и грехом.
Как взгляды злы порой и как улыбки колки, —

Я тяжко и вполне изведала потом:
Мне дали знать себя в салоне не одном
И наши модницы, и наши богомолки.
Мужчин безжалостные шутки, женщин спесь,
Обиду на меня вперенного лорнета,
Злость сострадания, предательство совета, —
Я всё перенесла, я горький кубок весь
До капли выпила. — Спокойно сидя здесь,
Нам, пересозданным уж этим строгим светом,
Конечно, говорить легко теперь об этом.
Но помню, каково в то время было мне
Условий общества разгадывать загадки;
Как размышляла я, с собой наедине,
Цветные ли надеть, иль белые перчатки?
И помню, сколько я проплакала ночей,
Как я, едва дыша и в страхе вечно новом,
Шла мимо чопорных салонных палачей,
Готовых каждого зарезать острым словом!
Поверьте, тяжкая берет порой тоска,
Когда приходится, с душою благородной,
Смущаться и робеть пред ветреницей модной
И видеть с ужасом улыбку дурака.
Примирена теперь я с обществом; жестоки
И горьки были им мне данные уроки;
Но не ропщу на них: они пошли мне впрок.
Задачу трудную постигла я душою,
Взялась я за себя, и сладила с собою,
И переделалась от головы до ног.
Полезней года мне иные были сутки.
Своей насмешкою немилосердный свет
Неловкость истребил наивной институтки:
Ребенок ветреный исчез, — пропал и след.
Погибло, может быть, хорошего с ним много...
Что ж делать? Такова была моя дорога!
Зато являюся спокойно я на бал,
Вдоль строя зрителей иду теперь без страха,
Встречаю средь толпы лишь шепоты похвал,
Могу свести с ума иного вертопраха
И возбуждать порой всю зависть наших зал. —
О моде мать давно заботилася мало
И, с обществом почти не быв уже в связи,
По воскресениям усердно посещала

Лишь скромный свой приход Николы на Грязи.
В тот первый выезд в свет, который я сначала
Взялася рассказать, никто во всем дому
Не мог полезен быть незнанью моему.
Но показалось мне, когда я зорким взглядом
Себя окинула, что я своим нарядом
Имела право быть довольной, что к лицу
Мне эти локоны, рассыпанные мелко,
Что лучше не могла б убраться я к венцу,
Что лиф донельзя мил, что хороша отделка.
Я быстро в зеркало еще взглянула раз
И вслед за матерью пошла, перекрестясь.

Отправилися мы на бал. Во всю дорогу
Молилася в тиши я пресерьезно богу,
Желая между тем доехать поскорей.
Карета наконец у светлого фасада
Остановилася; прошла я мимо ряда
В сенях и вдоль ступень пестреющих ливрей;
Окинула себя глазами у дверей,
Всё на себе нашла исправно и в порядке,
И в залу бальную, дрожа как в лихорадке,
Я с матерью вошла.
Как изменились вдруг
Мои мечтания и все мои понятья!
Какие были тут уборы, что за платья!
Какие женщины!.. Взглянула я вокруг —
Все показались мне прекрасны, без изъятья;
Куда ни обернись — всё прелесть, кружева,
Брильянты; у меня кружилась голова.
Хозяйка подошла, нам три-четыре слова
Сказала и в толпе пропала тотчас снова.
Близ боковых дверей попалися нам два
Еще, по счастию, не занятые стула,
И молча сели мы средь говора и гула.
Нежданный случай тут свел мать мою с одной
Знакомкой прежнею, дряхлеющей княжной;
Они, пятнадцать лет не встретивши друг друга,
Усердно занялись своею стариной.
Меж тем толпа, шумя, пестрела предо мной,
И весь оркестр гремел, и вальса мчалась вьюга.
Глядела я, дивясь, как эти дамы все,

Небрежно тешася, неслись в своей красе.
Всем было по себе, все были словно дома,
И всякая была со всякою знакома;
Лишь я сидела тут, безвестна и одна,
Перед утехами их области заветной,
Им не сообщница, и полосой паркетной,
Как будто пропастью, от них отделена.
И предалася я невольно думе грустной, —
Я стала понимать всю ложь своих надежд:
Что значит мой наряд, простой и безыскусный,
Средь этих царственных, блистательных одежд?
К чему возилась я так долго с каждой складкой,
Со всяким бантиком? Из своего угла
В сравненьи горестном глядела я украдкой
Порой в широкие, стенные зеркала,
И так невыгодна теперь моя обновка
Мне показалася, изображаясь в них,
Что сделалося в ней мне двигаться неловко
И совестно сидеть близ гордых щеголих.

Всё продолжался вальс; всё наполнялась зала
Гостями новыми; и африканский жар
В ней уже царствовал. Я взором провожала
В раздумии своем круженье быстрых пар.
Одна у моего остановилась стула,
И платье чудное танцовщицы пахнуло
С размаху на меня, и кружевной волан
Лег на колени мне; склонила гибкий стан
Она, водя рукой по драгоценной ткани,
Мне, извиняяся, сказала слова два;
Хотелось отвечать — язык прилип к гортани,
И поклониться ей сумела я едва.
Коснулася плеча улана молодого
Она с улыбкою и понеслася снова;
Он, на меня взглянув, перешепнулся с ней,
И стало мне еще неловче и грустней.

Мой утомленный взгляд вперялся недвижимо
В толпу, и между лиц чужих мелькнули мимо
Как будто бы черты знакомого лица.
Я стала пристальней смотреть сквозь промежутки
Групп, наполняющих пространство залы: да,

Был это брат одной подруги-институтки,
И у нее в гостях его я иногда
Видала — кажется, всего четыре раза;
Но здесь с ним встретившись, я с радости чуть-чуть
Не вспрыгнула; с него я не сводила глаза,
Как плаватель с земли, как путник с пальм оаза,
Где может он на миг в пустыне отдохнуть.
Явился тут, среди неведомого света,
Как будто человек мне близкий он и свой,
И опрометчиво, не ждав его привета,
Я первая ему кивнула головой.
Пренебрежительным ответил он поклоном
И далее прошел. Я вспомнила тогда,
Что несогласен был с общественным законом
Поступок этот мой, и, вспыхнув от стыда,
Склонила голову, не смея бросить взгляда
Ни на кого; мне грудь наполнила досада,
Несноснейшая нам всех жизненных досад, —
Досада на себя! взял страх меня бедовый,
Что с каждым действием я дам лишь промах новый,
Что, как я ни ступи, всё будет невпопад.
Вполне мучение испытывая это,
Я встала с матерью; прошли мы до буфета:
Там более всего толпились, как всегда;
И я увидела, что плотная еда
Допущена в кругу отличнейшего тона.
Стакан оршада взяв, глаза я подняла:
Стоял в толпе мужчин, смеяся у стола,
Виновник моего нелепого поклона;
Глядел он мне в лицо: мне пить не стало сил;
Благоуханный франт, с ним тут стоявший рядом,
Нагнулся несколько, с довольно дерзким взглядом,
И про меня его он, видимо, спросил.
Услышала чрез стол я слово: институтка,
И фраза на ухо дополнила ответ;
Франт снова зашептал. Мне становилось жутко,
Я колебалася: уйти ли мне, иль нет.

К буфетному столу оборотясь спиною,
Я в шумной тесноте, с досадою немой,
Отыскивала мать: хотелось мне домой;
Вдруг, в нескольких шагах, явился предо мною,

С другим мужчиною, опять знакомец мой,
Которому была уж вовсе я не рада.
(Не буду называть я никаких имен.)
Пробравшись до меня, превежливо мне он
Представил своего товарища как надо.
Тот полушепотом стал ангажировать
Застенчиво меня на следующий танец,
И на чертах его болезненный румянец
Вдруг вспыхнул между тем, и вдруг пропал опять.
Приемы светского имел он человека,
Но что-то странное высказывалось в нем;
Был сходен с английской картинкой из кипсека
Он и осанкою, и пасмурным лицом.
Не чужд он как-то мне казался, и недаром:
Я тут же вспомнила, что, проходя бульваром,
Мы встретились тому недели две назад;
Да что и вслед за мной он повернул проворно,
И что заметила я даже, как упорно
В меня уставился его смущенный взгляд.
Был, видимо, со мной он здесь сойтися рад,
И, улыбнувшися слегка мне благодарно,
Взял руку он мою, и, на оркестра звук,
Я возвратилася с ним в залу, где попарно
Смыкался широко мазурки пестрый круг.
Уселись рядом мы у пьедестала вазы;
Молчал он, да и я, не поднимая глаз,
Уместной ни одной не находила фразы;
И танца очередь дошла меж тем до нас.
И он повел меня кругом по светлой зале,
И мимо зрителей вдвоем со мной скользя,
Мне крепко руку сжал. Смутилась я: на бале,
Посереди толпы, ведь вырваться нельзя.
Весьма взволнована, я донеслась обратно
До места своего и села, покраснев.
Он молвил шепотом: «Я возбудил ваш гнев?
Не правда ли? моя вам дерзость непонятна?
Ваш пол известен мне: вам веселей всего
Виновницами быть мучения немого,
И если мы дерзнем вам высказать его,
Вы бровь нахмурите и взглянете сурово;
Вас тешит скрытная, душевная борьба
И разума, и сил лишенного раба!

И как вы знаете, что мне страдать нет мочи?
Что сам уж на себя я вовсе не похож?
Мои бессонные, мучительные ночи —
Кто вам про них сказал? Не верьте, это ложь.
Зачем мне вас любить? Затем ли, что я с вами
Случайно встретился? Что мимоходом вы
Взглянули на меня холодными глазами,
Не повернув ко мне спесивой головы?!
Да, тайну тяжкую вам объявлю я прямо:
Ну да, я вас люблю; зачем? не знаю сам;
Люблю вас горестно, безумно и упрямо,
И, вопреки всему, принадлежу я вам».

Свое волнение напрасно унимая,
Склонивши голову, с пылающим лицом,
Я неподвижная сидела и немая,
Услышав эту речь; но, признаюся в том,
Меня весь жар ее не ужаснул нимало:
Уж я проснувшимся инстинктом понимала,
Что в женские свои вступала я права,
Что, в бедном фартучке и в царственной порфире,
Едва ль не для того мы существуем в мире,
Чтоб услыхать хоть раз подобные слова...
И между гордых лиц, в богатом их салоне,
Я будто стала вмиг со всеми наравне;
Мне показалося, что, как на Сандрильоне,
Нарядно сделалось вдруг платьице на мне.
И как пришлося нам опять рука с рукою
Вдоль стульев пронестись танцовщиц молодых,
Я обежала круг уж поступью иною,
Им не завидуя и не боясь их.

И начал вновь шептать мне на ухо он страстно,
Как с первой встречи той до нынешнего дня
Лишь только обо мне он думал ежечасно,
И как могла бы жизнь со мною быть прекрасна,
Как стал бы окружать он роскошью меня;
И что недаром нам пришлось сойтися ближе,
Что быть должна ему я божеством земным,
Что я его спасу, соединившись с ним;
Что стали бы мы жить в Италии, в Париже,
Что покорился б он всем прихотям моим...

Я слушала. И все вы знаете ведь сами,
Как нежной лести хмель опасен в первый раз,
Что увереньями такими и мольбами,
Всей этой пошлостью стереотипных фраз
И не в семнадцать лет смутимся мы подчас.
Я жадно слушала: он говорил так живо,
Восторженный порыв так был ему к лицу,
Густые волосы лежали так красиво
Вдоль бледных щек его! — Мазурка шла к концу.
Взглянул он на меня с улыбкою печальной;
И я, пока свой рев удвоили смычки,
Чуть внятным шепотом, сквозь гул музыки бальной,
Позволила ему просить моей руки.
Да, признаюсь, оно хоть неправдоподобно,
Но правда, — сдерживать вам не к чему свой смех!
Он очень кстати здесь, и менее вас всех
Такой поступок я понять теперь способна;
Но показалося тогда всё это мне
Событием весьма естественным и лестным.
Нежданным женихом, мне вовсе неизвестным,
Да и самой собой довольная вполне,
Пошла я к матери: она на том же стуле,
В конце огромного покоя, у дверей,
Стесненная толпой, близ прочих матерей
Сидела, как они, на тщетном карауле
И проводила ночь, с княжною говоря
О коронации покойного царя.
Заметив, что мою прическу, жаром бала
Полуразвитую, поправить надлежало,
Княжна в уборную пошла со мной вдвоем,
И там субретки две, за дело взявшись дружно,
В порядок привели мне голову наружно.
Но бог весть, как внутри была она вверх дном,
И сколько в ней сует и дум в одной минуте
Теснились той порой: как удивится мать,
И тетушка, и все! Что скажут в институте?
Как будут с завистью об этом толковать!
Так вдруг! На первых днях — всего теперь
двадцатый,
Что выезжаю в свет, — уж и жених мне есть!
Как Софью Вельскую рассердит эта весть!
Он, по его речам, быть должен пребогатый!

Вступлю с вельможами я, может быть, в родство.
Как бы об этом всем узнать мне стороною? —
С такими думами шла я назад с княжною
В салоны, и вдали увидела его:
Стоял он пасмурный, глаз не сводя с паркета,
Как будто в ум ему запала мысль одна,
Мысль неотвязная. «Скажите мне, княжна, —
Шепнула трепетным я голосом, — кто это,
Близ этажерки, там, налево, у окна,
Стоит, нахмуря бровь, задумчиво и гордо,
И видом так похож на английского лорда?»
— «Кто? — отвечала мне вполголоса она,
Глазами зоркими салон окинув шумный. —
Тот худощавый-то? бедняк! он полоумный,
Ему был опекун хозяина отец;
Потехой служит он, взят в дом из состраданья;
Всем барышням твердит любовные признанья
И просит каждую идти с ним под венец».
По счастию, с княжной заговорил тут кто-то;
Я отвернулася, чуть на ногах стоя.
Так вот чем тронулась, чем возгордилась я?
Вскружило голову вранье мне идиота!
И все заметили, смотрели все на нас:
Собою тешила весь круг я целый час!..
Мысль эта мучила меня невыносимо;
Сгорая со стыда, прижалась я к стене...
Вблизи послышался вдруг резкий голос мне:
Моей подруги брат шел по салону мимо,
С ним щеголь молодой — бездушное лицо,
Жеманно-пошлое, как маски льют из воска;
Мне эта помнилась искусная прическа,
И эти усики, завитые в кольцо:
Я в ту же самую спесивую фигуру
Через буфетный стол всмотрелась в первый раз.
Они шли в двух шагах, болтая и смеясь.
Франт говорил: «Ну что? ведь поддалася сдуру;
Я выиграл! ей-ей, болвана чепуха
Сентиментальную пленила институтку;
Поверь, она в него влюбилась не на шутку
И завтра будет ждать приезда жениха.
Смотри же, закажи обед нам не дешевый!
Пойдем, я расскажу про это Ильичевой».

Он, усмехаяся, прошел. — Минуты три
Я не могла дохнуть; глаза мои глядели
Сквозь слезы на толпу, без помысла, без цели...
Я понимала, — да, он выиграл пари.
Они потешиться девчонкой захотели:
Ведь было некому вступиться за меня!
Тут оскорбление их не вело к дуэли,
Тут не пугали их ни связи, ни родня!
Я не была знатна, я не имела веса, —
Зачем бы надо мной не подшутил повеса?
Не знаю, как прошли в соседний мы салон;
Я только помнила, как сквозь тяжелый сон,
Что смотрят па меня, что посреди я бала,
Что надо устоять во что бы то ни стало.
Гудели, будто звон глухих колоколов,
В тупых моих ушах жужжанье разговоров,
Волненье пестрых групп, бряцание приборов:
Сбирались ужинать вкруг небольших столов.
Уселись за одним две дамы с адъютантом;
Самодовольно он, играя аксельбантом,
Пред ними щеголял мундиром и умом.
Я робко подошла: болтанье их живое
Внезапно прервалось, и встали с мест все трое;
Осталась я одна перед пустым столом...
С тех пор со мной беды случалися и хуже;
Изведала я жизнь в теченье лет шести;
Но не взялась бы я минуту вынесть ту же
И так же, как тогда, чрез комнату пройти.

С трудом нашла я мать. — Мы вышли. Длились сборы;
Разъезд шумел; сменялися кареты без конца.
Соседок на себе я чувствовала взоры,
Не смея повернуть горячего лица.
Мне мочи не было. Средь этого народа
Хоть бы подверглась я беде какой-нибудь!
Хоть тут бы на меня свалился камень свода,
Хоть бы злодея нож меня ударил в грудь!
Хоть бы какое-то неслыханное дело
Теперь, у них в глазах, свершилось надо мной!..
Не так бы на меня их общество глядело,
И перестала б я быть для него смешной. —

Пронесся сверху шум: с ступень сходила, прямо
Насупротив меня, в беспечной болтовне
С тремя мужчинами, блистательная дама,
Уже известная по разным слухам мне.
На балах гостьею была она не редкой,
Жизнь буйно тратила, и хуже, чем кокеткой,
Звала ее давно всеобщая молва;
Но свету мстить она умела фразой едкой,
И он же колкие ее хвалил слова.
Шла медленно она, с улыбкой торжества;
Чернела смоль косы под золотою сеткой,
Повертывалася спесиво голова;
Средь мрака соболя белела тонкой шеи
Краса змеиная, сверкал лукавый взор.
К ней наклоняяся, младые чичисбеи
Шептали на ухо ей свой привычный вздор.
Был у нее в руке букет фиалок пармских;
Прошла она легко и гордо мимо всех,
Им дерзко напоказ неся свой знатный грех,
И сквозь возню карет и лошадей жандармских
Звучал еще вдали ее веселый смех.
Я ей глядела вслед с печальною догадкой:
Никто б ей не дерзнул обиды нанести,
Никто бы тешиться не смел аристократкой,
Она, бесчестная, была у них в чести!

И вот как с первого я возвратилась бала!
И долго плакала, и горько я роптала,
И не шутя себе поставила я целью —
Отречься от всего и запереться в келью.
И не являлася я в свете целый год.
И поздно лишь дошла до мудрого познанья,
Что все мучения, беды, негодованья —
Всё перемелется! как говорит народ.

И Ольга, кончив свой рассказ,
С осанкой вольной и спокойной
Прижала руки к талье стройной
И в мягких креслах улеглась.
Нагнулось личико живое,
Светлее разгорелся взгляд:

Она глядела им в былое,
На тяжких дней унылый ряд...

Молчанье прервала Надина,
В раздумьи опершись слегка
На медь блестящего камина
Подошвой узкой башмачка:
«Да, те салонные напасти
И я изведала отчасти;
И я, созрев душой пытливой,
Дошла до мысли справедливой,
Что быть лишь можно, в свете том,
Иль наковальней терпеливой,
Иль беспощадным молотком».
Она минуту промолчала,
Потом прибавила смеясь:
«Затем-то и нужна для нас
Вся твердость прочного закала;
Затем-то мы, решась удало
На роль опасную свою,
Должны, как рыцари в бою,
Не поднимать с лица забрала,
Не дать из рук упасть копью,
Не оплошать, во что б ни стало,
Не предаваться забытью,
Не охмелеть от мадригала
И, жизнь поняв уже с начала,
В ней зачеркнуть любви статью».

— «Так, кто, с мечтами сердца сладя,
Их подчинил суду ума,
Тот счастлив. Но скажи мне, Надя,
К тому способна ль ты сама?
Возьмешься ль ты, боясь развязки,
Не выслушать волшебной сказки?
Всегда рассудка быть рабой?
Отвергнуть строго жизни ласки?
Ни разу, утомясь борьбой,
С лица не сбросить душной маски
И не пожертвовать собой?»
— «К чему?»
                    — «И я с вопросом Нади

К вам обращусь, Полина; да,
К чему? Кого, скажите, ради?
И кто поймет хоть нас тогда?
Одна мечта нам всем врожденна,
Один удел и вам, и мне,
Бывало, грезился во сне:
Любить коленопреклоненно,
Вверяться идолу вполне.
Сладка была, в моей пустыне,
Мне мысль об этом властелине
Всей будущей судьбы моей.
Кому ж нести восторг свой ныне
И чувства лучших наших дней?
Не тем салонным ли героям,
Которые, влюбясь слегка,
Пленяют смелым нас покроем
Жилета или сюртука?
Не тем ли вычурным Ловласам,
Которые встречают нас
Всем приторным своим запасом
Плохих острот и пошлых фраз?
И вялых чувств своих остатки
Сберечь стараясь, как наряд,
Лишь ценят наши недостатки
И добродетели бранят?
Кому, в той куче бестолковой,
Лишенной всех страстей и сил,
Которой гибеллин суровый
В свой ад кичливый не впустил?»

— «Так что же, если правда это,
Сегодня снова, как вчера,
Нас манит, Лиза, в вихорь света?
И об эффекте туалета
Зачем мы думали с утра?
С кем ждем теперь привычной встречи?
С кем время проведем опять?
Чью примем лесть? Чьи будем речи
Своей улыбкой подстрекать?
Зачем, их всех презрев душевно,
Разыгрываем ежедневно
Постыдную мы с ними роль?

И, общество браня так гневно,
Куда мы едем? Не в него ль?
Не каждому ли волоките
Наш дом доступен? — Так не их
Вы осуждайте и вините:
Вините вы себя самих!
Вините вскормленного с детства
В нас самолюбья тайный грех;
Потребность суетных утех;
Вините жалкое кокетство,
Нас унижающее всех.
Обрекшись на мужчин ловушки,
Себя ж мы ставим ни во что!
Зачем им нас не брать в игрушки,
Когда согласны мы на то?
Мы бредим об ином уделе;
А если встретим, в самом деле,
Высокое мы существо, —
Не оценив его привета,
Не разгадав в нем ничего,
Сумеем только мы его
Поставить против пистолета...»
Она умолкла, и глаза
Рукой покрыла в думе странной:
В ней верх брала, в тот миг нежданный,
Над гордой волей чувств гроза.

И снова руку опустила
Она с бровей: «Пора на бал. —
Но влажный взор сиял уныло,
И грустно голос прозвучал. —
Нет, подождем. Не правда ль, Оля,
Что не пора?»

— «Конечно нет;
Какая нам спешить неволя?
Мы попадем лишь в ряд карет.
Успеем вынесть давку бала!
За вами ведь теперь рассказ,
Полина; чем-нибудь от нас
Отделайтесь».

Она молчала.

Быть может, в сердце заперта,
Давно уж грусть лежала та,
Неведома и молчалива;
Быть может, никогда уста
Ее не высказали взрыва.
Она жила, тех дум страшась,
Не смея с них поднять покрова...
И захотелось в этот час
Хоть раз назвать то имя снова,
Тоской насытиться хоть раз;
И упрекающий, и сладкой,
И незабвенный призрак свой,
Хоть как-нибудь, полуукрадкой,
Из тени вызвать гробовой.

Они безмолвно все сидели:
И, грез очнувшихся полна,
Сквозь пенье тяжкое метели
Заговорила вдруг она.

РАССКАЗ ГРАФИНИ

Тому давно... Тогда была я
Шалунья, резвая, живая;
Больным балована отцом,
Затей и прихотей немало
Придумывала с каждым днем,
И им препятствий я не знала.
Мне минуло осьмнадцать лет;
Отец мой не вставал уж с кресел,
Но дом наш был довольно весел,
И с теткой ездила я в свет.
Вокруг меня, мне угождая,
Поклонников вертелась стая,
Как вкруг богатых всех невест;
И я приобрела науку
В награду обращать иль в муку
Свой каждый взгляд и каждый жест.
Мой дядя, старый князь Арсений,
В то время летом и зимой
Жил, предаваясь сельской лени,

В своей деревне под Москвой;
Там вздумал, дочери в угоду,
Дать праздник к новому он году,
И общая была туда
В санях учреждена езда.
Село от города лежало
В шестнадцати верстах, и нам
Ночлег гостеприимно там
Был приготовлен после бала;
Друзья же дома и родня
Сбирались ехать накануне.
Бал этот занимал меня
Чрезмерно; отдыха два дня
Своей я не давала Дуне,
Приготовляя мой наряд.
Веселый собрался отряд.
Привычной следуя программе,
Был избран спутник каждой даме,
Саней расположился ряд,
И понеслися мы попарно.
Луна сияла лучезарно
На белый беспредельный снег,
На дальней рощи сон глубокой;
Как призрак, средь степи широкой
Скользил коней неслышный бег.
Приличьям повинуясь светским,
В санях сидела с братом я
Двоюродным, Вадимом Чецким,
Как приказала мне семья.

Вадим был человек престранный!
За всякий вздор бранил меня,
И я хулы его нежданной
Всегда боялась как огня.
Меня ж двенадцатью годами
Он старше был. В тот вечер он,
В раздумье молча погружен,
Глядел сердитыми глазами
В пустую даль степи ночной.
Вполне освещены луной,
Его черты виднелись; многим

Мог очерк их казаться груб,
Но дивно шло к бровям тем строгим
Противоречье кротких губ.
(В лице отличного портрета
Веласкеса есть прелесть эта.)
Он, неприветлив, недвижим,
Сидел и не давал ответа
Словам задорливым моим.
Мне было весело не в меру:
Готовилась на бале том
Гвардейскому я офицеру
Поставить голову вверх дном.
Хотелось этой мне победы!
Он женщин занимал беседы!
Собой прекрасен, горд и смел,
Он приключение имел
С одною римской герцогиней.
И я, в надежде удалой,
Неслася по полю стрелой.
Блестел на соснах белый иней,
Перемежаясь с темной мглой;
Шумел в них ветр; мы мчались мимо,
Вперед, вперед, во весь опор.
Я исподлобья на Вадима
Порой бросала быстрый взор:
Храня всё тот же вид суровый,
Сидел как каменный он гость.
Уж дом за рощею сосновой
Мелькал: мной овладела злость,
Мне мочи нет досадно стало!
И как мы въехали в село,
Сама себе я обещала
Быть первою кокеткой бала
И всех пленить, ему назло.
И час потом — уже сидели
Мы все у чайного стола.
Стараяся достигнуть цели,
Себе поставленной, была
Я чрезвычайно весела,
И даже слишком, и с натяжкой:
Я празднословила с трудом,
И в смехе ветреном моем

Звучало эхо мысли тяжкой.
Гвардейца не было; о нем
Кузина, уж со мной в беседу
Вступив, шепнула мне тайком,
Что будет завтра он к обеду.
Один лишь гость мне незнаком
Средь молодежи нашей светской
Тут был: какой-то граф немецкой,
Как я услышала потом.
Меня, шутя с кузиной Дашей,
Он непонятно возмущал:
Иной внезапной мысли нашей
Разумных нет в душе начал.
Известно (и возможность факта
Я поняла, хоть странен он),
Что, посещая Трианон,
Нечаянно сошелся как-то,
В уединении аллей,
С Марией-Антуанеттой
Из будущих ее судей
Один, и страшно стало ей
При мимоходной встрече этой,
Хоть он прошел лишь стороной,
И был мужчина недурной
Лицом и хорошо одетый.
Бог весть зачем, на ум пришел
Рассказ мне этот в то мгновенье!
Впадала я в недоуменье,
Смотря на немца через стол:
Сидел он смирный, белокурый
С своею чашкой у окна;
Но всё казалось — с той фигурой
Угроза мне сопряжена.
И становилось отчего-то
Мне вообще не по себе:
Грудь странная гнела забота,
Порой боязнь переворота
Какого-то в моей судьбе;
И ропот тайного упрека
Мне в сердце слышался тогда.
Поверьте, горе и беда
К нам близятся не без намека;

Не понимаем, почему
На нас находит беспокойство:
Названье нервного расстройства
Даем беспечно мы ему.

На следующий день я встала
Опять спокойна и бодра,
Не мысля уж о том нимало,
Что мучило меня вчера,
И никакой мечтою грозной
Не возмутившися во сне.
Всё весело казалось мне,
Как этот блеск зари морозной
На небосклоне голубом
И дол, покрытый серебром.
Причуды сердца молодого
Очнулись, резвые, опять,
И я опять была готова
Привольной жизнию играть.

Занявшись утренним нарядом,
Мы с Дашей поспешили вниз;
Хотелось мне проведать взглядом,
Прошел ли Чецкого каприз?
Не первый, впрочем: то и дело
Я в ссоре находилась с ним,
И наперед сказать умела,
Когда нахмурится Вадим.
Среди веселых развлечений
Слышна как будто мне была,
Сквозь хор похвал и одобрений,
Его безмолвная хула.
Был иногда, насчет безделки,
До нетерпимости он строг,
И с совестью возможной сделки
Он никогда понять не мог;
Словами гневного презренья
Клеймил общественную ложь;
И удивительно хорош
Он в эти делался мгновенья!
Всегдашний враг пустой мечты —

Был и Онегин он, и Ленский:
Ум ясный, с мягкостию женской,
Дух строгий, полный теплоты.
Досадно было мне и больно,
Когда на действия мои
Смотрел он с резкостью судьи;
Но подчинялась я невольно
Его влиянию; хотя
В лицо мне говорил он прямо,
Что я бессмысленно-упряма
И малодушна, как дитя.
Его сердил уже с начала
Весь этот праздник: пробуждал
Тоску и сплин в нем грохот бала
И пошлый говор модных зал.
Я принимала чувство это
За неестественную блажь;
И не любить я не могла ж
В осьмнадцать лет приманок света. —
Гостями полон был салон,
Когда с кузиною вошла я.
Сидел один поодаль он
И чрез минуту, чашку чая
Допивши, встал и вышел вон.
Я села, гнев свой чуть скрывая;
Обида тут была прямая:
Не простирались до того
Права двоюродного брата,
Когда бы я и виновата
Была, по мнению его!
Еще со мною так сурово
Не поступал он никогда.
Ждала я от него хоть слова:
Тяжка мне с ним была вражда!
Но отвергал он примиренье,
Он сам возобновлял раздор...
Исчезло дум моих сомненье,
И смолкнул совести укор.
Одно, чуть видное, движенье,
Улыбка, может, или взор —
Всё изменили б в то мгновенье:
Я, может, отказалась бы

От мести глупой и упорной...
И этот миг досады вздорной
Перетянул весы судьбы.

Явился лишь перед обедом
Он вновь. Прибывший той порой
Гость жданный, бальных зал герой,
Был уже с час моим соседом.
Болтала весело я с ним,
И, прислоняясь к стенке стула,
С небрежной ленью, не взглянула,
Когда в покой вошел Вадим.
Пошли к столу. С гвардейцем села
Насупротив его я смело,
Улыбку вызвав на лицо,
И принялась, спокойна с виду,
Влагать для Чецкого обиду
Во всякое свое словцо.
В душе инстинкт проснулся лютый,
Сначала, может, скрытый в ней;
И с каждой делалась минутой
Я беспощадней и умней.
С холодным взглядом слушал Чецкий,
Как тешилась я в злобе детской,
Его бессовестно дразня.
С ним о бок сидя, граф немецкой
Глядел порою на меня
С усмешкою своей несносной.
Привыкнуть к мине этой постной
Решительно я не могла:
Боязнь неведомого зла,
Как накануне, грудь мне снова
Так сжала, что была готова
Я тут же встать из-за стола.

Шло время. Близкого я бала
Нетерпеливо ожидала,
Решившись с помощью его
Свое дополнить торжество,
Кокетничать неумолимо
И позабавиться весьма,

Сводя гвардейца и Вадима
Различным образом с ума.

Когда отрывистым аккордом
Оркестра прогремел сигнал,
Я в том же упоеньи гордом
Явилася на этот бал,
В каком на роковую драму
Шел к пирамидам иль к Ваграму
Бессмертный маленький капрал.
Меня гвардеец ждал у входа,
И мы, средь модного народа,
Помчались первою четой.
Завидела в толпе густой
Я Чецкого в беседе с дамой.
Я вновь взглянула, — да, с той самой,
С которой два года тому
Он познакомился в Крыму;
Она давно, с заботой лестной,
Старалась нравиться ему
И женщиной преинтересной
Слыла, не знаю почему.
В неистовом своем круженьи
Надменно мимо пронеслась
Я, задыхаясь и смеясь,
В каком-то нервном раздраженьи.
Танцующих блестящий рой
Широкую наполнил залу;
Взгремел на хорах вальс второй
Я увлекалася помалу
Своей опасною игрой;
Гвардеец гордый и прекрасный,
Предмет приманки не одной
И не одной мечты напрасной,
Был явно занят только мной.
Уединясь в покое людном,
Мы с ним, в кокетстве обоюдном,
Весь вечер проводили; он
Был и не глуп, и не умен;
Но светским просвещеньем пестрым
Умел небрежно щеголять,

И замечательным и острым
Казаться мог часов он пять;
Знал фразы власть над мыслью женской,
Уместно говорил с огнем,
И был мундир преображенский
Особенно красив на нем.

Минуту отдохнуть желая,
Перед мазуркою ушла я
Из залы в Дашин кабинет;
И тотчас же, за мною вслед,
Вступил в него поспешно Чецкий:
Последний миг вдвоем я с ним
Тут провела! — Когда Вадим
Вошел, я на софе турецкой
Сидела, голову склонив;
Гремел вальс, помню, на мотив
Из «Крестоносцев» Майербера.
Он подошел угрюм и строг:
«Возьми другого кавалера
К мазурке, выдумай предлог,
Не будь упорнее дитяти».
— «Позвольте возразить, что вам
Моим быть дядькой здесь некстати», —
Сказала я, спеша к дверям.
Сердито произнес он слово
Невнятное и, смолкнув снова,
Рванул перчатку пополам.
Прошла с улыбкою притворной
Вновь в залу я, где длился бал;
Там с нетерпением искал
Меня уж витязь мой придворный.
Мазурка раздалася с хор,
И сели, первой парой круга,
И завели мы разговор,
Стараяся увлечь друг друга
Тем состязаньем хитрых фраз,
Тем фехтованием словесным,
Нам с юных лет уж всем известным
И столь заманчивым для нас, —
Той легкомысленно-лукавой

Привычной бальною забавой,
Где можно промах дать как раз,
Где позволяет ложь улыбки
Из слова тайный смысл извлечь,
И где порой так кстати скрипки
Иную заглушают речь.
Я стычку продолжала храбро,
Тем больше что мой беглый взор
Вадима замечал надзор:
У входа, возле канделябра,
Стоял он неподвижен, с нас
Сердитых не спуская глаз.
«Смотрите, как глядит на танец
Ваш разъяренный пуританец», —
Сказал гвардеец мне, смеясь.
К дверям мой взгляд скользнул украдкой;
Я знала: гневных дум борьба
Высказывалась этой складкой,
Чуть видной в середине лба.
Но я решила, что не буду,
Что не хочу быть так слаба,
Чтоб беспрестанно и повсюду
Себе в закон его причуду
Смиренно ставить, как раба.
И, новой хвастая победой,
Живее занялась беседой
Я в наказание ему,
Бог весть за что и почему.
Меж тем, вдаваясь понемногу
В ту безотчетную тревогу,
Которую вливает в ум
И магнетизм живого взора,
И прелесть тонкого разбора
Сердечных чувств и тайных дум, —
Дошла с своим я кавалером
До точки, где, забыв игру,
Вдруг представляешься, в жару,
Таким усердным лицемером,
Что начинаешь верить сам
Своим придуманным словам.
Склонясь к прекрасному соседу,
Раздумья странного полна,

Ему внимала я. «Княжна, —
Сказал он вдруг, — я завтра еду;
Жестокий долг зовет меня;
Как знать, свидания другого
Дождусь ли и такого дня? —
Он смолк, вздохнул, и молвил снова: —
Тяжел последний этот час!
Я еду рано, на рассвете;
Я отправляюсь на Кавказ:
Умру в бою иль лазарете.
Мечту о блеске ваших глаз,
О дивных звуках вашей речи
Рассеет, может, свист картечи;
Но дайте мне, молю я вас,
Еще упиться сладким ядом,
Отрадным словом, милым взглядом
В последний насладиться раз!
Миг подарите мне единый:
Придите с вашею кузиной
В сад на заре, пока весь дом
Спать еще будет; с ней о том
Я говорил. Там есть беседка,
Придите, — и, сражен войной,
Умру хоть с верой я одной,
Что вы не жалкая кокетка,
Что вы не забавлялись мной».
Он, в ожидании ответа,
Допрашивал мой робкий взор;
Я грусть читала и укор
В его чертах. Минута эта
Была одна из тех минут,
Где, вопреки условьям света,
В нас увлеченья верх берут.
На гневное лицо Вадима
Невольно поглядела я,
И стало вдруг мне нестерпимо.
«Молчите вы? вы не согласны?
Мои моления напрасны? —
Сказал гвардеец. — Что ж могло
Вас испугать? и где же зло?
Кто встретит вас перед зарею?
На краткий миг прийти с сестрою

Боитесь разве? да чего ж?
Ужель и в вас все чувства — ложь?
Ужель всем прочим вы подобны?
Княжна! ужели не способны
К великодушию и вы?..»
Не колебалася я боле:
С строптивой мыслью заодно
Твердило чувство, что грешно
Тут светской уступать неволе;
Сомненье стихло, страх умолк,
И шаг мне этот сумасбродный
Предстал как подвиг благородный,
Как жертва смелая и долг.
Занявшися цветком в букете,
Я прошептала: «Да, в саду,
В павилионе, на рассвете...
Вот слово вам мое, приду!»

В покой, где ужин ждал готовый,
Мазурку кончив, мы пошли.
Увидела я, в дверь столовой
Вступая, Чецкого вдали;
Стоял с ним граф, мне столь противный,
Два франта и старик майор,
Предмет привычный и наивный
Насмешек наших с давних пор
За то, что подходил он к ручке.
Послышался вдруг в этой кучке
Вадима голос громче всех
В ответ на чей-то легкий смех.
Обрадована этим взрывом,
Я в упоеньи горделивом,
С улыбкою садясь за стол,
Подумала: ага! он зол.
И продолжала, тешась мщеньем,
Я до конца, с безумным рвеньем,
Разгорячившись, как в бою,
Роль малодушную свою.
Мне становились бесполезны
Понятия добра и зла:
Неистово я к цели шла,

Как слепо мчится к скату бездны
Конь, закусивши удила.

Еще два раза на мгновенье
В толпе, как грустное виденье,
Мелькнул Вадим передо мной...
Да, он страдал средь блеска бала,
И больше, чем я полагала,
Увы! и мыслию иной!

Когда гостей шумливых стая
Угомонилась, засыпая,
И смолкнул понемногу дом,
Отправилася в спальню Даши
Я с ней, и долго толки наши
Там продолжалися тайком.
И этим rendez-vous[1] в беседке
Опять занявшись и опять,
Я наконец, часов уж в пять,
Расположилась на кушетке,
Сказав: «Попробуем поспать».

Но не спалось. Неотразимо
Передо мной носился мимо
Ряд бесконечный пестрых дум.
Мне вид нахмуренный Вадима
Невольно приходил на ум;
Как ни владел красавец светской,
В своей отваге молодецкой
Мечтой причудливой моей, —
Сердит, задумчив, бледен, Чецкий
Упорно представлялся ей.
Порой, всё взвешивая снова
Сама с собой наедине,
Я уж почти была готова
Нейти, — но не исполнить слова
Казалось низостию мне.
Мне снились вкрадчивые речи
И зажигали жар в крови;

---

[1] Свидание (франц.). — *Ред.*

Меня прельщала новость встречи,
Манила эта тень любви.
Признаться, тут была отчасти
Нелепость мне моя видна:
Не слишком верила я страсти
Блистательного шалуна!
Но доказать себе хотела
Свою я волю и права,
И что на всё иду я смело,
Как скоро обратить мне в дело
Свои приходится слова;
Что суд других мне не преграда,
Что в силах я себя, где надо,
Уволить от привычных уз,
Спросив у совести совета;
Что и бессмысленного света,
И Чецкого я не боюсь.
Всеобщей, может быть, ошибки
Несчастный тут являлся плод:
Желание хоть тайной сшибки
С тем, что вседневно нас гнетет.
Мешала рассуждать мне здраво
И лести вечная отрава,
И дум взлелеянная блажь,
И бестолковость женской роли —
Смесь своеволья и неволи,
Почти всегдашний жребий наш.
Какие, впрочем, мы влиянья
Могли б решительно винить?
Где в лабиринте воспитанья
Руководительная нить? —
Но я решилась.

Мгла редела;
На горизонт восточный бело
Легла рассвета полоса.
Мы встали и чрез полчаса,
С мгновенною отвагой трусов
И в складки теплые бурнусов
Закутавшися до лица,
Сбежали с заднего крыльца,
Вдоль окон длинного фасада

Мелькнули и, уже смелей,
Достигнув середины сада,
Помчались по снегу аллей
И в сильной донеслись тревоге
До павильона: на пороге
Ждал мой поклонник, ввел нас в дверь,
И начал бред души мятежной,
И тягость жизни безнадежной,
И горе внутренних потерь,
И боль безумного порыва
Он излагать красноречиво.
Но грустные его слова
Мне как-то холодно звучали:
Сама теперь уже была ли,
Победой опьянев сперва,
Я вновь душой почти трезва?
К излитию его печали
Благоприятствовал ли бал
И шла ли света обстановка?
Обоим было нам неловко.
Мне снова говорить он стал
О смерти от черкесской пули,
Которой он подставит грудь;
И оба, захотев вздохнуть,
Украдкой мы слегка зевнули.
Всё как-то тут не шло на лад.
Он уже этому свиданью
Был, вероятно, сам не рад.
Прибегнув наконец к молчанью,
Мы сели. На него была
И на себя я тайно зла;
Моя мгновенная причуда
Казалась мне теперь смешна.
Вдруг Даша с кресел у окна
Вскочила:
«Идут!»
— «Кто? .. Откуда?» —
Вскричала я, шагнув вперед.

Сияньем ранним небосклона
Блестел пруда прозрачный лед
Напротив окон павильона.

Скользя сквозь ив прибрежных ряд,
В единый миг мой быстрый взгляд
По снежному пронесся парку:
Шел медленно, покрыт плащом,
С другим мужчиною вдвоем
Немецкий граф, куря сигарку;
На дали, блещущей зарей,
Темнел их стана очерк резкий.
Граф, точно, и моряк одесский,
С ним дружный. Этою порой?
Зачем им?.. Скрыты занавеской,
Глядели в страхе мы с сестрой.
Остановившись у площадки
Поодаль, граф взглянул вокруг, —
И содрогнулася я вдруг
От грозной мысли, от догадки
Внезапной... Этот спор в углу
С Вадимом, как вчера к столу
Я мимо шла из залы бальной...
Он ждет здесь... Боже мой!.. Ужель?..
Виднелся плащ в аллее дальней
И офицерская шинель.
Навстречу граф ступил удало
Два, три шага... я понимала,
Я громко вскрикнула: «Дуэль!..»
В сопровождении майора
Поспешно Чецкий шел туда,
Где молча ждали те, и скоро
Среди площадки, у пруда,
Все четверо сошлись, готовы,
Угрюмы. — Бросилась я в дверь,
Забыв про всё. «Куда вы? что вы?
К чему идти вам к ним теперь! —
Сказал, меня остановляя,
Гвардеец. — Ваша цель какая?
Помочь тут, верьте, средства нет.
Нельзя вам выйти здесь чем свет.
Добра не сделавши нисколько,
Себя погубите вы только
И больше причините бед».
Меня и Даша не пускала.
Я, взоры приковав к пруду,

Старалась вспомнить всё сначала,
Понять нежданную вражду, —
И растекались, как в бреду,
Все мысли, сумрачны и зыбки.
В уме испуганном моем
Мелькнули колкие улыбки
И взгляды немца за столом,
Возможность сказанного слова,
Насмешки, замечанья злого...
Кровь стыла в жилах!.. Мне свой вздор
Здесь нес, как чопорный актер,
Герой салонный. В складной речи,
Болтал он здесь мне наизусть
Про неразгаданную грусть,
И про любовь, и гибель в сечи,
С трудом лишь, в продолженьи дня,
Свой жар поддельный сохраня, —
А там Вадим ждал смертной встречи,
Вступаясь, может, за меня!
В окно я, словно против воли,
Глядела, и от резкой боли
Дрожащая сжималась грудь;
Глядела я, не в силах взгляда
Спустить с безвестного обряда,
Не в силах тронуться, дохнуть.
Казалось мне, что о дуэли
Тут речь идет не в самом деле;
Что помешает кто-нибудь,
Что помирят их, что раздора
Меж ними важного ведь нет! —
Вот разошлись. В руках майора
Я увидала пистолет.
Он ровным шагом чрез площадку
Прошел. Вадим снимал перчатку...
Теперь, через тринадцать лет,
Еще стоит передо мною
Он, как тогда, у старых ив,
Отбросив плащ, готовый к бою,
Недвижный, губу закусив,
Поставлен тут моей виною!
А я — я не могла помочь,
Я не могла сдержать их мщенья

И от ужасного виденья
Не смела отвернуться прочь!
Облиты ярким уже светом,
Друг в друга целя пистолетом,
Ступая тихо, шаг за шаг,
Они сходились на равнине:
Меж них блистали, в середине,
Эфесы двух воткнутых шпаг.
И я глядела, недвижима,
Безумным взором на Вадима,
В то время слыша, как во сне,
Что говорил тут кто-то мне,
Что я ни в чем не виновата,
Что даром я боюсь за брата,
Что попадает он в туза...
Глядела я во все глаза,
Всей волей мысли, всей душою.
Граф выстрелил.
                                        Разнесся дым.
Шатаясь, левою рукою
Держал свой пистолет Вадим;
Движеньем быстрого отказа
Свидетелей отсторонил
И, с графа не спуская глаза,
С последним напряженьем сил,
Неловко целя, сдвинув брови,
Минуту простоял одну,
И капли яркой, алой крови
Пятнали снега белизну.
Стоял он, бледный призрак гроба,
Мертвец грозящий и немой...
И выстрел прогремел.
                                        И оба
Свалились в снег передо мной. —
Я кинулась... я уж стояла,
Дрожа всем телом, перед ним
И бессознательно шептала
Одно: «Вадим!.. Вадим!.. Вадим!..»
Какие-то я помню тени
Вокруг себя и голоса.
Он двинулся; я на колени
Упала; и приподнялся

Он медленно, с улыбкой странной;
Ложилась на его черты
Печать какой-то несказанной,
Какой-то смертной красоты.
Он сжал мне руку; взгляд туманный
Бледнеющих, бессильных глаз
В меня еще вперился раз —
Не укорительно, не строго...
Стеснялось в раненой груди
Дыханье; погодя немного,
Он тихо вымолвил: «Поди!»
Тупым я поглядела взором
И, поведенная майором,
Пошла, не ведая куда.
Мой проводник молчал уныло.
Отшедши дальше от пруда,
Я шепотом его спросила:
«Он за меня стрелялся?» — «Да, —
Сказал он, — эти господа
Вас оскорбили колким словом.
Проведал Чецкий. Как? Бог весть!»
Опять в молчании суровом
Старик прошел шагов пять-шесть;
И вдруг, не в силах горе снесть,
Промолвил, обернувшись к ивам,
Где стоптан был кровавый снег:
«Сударыня, господь прости вам!
Он был хороший человек!»

Она замолкла; думы жало
Впилось глубоко в сердце ей.
В камине пламя догорало,
Порой взвиваясь из углей.
И озаряла вспышка эта
Мгновенно бронзу кабинета,
Часы богатые в углу,
Ковра цветные арабески
И у дверей, сквозь полумглу,
Отливы алой занавески.
А в зеркале был отражен
Покой безвестный и далекой,
Где при лампаде одинокой

Мерцал в тени оклад икон,
Где с уст, веселых в свете строгом,
Срывался вопль в ночной тиши,
Где изливались перед богом
Все боли тайные души.

Графиня судорожно встала,
Рукой дрожащей опахало
Схватила быстро и букет:
«Пора, поедем! я готова».
Все поднялись, раздумья злого
Стряхая неуместный след.
Пронесся легкий шум; и снова
Смолк опустелый кабинет.
Лишь с мраморного пьедестала,
Как неземной и вещий глас,
Раздался резко звон металла
И прогудел двенадцать раз.

Между 1843 и 1859

ФАНТАСМАГОРИИ

Vorbei! Vorbei! [1]

(Goethe. „Faust") [1]

1

Карета катилась быстро по плоской дороге; в карете кто-то сидел задумавшись. Было это ночью, северной майской ночью, которая не темнее дня. Можно было все видеть направо и налево, но смотреть было не на что: и с той и с другой стороны за гладью — гладь, за полем — поле; ни конца, ни смены. Петербург, и дворцы, и дачи, и парки, и прыткие экипажи, и шум, и возня — пропали позади, без следа и помину; словно их на свете не было. Ширилась болотистая равнина, по которой нет-нет торчал невзрачными кучками сероватый, тощий кустарник и поднимались невысоко горемычные березки. Больше ничего. Нечему было развлечь мысли; они могли тянуться своим порядком, одна за другой, одна за другую цепляясь, одна другую погоняя. По этой дороге можно было думать на раздолье.

И многое думалось тому, кто сидел в карете. Есть, божьею милостью, каждому о чем призадуматься. Что да что ни прошло мимо этого ума, пока скользила мимо глаз, в беспрестанном повторении, одна и та же картина!

Помыслы неслись вперед в чужую даль, неслись назад в знакомые места, к тому, что прошло, к тому, что будет, и опять взвивались и уносились бог весть куда. Они давно были приучены к резвой воле.

Наконец стало думаться нечто похожее вот на что:

---

[1] Мимо! Мимо! (Гете. «Фауст») (немец.). — *Ред.*

Есть же такие люди, в которых то, что шевелится в голове, не просит формы, не силится проявиться каким-нибудь образом. Есть такие, которым никогда не хочется взяться ни за перо, ни за кисть, ни за резец, а слова только служат для объяснения существенных потребностей и для салонного разговора. Уж бог их знает, как они сотворены; но есть такие, и им кажется, что такими и следует быть.

А может статься, оно и правда.

В самом деле, что за странный человек наш брат! Глядит на ясное небо — дай изображу красками; видит бурю — дай расскажу словами; горюет — дай выражу звуками. Что за бедственная потребность! Художник — ведь это чудовище! Ночью загорелся город, дома валятся, люди гибнут, — он смотрит с восхищением, как пламя стоит красным столбом на черном небе; он бежит не спасать людей, а принести краски и кисти. Он слышит вопли — и шепчет стихи. Ей-богу, страшно подумать. Гете получает письмо с черной печатью — и оставляет нераспечатанным на своем столе, потому что полагает, что это известие о смерти сына, а он хочет теперь быть спокоен духом, чтобы дописать «Ифигению в Тавриде». Тальма узнает о неожиданной смерти отца и вскрикивает, — и в ту же минуту думает: вот как вскрикивают в ужасе, вот как надо мне вскрикнуть на сцене. Умирающий Брюллов проходит мимо зеркала, останавливается и говорит: «Какое у меня сделалось эффектное лицо. Дайте краски». — И пишет с себя лучшую свою картину, всматриваясь и любуясь выражением предсмертного своего страдания. Что это такое? Всякую другую страсть, всякое увлечение можно объяснить; это — нет. Игрок хочет денег; завоеватель — власти и славы; ученый, наконец, ищет полезного открытия. Художник не ищет никакой выгоды, даже и славы не ищет: работал, не спал по ночам, напрягал все силы, изнурялся, дал форму своей мысли, — и доволен; цель достигнута. Какая цель? Что вышло из этой траты покоя и жизни? Одной сказкой стало больше на свете, где их так много.

Но иногда берет нас еще особый недуг, похожий на гидрофобию собак: берет чернилобоязнь. Так тебя и мучит написать, так и тянет к письменному столу; подойдешь — и отшатнешься. Страшно становится облить свое свежее чувство этой черной, пошлой влагой. Перо смотрит грозно, чистая, девственная бумага словно говорит: не тронь меня! не смей! А мысль бьется в голове, как жаворонок в клетке. Мусульманское поверье запрещает рисовать человеческое подобие; они говорят, что в наказание за эту пародию божественного творчества этот образ будет преследовать своего создателя, требуя себе души. Тут наоборот: идея преследует поэта

и пристает к нему: дай мне воплощение, дай мне образ. Какой? Где материал, еще не истощенный? Где слова и формы, уже не изношенные давно?..

А между тем ведь они найдутся... Ужели этому не будет конца? Ужели всегда будут находиться новые выражения чувству? другие облачения фантазии?

Карета остановилась. Что такое? — Станция. Повозились вокруг лошадей, перепрягли. — Ступай! Свежая упряжка помчала вольной рысью. Продолжается поле, продолжаются думы.

И о чем я себя спрашиваю теперь? Не бороться ли мне с этой надобностью высказываться? Не решиться ли наперед, начиная путь, держать на привязи свою поблажку? Идти молчаливо мимо всех дивных проявлений? Как подумаешь: сколько одной и той же дорогой прошло путешественников! Сколько рассказалось тех же путешествий! Что может рассказать тот, кто тут же проходит тысячным, десятитысячным посетителем?

И какие еще люди прошли до него! Какие голоса говорили!

Господи! положи хранение устам моим!

А петь все-таки можно. И пошлых предметов нет. Это вздор.

Помню, говорили раз при великом поэте, что один господин написал стихотворение «Лотос». «Что ему дался лотос? — отвечал поэт. — Если он не сумел сказать ничего нового о розе, то не сказал ничего нового и о лотосе». Это так.

Да и форма. Если б и существовала в поэзии только одна форма, что за нужда? В один и тот же стакан можно лить всевозможные вина. Когда требуют чаю, спрашивают, крепок и душист ли чай, а не оригинальна ли чашка. А выдохшийся чай не становится лучше в чашке совсем новой формы.

Да, может писать тот, кто может.

А что ни говори — бедовое дело!

Затрепещет душа, заблещет мысль, и кровь закипит; и шепчутся слова, сливаясь в стих. Это пир Фантазии, ее резвая потеха, ее радостная воля.

И песнь стоит строками на бумаге.

Тут уже какая-то утрата свободы.

Фантазия-дикарка приубрана и выведена напоказ. О ней говорят и рассуждают. Про нее осведомляются, как про невесту. Недалеко до урочного часа.

И бьет он ей. В типографии совершается роковой обряд, и бедняжка выходит оттуда уже рабой. Отдали ее, отважную Шехерезаду, за грозного повелителя; блажной шах-публика удостоил ее выбора, и она должна забавлять его своею сказкой, если хочет

остаться в живых. И шах уже состарился, стал угрюмее и неудобозабавляемее прежнего. Бывало, он слушал россказни развесив уши; теперь у него не то в голове: он думает, как бы затеять выгодную спекуляцию и удвоить свои доходы. Не легко развлечь его прибаутками. Того и гляди, что он зевнет, что-то проворчит, отвернется и заснет, — и тогда рассказчица погибла.

Бедовое дело! А ведь не устоишь...

Уснем-ка и мы покуда.

Заснулось крепко. Много верстовых столбов промелькнуло; дорога сделалась гористой. Вдруг послышался шум, крики нескольких голосов, такая возня, что нельзя было не проснуться. Карета стояла опять у станционного дома, и около кареты стояли две-три жалкие, грязные, неуклюжие фигуры и голосили между собой. — Что это? Перекладывают?

Первые нерусские звуки.

Светло было на небе, солнце всходило.

— С богом! Далее!

Далее понеслась карета с тем, кто в ней сидел.

Надо прибавить, что это была женщина...

2

Голый край, суровые виды. Для путника здесь весело лишь то, что он едет мимо. У этой неприветливой страны лицо уже не русское. На вершине стоит, сжавшись в городок, кучка домов, старинных, с острыми кровлями. Место крепкое в былую пору, с именем не темным. Глядит он угрюмым стариком, пережившим свое время. Его ненужные теперь ограды и башни смотрят с высоты в молчании спесивом на окрестность. И спесь позволена им: видели переворот великий эти стены; им есть что помнить, есть что рассказать.

Был день один, и им об этом дне
Забыть не можно; видели оне,
Как стан стоял здесь грозный против стана,
Как лютый спор с соседом вел сосед,
Как в той равнине пересилил швед
России молодого великана.
Резней кипела эта вся пустыня,
Стонала стоном старая твердыня!
Сумела ли ты втайне разгадать,
Когда его неистовым напором

Теснила вся соперникова рать,
Каким тогда ее считал он взором?
Ты, битвы той свидетель на холме,
Ты поняла ль, пока шла распря злая,
Что он, врагам в день Нарвский уступая,
Полтавский день готовил им в уме?

3

Дальше! уж не домоседа
Жизнь веду я: без обеда
Быть и нынче не беда.

Дальше! едем без оглядки;
Наши тощие лошадки
Скачут прытко, хоть куда!

Видны кровли там, у пашни,
Горсть домишек, две-три башни,
Зданья, зодчим не пример,

Засверкали в блеске солнца;
Катим; ямщика-чухонца
Понукает мой курьер.

Ты знаком мне, городишка,
Где наукам без излишка
Предается молодежь.

Всё, чай, вздоришь ты немало,
Сплетничаешь, как бывало,
Всё буяном ты слывешь.

Пожилося мне недаром
И в тебе, притоне старом
Той остзейской немчуры.

Пожилось мне тут не в холе:
Не забыть мне поневоле
Этой горестной поры.

Было здесь — да мало ль было!
И не в том теперь уж сила, —
Лажу я с своей судьбой,

Хоть и тяжко мне немного...
Ну, прощай! длинна дорога,
Надо ехать. Бог с тобой!

4

Застава в поле: русская граница;
Шаг — и уж я не на Руси. Он сделан, —
И как-то странно сделать этот шаг...
Оглянешься невольно... И теперь
Туда, в далекий путь из края в край,
Туда, куда несутся мои думы...
Там всё, что может счастье заменить
И грудь опять наполнить силой жизни.
Там, впереди, — весь быт широкий мира,
Все горы и моря, все города
И все искусства. Впереди все земли,
Какие есть на свете! Позади —
Одна земля, с названием: отчизна!
Я с ней простилась... В добрый час, вперед!
Как знать? быть может...

Между 1856 и 1858

ПЕРЕВОДЫ

С НЕМЕЦКОГО

Ф. ШИЛЛЕР

СЦЕНА ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ НЕОКОНЧЕННОЙ ТРАГЕДИИ ШИЛЛЕРА «ДМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ»

ВЫКСИНСКАЯ ПУСТЫНЯ

Царица Марфа, патриарх Иов.

Патриарх

Великий царь прислал меня к тебе:
Он не забыл тебя на троне дальном.
Как солнце, оком пламенным, повсюду
И свет и жизнь лиет на мир широкий, —
Так на свои владенья неусыпно
Взор всеобъемлющий бросает царь,
И до границ последних и безвестных
Его державу глаз его блюдет.

Марфа

Что от него спастись нельзя, я знаю.

Патриарх

Твоей души высокой благородство
Он ведает и разделяет с гневом
Обиду, нанесенную тебе.
Узнай: преступник из земли Литовской
Злой еретик, монашеский обет
Отвергнувший, чернец богоотступный,

Обманом наглым оскверняет имя
Погибшего младенца твоего;
Тебя он матерью зовет, и смеет
Наследником наречься Иоанна.
Нарушив мир, коварный воевода
Ведет на нас, с враждебною дружиной,
Замышленного им же лжецаря
И, сказкой православных ум смущая,
Измену поджигает и мятеж.
Меня к тебе, с заботою отцовской,
Великий царь прислал: ты память чтишь
Царевича, и не допустишь ты,
Чтоб имя сына твоего из гроба
Украл злодей, чтоб дерзостный бродяга
В его права втеснился своевольно.
Объявишь ты пред целою Москвою,
Что хищника не признаешь; в объятья
Не примешь беззаконника чужого;
Ты ныне, царь уверен в этом, с гневом
Бессовестный обман изобличишь.

Марфа

Что слышу, отче патриарх! скажи,
Чем вымысел свой дерзкий подтверждает?
Чем доказать пришлец безвестный может,
Что истинный он Иоанна сын?

Патриарх

Как слышно, неким сходством с Иоанном,
Бумагами, найденными случайно,
И редкое сокровище он кажет,
Которым убеждает хитроумно
Всегда обманам преданную чернь.

Марфа

Сокровище? Какое? — отвечай!

Патриарх

Крест золотой, каменьями драгими
Осыпанный, — и лжет обманщик дерзкий,
Что дан ему отцом он крестным, князем
Мстиславским.

Марфа

Как! он кажет этот крест?..

(Удерживаясь)

Что ж объявил он о своей судьбе?

Патриарх

Он выдумал, что спас его от смерти
Какой-то дьяк и удалил в Смоленск.

Марфа

Но что ж он говорит? где мог скрываться
До этих пор?

Патриарх

Рассказывает он,
Что в Чудове монастыре жил долго,
Не ведая величья своего;
Что наконец бежал в Литву, слугою
У Сендомирского был воеводы
И случаем свой царский сан узнал.

Марфа

И удалось ему такою басней
Приверженцев найти?

Патриарх

Коварен лях,
И с завистью он нашу видит силу;
Старинный враг рад каждому предлогу
Внести войну в российские пределы.

Марфа

Но как же и в Москве могли поверить
Той выдумке, безумной и пустой?

Патриарх

Народ волнуется легко, царица!
Неимоверному готов поверить,
И увлечется ложью дерзкой он...

И потому желает ныне царь,
Да прекратишь ты черни заблужденье,
Что можешь ты одна: единым словом
Низвергнешь в прах бесстыдного лжеца. —
Я с радостью твое волненье вижу:
Ты вне себя от гнусного обмана,
И на лице твоем пылает гнев.

Марфа

И где ж теперь тот смелый самозванец?

Патриарх

Уж близок он к Чернигову, как слышно:
Из Киева он выступил в поход,
На нас идет с литовскою дружиной
И с буйной ратью казаков донских.

Молчание.

Марфа

Хвала! хвала! хвала тебе, всевышний!
Ты наконец мне мщенье ниспослал!

Патриарх

Царица! что такое? что с тобою?

Марфа

Храните вы его, о силы неба!
Носитеся вокруг его знамен!

Патриарх

Как? может ли обманщик?..

Марфа

Он мой сын!
Я узнаю его по этим знакам,
Его по страху твоего царя
Я узнаю. То он! он жив, он близок!
Долой с престола, хищник! трепещи!
Внук Рюрика воскрес! идет наследник,
Царь истинный, и требует отчета!

Патриарх

Безумная! ты знаешь ли сама,
Что говоришь? о ком?

Марфа

Пришел день мести,
Восстановленья день! Из ночи гроба
Исторгнута невинность дланью божьей!
Надменный Годунов, мой злейший враг,
Ползет у ног моих, прося пощады!
О, вы сбылись, желания мои!

Патриарх

Ты до того ль ослеплена пристрастьем?..

Марфа

Он до того ли страхом ослеплен,
Что от меня спасенья ожидает?
Пощады от меня — так безгранично
Обиженной? — Отвергнуть сына мне,
Которого из гроба вызывает
Мне чудом бог? — Кому — ему́ в угоду?
Ему, убийце рода моего?
Виновнику всех мук моих безмерных?
Его щадя, отброшу ль я отраду,
В моем глубоком горе наконец —
Как божий суд — мне посланную свыше?..

Нет! нет! меня ты выслушаешь... нет!
Я не пущу тебя; ты здесь! ты мой!
О, наконец могу дать волю гневу
И на врага излить в душе глубокой
Накопленный, давно таимый яд!
Кто заключил меня в сей гроб живых,
С биеньем жарким сердца молодого,
С могучими порывами души?
Кто от груди мне сына оторвал,
Своих убийц послал его зарезать?
О! слов нет для того, что я терпела,
Когда средь длинной, светлозвездной ночи
Я по слезам своим часы считала!

Вот жданный день, день грозный воздаянья!
Губителя могу я погубить!

Патриарх

Ты думаешь, что ты царю страшна?

Марфа

В моей он власти: слово уст моих,
Единое, решит его судьбу!
Вот почему Борис тебя прислал.
Россия вся, вся Польша на меня
Глядит теперь. Пришельца объяви
Моим я сыном, сыном Иоанна, —
И всё ему покорствует, он — царь!
Отвергни я его — и он погиб!
Кому ж на ум придет, что мать, как я —
Обиженная мать — отвергнет сына,
Врагам своим, его убийцам, в пользу?
Мне сто́ит слово, чтоб весь мир его
Обманщиком назвал. — И это слово
Ты выпросить пришел; услугу эту
Я Годунову оказать могу.
Не правда ли?

Патриарх

Отечеству всему
Ее окажешь ты: спасаешь царство
От бедствия войны, сказавши правду.
Не сомневаешься ты в смерти сына,
И ты греха на совесть не возьмешь.

Марфа

Шестнадцать лет о нем лила я слезы,
Но гроб его я не открыла. Гласу
Всеобщему и горю моему
Я верила; всеобщему же гласу
Я верю ныне и моей надежде.
Преступно было бы, сомненьем дерзким
Поставить грань непостижимой власти.
Но сердца моего не будь он сыном, —
Он будет сыном мщенья моего!

Его отсель усыновляю я,
Рожденного мне правосудным небом.

Патриарх

Несчастная! Могучему дерзаешь
Противиться? И в отдаленной келье
Не спасена от царской ты руки.

Марфа

Убить меня он может; голос мой
Он может заглушить в тюрьме иль в гробе,
Чтоб не гремел он в мире; в этом властен
Борис; но говорить меня заставить,
Чего я не хочу, — в том он не властен;
Того свершить не может: он ошибся.

Патриарх

Обдумай всё; не с лучшим ли ответом
Мне от тебя назад идти к царю?

Марфа

Надейся он на бога, если смеет,
И на любовь народа, если может.

Патриарх

Прости ж! — Беду себе ты избрала;
За шаткую хватаешься надежду:
Погибнешь ты с опорою своей.

Ноябрь 1840

МОНОЛОГ ТЭКЛЫ

(Из «Валленштейна»)

Да, дух его зовет меня; зовут
Товарищи, с ним падшие бесстрашно.
Винит меня в постыдном замедленьи
Дружина верная. Вождя их жизни
И в смерти не покинули они.

Так поступить умел их сонм суровый;
А я — в земном останусь ли краю!
Нет! Был и мне сплетен венок лавровый,
Который взял в могилу ты свою.
Жизнь без любви не стоит сожаленья,
Ее как дар напрасный и пустой
Бросаю я. — В ней были упоенья
Во время то, как я сошлась с тобой.
На землю день спустился золотой,
Приснились мне два чудные мгновенья!

В тревожный мир я, робкая, вошла,
У входа ты стоял как добрый гений;
Сиял простор лучами без числа.
Из баснословных детства обольщений
Меня ты взнес в иное бытие;
Роскошною вдруг жизнью ожила я,
И первым чувством было счастье рая,
И первый взгляд мой в сердце пал твое!

(Она задумывается и потом продолжает с содроганием)

И вот судьба, с жестокостью своей,
Берет его и в пышном жизни цвете
Его бросает под ноги коней. —
Таков удел прекрасного на свете!

<1866>

Э. ШУЛЬЦЕ

ПЕСНЬ ПЕВЦА ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДЕВАМ

(Из волшебной поэмы «Цецилия»)

В пределе дальном,
В горе глубоко,
Где вал потока
Бьет под землей, —
В плену печальном
Любви светило

Блестит уныло
Сквозь мрак густой.

Глухому своду
Алмаз вручился;
В затворе скрылся
Кумир сердец.
Блеснет народу
Сей клад прекрасный,
Украсит ясно
Царя венец.

Свой рев подъемлют
Пучины моря,
С грозою споря
В порывах злых;
Но в кельях дремлют
Там перлы нежны:
Моря мятежны
Не будят их.

Цветет в лазури
Жизнь молодая;
К нам, оживляя,
Луч не сойдет.
Бушуют бури
Над глубью скрытной;
Гроб наш гранитный
Гром не пробьет.

Покойтесь, девы!
Сон вам беспечный!
Пусть в ночи вечной
Вам снится свет! —
Летят напевы
В глушь подземелья,
Звучат ущелья
Певцу в ответ.

<1839>

Л. ШАМИССО

SALAS Y GOMEZ

Diro, come colui che piange e dice.
Dante. „Inferno" [1]

ПРОЛОГ

Рассказ есть об одном несчастном;
Передо мной, как грустный сон,
Тому давно, в сияньи ясном
Моей зари, пронесся он.

Но солнце яркое всходило,
Виднелся дивный мне предел,
И в блеске пышного светила
Зловещий призрак побледнел.

Раз — это было в час угрозы,
В час непогоды роковой —
Опять увидела сквозь слезы
Я этот образ пред собой;

Но было в этот срок тяжелый
Мне, побеждающей недуг
И бравшей верх над дум крамолой,
Им заниматься недосуг.

Под тихим сумрака покровом
Теперь, когда мой гаснет день,
Стоит тот лик, в венце терновом,
Как будто мне родная тень.

Казненного судьбой когда-то
Мне помянуть пришла пора,
Как поминает грустно брата
Обрядом набожным сестра.

---

[1] Говорю, как тот, кто говорит плача. Данте «Ад» (итал.). — *Ред.*

Salas y Gomez, тихим океаном
Облитый, высится, утес пустой,
Средь вод безбрежных сумрачным курганом,
Ни мохом не покрытый, ни травой,
Риф, раскаленный жгучими лучами,
Где птиц морских гнездится шумный рой.
Так он, поднявшись темный над волнами,
Стал нам вдали виднеться с корабля,
Когда послышался нежданный нами
Вдруг с мачты крик на «Рюрике»: «Земля!»
Мы поровнялись с мрачною скалою;
Тогда, две шлюпки снарядить веля,
Отправил несколько людей со мною
В них капитан к тем диким берегам,
В надежде свежей запастись водою.
Какое *горестное* там
Открытие мне душу взволновало,
Простыми я словами передам.
Мы поплыли, противясь буйству вала,
И мимо рифов в бухту повернуть
Старания нам стоило не мало.
На берег вышли мы, и в розный путь
Рассыпалась ватага удалая;
Я стал всходить на каменную круть.
Толпилась птиц бесчисленная стая,
Которой неизвестен был испуг,
У ног моих, едва проход давая.
И с высоты взор бросил я вокруг
На голые ущелия, и снова
Его склонил, — и содрогнулся вдруг.
Видна, среди безлюдия немого,
Тут мысли человеческой печать:
На этом камне буквы — два-три слова
Полуистертые — нельзя читать;
И врезаны кресты здесь — десять сряду;
Вот ряд такой же: вырыто их пять.
Вот след шагов... там показались взгляду
Наваленные скорлупы яиц:
Туда, взбираяся на скал громаду,
За пищей приходил он к гнездам птиц.
Кто гость глуши? Свершилася какая
Здесь быль, невероятней небылиц?

Я шел вперед, окрестность озирая:
Всё пусто, видно всё издалека;
И так дошел я до утеса края,
Где снова путь спускается слегка;
И вдруг на аспидном сланцé теснины
Простертого увидел старика
Лет до ста: весь нагой, во сне кончины,
Казалося, лежал он, бородой
И волосом до тела половины
Облитый, как серебряной струей,
На камни, раскаленные от зноя,
Тяжелой опираясь головой.
Недвижимостью смертного покоя
Сиял как будто этот бледный лик.
Стоял, остолбенев, пред ним давно я,
Когда раздался наконец мой клик
И с высоты стремнины до залива
К блуждающим товарищам проник.
На громкий зов они ко мне шумливо
Сбежались, — и замолкли, как и я,
Смотря на это горестное диво.
И вздрогнул он. Дыханье притая,
Мы ждали. Тихо приподнял он руки,
От тяжкого очнулся забытья,
Взглянул, — и трепетом внезапной муки
Исполнилось лицо; вперяет в нас
Глаза он, — хочет вымолвить, — но звуки
Затихли — грудь вздохнула — взор погас.
Наш врач промолвил: «Умер». Мы стояли,
Молитвою безгласною молясь.
Тут аспидные три плиты лежали,
Все раковин прибрежных острием
Исписанные, грустные скрижали.
Всмотрелся я: испанским языком
Рассказывал жилец пустыни дикой
О бедствии неслыханном своем.
Пред этой скорбною судьбе уликой
В глубокой думе долго я стоял,
И грудь наполнилась тоской великой.
И выстрела вдруг прогремел сигнал,
Вернуться принося нам повеленье.
Остался он на месте, где лежал.

Скала, где кончилось его мученье, —
И тихий одр, и памятник ему.
Покой тебе, кому здесь провиденье
Ужасную назначило тюрьму.
Твой час пришел, — теперь ты
на свободе,
Измученный! мир духу твоему!
Свой легкий прах ты отдаешь природе.
Над плотью безмогильною стоя,
Небесный крест блестит в эфирном своде;
А что терпел ты, скажет песнь моя.

ПЕРВАЯ ПЛИТА

Душой владела радость и отвага.
Казал мне впереди мечты разгар
Земные все сокровища и блага.
Индейских тканей блеск, алмазов жар,
Что любо женскому бывает взгляду,
Из дальних стран ей приносил я в дар,
Отцу изнеможенному в награду;
За жизнь труда и жертв собрать умел
Я золото, лет старческих отраду.
И сам я утолил алканье дел,
Потешил взрывы буйства молодого,
Окрепнул духом и умом созрел;
Прошел через широкий мир и снова,
Отрекшись от причудливых страстей,
Вступил под сень отеческого крова.
И в вечном и святом союзе с ней,
Тревог не зная, не страшась напасти,
Встречал я ряд благословенных дней.
Так предавался дум блажной я власти,
На палубе простершись в час ночной
И глядя на мерцанье звезд сквозь снасти.
Попутный ветр прохладною струей
В лицо мне веял, и волна седая
Бежала мимо. — Вдруг удар... другой...
Корабль потрясся с края и до края,
Крик ужаса раздался, теса треск —
И хлынул вал, погибель довершая.

Я помню вкруг себя пучины плеск;
Упорно бился битвой бесполезной
Я с буйством волн, и звезд я видел блеск,
И, наконец, был поглощен я бездной;
И раз еще, слабеющий, я всплыл,
И раз еще взглянул я к выси звездной —
И более моих не стало сил:
Предался я неистовству стремленья,
И мне затмился луч ночных светил. —
И вот сдалось, что скован без движенья
Я пагубным, тяжелым забытьем,
И что я жду напрасно пробужденья;
Что надо взять мне верх над мертвым сном.
И всё лежал в бессильи я глубоком;
И помнилось, как бы в бреду тупом,
Мне про борьбу свою с свирепым током;
И наконец вновь овладев собой,
На камне я нагом и одиноком
Очнулся, одинокий и нагой.
Взлез на скалу, взглянул я — с морем слитый
Сиял кругом свод неба голубой.
Лишь там, где хлещет волн разлив сердитый
На рифы в нескончаемой войне, —
Как черное пятно, полуразбитый,
Стоял корабль, недостижимый мне.
И годы он еще в пустынном море
Чернел, пока не рушился вполне.
И я подумал: здесь в своем мне горе
Недолго смерти спутников моих
Завидовать; и для меня же вскоре
Всё кончится, как кончилось для них. —
Нет, смерть нейдет с спасительным приветом!
Довольно птичьих мне яиц одних,
Чтоб жизнь продлить; и, позабытый светом,
Пишу я ныне, после долгих лет,
Безвестный мученик, на камне этом:
Мне умереть еще надежды нет.

Сидел, восхода солнца ожидая,
Я на скале: лежала темнота
Еще кругом; спускаясь, неба края
Касалося созвездие Креста.
У берега лишь пенистого вала
Светлел прилив, как яркая черта;
Дня близкого приветствуя начало,
Птиц, как во сне, взносились голоса;
Широкой тьмы редело покрывало;
От моря отделились небеса.
Казался день мне прекращеньем плена.
И поднялась рассвета полоса
На горизонт; волны бледнела пена,
Блеск звезд погас, и синева светло
Раскинулась. Упал я на колена,
И на скалу я преклонил чело.
Зардел восток огнистою струею,
И солнце вдруг сверкнуло и взошло.
Я поднял взор с усердною мольбою, —
Корабль! корабль!.. Нет, это не во сне:
На всем ходу, мелькая над волною,
Несется он, — несется он ко мне! —
Есть Судия! есть мукам исцеленье:
Я оживу, я не погиб вполне!
О бог любви! услышал ты моленье!
Ты не забыл меня в моей глуши;
Послал ты казнь, — послал ты и спасенье!
Корабль несется; донесись!.. спеши!..
Чтоб крепко мог людей обнять я снова,
Их мог любить всей силою души!
И, глядя с высоты хребта крутого,
Я побледнел; стеснилась грудь моя:
Зачем дойти до камня им пустого?
Чего им здесь искать, где нет жилья?
И рос корабль, и с ним невыносимо
Моя боязнь росла — спасен ли я?
Увидят ли? Не пронесутся ль мимо?..
Нет ничего, чем знак дать: ни платка,
Ни ветки зеленеющей, ни дыма;

Лишь голая простертая рука.
И уменьшалась даль меж им и мною,
И вот — звук капитанского свистка!
Грудь вздрогнула всей жизнию былою, —
Так как же слов людских я встречу звук
И им упьюсь трепещущей душою?
Вот — видят! .. повернуть хотят. — На юг?
Как! — здесь корабль ударился б об мели, —
Он обогнет утесов полукруг.
Теперь... Всемилосердный бог! .. Ужели?
Не может быть... <нет,> нет! — он повернет, —
Нельзя, чтобы они не разглядели...
И продолжал корабль свой плавный ход;
И возрастала даль меж им и мною.
Смотрел я; и когда, несясь вперед,
С небесною слился он синевою
И в ней исчез, оставивши меня
Обманутым, осмеянным судьбою, —
Тогда, бросаясь на плиты кремня,
Я проклял и себя, и провиденье;
И пролежал три ночи и три дня,
Терзая грудь и с ревом исступленья
Главою ударяясь об утес,
Как бешеная тварь; — лишь в третий день я,
Измучась, мог залиться током слез;
Свирепое безумство присмирело,
И, всё снеся, я голода не снес
И поднялся, чтобы насытить тело.

ПОСЛЕДНЯЯ ПЛИТА

Терпение! — с востока солнце встало,
На западе склонилось к бездне вод,
Кончая день, чтоб день вести сначала.
Терпение! — на юг свершая ход,
Оно горит вновь прямо надо мною:
Год кончился; другой начнется год.
Терпение! — года идут чредою,
Но каждому рыть крест я перестал,
Их пятьдесят отметив над скалою.

Терпение! жди молча, как ты ждал;
И взор держи у горизонта края
И слушай, как об берег бьется вал.
Терпение! друг друга пусть сменяя,
Идет хор звезд, и солнце, и луна, —
Терпению учись, глава седая!
Борьба стихий для мысли не страшна:
Любуется душа их грозной схваткой;
Но страшен сон; — страшнее ночь без сна.
Когда средь тьмы из головы украдкой
Ватага грез и своенравных дум
Выходит вон и злобною повадкой
Тревожит взор и потрясает ум.
Что ты стоишь передо мной так смело
И смотришь вдаль, и шепчешь наобум? —
Я знал тебя, дитя! во мне кипела
Заносчивость твоей блажной груди;
Что ты твердишь про доблестное дело,
Про долг, про счастье, про любовь? — Гляди:
Вот ты к чему спешил в своей гордыне;
Гляди на то, что было впереди.
И ты идешь, — прекрасная и ныне,
Как в те давно прошедшие лета;
Не говори в немой моей пустыне
Мне о былом: ты — лживая мечта;
Ведь над тобой, в отечестве далеком,
Лежит теперь надгробная плита.
Всё рушилось; всё времени потоком
Унесено, что знал я и любил;
Лишь я в глуши, на камне одиноком,
Снес бремя лет и век свой пережил.
Чего ж искать! куда нестись душою?
Мне на земле знаком лишь прах могил.
Молчите, сны! — Восток блеснул зарею,
Сияет день, и солнце гонит вас;
Я вновь один и властен над собою;
Крамола дум безумных унялась.
Пусть донесут слабеющие ноги
Туда, до гнезд, меня и этот раз;
Уж скоро им вседневной их дороги
Не совершать: быть может, срок настал,
Моей души последние тревоги

Утихнут здесь, в затворе этих скал:
Здесь, где меня смиряло провиденье,
Здесь я умру, где жил я и страдал.
Ты, господи, дал силу и терпенье,
Довел к концу тяжелого пути, —
Оставь же мне мое уединенье,
Ко мне теперь людей не допусти!
Услышь меня! Душе ты утомленной
Не дай еще скорбь новую нести;
Пусть здесь один, в глуши моей забвенной,
С мольбой к тебе свой положу я прах.
Над сиротой, покинутым вселенной,
Твой звездный крест зажжется в небесах.

Ноябрь 1855
Петербург

Ф. РЮККЕРТ

ПОЙМИ ЛЮБОВЬ

Пойми любовь! Ищи во взорах милой
Небесных благ, а не земных страстей;
Чтобы святой душа окрепла силой
И не погас бы луч звезды твоей!

Пойми любовь! Найди в очах прекрасной
Не огнь пылающий, но мирный свет,
Чтоб он тебе служил лампадой ясной,
А не спалил бы жизнь твою, поэт.

Пойми любовь! Восторгами любезной
Ты не окуй себя, но окрыли,
Чтоб гостем быть обители надзвездной,
А не рабом обманчивой земли.

<1839>

Г. ГЕЙНЕ

ЛОРЕЛЕЯ[1]

И горюя, и тоскуя,
Чем мечты мои полны?
Позабыть всё не могу я
Небылицу старины.

Тихо Реин протекает,
Ветер светел и без туч,
И блестит, и догорает
На утесах солнца луч.

Села на скалу крутую
Дева, вся облита им;
Чешет косу золотую,
Чешет гребнем золотым.

Чешет косу золотую
И поет при блеске вод
Песню, словно неземную,
Песню дивную поет.

И пловец, тоскою страстной
Поражен и упоен,
Не глядит на путь опасный:
Только деву видит он.

Скоро волны, свирепея,
Разобьют челнок с пловцом;
И певица Лорелея
Виновата будет в том.

<1839>

---

[1] На берегах Рейна существует народная молва, что на одной скале, у подошвы которой находятся опасные подводные камни, каждый вечер сидит прелестная женщина; она расчесывает свои длинные волосы и поет столь восхитительную песню, что все плывущие по реке очаровываются ее звуками, ие могут свести глаз с очаровательницы и, таким образом, погруженные в созерцание ее, наезжают на подводные камни и погибают. Народ называет эту певицу *Лорелеею.*

Ф. ФРЕЙЛИГРАТ

БИВАК

Окоп в степи дремучей,
Огонь блестит сквозь мрак,
Сверкают ружья кучей, —
Французский там бивак.

То Клебера бригада;
Ждут гренадеры дня;
Сидит близ их отряда
Начальник у огня.

Раскинута ландкарта,
Сидит в раздумьи он;
И клонит Бонапарта
В тиши невольный сон.

Кругом дремота та же
Нашла на весь отряд;
К ружью склонился даже
Сторожевой солдат.

Усните, удалые!
Вам завтра новый труд!
Здесь сторожа чужие
Бивак ваш стерегут.

Пусть скачут Мурат-Бея
Лихие ездоки!
Хранят, в дали светлея,
Вас странные полки:

Ждет грозного здесь пира
Товарищ древних чад,
Который с сыном Кира
Из Фивских вышел врат;

К вам Македонец смелый
Подходит, сын побед,

Мир облетевший целый
За Александром вслед;

В своей бывалой силе
Идет, угрюм и нем,
Седой боец на Ниле,
Вождь кесарских трирем.

Воители в пустыне,
Цари веков былых,
Владыке мира ныне
Шлют мертвецов своих.

К живым идут толпою
Живущие в гробах,
И с лат, готовы к бою,
Стряхают тлен и прах;

Сверкает меч их ржавый,
Во мгле сияет щит,
Блестит в красе кровавой
Ряд веющих хламид.

Пред бурной головою
Несется дивный строй,
Сердитою рукою
Схватил свой меч герой,

Вошел на злато трона
Во сне Наполеон,
Предстал, как сын Аммона,
Земле тревожной он, —

И каждого уж края
Судьба в его руке.
А пламя, догорая,
Дымится на песке.

<*1841*>

ГРОБОВЩИКИ

«Прискорбное дело ведется к концу;
На этой постеле лежать мертвецу!»
— «Эх, брат, а тебе что? Твоя ли беда?
Дешевая, знать, твои слезы вода».
— «Нет! право берет поневоле озноб:
Приходится первый ведь делать мне гроб!»
— «Последний ли, первый ли, — равны они;
На, выпей-ка чарку да песнь затяни.
Да доски сюда принеси ты в сарай,
Пилой распили их, рубанком строгай;
Прилаживай доску к доске ты живей,
Да черным суконцем, как должно, обей.
Да стружки потом подбери ты с земли,
Да ими сосновое дно устели,
Чтоб в гробе — такое поверье у нас —
На стружках отжившая плоть улеглась.
Внесешь гроб ты завтра к покойнику в дом;
Положат, накроют — и дело с концом».
— «Готовлю я доски, и мерю я их,
Но дум не могу пересилить своих;
Строгает рубанок, и ходит пила,
Но мутны глаза, и рука тяжела.
Смотрю, чтоб к доске приходилась доска,
Но в сердце томление, в сердце тоска.
Прискорбное дело ведется к концу,
На этой постеле лежать мертвецу!»

Ноябрь 1855
Петербург

Ю. ГАММЕР

* * *

Ты к звездам обратися в горе:
Они с тобой в святой связи
Сияют издали в просторе,
А людям чужд ты и вблизи.

Заплачь в объятиях природы,
Слезами душу утоми;
Но, как не ведая невзгоды,
Потом являйся пред людьми.

Когда их злобы бестолковой
Тебя преследует укор,
Ищи себе ты силы новой
В глуши лесов, на высях гор.
В борьбе с собою долг свой честный,
Свое призванье вновь пойми,
В борьбе немой, в борьбе безвестной
И не разгаданной людьми.

Ты совершил ли труд счастливый, —
Готовься бодро к делу вновь;
С тобой в толпе той суетливой
Сошлась ли верная любовь, —
Предайся ей душою всею,
Всем сердцем благодать прими;
Но чистой радостью своею
Нейди делиться ты с людьми.

Встречай гоненья и напасти
И бедствий мира будь сильней;
Гляди в лицо державной власти,
Не содрогаясь перед ней.
Шлет долю бог; тяжка ли доля —
Во прахе мысль к нему стреми,
Молись: «Твоя да будет воля!»
Но не склоняйся пред людьми.

И если ты творцом вселенной
Для пытки избран роковой, —
Да будет тайною священной
Она меж богом и тобой.
И если пасть тебе придется
Под ношей мук, — свой вопль уйми:
В груди пусть сердце разорвется,
Но не застонет пред людьми.

Июль 1860
Пильниц

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДЕРЕВА

Восточный рассказ

Был в Таберстане, по словам преданий,
Судья, достойный званья своего,
По имени Эбу Аббас Руяни;
Народ премудрым мужем звал его.
К нему явился для решенья дела
Раз человек, которому должник
Не отдавал займа, промолвив смело:
«Не брал я денег». — Не было улик.
«Так клятвы ждет закон, и клятвой тою
Иск прекращается», — сказал судья.
«Помилуй бог! Тогда ограблен я:
Обманщик рад отделаться божбою!» —
Воскликнул обвинитель, прослезясь.
Увидел в горестной его тревоге
Правдивость показания Аббас.
«Где дал ему ты деньги?» — «На дороге,
У дерева». — «Их дал взаймы ты?» — «Да».
— «Пусть дерево же приговор суда
Решит; иди, проси его защиты;
Под тению его склонись в пыли,
Усердную молитву соверши ты
И здесь с тобой предстать ему вели:
Да ясными провозгласит словами,
Какой тогда был уговор меж вами».

Просителя противник, засмеясь,
Как шутку этот выслушал наказ;
Но тот пошел, смиренной веры полон.
Повременив, сказал слегка Аббас,
Как про себя: «Теперь уже дошел он
До дерева, я полагаю». — «Нет,
Не мог дойти он до него так скоро!» —
Должник невольно вымолвил в ответ.
Аббас смолчал, как будто б разговора
Оно не стоило; но как потом
Проситель, с грустным возвратясь лицом,
Поведал: «Дерево вотще с мольбою
Я заклинал; его мольба моя
Не двинула», — тогда сказал судья:

«Уж дерево явилось предо мною
С свидетельством, и правду слышал я.
Мне свой обман, на совесть дерзко взятый,
Сам высказал невольно виноватый».

1860 или 1861 (?)

* * *

Превозмоги печаль свою,
Забудь напрасных дум обманы;
Сердечные свои ты раны
Не в храбром получил бою.
Дух бодрый ищет утешенья,
И утешенье встретит он:
Тот, кто не хочет исцеленья,
Тот себялюбьем удручен.

Как ты средь света ни терпел, —
Сближайся вновь с ним без укора;
Он всё ж причина и опора
Предпринятых тобою дел.
Кто веры в человека полон,
Тот победит вражду людей,
Свершит свой долг, как ни тяжел он.
Пойдет дорогою своей.

Трудам предайся ты в тиши,
Хотя б толпа их не ценила;
Изведай и пойми, что сила
Есть благо высшее души;
В ней истин радостных созданье,
Стремленье вечное вперед,
Не данное людьми стяжанье, —
Она сама его берет!

Октябрь 1861
Пильниц

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ

* * *

Восторгов предаваясь власти,
Очаровательна вполне,
С слезой в глазах, с улыбкой страсти
Она склонялася ко мне.
Но верх она брала ль над тою,
Глаза которой от меня
Отворотилися с тоскою,
Слезу иную уроня?
Я целовал свою Цирцею,
Пил наслаждения фиал;
Но почему, пока я с нею
В блаженствах бурных утопал,
Из жизни мне моей старинной
Минута помнилася та,
Когда прижал к руке невинной
Свои я чистые уста?

Август 1859
Тарент

С ФРАНЦУЗСКОГО

Ж. МОЛЬЕР

АМФИТРИОН

ЯВЛЕНИЕ 1

Сосий

(Входит с фонарем в руке)

Кто это? .. Кто идет? Пропал я! .. Чу! .. Ни шага
Без страха нового. Приятель, господа,
Приятель всем; то и гляди — беда.
Что за безумная отвага
Бродить полуночной порой!
Ведь подшутил же повелитель мой
Безбожно надо мною, право.
Горька его приходится мне слава!
Когда бы к ближнему он своему
Имел хоть тень любви, малейшее вниманье,
Посовестился б он дать приказанье
Мне отправляться в эту тьму.
Нельзя ли было ждать рассвета,
Чтоб слать известие победы над врагом?
Была бы хуже новость эта,
Когда б ее принес не ночью я, а днем...
Тьфу! что за тяжкая неволя!
Как бы охотно я расстался с ней!
Чем господин у нас знатней,
Тем нестерпимей наша доля.
Им тешиться всегда пора.

Будь день иль ночь — ничто им не помеха,
Ни дождь, ни град, ни холод, ни жара;
Ступай, куда велят; спеши, когда нет спеха...
Но там, сквозь темноту, виднеется наш дом;
Мой пропадает страх. Явившися послом,
Алкмене рассказать я должен, в складной речи,
Об удивительной и славной этой сече.
Но как мне говорить о том,
Чего я не видал? Что ж? расскажу я смело
И растолкую всё, как очевидец дела.
Немало есть рассказчиков таких:
Опишет битвы нам иной, что просто чудо,
Меж тем как издали не смел глядеть на них.
Сумею же и я... Однако мне покуда
Немного свой рассказ здесь затвердить не худо,
Слов только стоит не беречь.
Вот эта комната, где происходит сцена,
А этот фонарек — Алкмена,
К которой обращаю речь.

(Ставит фонарь перед собою.)

«Мой храбрый господин и нежный ваш супруг,
(Прекрасно начато!) вам преданный и верный,
Меня избрал из всех своих усердных слуг,
Чтоб весть вам принести победы беспримерной
И что он с радостью спешит неимоверной
С супругой любящей свой провести досуг».
— «Ах, Сосий, верь ты мне, равно как этой вести,
Свиданию с тобой душевно рада я».
— «Мне это слишком много чести,
И зависть возбуждать должна судьба моя».
(Отличнейший ответ! доволен я собою.)
— «Что делает любезный мой супруг?»
— «Он делает всё то, что свойственно герою».
(Придумал же я это вдруг!)
— «Но долго ли мне ждать? Когда вернется снова
И осчастливит тем меня Амфитрион?»
— «Прескоро, в этом нет сомненья никакого,
Но позже, чем желает он».
(Как ловко отпустил я это в миг удобный!)
— «Но чтобы я вполне спокойна быть могла,
И дел и слов его отчет мне дай подробный».

— «Его слова делам его подобны,
И бесподобны все дела».
(Откуда у меня ума берется столько?)
— «Но что ж враги? Поход окончен ли и чем?»
— «Нам стоило их встретить только,
Чтоб уничтожить их совсем.
Взят приступом их город главный,
Начальник дерзкий их убит,
И в нашей пристани гремит
Уже везде наш подвиг славный».
— «Возможно ли? Какой неслыханный успех!
Я ожидать подобного не смела.
Скорей же расскажи с начала мне всё дело».
— «С великой радостью. Признаться мне не грех,
Что говорить о нем могу я лучше всех.
Представьте же себе, что здесь поля и нивы;
Столица сбоку здесь, и, право, велика
Она, без малого как Фивы;
А здесь, вот так, течет река.
Тут стали наши вот дружины,
А тут враги, на этом вот краю,
Пехотою заняв вершины,
А конницу внизу расположив свою.
Распорядилися, восслав к богам молитву,
Вожди и дали нам немедля битвы знак;
И бросился на нас неосторожный враг
Со всею конницей, спеша как на ловитву;
Но вышло дело-то наоборот,
И наша храбрая пехота,
Всей силой двинувшись вперед...»
Позвольте... храбрую пехоту страх берет...
Мне кажется, тут зашумело что-то.

ЯВЛЕНИЕ 2

Сосий; Меркурий, видом совершенно похожий на Сосия, выходит из дома Амфитриона.

Меркурий
(в сторону)

Потехою теперь окончу ночь
И болтуна, под глупой этой рожей,

Как снимок на него похожий,
Отсюда прогоню я прочь,
Чтобы с Алкменою вдвоем Юпитер страстный
Беседовать спокойно мог.

Сосий

Нет, это был испуг напрасный.
Однако же верней ступить через порог
И боем в комнате похвастать безопасной.

Меркурий
(в сторону)

Старайся ж быть сильней Меркурия, дружок.

Сосий

Давно бы, кажется, должна взойти на небо
Заря румяная; устали ль клячи Феба,
Иль, подгуляв вчера, храпит еще он сам,
Но где ни погляди, везде чернее печи.

Меркурий
(в сторону)

За эти дерзостные речи
Достанется твоим плечам!

Сосий
(увидев Меркурия)

Ай! ай!.. вот и оно! Вплоть перед нашим домом
Какой-то человек стоит.
Не нравится его мне вовсе дюжий вид:
Как бы не встретил он плохим меня приемом!
Не надо оплошать: чтоб скрыть боязнь свою,
Прохаживаясь здесь, я песню запою.

(Начинает петь.)

Меркурий

Кто смеет докучать своим мне скверным пеньем?
Под палкою моей он переменит тон.
Советую молчать; не славлюсь я терпеньем.

По мере того как Меркурий говорит, голос Сосия слабеет,

Сосий

(в сторону)

Знать, музыки не любит он.

Меркурий

Моим здесь кулакам давно уж дела мало;
Боюсь, чтоб в праздности их сила не пропала.
Ни с кем не свяжешься — такой дрянной народ!
Четвертый день ищу, чтоб не забыть повадки,
Я чьей-нибудь спины.

Сосий

(в сторону)

Что это за урод?
Моя душа уходит в пятки...
Но, может быть, он храбр лишь на словах,
Не менее меня боится схватки
И только хвастает, чтоб утаить свой страх.
Так не поддамся же. Зачем терпеть обиду?
Коль я на деле трус, отважен буду с виду:
Один он, как и я. Храбриться мой черед.
Наш дом близехонек; смелей же!

Меркурий

Кто идет?

Сосий

Я.

Меркурий

Кто ты?

Сосий

Я. (Смелей! не всё молчать, как рыба.)

Меркурий

Какого рода ты?

Сосий

Людского рода я.

Меркурий

Куда идешь?

Сосий

Туда, где надобность моя.

Меркурий

Ответы мне твои не нравятся.

Сосий

Спасибо.

Меркурий

Хотя иль нéхотя, ты скажешь мне, ей-ей,
Откуда шел ты до рассвета,
Куда идешь, слуга ты чей,
И что ты делаешь. Живее! жду ответа.

Сосий

Зло делаю тогда, когда я зол,
Добро — как скоро есть причина,
Оттуда, видишь, я пришел;
Иду я вот куда; слуга я господина.

Меркурий

Я вижу, отпускать ты любишь остроты́.
Пришло желанье мне, в награду у́мной речи,
Знакомство наше здесь и будущие встречи
Начать пощечиной.

Сосий

Как?

Меркурий

(дает ему пощечину)

Вот как видишь ты!

Сосий

Так это не шутя?

Меркурий

Напротив, ради шутки,
Так, в роде выходки и в виде прибаутки.

Сосий

Не будь вам сказано в упрёк,
Вы на пощечины куда как тороваты!

Меркурий

Помилуй, не хвали за этот вздор меня ты,
Получше будет, дай лишь срок.

Сосий

Когда б вспылил и я так скоро,
История была б плоха.

Меркурий

Да, нечего таить греха,
Увидишь и не то в теченье разговора.
Ну, продолжай.

Сосий

(хочет идти)

Мне недосуг.

Меркурий

(останавливает его)

Куда?

Сосий

Тебе зачем?

Меркурий

Мне знать пришла охота.

Сосий

Иду вот в эти я ворота;
Кажись, тебе тут нет вреда.

Меркурий

Тебя дубиною я угощу на славу,
Коль ты к ним подойти посмеешь, милый мой.

Сосий

Что это вздумал ты? и по какому праву
Мне не даешь идти домой?

Меркурий

Как так, домой?

Сосий

Ну да, домой.

Меркурий

Чудесно!
Так в этом доме ты живешь?

Сосий

Да, ведь Амфитрион хозяин здесь.

Меркурий

Так что ж?

Сосий

Его слуга я.

Меркурий

Ты? слуга его?

Сосий

Известно.

Меркурий

Амфитриона?

Сосий

Да.

Меркурий

Ты?

Сосий

Я.

Меркурий

А сам ты кто?

Сосий

Я Сосий.

Меркурий

Как? Повнятнее мне это слово
Еще скажи-ка раз.

Сосий

Пожалуй, раз хоть сто.

Меркурий

Как имя-то твое, а?

Сосий

Сосий.

Меркурий

Знаешь что?
Отсюда я тебя не выпущу живого.

Сосий

Помилуй, почему? что на тебя нашло?

Меркурий

Ты смеешь Сосия брать имя мне назло?

Сосий

Я не беру его, оно мое.

Меркурий

Бесстыдный!
Возможно ли ко лжи прибегнуть очевидной?
Ты смеешь утверждать, передо мной стоя,
Что Сосий ты?

Сосий

Так что ж? В том виноват я, что ли?
Зависело оно не от моей же воли,
И не могу ж я быть не я.

Меркурий
(бьет его)

Вот мой ответ.

Сосий

Разбой! на помощь, люди! живо!
На помощь!..

Меркурий

Ты кричишь, злодей?

Сосий

Еще бы! кажется, не диво:
Ты бьешь, а я кричать не смей!

Меркурий

Вот так наказывать умею я нахала,
Чтоб он...

Сосий

Чем хвалишься? тебе тут чести мало.
Силен ты потому, что робок я, бедняк;
Ты бьешь лежачего: брать верх нетрудно так,
И подвиг, согласись, не слишком знаменитый
Над трусом тешиться.

Меркурий

Теперь ты Сосий ли?

Сосий

Меня переродить удары не могли:
Вся перемена та, что Сосий я прибитый.

Меркурий

Опять? Рука моя тебя ж проучит вмиг
Порядком, чтоб не позабыл науки.

Сосий

Молю тебя, уйми свои ты руки!

Меркурий

Уйми же дерзкий свой язык!

Сосий

Изволь; не равен спор, и слишком мне несходно
Обходятся мои слова.

Меркурий

Что ж? Сосий ты?

Сосий

Я — что тебе угодно.
Я поупрямился сперва,
Но на меня свои кулачные права
Ты доказать сумел мне превосходно.
Решай же жребий мой.

Меркурий

Ты уверял меня,
Что точно Сосий ты.

Сосий

Признаться откровенно,
Оно до нынешнего дня
Казалося мне несомненно;
Но палкою твоей теперь я вразумлен,
И не хочу мечту поддерживать я дракой.

Меркурий

Я Сосий — это знает всякий;
Мне господин Амфитрион.

Сосий

Ты Сосий?

Меркурий

Да; и с тем, кто возразит хоть слово,
Я тут же справиться берусь.

Сосий

(в сторону)

О боже! что мне снесть пришлось от вора злого!
И как он счастлив, что я трус!
Не то уж от меня досталося ему бы! . .

Меркурий

Что ты бормочешь там сквозь зубы?

Сосий

Так, ничего; но дай сказать ты мне
Хоть слова два.

Меркурий

Скажи.

Сосий

Но с тем, чтоб в стороне
Остался твой кулак; условимся, покуда
Мы в перемирии, чтоб не было битья, —
Согласен ты иль нет?

Меркурий

Будь так, согласен я.

Сосий

Какая же, скажи, пришла тебе причуда
Мое названье красть? какой тебе в нем прок?
И что возьмешь ты выдумкой такою?
Будь ты сам черт, ведь сделать ты б не мог,
Чтоб не был я самим собою?

Меркурий
(поднимает палку)

Как! стало быть, ты снова...

Сосий
(останавливает его)

Нет, позволь;
А уговор...

Меркурий

Как, плут? Тебе ли, негодяю,
Посметь...

Сосий

Ругания я допускаю:
От слов не велика мне боль.

Меркурий

Ты Сосий, стало быть?

Сосий

К чему все эти речи?
Конечно, Сосий я, и рад или не рад. . .

Меркурий

Стой! слово я свое беру назад —
Мир кончен: береги свои ты плечи.

Сосий

Как хочешь, хоть убей, я не останусь нем,
И не поддамся я неслыханной напасти.
Да образумься ты: быть мной в твоей ли власти?
Могу ль я сделаться никем?
Видал ли кто такое притесненье?
Да что же это? привиденье?
Горячки бред? воображенье? сон?
Ведь наяву же я стою здесь в самом деле,
В своем себя ведь чувствую ж я теле,
Ведь не ума же я лишен,
Возможно ль быть во мне какой-нибудь подмене?
Меня из пристани с известием Алкмене
Не выслал ли Амфитрион?
Я не сюда ль пришел? Не всё ль мне здесь знакомо?
Я не держу ль фонарь в руке?
Не встретил ли тебя у нашего я дома?
Не стал ли упражнять кулак свой без ума
Ты на моем несчастном позвонке?
Нет, это не фантазия пустая;
Могу, к своей беде, ручаться в том спиной.

Меркурий

Молчи, иль до смерти приколочу. Со мной
Сбылося это всё, побои исключая.
Молчи же.

Сосий

Этому известно фонарю,
Как, с трепетом предупредив зарю,
Из пристани отправился сюда я.
Ведь всё ж скажу одно и то ж:
С известием победы и с поклоном
Послал Амфитрион меня к Алкмене.

Меркурий

Лжешь!
К Алкмене послан *я* Амфитрионом;
Я с кораблей иду в наш дом;
Я весть несу победы над врагом;
Я Сосий, наконец, слуга исправный,
Сын Дава пастуха, Милона брат,
Муж Клеантиды своенравной,
С которой жизнь мне сущий ад;
Я самый Сосий тот, который в дом здесь взят,
Живет уж в нем лет десять сряду.
По скромности не говорю о том,
Что он, усердия в награду,
Был в Фивах сечен палачом.

Сосий

(в сторону)

А ведь он прав! Нельзя б, не бывши мною,
Сказать, что мне известно одному,
И начинаю сам, смутясь душою,
Отчасти верить я ему.
Сообразив теперь всё вновь и по порядку,
Я вижу, что совсем он на меня похож,
Что мой имеет вид, мою повадку.
Так испытаю я его ж,
Чтоб эту разгадать загадку.

(Вслух)

Чем был твой господин, скажи мне, награжден,
Из взятой у врагов добычи разной?

Меркурий

Чудесной пряжкою алмазной,
Имуществом вождя; носил тщеславно он
Ее всегда, нарядом, на кольчуге.

Сосий

Куда же этот дар девал Амфитрион?

Меркурий

Он шлет его своей супруге.

Сосий

Но где ж хранится он и в чем
Теперь, по твоему понятью, —
Скажи.

Меркурий

Лежит он под печатью
В ларце, обитом серебром.

Сосий

(в сторону)

Ни словом не солгал. Вот странная статья!
Я сомневаюся в себе уж не на шутку;
Сознаться моему приходится рассудку,
В чем созналась спина моя.
Попал же я в беду, о том не помышляя!
А ведь как вспомню всё и щупаю себя я,
Мне кажется, что я же — я.
Как это мне проведать толком?
Что делал я один, и тихомолком,
Конечно, уж один могу я знать.
Так подожди ж, тебя я озадачу.
Ну, отвечай-ка наудачу.

(Вслух)

Когда построилася рать
Во время первой нашей схватки,
Куда ж ты побежал стремглав?

Меркурий

В съестных припасах...

Сосий

(в сторону)

Так!

Меркурий

Я, окорок сыскав...

Сосий

(в сторону)

Ну так!

Меркурий

Унес его проворно за палатки,
С ним кстати захватил вино
Прекрасного, янтарного отлива,
И вкусу и глазам приятное равно...

Сосий

(в сторону)

Тьфу пропасть!

Меркурий

Выбрал торопливо
Местечко тихое одно,
И, слыша издали ужасную тревогу
Сшибающихся ратных сил,
Я, войску нашему в подмогу,
Себя немного подкрепил.

Сосий

(в сторону)

Теперь уж кончен спор, и правда несомненна.
Каков же горький мой удел!
Он мной быть должен непременно,
Коль он в бутылке не сидел.

(Вслух)

Ты убедил меня, и мой обман мне ясен;
Так точно, Сосий ты. Пришлось рукой махнуть;
Не смею уж тебе противиться отнюдь.
Но чем же буду я? Ведь ты со мной согласен,
Что надо ж быть мне чем-нибудь?

Меркурий

Когда я Сосием уж более не буду,
Будь снова им — я в том не вижу зла;
Но если жизнь твоя тебе мила,
До той поры брось эту ты причуду.

Сосий

Что тут поймешь? Я вовсе сбит с пути.
Но надо как-нибудь покончить это:
Всего короче — в дом войти.

(Хочет идти.)

Меркурий

А! так не вдоволь, знать, спина твоя нагрета?

(Бьет его.)

Сосий

О боги! это что? он бьет уж мне невмочь.
Нашел себе, злодей, бесовскую забаву!
Тут делать нечего, пришлось убраться прочь.
    Вот сладил-то с посольством я на славу!

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 3

Меркурий
(один)

Отправился; и мной наказана сполна
Здесь кстати же его проделка не одна;
    И вовремя прогнал я негодяя:
Идет уж, мнимого супруга провожая,
        Амфитрионова жена.

ЯВЛЕНИЕ 4

Юпитер под видом Амфитриона, Алкмена, Клеантида, Меркурий.

Юпитер
(Алкмене)

Бегут мгновения, и нам дано их мало.
    Могу еще помедлить, но вели,
    Чтоб стражею прислуга там стояла
И чтобы факелы осталися вдали.
Избегнуть надобно здесь встречи мне случайной,
    Чтоб мой приход сюда для всех был тайной
    И в город слух о нем бы не проник.
Мной восхищаются они теперь повсюду,
Амфитрион им бог; дивятся все, как чуду,
Здесь подвигу его, твердят, что он велик;
Но избавитель Фив сказать не мог бы Фивам,

Что уступил души могучим он порывам,
Что смел счастливым быть на миг.
Так, буйно полная любви к нему и рвенья,
Чернь эта не простит, и, в радости своей,
Что, не дождавшись позволенья,
Хоть час он позабыл о ней.

Алкмена

Так вовсе же, на срок, о ней забудь со мною,
Короткий этот час вполне мне подари.
Восток белеет полосою,
Недалеко уж до зари —
Недалеко уж до разлуки...

Юпитер

Вернуся я, сойдемся мы опять,
Сойдемся скоро мы.

Алкмена

Как это знать?
За то, что будет, где поруки?

Юпитер

Охотою себе изобретаешь муки,
Чего боишься ты? врагов разбита рать.

Алкмена

Боюся я всего. Твои походы,
Твои труды — всё страшно для меня;
Я для ладьи твоей боюся непогоды,
Боюсь стремнин для твоего коня.
Прости мне, друг, люблю твою я славу,
Люблю дивиться я герою моему;
Когда тебе я руку жму,
Когда к груди твоей склоняюся по праву,
Дороже помысел всех царских мне корон,
Что эта же рука — отчизны оборона,
Что смеет с гордостью жена Амфитриона
Явиться между фивских жен.
Я подвигов твоих блестящих рядом
Великолепно убрана,

И знаю, что моим нарядом
Хвалиться изо всех не может ни одна.
Но счастью быть с тобой мне слава не замена.

Юпитер

Ты любишь страстно — да. Мне эта страсть нужна.
Ты любишь; но кого так любишь ты, Алкмена, —
Того ль, кем спасена страна?
Ты мужа любишь ли, по долгу, как жена?
Ты любишь ли того, который мог обильно
Тебя вознаградить всем блеском суеты?
Или того, которым так всесильно,
Так горячо любима ты?

Алкмена

Как отвечать? Как тут делить понятья?
Я чувствую порыв во мне один:
Люблю тебя вполне и без изъятья;
Склонилась я в твои объятья,
Моей любви не ведая причин.

Юпитер

Нет, дай сказать мне всё, делиться дай с тобою
Мне всем, что мыслю я, всем, что я в сердце крою:
Хочу приобретать не правом я людским
Твою взаимность, друг, и не людским законом;
В часы моих блаженств хочу, тобой любим,
Быть не вождем Амфитрионом,
Не повелителем твоим:
Хочу я от тебя свободного влеченья,
Хочу, чтоб, мыслию ты долг отстороня,
Была моей; хочу, чтоб ты меня
Любила до вины, до преступленья!
Да, нужно гордому знать сердцу моему,
Что если б не был я твоим супругом,
Мы всё-таки душой сошлися бы друг с другом,
Забыв про всё и вопреки всему.

Алкмена

Как странен ты! Зачем тревожиться напрасно
Пустым мечтанием и думой без плода?
Не говорил еще ты никогда
Со мною так.

Юпитер

Я никогда так страстно
Тебя и не любил, как в этот час... А вот
Уж и заря: белеет неба свод,
И не могу я отдалить разлуку.
Проснутся улицы. Прости ж, пора идти;
Приводит день труды свои и скуку.
Прости, моя краса. Вернуся я. Дай руку.

Алкмена

Прости же. О себе меня ты извести.

Юпитер

Прости, мой друг.

Алкмена

Прости, Амфитрион.

(Идет, потом оборачивается и подбегает опять к нему.)

Прости!

(Идет в дом. Юпитер уходит.)

ЯВЛЕНИЕ 5

Клеантида, Меркурий.

Клеантида

(в сторону)

Вот муж! скажу: небесная награда!
Какие нежности! Не то, что мой урод:
Стоит себе хомяк, зажавши рот,
Нет ни понятья в нем, ни склада.

Меркурий

(в сторону)

Теперь меня не держит уж никто,
И мешкать нечего.

(Хочет идти.)

Клеантида

(останавливает его)

Как! это что?
Ты отправляешься?

Меркурий

Нейти ведь не могу же
С Амфитрионом я.

Клеантида

С тобой что день, то хуже;
Убраться от меня тебе великий спех!

Меркурий

Еще мы вместе насидимся.

Клеантида

Дело!
Знать, чересчур тебе я надоела;
Со мной сказать и слово, видно, грех!
Твоей любви уж несомненны знаки.

Меркурий

Какие же велишь придумывать мне враки?
Проживши вместе лет десятка два,
Давно сказали мы с тобою
Уж всевозможные слова.

Клеантида

Смотри, злодей, каков Амфитрион с женою,
И постыдись.

Меркурий

Эх, матушка моя!
Они не то, что ты да я.
Всему пора: в них еще много вздора;
Им нежности к лицу теперь,
А были б в нас они умора.
Вся эта блажь проходит скоро;
Притихнут и они — поверь.

Клеантида

Так, стало быть, в мои я лета
Уж не могу любви внушать?

Меркурий

А почему же так? Я говорю не это:
Внушай ты, нет тебе помехи в том; да мне-то
Внушеньям следовать не стать.

Клеантида

Ты непорочную супругу
Иметь достоин ли, тюлень?

Меркурий

Ох, окажи ты мне услугу,
Будь попорочнее, да не бранись весь день.

Клеантида

Вот как! из див уж это диво!
Что я живу благочестиво,
Что тайных нет во мне затей,
Мне ставишь ты в вину: люблю я новость эту.

Меркурий

Мне кротость жен всего милей.
Сгоняешь ты меня со свету
Благочестивостью своей.

Клеантида

Нужна тебе иная, знать, сноровка.
Хотел бы ты иметь жену из умниц тех,
Которые, мужьям так угождая ловко,
Им лаской свой подслащивают грех.

Меркурий

Не прочь, признаться, от того я;
Мог бы хоть дух я перевесть.
Когда ни часу нет покоя,
Тошна становится и честь.

Клеантида

Как! ты позволил бы, чтоб я могла свободно
Другому подарить...

Меркурий

Всё, что тебе угодно,
Лишь не был бы твоим я криком оглушен.

Мне добродетели мучительной и злобной
Приятнее порок удобный,
Который даст мне угомон.
Прощай, дружок мой бесподобный;
Меня там ждет Амфитрион.

(Уходит.)

Клеантида

(одна)

Будь только я другого нрава,
Уж поплатился б ты и не шутил со мной.
Как иногда досадно, право,
Быть добродетельной женой!

<1856>

А. ШЕНЬЕ

СЛЕПОЙ

Остался голос мне...

«Сереброгукий бог! бог Клароса, внемли!
О Феб! погибну я среди чужой земли,
Когда не будешь ты опорою слепого!» —
Так говорил слепой, и тихо шел, и снова
На камень отдохнуть садился. Вдоль дубрав,
На лай сердитый псов поспешно прибежав,
От стаи лютой их пришельца защищая,
За ним три пастуха следили, дети края,
И, слушая его, шептали меж собой:

«Откуда тот старик безвестный и слепой?
Не дивный житель ли заоблачного мира?
На поясе его висит простая лира,
И голосу его как будто небеса
Сочувствуют, и дол, и волны, и леса».

Но услыхал слепец их близкой речи звуки,
Смутился и простер трепещущие руки
Навстречу отрокам с смиренною мольбой.
«Не бойся, — говорят они, — старик слепой,

Не бойся нас; когда, под этой плотью тленной,
С Олимпа не сошел к нам гость благословенный...
Так величав твой вид и полон красоты
Какой-то неземной. Но если смертный ты, —
Утешься: оскорблять не смеем мы несчастных:
Таинственен и мудр завет богов всевластных;
Глубокой темнотой покрыл твой взор Зевес,
Но песен дивный дар послал тебе с небес».
— «Нет, — говорит старик, — бояться вашей встречи
Мне нечего: умны и нежны ваши речи,
И нежен, должен быть, и радостен ваш вид;
Но нищий странник ждет лишь бедствий и обид.
С богами вы меня не сравнивайте, дети;
Взгляните на меня — увы! в морщины ль эти
Себя властители Олимпа облекли?
Нет, я измученный и жалкий сын земли;
Я нищий немочный, лишенный пропитанья,
Скиталец, отданный толпе на поруганье.
Не преступленьем дни мои отравлены́,
Не бремя я несу Эдиповой вины,
И музы светлые не мстят, как Фомириду,
Несчастному певцу за тяжкую обиду;
Но ниспослал Зевес на старость лет ему
Нужду, презрение, изгнание и тьму».
— «Возьми, и будь тебе, старик, судьба иная». —
И, свой запас дневной поспешно собирая,
Колени нищего они наперерыв
Покрыли грудою и сыра, и олив,
И сладких фиников, и груш; и хлеб ячменный
Уж бросили они собаке утомленной,
Которая, беду хозяина деля,
Вослед изгнаннику прыгнула с корабля.
«Есть дни отрадные порой для угнетенных;
Приветствую я вас, детей благословенных! —
Ответствует слепой. — Блаженна ваша мать!
Придите, дайте мне руками вас признать.
Я будто вижу вас: прекрасны вы все трое.
Растите в радость нам, о племя молодое!
Своими благами Зевес вас одарил;
Растите счастливо, в избытке юных сил,
Как пальма оная, воспитанница неба,
Которую я зрел среди святыни Феба

Тогда, как по морским пронесся я волнам
И в Делосе вступил в его великий храм.
Вам будет благодать и счастие в награду
За то, что нищему приносите отраду.
Мать ваша, отроки, родилася едва,
Когда уже моя седела голова.
Ты, старший, подойди, защитой будь моею,
Будь мне опорою, когда я ослабею.
Тебе вверяется покинутый слепец.
Сядь около меня».

— «Скажи ты нам, отец,
Какая над тобой судьба свершилась злая?
Когда и как достиг до нашего ты края,
Кругом облитого сердитою войной?»

— «Кимейские купцы везли меня с собой.
Я плыл из Карии, хотел изведать снова,
Не смолк ли гнев богов и не найдется ль крова
Под небом Греции для старого певца.
Мы всё надеемся до самого конца...
Но я платить не мог — злодеи знали это,
И бросили меня они на берег где-то».
— «Но щедрой платою была бы песнь твоя,
Старик...»

— «Увы! дитя: глас звучный соловья
Не тронет ястреба, упившегося кровью,
И не одарены священною любовью
К искусствам сладостным тупые богачи.
Один вдоль шумных волн я шел в своей ночи,
Не ведая куда, несчастный сын изгнанья;
Я шел и слушал стад далекие мычанья;
Потом я лиру взял, и струн напев живой
Еще проснулся раз под дряхлою рукой.
Зевеса я хотел склонить своей мольбою, —
Как псы ужасные напали стаей злою
Здесь на меня, и я б погиб от всех вдали,
Когда б на помощь мне вы, дети, не пришли».

— «Отец наш! стало быть, всё хуже ныне в мире?
В былые времена, покорны дивной лире,

Смирялись, говорят, в безлюдии лесном
Львы кровожадные пред сладостным певцом».

— «Я около кормы сидел. — „Слепой бродяга! —
Сказала варваров бесстыдная ватага, —
Пой, ежели твой ум твоих яснее глаз;
Восхвалишь ты богов за то, что тешил нас".
Взял верх я над собой, умолкнуть ропот духа
Заставил; голос мой их не коснулся слуха:
Не выпустил из уст я пламенных речей
И бога гневного сдержал в груди своей...
Они не тронулись рапсода злой судьбиной,
Ругалися они над дивной Мнемозиной!
Погибни ж имя их, и будь же их страна
Забвенью темному навек обречена!»

— «Пойдем, будь гостем нам; недалеко до града.
Принять любимцев муз отчизна наша рада.
Мы место первое в пирах дадим тебе,
Где лира ждет певца на мраморном столбе.
И яства редкие, и сладкий мед, и вины
Изгладят в памяти следы былой кручины.
И если новых ты обрадовать друзей
Захочешь песнею восторженной твоей, —
Наградой дорогой нам будет песня эта,
И возвеличим мы питомца Музагета».

— «Идем; вам ввериться хочу я. Но со мной
Куда спешите вы? дорогою какой?
Куда привел Зевес несчастного слепого?»

— «Судьба дала приют отеческого крова
Нам в мирном Сикосе».

— «Привет тебе, вдвойне
Гостеприимный край! знаком твой берег мне:
Я помню, как богат дарами от природы!
Отцов я ваших знал, друзья, в былые годы;
Они росли, как вы; тогда еще мой взор
Зрел солнце светлое и голубой простор.
Я молод был и смел, любил пиры и бои,
Везде являлся я, где тешились герои.

Я видел Аргос, Крит, Коринф и роскошь Фив,
Реки Эгиптоса неслыханный разлив;
Но море и земля, и лютые печали,
И годы тяжкие бездомца истерзали.
Остался голос мне. Так после бури злой
Цикада бедная поет в глуши лесной. —
Начнем воззванием к богам: Зевес владыка
И ты, живым лучом сияющего лика
Всепроникающий, могучий Гелиос,
Ты, Океан седой, отец свирепых гроз,
Немые божества медлительного мщенья, —
Хвала! — Придите вы, богини песнопенья!
Всё ведаете вы, и жителям земным
Лишь ведать можно то, что вы открыли им».

Он пел, и, словеса рапсода понимая,
Склонялася к нему дубравы сень густая
И мерному стиху шептала тихо в лад;
И путники с дорог, и пастухи от стад
Стекались. Слышит он уже толпы их тесной
Круг возрастающий; и, речию чудесной
Пленясь, внимали все, дыханье притая,
Как в гимне он слагал начала бытия:
Огнь, влагу и эфир, земли святое лоно,
И ток могучих рек из персей Крониона,
Законы — ими же смятенье улеглось —
И властью Эроса устроенный хаос.
Он пел семью людей, старинные уряды,
Искусства мирные и дружеские грады.
Пел Олимпийца он, с обители своей
Колеблющего мир движением бровей;
Богов, разрозненных могучею враждою,
И бой, и пыли мглу, и кровью неземною
Облитые поля, и витязей в броне,
Блестящих, как пожар на горной вышине,
Коней, носящихся на месте бранной встречи
И голосом людским взывающих средь сечи...
Потом, сменяя лад сладкоречивых слов,
Изображал он быт спокойный городов,
Но после — ратный гул вкруг мирной их ограды,
И лютую резню, и грозные осады,
И оскверненную святыни тишину,

И овдовевших жен, и дочерей в плену;
Потом и злато нив, веселые картины:
Стадами пестрыми покрытые долины,
И быстрый блеск серпов, и дальний стук секир,
И песен громкий хор, и звуки флейт и лир.
Потом он бури слал на царство Посидона;
В пещеру свежую, на дно морского лона,
Скликал со всех сторон под вековой гранит
Он племя легкое проворных Нереид:
Неслися, резвые, они в шумливом рое,
Ахейские суда сопровождая к Трое.
И Стикса отверзал он берег роковой,
И к тихой Лете вел отживших длинный строй:
Страдальцев, тягостно свершивших путь к могиле,
Кичливых юношей, сраженных в буйной силе,
Младенцев, навсегда заснувших с первых дней,
Дев, взятых смертию у брачных алтарей.
Но, в радости немой внимая звукам дивным,
Каким очнулися вы трепетом отзывным,
Леса, ручьи, скалы, когда изрек певец,
Как в Лемносе ковал божественный кузнец
Ту сеть, Арахниных работ прозрачней с виду,
И сталью чудною опутывал Киприду!
Когда, в другой опять перенесясь предел,
В гранит внезапный он мать фивскую одел;
Когда пересказал он жалобные стоны
И горестный удел несчастной Аэдоны,
Грустящей средь ночей унылым соловьем
О преступлении нечаянном своем.
Потом он лил бойцам с вином непенф целебный,
Готовил лотоса напиток им волшебный,
И забывал боец тогда, в чужом краю,
И старого отца, и родину свою.
Он в ужас приводил и Оссу, и Пенея
Кровавой свадьбою могучего Тезея,
В ту ночь, когда, на пир к нему приглашены,
Сошлися облака косматые сыны,
И пенилось вино, и победитель Крита
Супругу выхватил из пьяных рук Эврита.
Вскочил и бросился грозящий Пирифой:
«Изменник! смерть тебе!» Но уже Дрий младой
Кентавра поразить успел железным древом,

Опорой факелов, и бьется с диким ревом
Сердитый полузверь, валяяся в пыли;
Вино разбитых чаш струится по земли,
Повсюду клики, брань, шум; опрокинут Нессом,
Стол тяжкий катится, гранитным давит весом
Пирующих; во прах упал Эвагр, Кимел,
Сверкнула сталь мечей — и страшный бой вскипел.
Ретивый Пирифой разит и Макарея,
И белоногого Киллара, и Петрея.
Готовя бедственный противникам отпор,
Скалу тяжелую могучий Бианор,
Согнувшись, приподнял и держит над собою;
Но, брошенный в него Алкидовой рукою,
Огромнейший сосуд летит: раздроблена
Глава гигантская ударом чугуна.
Всесильной палицы победы быстры: Кланий,
Рифей, пестреющий оттенками сияний
Родимых облаков, — низвергнуты; сражен
Чудовищный Гелот, Ликос, Демолеон.
Кольчугу Нестора бьет в натиске сердитом
Свирепый Эврином неистовым копытом. . .
Но, битвы алчущий и местию горя,
Эгея грозный сын несется; с алтаря
Обломок он схватил пылающего лавра,
Проворным всадником на злобного кентавра
Прыгнул, занес над ним губительную длань,
И огнь и смерть ему вонзает он в гортань. . .
Обрушился алтарь; бойцы стремятся рьяны,
Сплелись, и далеко несется в мрак поляны
Руганье, крик и треск, гул схватки роковой,
И топот яростный, и женщин дикий вой.

Так дивный старец вел к виденьям от видений,
Раскидывая ткань небесных песнопений.
Дивились отроки и не сводили глаз
С него, и слушали божественный рассказ:
И сыпались слова, торжественны и святы,
Из вещих уст, как снег па гор крутые скаты.
И, вкруг избранника сходясь со всех сторон,
Толпы мужей и дев, и юношей и жен,
И старцев и детей с зелеными венками
В руках, твердили все: «Приди, приди жить с нами,

Благословенный гость, бессмертный друг богов!
И будем праздновать до поздних мы веков
Торжественностью игр и радостного пира
Тот день, где встретили великого Омира!»

Декабрь 1852

В. ГЮГО

ВИДЕНИЕ

Увидел ангела в стемневшей я лазури;
Смирял его полет тревогу волн и бури.
«Что ищешь, ангел, ты в безрадостном краю?»
Он отвечал: «Иду я душу взять твою».
И грустно на меня смотрел он женским ликом.
И страшно стало мне; я вскрикнул слабым криком:
«Какой настал мне час? что станется со мной?»
Безмолвный он стоял. Сгущался мрак ночной.
«Скажи, — дрожащее я выговорил слово, —
Взяв душу, с ней куда, средь мира ты какого
Отсюда улетишь?» Он продолжал молчать.
«Пришлец неведомый! — воскликнул я опять, —
Ты смерть ли, или жизнь! Конец или начало?»
И ночи всё темней спускалось покрывало,
И ангел мрачен стал и молвил: «Я — любовь!»
И краше радости на сумрачную бровь
Печать тоски легла — и тихого всесилья,
И звезд я видел блеск сквозь трепетные крылья.

9/21 ноября 185<6>
Константинополь

С АНГЛИЙСКОГО И ШОТЛАНДСКОГО

НАРОДНАЯ БАЛЛАДА

ЭДВАРД

(Старинная шотландская баллада)

«Как грустно ты главу склонил,
Эдвард! Эдвард!
Как грустно ты главу склонил,
И как твой меч красён, — О?»
— «Я сокола мечом убил,
Матерь! Матерь!
Я сокола мечом убил;
Такого нет, как он, — О!»

— «Не сокол меч окровенил,
Эдвард! Эдвард!
Не сокол меч окровенил,
Не тем ты сокрушен. — О!»
— «Коня я своего убил,
Матерь! Матерь!
Коня я своего убил,
А верный конь был он, — О!»

— «Твой конь уже был стар и хил,
Эдвард! Эдвард!
Твой конь уже был стар и хил,
О чем бы так тужить, — О?»
— «Отца я своего убил;
Матерь! Матерь!

Отца я своего убил:
Мне горько, горько жить! — О!»

— «И чем теперь, скажи же мне,
Эдвард! Эдвард!
И чем теперь, скажи же мне,
Искупишь грех ты свой, — О?»
— «Скитаться буду по земле,
Матерь! Матерь!
Скитаться буду по земле,
Покину край родной, — О!»

— «И кем же будет сохранен,
Эдвард! Эдвард!
И кем же будет сохранен
Здесь твой богатый дом, — О?»
— «Опустевай и рушись он,
Матерь! Матерь!
Опустевай и рушись он!
Уж не бывать мне в нем. — О!»

— «И с кем же ты оставишь тут,
Эдвард! Эдвард!
И с кем же ты оставишь тут
Жену, детей своих, — О?»
— «Пусть по миру они пойдут,
Матерь! Матерь!
Пусть по миру они пойдут;
Навек покину их. — О!»

— «А мне в замену всех утрат,
Эдвард! Эдвард!
А мне в замену всех утрат,
Что даст любовь твоя? — О!»
— «Проклятие тебе и ад,
Матерь! Матерь!
Проклятие тебе и ад!
Тебя послушал я! — О!»

<1839>

Т. КЭМПБЕЛ

ГЛЕНАРА

(Шотландская баллада)

О, слышите ль вы тот напев гробовой?
Толпа там проходит печальной чредой.
Вождь горный Гленара супруги лишен,
Ее хоронить всех родных созвал он.

И первый за гробом Гленара идет,
И клан весь за ним, но никто слез не льет;
Идут они молча чрез поле, чрез бор,
В плащи завернулись, потупили взор.

И молча дошли до равнины одной,
Где рос одинокий дуб, черный, густой.
«Жену хоронить здесь я место избрал, —
Что ж все вы молчите? — Гленара сказал. —

Ответствуйте мне: что же все вы кругом
Плащами закрылись? так мрачны лицом?»
Вождь грозный спросил их: плащ каждый упал,
И в каждой деснице сверкает кинжал.

«Мне снилось о гробе супруги твоей, —
Воскликнул один из угрюмых гостей, —
Гроб этот пустым показался мне он.
Гленара! Гленара! толкуй мне мой сон!»

Гленара бледнеет, и гроб пред толпой
Открыт уж, — и нет в нем жены молодой;
И гость-обвинитель страшней повторил
(Несчастную жертву он тайно любил):

«Мне снились страданья супруги твоей;
Мне снилось, что вождь наш — бесчестный злодей,
Что бросил жену на скале где-то он.
Гленара! Гленара! толкуй мне мой сон!»

Упал па колени преступник во прах,
Открыл, где покинул супругу в слезах.
С пустынной скалы возвратилась она,
И вновь с нею радость друзьям отдана.

<1839>

Д. БАЙРОН

АПОЛЛОН БЕЛВЕДЕРСКИЙ

(Отрывок)

Вот он — владыка неизбежных стрел,
Вот жизни бог, бог дня и песнопенья!
Я солнце воплощенное узрел,
Торжественный он вышел из сраженья,
Слетело с лука неземное мщенье,
И светлые глаза его блестят,
И ноздри дышат гордостью презренья;
Стоит могуч, величествен и свят,
И бога проявил его единый взгляд.

И если же похитил Прометей
Огонь небес, горящий в нас душою, —
Тем выплачен тот долг, кем мрамор сей
Был славою увенчан вековою;
Хоть и земной воссоздан он рукою,
Но мыслью неземной, — и власть времен
Благоговела пред его красою,
И невредим доселе дышит он
Тем пламенем святым, которым сотворен.

<1841>

ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ ЛОРДА БАЙРОНА [1]

Миссолунги, 22 января 1824 года

Пора остыть душе гонимой,
Когда остыли к ней давно;
Но пусть любить и не любимой
Ей суждено!

[1] В день его рожденья, когда ему минуло тридцать шесть лет.

Погибло в цвете наслажденье,
Поблекла жизнь, как дуб лесов;
И червь остался мне и тленье
От всех плодов.

Вулкану мрачному подобный,
Горит огонь груди моей;
Он не зажжет — костер надгробный —
Других огней.

Нет силы чувств в душе усталой,
Нет слез в сердечной глубине:
Любви былой, любви завялой
Лишь цепь на мне.

Но не теперь дано мне право
Грудь думой праздной волновать,
Не здесь, где осеняет слава
Святую рать.

Гремит война, кипит Эллада,
Настал свободы новый век;
На щит, как древней Спарты чадо,
Ложится грек.

Проснись! — не ты, уже так смело
Проснувшийся, бессмертный край! —
Проснись, мой дух! живое дело
И ты свершай!

Во прах бессмысленные страсти!
Созрелый муж! тот бред младой
Давно бы должен уж без власти
Быть над тобой.

Иль не жалей о прежнем боле,
Иль умирай! — здесь смерть славна;
Иди! да встретит же па поле
Тебя она!

Найти легко тебе средь боя
Солдата гроб: взгляни кругом,
И место выбери любое,
И ляг на нем.

<*1841*>

НАЧАЛО 4-й ГЛАВЫ «ЧАЛЬД-ГАРОЛЬДА»

В Венеции мост вздохов подо мною;
Стою я меж темницей и дворцом;
Град высится, сияя, над волною,
Как поднятый волшебника жезлом.
Здесь шли века, и озаряет слава
Тех чудных дней былые торжества,
Где каждая окрестная держава
Крылатого еще страшилась льва,
И, воцарясь, уселась величаво
Венеция на эти острова.

Как некая надводная Цибела,
Она, в тиаре каменной своей,
Красуется торжественно и смело,
Давнишняя владычица морей.
Была пора: для дочерей сбирала
Приданое она со всей земли;
Восточные края, как дань вассала,
К ее ногам сокровища несли,
И пиршество ее делить, бывало,
Могучие гордились короли.

Не слышны в ней теперь октавы Тасса,
Безмолвствуют в гондолах их гребцы,
Стал редок звук пленительного гласа,
И рушатся пустынные дворцы!
Но здесь, хоть всё покинуто и сиро,
Прелестно всё. В природе нет утрат,
Нет гибели; и рядит, как для пира,
Она досель возлюбленный свой град,
Приют родной увеселений мира,
Италии блестящий маскарад.

Но манит *нас* он славой непреложной,
Другой, чем ряд тех доблестных теней,
Которые в Венеции бездожной
Еще грустят о силе прежних дней.
Не нашему трофею лечь в забвенье!
Нет! времени не ведая обид,
Переживет Риальта он паденье;
Шейлок и Мавр прочнее, чем гранит:
Какое б здесь ни было разрушенье,
Пустыню нам их образ оживит.

Не праху подлежат души созданья:
Бессмертные, взносясь над суетой,
В нас лучшего они существованья
Вселят мечту и вложат луч святой.
И эта жизнь роскошная, другая,
Чем вялый быт в плену земной тюрьмы, —
Существенность призра́ком заменяя,
Украсит всё, что ненавидим мы,
И блеск внесет, и ароматы мая
В немой предел бесплодности и тьмы.

И в юности, взыскательной и смелой,
Влечет нас в мир счастливых небылиц,
И в старости, пустой и обеднелой,
Порыв души; и много им страниц
Наполнилось — наполнилась и эта.
Но образы бывают: их черты
Существенней волшебных грез поэта,
Полней живой и дивной красоты,
Чем все того несбыточного света
Блестящие и странные мечты.

Знавал, во сне иль наяву, порою
Те образы я в днях моей весны;
Мир им! — они явились предо мною
Как истина, и унеслись как сны.
Что б ни были — теперь они мне тени.
Их заменить я мог бы... полон ум
Еще досель мной встреченных видений;
Пусть пропадут! стыдится этих дум

Рассудок мой. Других жду впечатлений,
И голосов других я слышу шум.

Стал сроден мне язык иноплеменный,
В толпе чужой я не слыву чужим;
Везде в нас дух хранится неизменный,
И сам он свой. Убежищем родным
Могла б страна мне сделаться иная
И людный, да, или безлюдный брег,
Хоть я и сын прославленного края,
Где быть рожден гордится человек.
И, мудрости отчизну покидая,
В чужой предел коль перешел навек, —

Люблю ее я, может, и поныне;
И если б дух бесплотный мог избрать
Себе приют, — сложив свой прах в чужбине,
К своей земле вернулся б я опять.
Хотел бы я, когда промчатся годы,
Помянут быть на языке родном.
А если нет? и мне лишь славы всходы
Вдруг поднялись, чтобы пропасть потом,
И меж имен, которых чтут народы,
Не вспомнится об имени моем? . .

Пусть так! и лавр, других чело венчая,
Пусть лучшее украсит торжество!
Спартанца будь мне надпись гробовая:
«Спартанцы есть похвальнее его!»
Не сродно мне пока людское племя;
Не просит ум сочувствий и не ждет.
Растил я терн; взошел в свое он время
И исколол. . . и кровь моя течет. . .
Я мог бы знать, бросая это семя,
Какой с него собрать придется плод.

Не потому, чтобы боялся боли,
Сам о себе заговорил я вслух.
Кто зрел во мне, средь мук, упадок воли?
Когда слабел от судорог мой дух?
Но место дам я грозному укору,
И ветр небес не унесет его!

Слова мои в свою свершатся пору,
И, в гроб сходя — земное существо, —
Я на главу людей взвалю, как гору,
Месть тяжкую проклятья моего...

Месть моего прощения!.. Не я ли —
Будь, небо, ты, земля, родная мать!
Будь ты судьей! — не я ль, кого так гнали,
Довольно снес, чтоб ныне сметь прощать?
Не свергли ль в прах, ругаясь надо мною,
Они мои надежды и права?..
Не Жизни ль жизнь, в борьбе с их клеветою,
Утратил я?.. и устоял едва, —
Лишь потому, что сотворен судьбою
Не весь из их гнилого вещества!..

1850

К ...

Хоть гроза неприязни и горя
Надо мной разразилась вполне,
Ум твой мягкий, упрекам не вторя,
Не искал прегрешений во мне;
Он страданья души уязвленной
Разделил и усвоил себе,
И мечта о любви неизменной
Для меня лишь сбылася в *тебе.*

Мне улыбкой своею природа
Об улыбке напомнит твоей;
И когда зашумит непогода
Вкруг меня, над пучиной морей,
И столкнутся, как люди со мною,
Вьюги с валом в железной борьбе,
Буду только я думать с тоскою,
Что едва ль мне вернуться к *тебе.*

Хоть последних моих упований
Потряслась и разбилась скала,

Хоть тяжелых я жду истязаний,
Не склоню я под ними чела:
Не потешится свет беспощадный
Надо мною в своей похвальбе;
Грудь мою, средь вражды этой жадной,
Наполняет лишь мысль о *тебе*.

Нет! людей не виню я понятья
И сражение многих с одним;
Лютость их испытав без изъятья,
Было глупо вверяться мне им;
И, пощады просивши у бога
В не услышанной богом мольбе,
Если сердце терпело и много, —
Не ошиблось оно хоть в *тебе*.

О былом вспоминая уныло,
Я скажу про одно существо,
Что недаром душе оно было
В этой жизни милее всего. —
Есть в степи ключ мне, свежий и ныне,
Луч мне ясный есть в темной судьбе,
Есть волшебная птица в пустыне,
И поет мне она о *тебе*.

1855
Петербург

В. СКОТТ

КЛЯТВА МОЙНЫ

(Шотландская баллада)

Вот клятва Мойны молодой:
«Не буду графу я женой!
Хотя б от всех людских племен
Остались в мире я да он,
Хотя б он мне в награду дал
Алмазы, жемчуг и коралл,
Хотя б владел он всей страной, —
Не буду графу я женой!»

— «Обеты дев, — сказал старик, —
Все вмиг даны, забыты вмиг;
Обвив крутые высоты,
Алеют вереска цветы,
И скоро ветр с утеса прочь
Их унесет в осенню ночь;
Но Мойна, прежде ночи той,
Уж может графу быть женой».

— «Пусть лебедь, — Мойна говорит, —
В гнездо орлиное взлетит,
Назад пойдут потоки гор,
Пусть упадет утес Бенмор
И битвы в час наш грозный клан
Пусть побежит от англичан, —
Но я не изменюсь душой:
Не буду графу я женой!»

Еще доселе в тростнике
Гнездится лебедь на реке,
Бенмор огромный не падет,
Крутой поток бежит вперед,
Клан всё слывет, каким он слыл,
И пред врагом он не дал тыл, —
Но Мойна любит всей душой,
И Мойну граф зовет женой.

<1839>

ВОЕННАЯ ПЕСНЬ КЛАНА МАКГРЕГОР
(MACGREGOR'S GATHERING)[1]

Луна над рекой, и туманы кругом,
И с именем клан, хоть без имени днем.
Сбирайтесь, сбирайтесь! Макгре̃гор, ура!
Макгре́гор, пора!

---

[1] Клан Макгре́гор, в Шотландии, был лишен покровительства законов и со всеми членами этого общества поступаемо было чрезвычайно жестоко; им даже запрещено было называться их старинным, славным именем.

Заветный и славный наш клик боевой
Греметь осужден лишь ночною порой.
Идите ж, идите! Макгрéгор, ура!
Макгрéгор, пора!

Не ваши уж ныне тех гор вышины,
Гленлейона селы, Кильчурна сыны;
Изгнанники все мы! — Макгрéгор, ура!
Макгрéгор, пора!

Не знает наш клан и главой где прилечь;
Но клан наш сберег и свой дух, и свой меч.
Так смело же, смело! Макгрéгор, ура!
Макгрéгор, пора!

Нет крова, нет пищи, нет имени нам. . .
Огню же их домы, их трупы орлам!
На битву, на битву! Макгрéгор, ура!
Макгрéгор, пора!

Быть листьям в дубраве, быть пене в реке,
Быть нам в их владеньях с булатом в руке.
Спешите, спешите! Макгрéгор, ура!
Макгрéгор, пора!

Скакать через море придется коню,
Корабль поплывет на крутом Бенвеню,
Растает гранит по горам вековым,
Но мы не забудем, но мы отомстим.
Сбирайтесь, сбирайтесь! Макгрéгор, ура!
Макгрéгор, пора!

<*1839*>

ЯША

«Что плачешь ты, краса моя?
Грустишь ты отчего?
Тебя за графа выдам я,
За сына моего.
Пойдешь, невестой убрана,
К венцу ты средь друзей».
Но всё же слезы льет она:
Милее Яша ей.

«Простись с упрямою тоской,
Развесели свой взгляд;
Пригож жених твой молодой,
И знатен, и богат.
Будь пир веселый, будь война, —
Он угостит гостей».
Но всё же слезы льет она:
Милее Яша ей.

«Он надарит цепей златых,
Он завтрашнего дня
Даст сокола и псов борзых,
Даст стройного коня;
И с нами, графская жена,
Поскачешь средь полей».
Но всё же слезы льет она:
Милее Яша ей.

И в церкви уж свечи горят
У всех икон святых;
Священник ждет свершить обряд,
Ждут гости и жених.
Нейдет невеста лишь одна,
Искать бегут скорей —
Пропала без следов она,
Пропал и Яша с ней.

<1839>

РОЗАБЕЛЛА [1]

Не расскажу вам, красота́м,
О богатырском, бранном деле:
Песнь грустную спою я вам,
Спою вам песнь о Розабелле.

---

[1] Из поэмы «Песнь последнего менестреля» („The Lay of the last Minstrel“). Бароны Saint Clair владели Оркадскими островами и на одном из них построили замок Росслин. Есть предание, что каждый раз, в ночь перед смертью какого-нибудь члена этой знаменитой фамилии, замок и его окрестности озаряются чудным блеском и кажутся будто в огне.

«Назад, гребцы, назад с ладьей!
Останься в верном замке, дева!
Не отправляйся в путь ночной,
Не искушай морского гнева!

Белеет пеной край зыбей,
Летят к приюту птицы роем:
Стращал недавно рыбарей
Дух волн своим зловещим воем.

И зрел вещун седой в ту ночь
Одету в мокрый саван деву;
Так что ж неволит лорда дочь
Себя вверять морскому гневу?»

— «Не то, что будет граф Линдсей
На пышном празднике в Росслине;
Но скучно матери моей
Одной там оставаться ныне.

Не то, что все глядят в окно,
Как с графом конь несется белый;
Но мой отец хулит вино,
Не налитое Розабеллой».

В теченье грозной ночи сей
Чудесный свет пылал средь мрака,
Сиянья лунного красней,
Светлее пламени маяка.

Росслина башни озарял,
Их погружая в блеск кровавый,
Был виден с гаторнденских скал,
Сиял до дрейденской дубравы.

Горел и в сводах он святых,
Где улеглися под иконы,
Все в латах кованых своих,
Росслина храбрые бароны.

Алтарь сиял весь как в огне,
Весь как в огне был свод богатый,
Иконы рдели на стене,
И мертвецов сверкали латы.

Пылали роковым огнем
Утес, и за́мок, и долина, —
Так пламенеет всё кругом,
Как быть беде в стенах Росслина.

Там двадцать доблестных вождей
Хранит богатая капелла,
И каждый там в семье своей,
А в безднах моря — Розабелла.

В капеллу клал, их отпевал
С надгробным звоном клирос целый;
Но бурный ветр и шумный вал
Над мертвой пели Розабеллой.

<1839>

ПЕСНЬ

«О дева! Жребий твой жесток!
Жалка судьба твоя!
Ты терн плетешь себе в венок,
Полынь рвешь для питья.
Перо на шляпе, светлый взор,
Отважные черты —
Вот про меня, до этих пор,
Всё то, что знала ты,
Мой друг!
Всё то, что знала ты!

Теперь в день летний много роз
Алеют по лугам;
Но легче им цвести в мороз,
Чем вновь сойтися нам».
Вокруг себя на брег морской
Он поглядел тогда,

И дернул он копя уздой:
«Прости же навсегда,
Мой друг!
Прости же навсегда!»

<1839>

ПРЕДЕЛ РОДНОЙ

О дева! С горной высоты
Взгляни: с волнами бездны черной
В борьбе отважной и упорной
Ладью заметила ли ты?
Зачем бы с бурею могучей
Пуститься ей в неравный бой,
Предаться бездне той кипучей? —
Спешит она — в предел родной!

О дева! над пучиной вод
Белеет птица там морская,
И, в мраке крыльями сверкая,
Стремит к утесу свой полет.
В грозе, над глубью разъяренной,
Зачем лететь бы птице той
К скале крутой и обнаженной? —
Ей та скала — предел родной!

И ты, как бурная волна,
Ты мне враждебна и сурова,
Ты, как скала хребта морского,
Непобедимо холодна.
Но всё, покорный тайной силе,
К тебе стремлюся я душой;
В твоей любви или в могиле
Найдет Мальхольм — предел родной!

<1839>

ПЕСНЯ

Красив Бригнала брег крутой,
И зелен лес кругом;
Цветы над быстрою рекой
Раскинуты ковром.

Вдоль замка Дальтон на коне
Я ехал не спеша;
Навстречу пела с башни мне
Красавица-душа:

«Красив Бригнала брег крутой,
И зелен лес кругом;
Мне с другом там приют лесной
Милей, чем царский дом».

— «Ты хочешь, дева, быть моей,
Забыть свой род и сан;
Но прежде разгадать сумей,
Какой мне жребий дан.

И если скажешь мне, любя,
Загадки слово ты, —
Приму в дубраве я тебя
Царицей красоты».

Она поет: «Свеж брег крутой,
И зелен лес кругом;
Мне с другом там приют лесной
Милей, чем царский дом.

Со звонким рогом в кушаке
Ты скачешь чрез поля;
Ты, знать, в дубраве на реке
Лесничий короля?»

— «Лесничий зоркий короля
В свой рог трубит с утра;
Но как покрыта мглой земля,
То мне́ трубить пора».

Она поет: «Свеж брег крутой,
И зелен лес кругом;
Хочу царицею лесной
Жить с другом там вдвоем.

На быстроногом рысаке,
Как ратник, ты готов,
С мечом в ножнах, с ружьем в руке,
На барабанный зов».

— «Нейду на барабанный зов,
Нейду на трубный звук;
Но как зовут нас крики сов
Мы все готовы вдруг.

И свеж Бригнала брег крутой,
И зелен лес кругом,
Но деве смелой лишь со мной
Царить в лесу моем.

О дева! друг недобрый я!
Глухих пустынь жилец;
Безвестна будет жизнь моя,
Безвестен мой конец!

Как мы сойдемся, гости тьмы,
То должно нам, поверь,
Забыть, что́ прежде были мы,
Забыть, что́ мы теперь».

Но свеж Бригнала брег крутой,
И зелен лес кругом,
И пышно блещут над рекой
Цветы живым ковром.

<1840>

Т. МУР

ПРИДИ, Я ЗАПЛАЧУ С ТОБОЙ

Зарю твою утренней тучей
Покрыла ли горести мгла?
Исчезла ли тенью летучей
Пора, где и грусть нам мила?
И в жизни навек ли завяли
Все чувства души молодой? —
Приди ты ко мне, дочь печали,
Приди, я заплачу с тобой!

Была ли, о дева младая,
Любовь для тебя как рудник,
В который, блеск злата встречая,
Впервые взор жадный проник?
Там, сверху, всё светится щедро,
Несметный там чудится клад,
Но глубже спустясь в его недро,
Нашла ль ты лишь мрачность и хлад?

Надежда манила ли рано
Тебя, как та птица — дитя, [1]
С добычей драгой талисмана
Всё с ветки на ветку летя?
Тебе она так ли казала
Вблизи свой волшебный приман?
И так ли опять улетала,
С собой унося талисман?

Так грустно, так быстро прошли ли
Сквозь горе блестящие дни?
Во всем, что надежды сулили,
Нашла ль ты обманы одни?
И в жизни навек ли завяли
Все чувства души молодой? —
Приди ты ко мне, дочь печали,
Приди, я заплачу с тобой!

<1841>

---

[1] В рассказе «Тысячи и одной ночи».

С ПОЛЬСКОГО

А. ХОДЗЬКО

ЛИТОВСКАЯ ПЕСНЯ

Землю как гонец
Я с конца в конец
        Облетал
С саблей наголо;
Мне везде везло —
        Враг бежал.

Ты спроси, ей-ей!
Всех в Литве людей,
        Знавших бой:
Чей же рог трубит,
Чей же конь летит
        Так, как мой?

Всем мой дом богат:
Сто коров мычат
        По лугам;
Высокó стоит,
Словно лес шумит
        Жатва там.

Есть кому и дать
Для кого собрать
        Плод дерев:

Там блестит красой
Цвет весенний мой —
    Дева дев.

Взял тебя же я,
Пташечка моя!
    Не робей.
В клетке жить учись,
С матерью простись,
    Слез не лей!

Ты простись с отцом;
Выйдешь с молодцом
    Из лесов;
В путь со мной ступай
И литовца знай:
    Он таков!

<1839>

С ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО

ЭСХИЛ

СЦЕНЫ ИЗ «ПРОМЕФЕЯ»

1

Хор океанид

О бедствии твоем, о Промефей,
Жалею я в сочувствии глубоком,
И слезы льются из очей
Мне вдоль ланит обильным током.
Безжалостно свершает над тобою
Свой произвол Зевес, который там
Вооруженною рукою
Грозит низвергнутым богам.

Несется стон во всех краях земных,
И плачет мир о старобытном праве
Твоем и родственных твоих,
О древней и высокой славе.
Все племена, живущие в пределе
Широкой Азии, земли святой,
Все вместе о твоем уделе
Скорбят с глубокою тоской.

И Колхиды люд мятежный,
Удалые девы брани,
Скифии народ прибрежный,
Обитатель мира грани,

Рать Аравии, великих
Стен Кавказских властелины,
Полные волнений диких
Копьеносные дружины.

Предстал доселе во вселенной
Один мне только из богов,
Терпевший, беспощадно-пленный,
Гнет адамантовых оков, —

Атласа зрела я титана;
Со стоном напрягая он
Всечасно силу великана,
Плечами держит небосклон.

Воет бездна волн могучих,
И Аида мгла ревет,
И в реках чисто текучих
Слышится рыданье вод.

Промефей

Не думайте, что я молчу в упорной
Надменности; но мысль мне гложет сердце
О том, как я жестоко оскорблен.
А кто ж меж тем и почестью, и властью
Богов тех новых наделил, — не я ли?
Но я молчу об этом; вам известно,
Что́ б мог сказать я. Но узнайте немощь
Людей, и как я их неразуменью
Поставил грань и дух в них пробудил;
И не в упрек им говорю я это,
Но чтоб дать знать, что́ сделал я для них.
Они сперва и зрящие не зрели,
Не слышали и слушая; но вместе
Всё слепо путали, как сна виденья.
И ни домов каменносечных, светлых
Не ведали, ни плотника искусство;
Нет, под землей они, как муравьи,
Гнездилися в бессолнечных пещерах,
Не узнавали близости зимы,
Или весны цветистой, или лета

Жатвообильного; без смысла были
Их действия, доколь им указал
Я звезд восход и темный их закат.
И чисел им премудрое познанье
Я изобрел, и съединенье букв,
И даровал им память, мать искусств.
И я впервой в ярме зверей могучих
Покорствовать заставил управленью,
Трудам людским тяжелым в облегченье,
И я, коней впрягая в колесницу,
Их в красоту поводьев нарядил;
И морепробегающие создал
Пловцам я тканикрылые суда.
И я, увы! придумавший так много
Искусств другим, — теперь не знаю средства,
Как прекратить мучение свое.

2

Промефей

Придет пора, когда и Зевс надменный
Унизится; в такой он вступит брак,
Который и державы, и престола
Его лишит. Исполнится над ним
Тогда вполне проклятие отца,
Властителя низвергнутого слово.
Ему помочь ту миновать беду
Из всех богов могу лишь я один.
И знаю я о всем. — Так пусть сидит он,
Надеяся на свой воздушный гром,
Грозя своей пылающей стрелою:
Он этим не спасется от беды,
От страшного, позорного паденья;
Могучего он сам себе готовит
Противника непобедимой силы,
Который огнь найдет грознее молний,
И гул сильнее грома, власть, от коей
Обрушится трезубец Посидона,
Морской, всепотрясающий бич мира.
И, поражен напастью, Зевс узнает,
Как властелин различен от раба.

Хор

Сказал ты то, чего желаешь Зевсу.

Промефей

Что сбудется сказал, и что желаю.

Хор

Так Зевс найдет владыку над собою?

Промефей

Он под бедой и худшей склонит выю.

Хор

Ты не страшишься ль дерзких слов своих?

Промефей

Чего страшиться мне, кому нет смерти!

Хор

Мучительней тебя казнить он может.

Промефей

Пусть будет так! Всё встретить я готов.

Хор

Мудрец покорен власти Адрастеи.

Промефей

Чти, умоляй, хвали ты властелина, —
Но я его не ставлю ни во что.
Правь он еще короткий срок как хочет:
Повелевать не долго будет он.

Но там идет Зевеса скороход,
Недавнего властителя слуга;
Наверно, к нам спешит он с вестью новой.

8

Гермий

Ты, преразумный, ты, ругатель дерзкий,
Обидевший богов в угоду смертным,
Ты, вор огня, внемли моим словам:
Отец Зевес велит тебе сказать мне
Про брак, о коем хвастал ты, и с трона
Его кто свергнет; не в загáдках, прямо
Ты говори и ясно, чтоб не дважды
Пришлось ходить мне, Промефей: ты видишь,
Что к таковым Зевес не благосклонен.

Промефей

Самонадеянно и важно молвил
Ты речь, как следует послу богов.
Вам власть нова; от бед твердыня ваша
Охранена вам кажется. Не зрел ли
Я двух оттоль низвергнутых владельцев?
И третьего, теперешнего, вскоре
Узрю постыдно падшего. Не мнишь ли,
Что новых я богов боюсь и им
Покорствую? Далек я от того.
Но ты назад иди своей дорогой;
Что хочешь знать, того я не скажу.

Гермий

Ты на себя таким упорством, помнишь,
Уже навлек всё бедствие свое.

Промефей

И бедствие свое не променял бы
На должность раболепную твою.
Мне лучше быть рабом моей скалы,
Чем быть слугой столь ревностным Зевеса:
Руганью будь ругательный ответ.

Гермий

Ты, кажется, своей судьбой изнежен.

Промефей

Изнежен! Всех своих врагов готов бы
Я нежить так; и в их числе тебя...

Гермий

Ты и меня винишь в своем страданьи?

Промефей

Всех ненавижу я богов, плативших
Неправосудно злом мне за добро.

Гермий

Не мал недуг безумный твой; я вижу.

Промефей

Будь так, коль ненависть к врагам недуг.

Гермий

Несносен был бы ты в счастливой доле.

Промефей

Увы!

Гермий

Звук этот чужд устам Зевеса.

Промефей

Нас многому учить умеет время.

Гермий

Оно тебя уму не научило.

Промефей

Иначе б я с рабом не говорил.

Гермий

Не скажешь, знать, что хочет ведать Зевс?

Промефей

Ему плачу я этим за услугу.

Гермий

Ты издеваешься как над ребенком.

Промефей

И не глупее ли ребенка ты,
Коль от меня той вести ожидаешь?
Нет муки, нет искусства, коим Зевс

Меня сказать ему про это склонит,
Доколь с меня стыда оков не снимет.
Пусть он бросит свой бледно-синий огнь;
В ненастьи снежных вьюг, в раскатах грома
Пусть целое встревожит мирозданье! —
Ничем меня открыть он не заставит,
Через кого лишится царства он.

Гермий

Избавишься ль ты тем? Обдумай это.

Промефей

Обдумано и решено давно.

Гермий

Принудь себя, безумный, наконец
Всё бедствие признать своей судьбины.

Промефей

Меня вотще словами оглушаешь:
Не бредь, чтобы перед уставом Зевса
Унизился во страхе робком я;
Чтоб ненавистнейшего стал молить,
Как женщина, к нему подъемля руки,
Спасти меня от казни. — Никогда!

Гермий

Бесплодны все мои, я вижу, речи;
Не тронут ты и просьбой не смягчен.
Как дикий конь закусит удила
И встанет на дыбы, неукротимый, —
Так борешься увертками, но тщетно.
Упорная отвага, не в союзе
С умом, — одна победы не одержит.
Обдумай же, когда не покоришься,
Какой грозе, какому току мук
Ты обречен. — Сперва скалу твою
Зевс молнией и громом разразит,
И глубоко твое во мраке тело
Схоронится, объятое горой.
Когда ж времен исполнится теченье
И выйдешь вновь на свет, — тогда Зевеса
Крылатый пес, орел свирепый, жадно

Слетит куски рвать мяса твоего
И печени твоей кровавой пищей,
Незваный гость, кормиться целый день.
И ты не жди конца таким страданьям,
Покуда бог, преемник мук твоих,
Не явится, готовый низойти
В Аида мрак, в глубь Тартара ночную.
Теперь решись: что я сказал — не звук
Пустых речей; всё это слишком верно.
Не знают лжи Зевесовы уста;
Свои слова он исполняет. Ты же
Обдумай, что творишь, и берегись
Упрямство предпочесть благоразумью.

Хор

Он кстати речь, сдается, молвил эту,
Тебя клоня смягчиться наконец
И следовать разумному совету:
Ошибкою позорится мудрец.

Промефей

Мне, ведающему вперед ту весть,
Он прокричал ее! Принять прилично
Зло от врага и бедствие врагу.
Итак, в меня пусть низлетит же острый
Извив огня; пусть возмутится громом
Кругом эфир и яростию бурь;
Пусть гибельно всю глубь земли со дна
Вихрь потрясет; пусть хлынет волн морских
Могучий взрыв вплоть до светил небесных
И смоет их с привычного пути;
Внезапно же мое пусть будет тело
Низвергнуто во мрачный зев Аида:
Необходимости всесильным током
Меня убить-таки не может он!

Гермий

Вы слышите, как бешенством превратным
Его полны и мысли, и слова:
Чего ж ему недостает к безумству?
И как смирит такую ярость он?
Но вы, горюющие в сожаленьи
Об участи преступника, вы прочь

Из этого предела поспешите,
Чтоб не потряс ваш дух и не смутил вас
Ужасный рев раскатов громовых.

Хор

Совета мне ищи другого,
Чтоб он склонить меня успел.
Невыносимо это слово!
Что требуешь постыдных дел?
Стерплю я с ним всю тяжесть рока:
Измену презирать вполне
Умею я, и нет порока
Столь отвратительного мне.

Гермий

Так помните ж, как вас предостерег я;
И, бедствием постигнутые, вы
Судьбу винить не смейте, говоря,
Что вас Зевес нежданно погубил.
Нет! сами вы то сделали с собою,
И, ведая, не вдруг поражены,
Не тайно спутаны обманом хитрым:
Вы в сети бесконечные судьбы
Впадаете лишь собственным безумством.

Промефей

Свершается: не слово то пустое.
Земля дрожит, и гул ревущий грома
Гремит кругом, и вздрагивают ярко
Огнистые извивы молний; вьюга,
Вздымая пыль, крутит ее столбом,
И вырвались все вихри, и ликуют,
Всё зримое сворачивая с места;
Мешается, столкнувшись, небо с морем,
И этот всегубительный порыв,
Зевесом посланный, несется прямо,
Неистовый, ужасный, на меня!
О мать земля святая! о Эфир,
Мирообъемлющая ты струя
Всепроникающего света, зрите,
Какую я терплю обиду!

<1847>

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. СТИХОТВОРЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

1

Es wurden in dem düstern Erdenleben
Drei Genien aus einer besseren Welt,
Die Trost ein jedem herben Schmerze geben,
Den guten edlen Menschen zugesellt:
Doch denen nur, die ihren Wert empfinden,
Ist es vergönnt, die Himmlischen zu finden.

Den 14. Juni 1827
Moskau

2

Gedenke mein, wenn Hespers Plasenschleier
Am Horizonte ausgebreitet ist
Und deine Seele freundlicher und freier
Des Erdenlebens schweren Druck vergißt,
Wenn, einsam ruhend unter Blütenbäumen,
Du lieblich sinnst im gold'nen Abendschein,
O dann, in deinen stillen Wonneträumen,
Gedenke mein!

Gedenke mein, wenn sie am Himmel waltet
In ernster Schönheit, die geweichte Nacht,
Wenn dann dein Geist die Schwingen kühn entfaltet
Und heil'ge Sehnsucht in der Brust erwacht;
Fühlst du es tief, daß was sich hier gefunden,
Dort leben wird im ewigen Verein,
O dann, in diesen hehren Weihestunden,
Gedenke mein!

Den 27. Juli 1827
Moskau

8

DIE GEISTERSTUNDE

Eine Phantasie

A marvel and a secret...
Be it so!
Byron.

Wie so still, so traut,
Wie so liebend schaut
Der Mond durch die Bäume;
Es schläft der Wind,
Und lautlos sind
Des Waldes Räume.
Geheimnisvoll steht
Der dunkle Strauch,
Und leise nur weht
Der Atemhauch
Der im süßen Traum
Duftenden Rosen.
Horch!..
Welch Flüstern, welch Kosen,
Vernehmlich kaum,
Tönt dort?..

«Laß mich fort, laß mich fort!
So lispelt es bang,
Und dazwischen tönt's wie von Küssen:
Der Weg ist lang,
Die Mutter wird mich vermissen!»

Und dem Liebesgeflüster
Entgegnet es düster:

«So lebe denn wohl,
Du, mein wonniges Leben!
Morgen werden wir uns
Den Abschiedskuß geben!
Nur ein einzig Mal
Uns seh'n, uns umfassen,
In Lust und in Qual
Dann auf ewig uns lassen.
Dann ist alles aus!

Dann geh ich hinaus,
So fern, so fern!
Ohne Wiederkehr.
Meines Lebens Stern
Seh' ich niemals mehr! . .»

Überströmt von Tränen
Ist ihr Angesicht;
Mit verhallenden Tönen
Seufzet bange sie:
«O vergiß mein nicht!
Vergiß mein nie!
In Glück und Freude,
In bitt'rer Not,
Im schmerzlichsten Leide,
Im Leben und Tod! . .»

— «Lebe wohl, mein Lieb!
Morgen harr' ich dein,
Einen Kuß noch gib.
Still! es rauscht im Hain. . .
Horch! der Morgenwind erwacht
Morgen hier — um Mitternacht! . .»
Und schon ist die Stelle leer,
Und nur gold'ne Käfer schwirren,
Und nur süße Düfte irren
Hin und her.

Auf den stillen Fluren lag,
Dumpf und heiß der Sommertag.
In den Blumen tief gebettet
Hatten sich die Bienen,
Und die schweren Stunden schienen
Angekettet.
Und es saß die Maid im Garten,
Saß allein und schweigend,
Und das Haupt im trüben Warten
Wie die Blumen neigend.

Und die heiße Träne tropfte
Auf die süße Wange;

Und das Herz voll Liebe klopfte
Schmerzlich laut und bange.

Wohl noch oft wird's bange klopfen!
Schmücken sie im Leide,
Werden oft wohl Perlentropfen;
Schmerzliches Geschmeide!..

Und sie wußte nicht, empfand nicht,
Daß die Träne rollte;
Und sie faßte nicht, verstand nicht
Wie sie scheiden sollte!..

Und endlich kam sie — langsam, stille,
In ihrer dunkeln Schönheitsfülle
Stieg sie hernieder aus der Höh',
Mit ihren kalten Nebelszenen,
Mit ihrer stummen Geisternäh',
Mit ihren unverstand'nen Tönen,
Mit ihrer unerforschten Macht.
Kam sie, — die wunderreiche Nacht.
Und immer düst'rer dehnen
Am Himmelsbogen weit
Sich schwere Wolkenmassen;
So schaurig wird es heut,
Als wollte es die Maid
Nicht aus der Kammer lassen.

Doch schon spielt der Wind
Auf der nächt'gen Heide
Mit der Jungfrau Kleide.
Eile, zartes Kind!
Heute ist's zum letzten Male;
Eile! denn der Weg ist lang;
Schaurig dunkelt es im Tale.
Süße Maid! wird dir nicht bang?..
Und sie eilt mit raschen Füßen;
Schon ist sie dem Walde nah,
Düster liegt er vor ihr da,
Und in seinen Finsternissen

Regt es sich
Wunderlich.

Und sie gleitet durch's Gesträuche,
Durch den öden Waldesraum,
Daß sie schnell den Ort erreiche,
Bei der hundertjähr'gen Eiche;
Und sie eilt und atmet kaum.

Im Nachtwinde schwimmen
Leis' flüsternde Stimmen,
Es wehen, es schwanken
Die finsteren Ranken,
Sie wollen umfangen
Die liebliche Maid,
Sie haschen, sie langen,
Sie halten das Kleid.

Horch! — da knistert's, da rauscht es!
Siehe! — da hebt sich's empor!
Wehe! dort schleicht es, dort lauscht es,
Beugt aus dem Busch sich hervor!
Und immer murmelt's hinter ihr:
«Bleib' hier! bleib' hier!»

Und sie eilt mit Windesschnelle,
Und sie ist zur Stelle,
Und sinkt atemlos
In das feuchte Moos.
Und mit rascher Helle
Tritt des Vollmonds Pracht
Aus der Wolkennacht,
Und sie blickt umher,
Sucht im nächt'gen Wald
Ihres Freunds Gestalt;
Alles stumm und leer...

Harrend unterm Eichenbaume
Sitzt die Maid;
Sitzet wie im wachen Traume,
Lange Zeit.
Und indem sie sitzt und sinnet,
Da beginnet

Sich zu regen, da enthüllt
Langsam sich in ihrem Innern
Ein verworrenes Erinnern
An ein dunkles Märchenbild,
Eine schauerliche Sage
Ihrer frühen Kindheitstage,
Davor sie in tiefer Nacht
Oftmals bebend aufgewacht.
Und sie sinnt... und es verwirren
Ihr im Sinn sich Bild und Wort...
Eine Maid war's, ein Verirren
Und ein finst'rer Waldesort...
Raubgeflügel — Rab' und Geier —
Und ein wacher Fiebertraum,
Und ein grauervoller Baum,
Und ein fürchterlicher Freier...

Und entsetzt
Muß sie plötzlich um sich schauen:
«War's nicht alles so wie jetzt? ..»
Und sie fühlt mit tiefem Grauen
Sich im nächt'gen Hain
Nicht allein...
Hört's in jedem Strauche weben...
Ein geheimnisvolles Leben!
Sieht sich's aus dem Grase heben,
Leise, leise, still und stumm,
Fühlt es kalt vorüberwehen,
Hinter ihr es grausig stehen,
Schaut sich bebend um...

Und es ist nicht mehr die Eiche,
Riesig über dem Gesträuche
Ragt ein wunderbares Bild:
Halb verhüllt
Von des Haares schwarzen Fluten,
Zweier Augen helle Gluten
Schaun herab
Auf und ab.

Schwirrt, gleich ungeheuren Schwingen,
Seltsam sein Gewand im Wind;

Und halb Sausen und halb Singen,
Hört sie's rauschen, hört sie's klingen:
«Grüß' dich, grüß' dich, zartes Kind!
Habe gestern dich im Haine
Nachts erschaut;
Bist die Schönste, bist die Meine,
Bist des Geisterfürsten Braut!
Mit dem Liebchen will ich tronen
Auf der Bäume höchsten Kronen,
Wo es süß sich minnt;
Mich mit ihr in Lüften wiegen,
Mit ihr fliegen
Auf dem wilden Wirbelwind
Um die Wette mit den Blitzen,
Sausend über Bergesspitzen,
Über Meer, und Wald, und Kluft;
Kleiden sie in Wolkenschleier,
In des Nebels weißen Duft;
Ihr des Irrlichts wankend Feuer
In die dunkeln Locken streu'n,
Als lebend'gen Edelstein
Mit der Kron' aus Zaubergolde
Werd' ich schmücken dich, du Holde!
Sollst der Geister Herrin sein!»

Und die dunkeln Riesenglieder
Beugen sich zur Jungfrau nieder,
Und die Augen glühen nah...
Und halb sinnlos liegt sie da, —
Wild umtanzt von roten Lichtern,
Von verzerrten Angesichtern,
Grinsend aus der Sträuche Nacht,
Rasch an ihr vorüber schwirrend,
Sich verwirrend und entwirrend;
Laut umlacht
Von dem tollen Geisterschwarme,
In der Tiefe, in der Höh'...
Und die ungeheuren Arme
Regen sich
Fürchterlich!
Dehnen sich

Wie Nebelstreifen...
Nah'n... ergreifen...
Weh!

. . . .

Singend ging er;
Ging von seinem Lieb zu scheiden;
Ging auf nachtumgeb'nem Pfad,
Durch die weiten, öden Haiden;
Und mit müdem Schritt betrat
Er die düstern Waldesschatten.

Auf ihm liegt,
Ihn besiegt
Unbegreifliches Ermatten,
Seltsam hemmt es seinen Fuß,
Daß er stehen bleiben muß;
Und sein Denken, und sein Sinnen
Fühlt er ineinander rinnen,
Gleich den Wellen, gleich dem Sand...
Wie mit unsichtbarer Hand
Schließt's die schweren Augenlieder;
Zauberhaft
Lähmt's der Glieder
Jugendkraft.
Schlafestrunken, müd' und müder,
Sinkt ins Gras er taumelnd nieder;
Und halb träumend höret er
Um sich her
Rauschen, säuseln, wehen, schwanken,
Leise flüstern durch den Hain...
Und die dämmernden Gedanken
Schlummern ein...

Und lange lag er.
Mit einem Mal
Dringt wie ein Strahl
Durch seines Zauberschlafes Blei
Ein ferner Schrei!..

Und er erwacht
Aus Ohnmachtsnacht;
Und graunerfaßt,

In banger Hast
Eilt er fort
Hin zum Ort,
Wo sie harrt.

Und die Stelle ist umflossen
Von des Mondes hellstem Schein,
Und die Stunde ist verflossen,
Und er ist allein.
Öd' und stumm ist's um die Eiche...
Keine Spur...
Leis' und seltsam im Gesträuche
Lacht es nur...

<1833>

4

ALVAR DER TALADOR

IN DREI ROMANZEN

Fuerto cual azero entre armas,
I cual cera entre las Damas.

Aguarda, aguarda! que vengo!
Que vengo, que vengo, aguarda!

I

Sonne ist hinabgesunken
In der Gluten Übermaß,
Nacht herrscht wieder wonnetrunken
In den Fluren Cordovas.

Wieder auf dem Himmelspfade
Geht der Mond so still und klar;
Wieder tönt die Serenade
Vor dem Schloß von Mondecar.

Vor dem Schloß, die schlanken Glieder
In den Mantel eingehüllt,
Singt der Rätselhafte wieder,
Sehnsuchtweich und lieberfüllt.

Und mit dem Gesange einet
Sich ein Nachtigallenchor;

Und auf dem Balkon erscheinet,
Wie ein Traumbild, Doña Flor.

Doña Flor, den edlen Söhnen
Cordovas zum Schmerz erblüht;
Flor, die Schönste aller Schönen,
Horchet auf das Liebeslied.

«Süße Blume, zarte Blume,
Duftend am Guadalquivir
Zu Castiliens Schönheitstruhme!
Neige, Holde, dich zu mir!

Flehend um ein Liebeszeichen,
Seufz' ich hier schon manche Nacht;
Hast mich, Blume sondergleichen,
Zum Gefangenen gemacht.

Muß zum ew'gen Eigentume
Schenken Herz und Seele dir,
Wunderblume, Liebesblume,
Duftend am Guadalquivir!!»

Also schwingt zu dem Balkone
Sich des Fremdlings Lied empor;
Bei des Liedes letztem Tone
Seufzet leise Doña Flor.

Und vom Halse löst sie schweigend
Eine gold'ne Kette ab;
Und, sich übers Gitter beugend,
Wirft sie lächelnd sie hinab.

II

Über die Sierra Morena
Ziehend hin nach Cordova,
Blicken immer alle Wandrer
Angstvoll um sich, fern und nah.

Alle Wandrer flüstern leise:
«Mög' der Engel heil'ge Schar

Uns beschützen und behüten,
Uns behüten vor Alvar!

Vor Alvar, dem nie entgangen
Der, dem er Verderben schwor;
Vor Alvar, dem Blitzesschnellen,
Vor Alvar dem Talador!»

Über die Sierra Morena
Kehrt zurück aus Cordova
Don Rodrigo mit dem reichsten
Zuge, den man jemals sah:

Don Rodrigo von Mendoza,
Dessen Hochzeit gestern war
Mit der schönen Grafentochter,
Doña Flor von Mondecar.

Heimwärts zieh'n sie nach Toledo;
Fröhlich ist die ganze Schar:
Eine Einz'ge nur ist traurig —
Doña Flor von Mondecar.

Hörner klingen, Lieder tönen;
Doch es seufzet Doña Flor.
Plötzlich schlägt ein wildes Rufen
Unheilkündend an ihr Ohr.

Blitzschnell stürzt aus dem Gebirge
Eine Räuberschar hervor.
Bist verloren, Don Rodrigo,
S'ist Alvar, der Talador!

S'ist Alvar, der schwarze Reiter,
Dessen Auge düster brennt;
Auf der Brust die gold'ne Kette,
Welche Doña Flor erkennt!

Weh dir, weh dir, Don Rodrigo,
Dir zum Grab wird diese Schlucht!
Bei des Taladores Namen
Wendet jeder sich zur Flucht!..

III

«O! wacht auf, wacht auf, Don Pedro,
Edler Graf von Mondecar!
Eine böse Kunde bring' ich;
Waffnet eure Dienerschar!

Euer Eidam ist erschlagen;
Eure Tochter, Doña Flor,
Andalusiens Stolz und Zierde,
Ist geraubt vom Talador!

Im Gebirg' liegt Don Rodrigo,
Schwimmend in dem eig'nen Blut!
Kaum entrannen von uns allen
Zweie nur des Räubers Wut!»

Auf von seinem kostbar'n Lager
Springt der Graf von Mondecar,
Rufet laut nach seinem Schwerte
Und zerrauft sein greises Haar.

«Finden werd' ich dich, Verruchter!
Tiefverborg'ner, gift'ger Molch!
Stoßen werd' ich in die Kehle
Bis zum Herz dir meinen Dolch!!»

Zwanzig Tage im Gebirge
Irrt der Graf von Mondecar;
Zwanzig Tage sucht vergeblich
Er den Talador Alvar.

An der Spitze seiner Diener
Kehret auf dem müden Roß
Stumm der düstre Graf Don Pedro
Endlich wieder auf sein Schloß!

Niemand sah in Andalusien
Jemals wieder Doña Flor,
Die Besiegerin der Herzen,
Und Alvar, den Talador.

<1833>

5

FLUCHT UND RÜCKKEHR

Parte il pie, ma resta il cors!

I

FLUCHT

Muß euch fliehn, ihr beiden Sterne!
Muß euch fliehen ferne, ferne,
Immer ferner! Wird doch wohl
Endlich hinter Nebelmassen
Euer Zauberlicht erblassen;
Mächt'ge Sterne, lebet wohl!

Muß dich fliehn, du Wunderbare!
Muß dich meiden lange Jahre;
Sollt' ich auch von Pol zu Pol
Rastlos suchen mir den Frieden,
Werde nimmermehr ermüden;
Vielgewalt'ge, lebe wohl!

In des Südens Lorbeerhainen,
Wo sich tausend Wonnen einen,
Wo so gold'ne Früchte glüh'n,
Wo so dunkle Augen brennen,
Werd' ich wohl vergessen können
Einer Rose stolzes Blüh'n.

Wohl vergessen doch am Ende
Eines Häuschens weiße Wände,
Ein bescheidenes Gemach,
Einen Steinsitz unter Pappeln,
Eines Bächleins kindisch Plappern,
Einer Laube Schattendach.

Leb' denn wohl, du Reizumströmte,
Die so lang mein Wollen lähmte!
Wunderschöne, stolze Maid,
Die dich nimmer darum kümmerst,
Ob du Glück und Ruh' zertrümmerst;
Lebe wohl! Auf lange Zeit!..

II

RÜCKKEHR

Irrt' ich lange, irrt' ich ferne,
Um zu mehren nur mein Weh?
Floh ich dich, allmächt'ge Fee,
Daß ich nur dich lieben lerne,
Heißer, schmerzlicher als je?

Glaubte deine Macht geendet,
Dachte dein mit ruh'gem Sinn;
Und nun ich gekehret bin,
Steht der scheue Knecht geblendet
Vor der hohen Herrscherin.

Willst du stolzer noch umwallen
Ihrer Schultern Zauberpracht,
Wunderbare Lockennacht?
Lippen, redende Korallen,
Übet ihr noch größ're Macht?

Edensrosen ihrer Wangen!
Muß mein Blick, der an euch hing
Wie ein trunk'ner Schmetterling,
Liebender an euch noch hangen,
Als bevor ich von euch ging?

Weit bin ich hinausgezogen;
Sah der alten Pyrenäen
Stumme Riesen mich umsteh'n,
Hab' die Düfte eingesogen,
Die in Spaniens Fluren weh'n.

Schön prangt dort die Pomeranze
Auf dem dunklen Blättergrund;
Lust tut sich in allem kund;
Lieblich tönet die Romanze
Aus hispan'scher Mädchen Mund;

Wonnig ruht sich's unter Myrten;
Doch das Herz blieb freudenleer;

Über Land und über Meer,
Wider Willen, stets verirrten
Die Gedanken sich hieher.

Laßt mich denn den Hochmut büßen,
Mächt'ge Augen, ernst und klar,
Wundersames Sternenpaar!
Werd' euch wohl gehorchen müssen,
Euch gehorchen immerdar!!

<1833>

6

SÄNGERS ABENDGRUSS

Ay dios! quien supiese
A que parte miras,
Y quando sospiras
La causa entendiese!..
Un solo momento
Jamas vivir supe,
Sin que en ti se ocupe
Todo el pensamiento.

Der Laute
Vertraute
Ich allen Schmerz in mir;
Die Tränen,
Das Sehnen,
Das Sehnen fort von hier.

Zwei Sterne
Glüh'n ferne
Mit liebevollem Schein;
Und blinken,
Und winken
In meinen Traum herein.

Dich denk' ich;
Dir schenk' ich
Mein Glück und mein' Ruh';

Dir sende
Ohn' Ende
Ich die Gedanken zu!

Dich grüße,
O Süße!
Von mir der Abendwind!
Er grüße
Und küsse
Statt mir mein holdes Kind.

Dich kose,
O Rose!
Der Hauch der Sommernacht
Umspiele
Und kühle
Des Busens Liebespracht.

Und dachtest,
Und wachtest
Du lange Zeit allein,
Und müssen
Sich schließen
Die hellen Äugelein,

Empfange,
Umfange
Alsdann dich weicher Flaum;
Dann weise
Dir leise
Mein Bild ein zarter Traum.

Es töne,
O Schöne!
Mein fernes Lied darein;
Nicht weich' es,
Still schleich' es
Sich in dein Herz hinein!

<1833>

7

DIE NIXE

Dreams that day's light
cannot remove.

Byron.

I

Es sitzt der Knabe in der Geisterstunde
An dem Gestade; und im nächt'gen Schweigen
Zieht in der Uferweiden dunkeln Zweigen
Ein leises Flüstern wie aus Feenmunde.

Was tönt so lockend aus dem Wassergrunde,
Als sänge dort ein lust'ger Nixenreigen?
Was sieht der Tiefe er so hell entsteigen?
Er beugt sich nieder, daß er es erkunde.

Ist es ein Stern, sich spiegelnd in der Welle?
Ein leuchtend Fischlein, das dort unten spielet?
Der Silberwiderschein des Mondenlichtes?

Glänzt eine Wasserlilie so helle? . .
Nein, es erhebt sich, von der Flut umspület,
Die Blume eines Frauenangesichtes.

II

Und wunderlieblich war sie anzuschauen,
Und also ihre Liebesworte klangen:
«O süßer Liebling mit den Rosenwangen,
Nicht mög' es dir, du Schöner, vor mir grauen!

Umfaß' mich nur mit liebendem Vertrauen;
Was nie geträumt dein heißestes Verlangen,
Wirst du in meiner Zauberwelt erlangen,
Wirst du in meinem Flutenreiche schauen!»

Mit bangem Staunen höret es der Knabe,
Die blauen Wellen wallen, rieseln, rinnen,
Ihm ist als würd' er schon hinabgezogen

Zum kalten, schauerlichen Flutengrabe...
Und Grausen faßt' ihn, und er floh von hinnen;
Und lange rief's ihn weinend aus den Wogen!

III

Seitdem, sobald der leise Schlaf geschlossen
Des jungen Knaben müde Augenlider,
Erschien im Traume ihm die Nixe wieder,
Von Silberwellen wunderhell umflossen;

Und sprach von Wonnen, die er nie genossen,
Und lockt' ihn immer süßer zu sich nieder,
Und sang ihm immer schön're Zauberlieder,
Bis sie ins Herz ihm Liebesglut gegossen.

Seit jener Zeit, vom frühsten Morgenscheine,
Bis tiefe Nacht den Himmel überzogen,
Sieht man den Knaben an dem Ufer stehen;

Und harrend, ob die Nixe ihm erscheine,
Starrt er mit dunkeln Blicken in die Wogen...
Doch niemals hat er wieder sie gesehen!

<1833>

8
LIED

Que me faut-il? Du ciel, de l'onde
et du gazon!

J. Delorme.

Wär' hinter Felsenpforten
Für mich ein stiller Ort,
Mich zu verbergen dorten,
Zu leben ruhig dort!

Und eines Häuschens Frieden,
Um, wie im sichern Port,
Von jedem Sturm geschieden,
Zu schlummern ruhig dort!

Und dann ein Sitz auf Höhen,
In alter Eichen Hort,
Von dort hinauszusehen,
Zu denken ruhig dort!

O, fänd' ich je die Pforten
Von solchem sel'gen Ort,
Zu leben einsam dorten,
Zu sterben ruhig dort!

<1833>

9

SONETT

DER ABEND

Tanta dolcezza avea pien l'aere
e'l vento.

Petrarca.

Die Sonne sank; es flammt in Gluten-Brande
Der Horizont, die Abendwölkchen kommen
Still durch die reinen Lüfte hergeschwommen
Im goldgesäumten, purpurnen Gewande.

Es weilt der Geist in einem fernen Lande,
Die Seele hat ein fernes Wort vernommen,
Der Sehnsucht Traum ist über sie gekommen,
Und schmerzlich fühlt sie ihre ird'schen Bande.

Doch diese Stille wandelt all ihr Streben,
Ihr sehnend Weh zum weichen Liebessinnen;
Das Herz erfüllen milde Harmonien;

Und mit den Düften möchte es verschweben,
Und mit des Abends Dämmerlicht zerrinnen,
Und mit den Purpurwölkchen still verglühen.

<1833>

10

AN A. v. H<U>MB<OL>DT

Mir ward ein Kranz von leuchtenden Sekunden,
Ein Sonnenlicht fiel in mein stilles Leben;
Doch kaum wagte ich das Auge zu erheben,
So war es schon vergangen und verschwunden.

Im dunkeln Dasein gibt es helle Stunden,
Die, schönen Wundern gleich, herniederschweben;
Sie sind uns als ein ewig Gut gegeben,
Denn nimmer welket, was wir dann empfunden.

Doch wenn der Strahlenaugenblick verglommen,
Dann fühlen doppelt wir des Lebens Leere,
Gemeiner dann erscheinet uns die Menge:

Denn als entzückt Cäcilie vernommen
Die Harmonien der sel'gen Engelchöre.
Verletzten sie die irdischen Gesänge.

<1833>

11

Am Wintertag aus wessen Händen
Die blüh'nden, unverhofften Spenden?
So wunderlieblich duften sie!
Wie sollt ich's nicht verstanden haben,
Daß es mir Grüße sind und Gaben
Vom Zauberland der Poesie?

D 25. Dezember 1860

12

Nimm zum heil'gen Weihnachtsfeste
Die vollbrachte Arbeit hier:
Denn vielleicht ist's meine beste,
Und gewiß die liebste mir.

Декабрь 1861

13

Töne, einer sangesvollen,
Warmen Dichterbrust entquollen,
Freudig mächt'ger Liederklang,
Wie ein Frühlingsdonnerrollen
Über blüh'nden Bergeshang.

Начало 1860-х годов

14

Genug des Wortschwalls, des sich reihenden
Zu Vers auf Vers, im nicht'gen Spiel,
Genug des Scherzes, des entweihenden,
Des schnöden Tuns genug, zu viel!

An solcher Kurzweil nicht beteilige
Der Dichter sich; es sie das Wort
Für ihn der Gnade Pfand, der heilige,
In frommer Treu bewahrte Hort.

Sich freventlich an ihm versündigen
Darf nimmer mehr, und wär's im Scherz,
Er, der erwählt ist zu verkündigen
Der Menschenseele Glück und Schmerz!

D. 31sten August 1870
Pillnitz

15

Dresden steht noch an der Elbe,
Wo's gestanden hat;
Ist in allem noch dieselbe
Gute, russ'ge Stadt.

Ich auch lebe fort mit sachten
(Freilich fragt sich's: wie?),
Mit dem Liede, dem vollbrachten,
Harr' ich nun auf Sie.

D. 17ten Nov<ember> 1871

O rede nicht vom Scheiden und Entsagen,
Von dem Gebot der unbarmherz'gen Pflicht!
Den feuchten Blick seh' ich dich niederschlagen
Ich glaube nur was deine Träne spricht.
O rede nicht!

Du bleibest mein, was auch die Lippen schwören,
Du hörst dein Herz sei einer Lüge zeihn;
Du fühlst es tief, daß wir uns angehören,
Du weißt es wohl, es kann nicht anders sein,
Du bleibest mein!

Середина 1870-х годов

2. ПЕРЕВОДЫ НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

W. SHUKOWSKIJ

WEIHE

Es nahte unterm Himmelsbogen
Die junge Muse mir sonst oft;
Begeist'rung kam herabgeflogen,
Sonst ungerufen, unverhofft.
Den Zauber ihres goldnen Scheines
Verlieh belebend allem sie;
Und unzertrennlich war und Eines
Mir Leben dann und Poesie.

Allein der Geber der Gesänge
Besuchet längst mich schon nicht mehr;
Verstummet sind der Harfe Klänge,
Die Seele ist an Träumen leer.
Erscheint er mir aufs neu hienieden?
Wird wieder sein, was eh'mals war,
Ist es auf immerdar geschieden?
Die Harfe stumm auf immerdar?

Doch was von jenen schönen Jahren,
In denen seine Gunst mir ward,
Was von den teuren, trüben, klaren
Vergang'nen Tagen ich bewahrt':
Des Geistes und des Lebens Blüten,
Die alle will mit frommem Gruß
Mein Herz dir weihen und dir bieten,
Der reinen Schönheit Genius!

Wann der Begeist'rung Himmelsfeuer
Mir wiederkehrt? — Ich weiβ es nicht,
Doch du bliebst mir bekannt und teuer,
Mir strahlet deines Sternes Licht.
Solang die Seele noch auf Erden
Nicht dieses heil'ge Licht vermiβt,
Vermag der Zauber wach zu werden,
Zu kehren, was vergangen ist!

<1833>

A. PUSCHKIN

NACHT. ZELLE IM TSCHUDOWSCHEN KLOSTER

Pimen

Noch eine, letzte Kunde — und zu Ende
Ist meine Chronik, und erfüllt die Pflicht,
Mir Sünd'gem aufgelegt vom Herrn. Er machte
Mich nicht umsonst zum Zeugen vieler Jahre,
Und lieβ der Schreibekunst mich kundig werden.
Einst wird ein fleiβ'ger Mönch dies treu vollführte
Werk sonder Namen finden und gleich mir
Anzünden wird alsdann er seine Lampe,
Der Zeiten Staub abschüttelnd von den Blättern,
Abschreiben treulich die wahrhaft'gen Kunden,
Daβ der Rechtgläub'gen Enkel die vergang'nen
Geschicke ihres Landes wissen mögen,
Mit Lob gedenken ihrer groβen Fürsten,
Um ihrer Mühen, ihres Ruhmes willen
Und aller ihrer guten Werke, aber
Der Sünden wegen und der finstern Taten
Zum Welterlöser voller Demut fleh'n.
Aufs neu' durchleb' im Alter ich mein Leben;
Vor mir zieht das Vergang'ne hin. Wie brauste
Es unlängst noch ereignisvoll vorüber,
Und rastlos wogend wie des Weltmeers Flut!
Nun ist es still und lautlos; wenig Bilder
Hat die Erinnerung mir aufbewahrt,

Und mich erreichen wenig Worte nur;
Unwiederbringlich hin ist alles and're!
Allein es naht der Tag, die Lampe brennt
Zu Ende schon. — Noch eine, letzte Kunde.

<1833>

LIED

Ein Augenblick ist mein gewesen:
Du stand'st vor mir mit einem Mal,
Ein raschentfliegend Wunderwesen,
Der reinen Schönheit Ideal.

Im schmerzlich hoffnungslosen Sehnen,
Im ew'gen Lärm der Menschenschar,
Hört' ich die süße Stimme tönen,
Träumt' ich das milde Augenpaar.

Allein im Kampf mit dem Geschicke
Und in der Jahre düsterm Gang
Vergaß ich deine Engelsblicke
Und deiner süßen Stimme Klang.

Und lange Kerkertage kannt' ich,
Es war die Brust mir stumm und leer,
Für keine Gottheit mehr entbrannt' ich,
Nicht weint' ich, lebt' ich, liebt' ich mehr.

Es darf die Seele nun genesen,
Und du erscheinst zum zweiten Mal,
Ein raschentfliegend Wunderwesen,
Der reinen Schönheit Ideal.

Und wieder schlägt das Herz voll Weihe
Sein Todesschlummer ist vorbei;
Für eine Gottheit glüht's aufs neue,
Es lebt, es weint, es liebt aufs neu'!

<1833>

DER PROPHET

Ich irrt' auf unbetret'nen Wegen
Der Wildnis, und ein Seraph trat
Urplötzlich auf gekreuztem Pfad
Dreifach geflügelt mir entgegen.
Sein Finger, leichter als ein Traum,
Berührete mein Auge kaum;
Und es erschloß sich wunderbar,
Wie bei dem aufgescheuchten Aar.
Mein Ohr berührte er alsdann,
Und lautes Tönen schlug daran;
Und ich vernahm die Harmonien
Der Himmel, und der Engel Flug,
Des Meergewürmes dunkeln Zug,
Der Talespflanze leises Blühen.
Und meinen Lippen tat sich kund
Sein Finger und entriß dem Mund
Die Zunge mit dem sünd'gen Hange
Zur Lüge und zum eitlen Tand;
Und er verlieh, mit blut'ger Hand,
Den Stachel mir der weisen Schlange.
Die Brust zerspaltete er mir,
Das warme Herz daraus entziehend,
Und eine Kohle, feuersprühend,
Legt' er in meine Brust dafür.
Und sinnlos lag ich in der Öde;
Und mir ertönte Gottes Rede:
«Steh' auf, Prophet! und schau, und höre!
Mein Wille lenke dich hinfort;
Umwandle Länder du und Meere,
Und zündend fall' ins Herz dein Wort!..»

<1833>

3. СТИХОТВОРЕНИЯ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

1
FRAGMENT

Toi dont le cœur est pur, dont la paisible vie
Au joug des passions ne fut point asservie,
Qui connais le bonheur, et qui l'as mérité,
Bénis ton existence et ton obscurité!
Laisse d'autres du monde occuper la mémoire:
Homme heureux, homme aimé, qu'as-tu besoin de gloire?
Tes nuits passent en paix, tes jours coulent sereins,
Garde-toi d'envier le sort de ces humains
Qui portent une flamme en leur âme inquiète;
Ce n'est pas le bonheur qui mûrit le poète:
Il lui faut la tempête, il lui faut les tourments!
Ce n'est pas dans la paix de ses plus doux moments,
Dans un cercle d'amis, dans les bras d'une épouse
Que grandit son génie et sa palme jalouse;
C'est lorsque ses beaux jours, ses doux rêves ont fui,
Que soudain le malheur se dresse devant lui,
Et de sa main de fer lui prend tout ce qu'il aime,
Que sur lui du destin a grondé l'anathème,
Et que dans le désert fuyant toujours en vain
L'hydre des souvenirs qui lui ronge le sein,
Il s'assied sur un roc, seul, rêveur et farouche, —
C'est alors que les chants jaillissent de sa bouche
Brûlants, impétueux... Et ces chants de douleur,
Ce sont ceux qui feront palpiter chaque cœur,
Que le monde surpris d'âge en âge répète,
Qui d'éternels lauriers couronnent le poète.
Oh! que de maux sans nom dans cette âme de feu!
Que cet homme a souffert pour devenir un dieu!

<1834>

2
À TOI

À toi toujours, ce qu'aucun mot n'exprime,
Chaque pensée et chaque tendre émoi,
Et chaque espoir, et chaque élan sublime,
Toute ma vie et tout mon être — à toi!

Non, à ce monde incrédule et funeste,
Non, je n'ai point dévoilé mon trésor;
J'ai dans mon cœur gardé le don céleste,
Comme l'hostie en un calice d'or.

Toi seul as su combien ce cœur de femme
Pouvait aimer et pouvait être aimé;
Toi seul as su que quelque sainte flamme
Devait brûler dans ce temple fermé!

Mon bonheur — laisse-moi le boire
A pleine coupe chaque jour.
Poète, à moi ta belle gloire?
Jeune homme, à moi ton doux amour!

Oh! croyons, espérons sans borne!
Oh! rêvons des rêves divins!
Et, dans ce monde aride et morne,
Si nos beaux songes restent vains,

C'est beaucoup d'avoir pu sur terre
Rêver un bonheur éternel,
D'avoir sondé le saint mystère
Et d'avoir deviné le ciel!

Oui, l'amour seul est l'existence,
La loi de l'ange au cœur de feu;
Oui, l'amour seul peut être immense,
L'amour seul peut comprendre Dieu!

Avril 1837

3

QUAND TA VOIX EST SI TENDRE

Quand ta voix est si tendre,
Ton œil si plein d'espoir,
Et j'entends sans entendre,
Je regarde sans voir;
Quand un soupir achève
Quelques mots dits tout bas, —
Oh! laisse que je rêve,
Ne t'en étonne pas.

Quand une étoile blanche
Luit au-dessus de nous,
Quand, muette, je penche
Mon front sur tes genoux;
Quand la tristesse effleure
Mon cœur entre tes bras, —
Oh! laisse que je pleure,
Ne m'interroge pas.

Que t'importe qu'une ombre
Passe devant mes yeux,
Qu'un instant tombe, sombre,
Dans mes instants joyeux?
Mes bonheurs, mes souffrances,
M'inondant tour à tour,
Mes rêves, mes silences,
Mes pleurs ne sont qu'amour.

Avril 1837

4

ET J'AVAIS DIT

Et j'avais dit: «Puisque rien ne contente,
Puisque nos jours si tôt sont révolus,
Qu'importent donc, dans cette vie errante,
Quelques bonheurs ou quelques pleurs de plus?

Il naît parfois d'innocentes hosties,
Êtres placés ici par le seigneur,

Pour révéler aux âmes perverties
Que l'homme va vers un monde meilleur.

D'autres auront les biens d'un sort prospère,
Eux, il leur faut mettre ailleurs leur espoir,
Eux, étrangers, sont venus sur la terre,
Pour y passer comme une ombre du soir.

Ils devront vivre et jamais ne connaître
Ce qu'ici-bas la vie a de plus doux,
Mais ils sauront, mieux qu'un heureux peut-être,
Devant leur dieu tomber à deux genoux.

Mais ils sauront qu'on peut souffrir et croire
Qu'il est là-haut un soutien éternel,
Que la douleur est l'ardent purgatoire,
Où doit plonger l'âme qu'attend le ciel.

Et je marchais dans ma carrière aride,
Sans accuser mon sort de sa rigueur,
Sans reculer devant l'avenir vide
Et sans permettre un rêve au jeune cœur.

Et du bonheur j'entrevoyais la fête,
Et j'entendais des mots doux et joyeux,
Et je passais en détournant la tête,
Et je fermais mon oreille et mes yeux.

Mais seule enfin dans le sinistre espace
Qui s'allongeait, qui s'allongeait toujours,
Je m'arrêtais, pâle et demandant grâce,
Et succombant au fardeau de mes jours.

Et je compris alors dans ma faiblesse,
Que j'enfreignais quelque éternelle loi,
Qu'autour de moi l'ombre augmentait sans cesse,
Et que le sol allait manquer sous moi.

Et j'ai voulu, frêle ondine nouvelle,
Recevoir l'âme au souffle de l'amour,
Et même, au prix de l'expier comme elle,
Comme elle au moins exister un seul jour».

Octobre 1837

5

STANCES

Seul dans la nuit quand rêve le poète,
Quand un éclair s'allume dans ses yeux,
Quand tout à coup de sa bouche muette
Jaillit le flot des chants impétueux,
Quand le génie est devenu son maître
Et qu'il l'enlève aux choses d'ici-bas:
Vous comprendrez ces purs transports peut-être,
Peut-être, hélas! ne comprendrez-vous pas!

Quand, citoyen joyeux d'un autre monde,
Il lève au ciel ses regards triomphants,
Quand il ressent une pitié profonde
Pour cette terre et ces hommes-enfants,
Quand un mépris sublime le pénètre
Pour tous ces biens qui lui semblent si bas:
Vous comprendrez ce beau dédain peut-être,
Peut-être, hélas! ne comprendrez-vous pas!

Suivant, pensif, un sentier solitaire,
Quand il a fui loin du monde moqueur,
Quand dans son âme habite un doux mystère,
Quand une voix résonne dans son cœur,
Quand une image à ses yeux vient paraître,
Et lui sourit et lui parle tout bas:
Vous comprendrez ce doux secret peut-être,
Peut-être, hélas! ne comprendrez-vous pas!

Quand, s'enivrant de céleste espérance,
Son âme a dit le mot divin: *Toujours!*
Et quand il sent toute la joie immense
D'unir deux cœurs en de saintes amours,
Et de les fondre, et d'en faire un seul être,
Bravant l'absence et bravant le trépas:
Vous comprendrez ce saint bonheur peut-être,
Peut-être, hélas! ne comprendrez-vous pas!

Et quand la vie a trompé son attente,
Ne lui donnant qu'un aride rocher,

Qu'il parcourut, brûlé de soif ardente,
Cherchant toujours la source où l'étancher;
Et quand il meurt sans l'avoir pu connaître,
Brisé trop tôt par d'insensés combats:
Vous comprendrez ce qu'il cherchait, peut-être,
Peut-être, hélas! ne comprendrez-vous pas!

<1839>

6

JEANNE D'ARC

I

La voyez-vous passer, la jeune paysanne?
La voyez-vous, le soir, sortant de sa cabane,
S'écarter du village où l'on chante et l'on rit?
Elle vient se rasseoir sous l'arbre centenaire,
Baissant son chaste front, sourde aux bruits de la terre,
Et seule avec l'Esprit.

Elle doit écouter, dans cette longue veille,
Son implacable voix qui lui parle à l'oreille;
Elle doit revenir demain, comme aujourd'hui,
Subir en frissonnant son approche fatale,
Durant toute la nuit rester, muette et pâle,
Face à face avec lui.

Elle doit accepter le pacte formidable,
Ne pas oser fléchir sous le poids qui l'accable,
Ignorer toute joie et tout amour humain,
Redoutable instrument des vengeances divines,
S'environnant de deuil, de morts et de ruines,
Poursuivre son chemin.

Malheur à toi! malheur, ô jeune condamnée!
Car tous s'écarteront de la Prédestinée!
Car avec toi seront le mystère et l'effroi,
Car tu seras vouée aux terribles puissances,
Car pour toi plus d'erreurs, pour toi plus d'espérances!
Malheur, malheur à toi!

Car dieu ceindra ton front d'ardentes auréoles,
Sur tes lèvres viendront de sublimes paroles,
Et tu devras frémir à tes propres accents;
Malheur à toi, malheur, ô bergère ingénue!
Car tes yeux brilleront d'une flamme inconnue
Et verront les absents.

Obéis à l'arrêt! obéis sans murmure:
Porte le joug d'airain, ô frêle créature!
Obéis! fais ton cœur impitoyable et sourd;
Brise tous tes bonheurs, ferme à jamais ton âme!
Laisse tout, quitte tout: le Seigneur te réclame!
Voici venir son jour.

Dévouée, elle attend. Déjà l'heure est prochaine,
Déjà l'heure a sonné pour l'œuvre surhumaine
Qu'à cette faible enfant l'Éternel réserva:
Soudain elle se lève avec un cri sublime,
Le souffle du très-haut a rempli sa victime,
Elle s'arme! elle va!..

II

La voyez-vous marcher, l'ardente vengeresse?
La voyez-vous, là-bas, dans la mêlée épaisse,
Rapide, s'élançant avec son étendard?
Voler, précipitant ses pas involontaires,
Et plonger dans les rangs des pâles adversaires
Son fascinant regard?

Dans la profonde horreur des fumantes batailles
Elle marche en avant, sans cœur et sans entrailles,
Active à consommer l'œuvre du dieu vivant;
Parmi les feux, le sang, les victimes sans nombre,
Terrible, secouant sa chevelure sombre,
Elle marche en avant!

De combats en combats, sans relâche et sans trêve,
Dans sa débile main l'inévitable glaive,
Elle va poursuivant son chemin jusqu'au bout:

Haletante, au pouvoir d'une force cruelle,
Et partout et toujours elle sent derrière elle
L'invisible debout.

III

La voyez-vous, hélas! la morne prisonnière,
Comme un pâle fantôme assise sur la pierre?
Son destin s'accomplit impitoyablement.
Dieu pour se signaler voulut son entremise:
Aujourd'hui l'œuvre est faite, il permet que l'on brise
L'inutile instrument.

Elle, qui dut quitter son humble toit de chaume
Pour délivrer un peuple et sauver un royaume,
Bergère qui marchait, dispersant les héros,
Elle est là, chaste hostie! ô mystère suprême!
En butte à la risée, à l'insulte, au blasphème,
En proie à ses bourreaux!

Et du fond de son cœur, pendant ces longues heures,
S'élève le cri sourd des voix intérieures;
Tous ses deuils incompris, ses immenses douleurs,
Étreignent à la fois la victime muette,
Et tremblante et brisée elle baisse la tête,
Et s'inonde de pleurs.

O triste délaissée! hélas! ce que tu pleures,
Ce n'est point la splendeur des royales demeures,
Où tu viens achever ta sainte fonction;
Ce n'est point la bruyante et vaine idolâtrie
De ce peuple insensé, qui maintenant te crie
Sa malédiction.

Non, non: c'est ta vallée aux horizons immenses,
Et ton calme village, et ce temps d'ignorance,
Où tu passais tes jours à regarder le ciel,
Où ton cœur débordait d'une paix sans mélange,
Où ton âme chantait, comme un ardent archange,
Un cantique éternel!

Oh! tu le savais bien, en quittant la chaumière,
Qu'il fallait à ton dieu t'immoler toute entière,
Que tu succomberais sous la croix des Élus!
Que pour toi sur la terre il n'était point d'asile,
Que l'heure du retour dans ton vallon tranquille
Pour toi ne viendrait plus.

Eh bien, pâle martyre, achève ton calice!
Que l'épreuve terrible aujourd'hui s'accomplisse!
Déjà le peuple attend et s'agite en grondant.
Lève-toi! va subir ta dernière torture!
Toi, la libératrice et la sainte et la pure,
Marche au bûcher ardent!

<1839>

7

LES PLEURS DES FEMMES

Oh! pourquoi donc, lorsqu'à leur route
Les doux bonheurs ne manquent pas,
Pourquoi donc pleurent-elles toutes,
Ces pauvres femmes d'ici-bàs?
Ne jetez pas sur ce mystère
Votre dédain froid et cruel,
Et par le rire de la terre
N'offensez pas les pleurs du ciel!

Ce qui soudain déborde en elles,
Nul de vous ne l'éprouverait;
Mais vous laissez ces esprits frêles
Se bercer de leur deuil secret!

Ce n'est pas crainte involontaire,
Ni regret, ni malheur réel,
Mais par le rire de la terre
N'offensez pas les pleurs du ciel!

C'est un breuvage de leurs âmes,
Une exigence née ailleurs;

Il fond souvent des pleurs aux femmes
Comme il pleut de la pluie aux fleurs.
Arrosé par l'ondée amère
Leur amour fleurit, éternel.
Oh! par la vie de la terre
N'offensez pas les pleurs du ciel!

Savez-vous si ce don suprême
Luit en vain dans d'humides yeux?
Si ce n'est pas un saint baptême,
Un sacrement religieux?
Ne jetez pas sur ce mystère
Votre dedain froid et cruel,
Et par le rire de la terre
N'offensez pas les pleurs du ciel!

22 mai 1840
Moscou

8

A M-ME PLETNEFF

Vous, âme fervente et candide,
Vous, esprit tendre et sérieux,
Jeune cœur, que voudraient pour guide
Les cœurs que le monde a fait vieux;

Vous, sainte épouse et douce mère,
Vous me dites à demi-voix:
«D'où vient la moquerie amère
Qui vous échappe quelquefois?

D'où vient que, croyante nature,
Vous n'osez croire qu'à moitié?
D'où vient votre parole dure,
Votre analyse sans pitié?

D'où vient qu'à tout bonheur de l'âme
Vous appliquez ce froid compas?
D'où vient tout ce qu'en vous je blâme,
Tout ce qu'en vous je n'aime pas?»

Et moi je répondrai peut-être,
Que je n'ai vécu qu'à demi,
Que je n'ai rencontré qu'un maître,
Lorsqu'il me fallait un ami.

Je répondrai que si je doute,
C'est qu'il m'est trop doux d'affirmer,
Et que je sais *ce* qu'il en *coûte*
D'espérer, de croire et d'aimer.

Que si je scrute et si j'évite
Les élans d'un transport fervent,
Comme le puissant Néophite
J'ai marché sur le flot mouvant;

J'ai longtemps, sans crainte et sans trêve
Luttant d'un esprit indompté,
Poursuivi ce céleste rêve
De Justice et de Vérité.

Que si je raille, triste et fière,
Si je ferme mon coeur éteint,
J'ai payé de ma vie entière
Un ardent et sublime instinct.

Et qu'une voix intérieure
Me dit qu'à ce terrible prix
Peut-être encore n'ai-je à cette heure
Rien <?> désappris et rien appris.

1854

9

RÉPONSE

IMPROVISÉE EN DISCUTANT (INUTILEMENT) AVEC UNE JEUNE PROGRESSISTE OLGA KIRÉEFF

Qui, dans ces temps anciens, qu'on dédaigne
et qu'on raille,
Où le droit du plus fort était seul de saison,
Dans ces barbares temps de corvée et de taille
Où le fouet du seigneur châtiait la canaille,
Où pour oser être homme il fallait un blason;

Oui, dans ces sombres jours remplis de boucheries
Je vois se relever pourtant de toutes parts,
Et lutter de nouveau les victimes meurtries,
Je vois contre les grands marcher les jacqueries,
Les hauts barons trembler devant les camisards;

Je vois l'esprit de dieu traverser les campagnes,
Des pâtres, repoussant l'inique oppression,
Boucher avec leurs corps l'accès de leurs montagnes,
Des tisserands vainqueurs du maître des Espagnes,
Partout ardent vouloir et puissante action.
Et maintenant je vois des faiseurs de systèmes!..

Le 23 Mars 1859
Dresde

4. ПЕРЕВОДЫ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

V. JOUKOVSKI

LA MER

Traduit du russe

O mer d'azur! mer profonde et muette!
Tu me retiens, fasciné, devant toi.
En toi respire une vie inquiète,
Un sourd désir, un vague et tendre émoi.
Muette mer! quel mystère t'anime?
Révèle-moi tes secrètes amours:
De quoi tressaille ainsi ton vaste abîme?
De quoi ton sein palpite-t-il toujours?
T'attire-t-il, puissante prisonnière,
Ce ciel lointain, ce ciel splendide et pur?
Son doux aspect calme ta vague altière,
Tu te revêts de son limpide azur;
De ses reflets mollement tu te voiles,
Quand du matin l'éclat l'empourpre encore,
Tu resplendis des feux de ses étoiles,
Tu t'embellis de ses nuages d'or.
Et quand parfois les ombres de l'orage
Du firmament t'enlèvent les splendeurs,
Ta voix gémit, tu t'élances, sauvage,
Pour déchirer ces jalouses vapeurs...
Et l'ombre fuit; mais ton trouble te reste,
Ton flot s'agite et s'enfle plein d'effroi;
Avec l'éclat de la voûte céleste
L'ancien repos ne renaît pas en toi;
De tes dehors longtemps la paix est feinte,

Longtemps frémit ton gouffre refermé,
Et tu ne peux bannir la vague crainte
De perdre encore l'aspect du ciel aimé.

<1839>

ALEXANDRE POUCHKINE

LE GÉNÉRAL D'ARMÉE

Traduit du russe

Au palais du tsar russe est une vaste salle:
Là ne brille nul or, nulle splendeur royale,
La couronne en ce lien ne se conserve pas;
Mais dans tout son pourtour, du haut jusques en bas,
Un peintre au pinceau large, à l'œil vif et rapide,
Décora ses lambris sans y laisser de vide
Et là ce ne sont point saintes aux traits divins,
Ni nymphes des bosquets, ni faunes et sylvains,
Mais sabres reluisants et manteaux militaires,
Et des fronts pleins d'audace, et des faces guerrières.
L'artiste en rangs serrés a placé sous nos yeux
Les chefs de notre armée et ces braves nombreux
Que recouvre à jamais de sa gloire jalouse
L'immortel souvenir de l'an mil huit cent douze.
Devant eux à pas lents je passe mainte fois;
Je contemple leurs traits si connus, et je crois
Ouïr leur cri de guerre au milieu du carnage.
Beaucoup d'entr'eux sont morts; d'autres, dont le visage
Brille si frais encore sur la toile à ce mur,
Inclinent, déjà vieux, dans un repos obscur,
Leur front chargé d'honneur.
Dans leur troupe vaillante
Il en est un surtout dont l'image imposante
M'attire... Là, toujours, je m'arrête, rêveur;
Et plus je le contemple, et plus je sens au cœur
Un douloureux regret, une tristesse amère.

Cet homme est peint en pied. Son front haut et sévère
Luit comme un crâne nu; c'est quelque deuil profond

Qu'on y croit deviner. Derrière, tout au fond,
Est un camp; à l'entour la nuit étend son ombre.
Dans son dédain rêveur il est là, calme et sombre.
L'artiste, à nos regards le présentant ainsi,
A renrde sa pensée a-t-il bien réussi,
Ou l'inspiration fut-elle involontaire?
Mais Dawe à son tableau donna ce caractère.

O chef infortuné! Cruel fut ton destin!
A la terre étrangère immolant tout en vain,
Impénétrable aux yeux de la foule insensée,
Tu t'avançais, muet, seul avec ta pensée;
Et plein d'inimitié pour ton nom étranger,
Ce peuple, qu'en secret tu sauvais du danger,
Te poursuivant de cris et d'insolents murmures,
A tes saints cheveux blancs prodiguait ses injures:
Et l'homme pénétrant qui te comprenait mieux,
Joignait à ces clameurs son blâme astucieux...
A ta conviction restant toujours fidèle,
Longtemps tu bravas seul l'erreur universelle;
Enfin, à mi-chemin, il te fallut, guerrier,
Céder et ton pouvoir, et ton noble laurier,
Et ton profond dessein, longtemps mûri d'avance,
Et dans les rangs obscurs te cacher en silence.
Près des jeunes conscrits alors, comme un d'entr'eux
Qui vient d'ouïr du plomb le sifflement joyeux,
Le vieux chef, à travers la cohorte serrée,
Se jetait au-devant de la mort désirée.
En vain!
. . . .
. . . .
Race triste et risible, ô pauvre race humaine!
Du seul succès présent adoratrice vaine!
Que de fois devant toi passe un homme incompris,
Que son aveugle siècle accable de mépris,
Tandis qu'au temps futur son image muette
D'ardente émotion remplira le poète!

<*1839*>

5. ПЕРЕВОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНОЯЗЫЧНЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ КАРОЛИНЫ ПАВЛОВОЙ

С немецкого

1

Нам посланы в глухой земной юдоли
Три гения с небесной вышины,
Которые под гнетом тяжкой боли
Всем, чистым сердцем, в спутники даны.
Но только тот, кто понял их значенье,
Увидит их, найдет в них утешенье.

17 июня 1827
Москва

2

О вспомни, друг, меня, когда сиянье
Над краем неба Веспер разольет,
Когда твоя душа в очарованьи
И радости — забудет жизни гнет.
В миг одиночества, в цветеньи сада,
В лучах заката, в нежном полусне,
Когда души коснется сна прохлада,
Друг, вспомни обо мне!

О вспомни, друг, меня — лишь без усилья
Раскинет ночь волшебный полог свой

И вольно дух свои расширит крылья,
Наполнив грудь священною тоской.
Ты понял ли сейчас, что всё земное
Там будет жить, в небесной вышине?
В такую ночь, в пленительном покое,
Друг, вспомни обо мне!

27 июля 1827
Москва

3
ЧАС ПРИЗРАКОВ
Фантазия

Чудо и тайна. . .
Да будет так!

Байрон

О, как грез полна
Льет в листву луна
Свет дрожащий;
И ветер спит,
И не шумит
Лесная чаща.
Таинственный куст
Окутан тьмой;
Как вздох чьих-то уст,
В ночи порой
Как бы во сне
Чуть пахнут розы.
Чу!
То звуки иль грезы
Летят ко мне,
Скользят, маня?

«Оставь меня! Отпусти меня! —
Вдруг еле слышна
Сквозь поцелуи речей истома. —
Дорога длинна —
Мать меня дожидается дома!»
Что-то нежному шуму
Отвечает угрюмо:

«О, прощай же, прощай,
Жизнь и счастья сиянье,
Завтра, завтра тебя
Обниму на прощанье!

Лишь единственный раз
Суждено нам обняться
И в мучительный час,
В час печали и счастья, расстаться!
Так приходит конец всему.
Ухожу я во тьму
Навсегда, навсегда,
И возврата мне нет.
Этой жизни звезда
Навсегда свой погасит свет».

Вся в горячих слезах,
Вся тревогой полна,
Словно ветер в кустах,
Тихо шепчет она:
«Не забудь меня,
Я молю тебя!
В счастливом мечтаньи
Средь горестных дней
В мученьи, в страданьи
И в жизни и в смерти своей».

— «Дорогая, прощай,
Помни, завтра я жду.
Поцелуй, приласкай.
Тише — что-то шумит в саду...
Это утренний ветер встает.
Будь здесь завтра, лишь полночь пробьет».
И как прежде, всё тихо кругом,
Только вновь светляки пролетают,
Только запахи ночи блуждают
В легком мраке лесном.

По лугам струилась лень —
Душный, жаркий летний день;

И в цветах своих любимых
Глубоко скрывались пчелы,
И казался час тяжелый
    Недвижимым.

И в саду брела в молчаньи
Дева молодая,
Чуть головку, в ожиданьи,
Как цветок, склоняя.

И горячею слезою
Взор сей застилало,
И, лишенное покоя,
Сердце тосковало.

Часто будет сердце биться —
Жить в ночи мечтами,
Часто будут слезы литься
Горько — жемчугами!

Но она не понимала,
Что они струятся,
Но она совсем не знала,
Что должна расстаться.

И вот медлительной стопою,
Сияя мрачной красотою,
С высот в низины темных стран,
В холодный облачась туман
С видениями и тенями,
С таинственными голосами,
Неизреченной тайны дочь,
Сошла властительная ночь.

И всё пышней, всё круче
Встают на небе тучи
В раскатах грозных грома,
В сверкании и в гневе,
И жутко юной деве
Уйти сейчас из дома.

    Завывая проклятья
    И сучками хрустя,

Ветер рвет ее платье —
Поспеши, о дитя!
О, спеши. Твой путь так долог!
Этот раз — последний раз!
На горах туманный полог, —
Иль боишься ты сейчас?
И она бежит скорее;
Вот уж близко темный лес,
Мрачно он стоит пред нею,
Полный тайны и чудес,
И шумит,
Тьмою скрыт.

А она скользит по склону,
По кустам в лесной глуши,
Дальше, дальше в лес зеленый,
К дубу, что раскинул крону, —
Задыхается, спешит.

Ночное молчанье
Тревожат шуршанья,
И, полны движенья,
Листва и растенья
Беглянке мешают
В пути, стерегут,
Цепляют, хватают
И платье ей рвут.

Слушай! — Треск и быстрый шорох.
Видишь — тени здесь и там,
Чьи-то, прячась, блещут взоры,
Кто-то бродит по кустам,
И кто-то шлет ей тихо весть:
«Останься здесь! Останься здесь!»

Дева дальше с ветром вместе.
Вот она уже на месте,
В мягкий мох, что ножки скрыл,
Опускается без сил.

Вдруг еще вольней и резче
Вырвался из черных туч
Месяца волшебный луч,

Озаряя всё вокруг;
И у дуба, смущена,
Ищет милого она...
Пусто всё. Не встретил друг...
Долго в сумрачном молчаньи
 Ждет она,
Сердцем смутному мечтанью
 Предана.
И пока сидит, мечтая,
 Начинает
В ней вставать сквозь смутный сон,
В самой глубине сознанья
Страшное воспоминанье,
Сказка дедовских времен,
Темной памяти наследство,
Повесть, ведомая с детства,
От какой не раз она
В ужасе лишалась сна.

Ждет она... и всё смешалось:
Слово сказки, мрак чудес.
Так же девушка скиталась,
И вокруг был мрачный лес.
Так же каркал черный ворон,
Сказочный сбывался сон:
Дуб был страхом потрясен,
И жених был тайны полон.

 В этот час
Лес она объяла взором:
«Всё, всё так же, как сейчас»,
И во тьме, под косогором,
Смутно слышит, что она
 Не одна.

Слышит листьев трепетанье,
Жизни, полной тайн, дыханье,
Видит — в травах вырастанье
Тихой-тихой тени сна,
Чувствует, как веет хладом,
Как стоит с ней что-то рядом, —
 И дрожа глядит она:

И уже не дуб высокий —
Великан среди осоки,
    Странный призрак средь теней
    Встал пред ней.
Полускрытый волосами,
Смотрит жаркими очами —
    Страшный вид —
    И шуршит
В темном, жутком колыханьи,
Развевая одеянья...
Полушепот, полупенье
К ней доносит то виденье:

«Слушай! Слушай, о дитя!
Красотой твоею, в роще,
В час ночной, пленился я.
Царь я призраков полночных,
Я жених твой, ты моя!
Я хочу, в тебя влюбленный,
Жить с тобой в шумящих кронах,
    Крепко милую обнять,
На деревьях с ней качаться,
Вместе с ней по ветру мчаться,
Свистом воздух разрезать;
Рядом с молнией, грозою
Над зубчатою горою
Через пропасть, океан
С ней лететь, одетой в тучи,
В белый тающий туман.
Светляков огнем летучим
Локоны украсить ей —
Диадемою камней;
Я тебе своей короной
Лик украшу озаренный —
Будь царицею теней!»

Вот и руки великана
Протянулись из тумана;
Взор его горит; бледна,
Чувств лишась, лежит она,
Окруженная огнями,
Искривленными чертами

Лиц в кустах, усмешек злых;
Где туман клубится, рвется,
Смех злорадный раздается
В темных зарослях лесных;
Вьются тени, льются звуки
В глубине, в тиши ветвей,
И чудовищные руки
Близятся — и всё страшней.
Вот уж близко... Вот схватили...
Ах!

Шел он, песню напевая,
Шел, мечтая лишь о милой,
Темной ночью шел тропой,
Степью страшной и унылой.
И вступил он в лес густой
С темным чувством утомленья.
Вся душа тоской полна;
Смутно чувствует она
Странное изнеможенье.
Вдруг тревожно на пути
Стал он дух перевести.
Слышит — мысли, чувство, разум —
Всё в душе смешалось разом,
Как песчаный вихрь, прибой;
И невидимой рукой
Что-то веки придавило.
Непонятно, почему
Страшно сделалось ему —
И уходит жизни сила.
Опьяненный, утомленный,
Он упал средь трав зеленых;
Полный дремы, слышит он
Смутный гул со всех сторон:
Шорох, шепот, шум, гуденье,
Рощи шелест в тьме ночной,
И в дремотное забвенье
Погрузился — сам не свой.

Долго, долго он лежал...
И внезапно, словно луч
Из-за туч,

В смутном сне его возник
Дальний крик.
Из дремы он
Вдруг пробужден,
И, поражен,
Стремится он,
Стряхнув оцепененье сна,
Туда, где ждать его должна
В ту ночь она.

Светлый месяц луч наводит
На лужайку средь теснин.
Тихо все часы проходят, —
Но, как прежде, он один.
Возле дуба всё туманно,
Сгинул след.
Кто-то лишь смеется странно,
Тьмой одет...

<1833>

4

АЛЬВАР ТАЛАДОР
В ТРЕХ РОМАНСАХ

Тверд как сталь — на войне,
Словно воск — среди дам.

Берегись, берегись! я иду!
Я иду, я иду — берегись!

I

Солнце пламенное снова
Окунулось в темень сна,
Ночь идет в лугах Кордовы
Светлой радости полна.

Вновь средь голубой прохлады
Светит месяц, тих и стар,
Вновь стрекочут серенады
Перед замком Мондекар.

Перед замком незнакомец,
В плащ закутанный до пят,
Вновь и вновь поет в истоме,
Страсти пламенем объят.

И вступает в это пенье
Соловьев полночный хор,
И выходит, как виде́нье,
На балкон свой донья Флор.

Донья Флор, чей облик ясный
Зажигает огнь в крови,
Лучшая из дев прекрасных,
Слышит жалобы любви.

«О цветок мой, радость мира,
Честь Кастилии моей,
Лилия Гвадалквивира,
Наклонись ко мне скорей!

О любви моля, смиренный,
Не одну я ночь пою.
Мой цветок, зачем ты пленной
Душу сделала мою?

Жизнь свою, богатства мира —
Всё б тебе отдать я мог, —
Лилия Гвадалквивира,
Нежный, полный тайн цветок!»

Так тоскуя под балконом,
Песня рвется на простор.
И с ее последним стоном
Чуть вздыхает донья Флор.

Наклоняясь над решеткой,
Медальон срывает свой
И певцу рукою кроткой
Дар роняет в мрак ночной.

II

Путь к Кордове через горы
Совершая в глубь страны,
Все сердца в Сьерра-Морене
Темным страхом смущены.

Шепчет путник так: «О боже,
Если б сонм небесных сил
От Альвара нас сегодня
Оградил и защитил!

От Альвара, что в отмщеньи
Как удар громовый скор,
От того, чей гнев так страшен,
От Альвара Таладор!»

По тропе Сьерра-Морены
Дон Родриго в час ночной
С пышной свитой из Кордовы
Возвращается домой.

Дон Родриго де Мендоса,
Что богат, угрюм и стар,
С молодой своей супругой
Доньей Флор де Мондекар.

Едет он домой в Толедо,
Смех и шутки, звон гитар,
Все поют — одна печальна
Донья Флор де Мондекар.

Рог трубит, несется хохот,
И вздыхает донья Флор.
Вдруг раздался крик ужасный
В самом сердце диких гор.

То разбойники лавиной
К ним летят во весь опор.
Час твой пробил, дон Родриго!
То разбойник Таладор!

То Альвар, то черный рыцарь —
Гневом взор его зажжен.
На его груди узнала
Донья Флор свой медальон.

Горе, горе, дон Родриго,
Здесь ты смерть найдешь свою.
В бегство имя Таладора
Обращает всех в бою!

III

«О, проснись, проснись, дон Педро,
Страшный ждет тебя удар.
Созывай своих вассалов,
Благородный Мондекар.

Зять твой пал не в славной схватке,
Дочь родную, донью Флор,
Андалузии надежду,
Взял обманом Таладор.

Бездыханен дон Родриго
В луже крови под скалой,
От злодеев мы лишь двое
Путь могли сыскать домой».

С разукрашенного ложа
Вспрянул старый Мондекар,
В горе рвет седой свой волос,
Пробует мечом удар.

«Берегись, похитчик дерзкий,
Я найду тебя, змея!
В грудь твою по рукоятку
Меч всажу с размаха я!»

Двадцать дней в ущельях Сьерры
Рыщет старый Мондекар,
Двадцать дней, и всё напрасно —
Нет следов, пропал Альвар.

На коне, покрытом пеной,
Окруженный слуг толпой,
Возвращается дон Педро
В замок горестный домой.

И никто уже не видел
В Андалузии с тех пор
Донью Флор, сердец надежду,
И Альвара Таладор.

<1833>

5
БЕГСТВО И ВОЗВРАЩЕНИЕ

I
БЕГСТВО

Нога уходит, сердце остается!

Должен я от взоров звездных,
Должен я — пока не поздно —
Уходить в далекий край.
Затмевает туч блужданье
Их волшебное сиянье.
О, звезда моя, — прощай!

Так тебя, о дева рая,
Я надолго покидаю;
Хоть в полярный дальний край,
Хоть в полуденные страны —
Убегать я не устану.
Дева властная, прощай!

Средь полуденных растений,
В царстве нег и наслаждений,
Где сверкает черный взгляд
И плоды горят повсюду,
Я, наверное, забуду
Этой розы аромат.

Я забуду непременно
Мелом крашенные стены,
Скромной комнаты покой,
Над скамейкой листьев трепет,
Ручейка ребячий лепет
И беседки плющ живой.

Так прощай же, гений страсти,
У кого я был во власти,
Дева, нежная, как май;
Ты сама порой не знала,
Как ты счастье разрушала.
Нет возврата мне — прощай!

II

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Шел я долго, был далеко,
Но скорблю еще сильней;
От волшебницы моей
Скрылся, а люблю глубоко,
Горячее и больней.

Думал — власть твоя напрасна,
Был и ум спокоен мой,
Но теперь, придя домой,
Я стою слугой невластным
Пред высокой госпожой.

Иль еще надменней стала,
И волшебна, и пышна
Черных локонов волна?
Иль еще, уста-кораллы,
Страстью ваша речь полна?

Розы, розы щек прекрасных,
Должен взгляд мой никнуть к вам,
Словно мотылек к цветам,
Так же пылко, так же страстно,
А от них ушел я сам.

Да, ушел я в мир, где горы
Пиренейские стоят,
Словно великанов ряд,
В луговых вдыхал просторах
Трав испанских аромат.

Там сверкает померанца
В темных листьях желтый плод,
Всё там радостью живет,
Нежно там поет романсы
Дев испанских хоровод.

Там под миртом лечь приятно,
Но не мог я слез унять:
Где бы ни пришлось блуждать,
Я летел в мечтах обратно,
Чтоб сюда прийти опять.

Дай же, дай же мне прощенье,
Взор, который чист всегда,
О чудесная звезда,
И прими повиновенье
На грядущие года!

6
ВЕЧЕРНИЙ ПРИВЕТ ПЕВЦА

О боже, если б знать,
На что теперь взираешь,
И если ты вздыхаешь,
Причину угадать!
Я каждое мгновенье
Везде ищу тебя:
Тоскующий, любя,
Не ведает забвенья,

Я струнам
Дал юным
Души своей печаль,
Страданья,
Мечтанья
Послал я с ними в даль.

Далеко,
Высоко
Две звездочки видны.
Сияют,
Мерцают
И озаряют сны.

Тобою
Одною
Дышу всё время я,
И рвется,
Несется
К тебе душа моя.

Пусть с ветром
Приветным
Летит, тебе вослед,
С лобзаньем,
Признаньем
Моей души ответ.

О роза!
Я грезы
Таю в груди своей;
Страданья,
Мечтанья
Пойми души моей.

Бессонной,
Влюбленной
Ты ждешь в ночи одна,
Что очи
Тень ночи
Приосенит для сна.

В ресницы
Ложится
Как мягкий пух покой,
Пусть тенью
В виденьи
Пройду я пред тобой.

Пусть песня
Чудесней
Стремит к тебе полет,
Скорее,
Вернее
Она тебя найдет.

7

РУСАЛКА

Сны, которых даже яркий свет дня
не может удалить.

Байрон.

I

Мечтает мальчик в смутный час видений
На берегу. И вдруг в ночном молчаньи
Доносится прибрежных ив шуршанье
И легкий шепот — голос привидений.

Что там звучит средь водяных растений?
Иль то русалок звонкое плесканье?
Какое из глубин встает сиянье?
Он смотрит вниз, исполненный сомнений.

Иль то звезда колышется, сияя?
Иль рыбка блещет светлой чешуею?
Иль месяц льет на воды свет дрожащий?

Не лилия ль то блещет водяная?
Нет, как цветок под светлою волною,
Всплыл облик девы, из глубин всходящий.

II

И на нее нельзя налюбоваться!
Всё дышит в ней любовными речами.
«О милый мальчик с нежными щеками,
Красавец мой, не должен ты бояться!

Спеши ко мне доверчиво прижаться.
Всё, что тебе обещано мечтами,
Получишь ты под светлыми волнами —
В стране чудес, где дни блаженства длятся».

И слышит он, покорен страшной силе,
Что волны плещут, кружатся, вскипают,
И что-то тянет в тот покой глубинный

К холодной, страшной, водяной могиле...
Он, ужасом охвачен, убегает,
А чей-то голос плачет из пучины.

III

Теперь, лишь полуночною порою
Сон отягчит усталые ресницы, —
Прекрасная ему русалка снится,
Серебряной охвачена волною.

Она твердит о счастье, о покое,
И манит вглубь, где тихий свет ложится;
А песнь ее волшебная струится
И полнит грудь любовною тоскою.

С тех самых пор с рассветного сиянья
До тихих звезд глубокой темной ночи
На берегу провел он дней немало

В безмолвном и напрасном ожиданьи,
В глубины вод вперяя жадно очи, —
Но уж русалка больше не всплывала.

8

ПЕСНЯ

Чего мне нужно? Неба, воды и трав.

Ж. Делорм.

Душа моя стремится
К долинам и горам,
Чтоб в скалах затаиться
И жить спокойно там.

Мне нужен домик скромный,
Закрытый всем ветрам,
Чтоб в гавани укромной
Дремать спокойно там.

Убежище высоко
Я отыскал бы сам,
Чтоб в листьях одиноко
Мечтать спокойно там.

О, если б путь достойный
Найти к тем высотам,
Я, жизнь прожив спокойно,
Смежил бы вежды там.

9
СОНЕТ

ВЕЧЕР

Струенье воздуха дышало дивной негой.
Петрарка.

Сокрылось солнце. В пламени суровом
Край неба. Тучи медленным блужданьем
Идут по небу, залиты сияньем
И пурпурным окутаны покровом.

Душа уже пленилась дальним словом,
Охвачен дух неведомым мечтаньем.
Он, страстным зачарованный желаньем,
Всё ж подчинен земным своим оковам.

Но дышит вечер сладостным покоем;
Тревога улетает, тихо тая,
А сердце нежной тишиной объято.

Его мечты порхают легким роем,
В тумане очертания теряя,
Как облако пурпурного заката.

10

А. Ф. Г<У>МБ<ОЛЬ>ДТУ

Мне дан был ряд сияющих мгновений,
Была лучом согрета сердца мгла,
Но только я свой взор приподняла, —
Исчезло всё, как призрак сновидений.

Пусть тьма кругом — но эти дни без тени
Нам шлет судьба, чтоб жизнь была светла,
В них вечный отсвет счастья и тепла,
Не гаснущий и в сумерках сомнений.

Но лишь уходит светлое виденье —
Вдвойне гнетет нам душу бедность мира,
И в жизни мы обречены на муки.

Цецилии, уже узнавшей пенье,
Гармонию архангельского клира,
Становятся чужды земные звуки.

11

В морозный день пришло откуда
Ко мне, как дар, неведомое чудо,
Цветов благоухающий букет?
Зачем мне длить недоуменье!
Их нежный запах и цветенье
Из стран, где властвует поэт.

25 декабря 1860

12

В праздник Рождества Христова
Я закончила свой труд;
Всё, что было дорогого,
Лучшего — найдешь ты тут.

Декабрь 1861

13

Лишь сердцам певцов знакомы,
В буре счастья и истомы
Звуки рвутся на простор,
Как весенний грохот грома
Над цветущим скатом гор.

Декабрь 1861

14

Довольно слов, что нижут ожерелья,
В пустой игре за стих цепляя стих,
Довольно слов, и пошлого веселья,
И гнусных дел — уж слишком много их!

Таких забав достоинство поэта
Пускай бежит. Да будет речь ему
Залогом милосердия и света,
Убежищем, не зримым никому.

Нельзя, нельзя грешить в ней бесконечно,
Ее отдать для шутки — было б жаль
Тому, кто ею выражает вечно
Земной души и радость и печаль.

31 августа 1870
Пильниц

15

Дрезден всё еще на Эльбе,
    Как и в век былой,
Он ни в чем не изменился
    Дымный город мой.

Да и я живу всё так же
    (Скрыв печаль от глаз),
С песней, песней завершенной,
    Ожидая вас.

17 ноября 1871

16

Не надо слов о доме, о разлуке,
О том, что рок безжалостно суров.
Я вижу взор, что скрыт туманом муки,
И верю я, что плакать ты готов.
Не надо слов!

Ты всё же мой! — о чем бы ни твердили
Твои уста — ты слышишь стук живой
В своей груди: ты знаешь, мы любили,
И нас никто не разлучит с тобой —
Ты всё же мой!

Середина 1870-х годов

С ФРАНЦУЗСКОГО

1
ОТРЫВОК

Ты, чья душа чиста, и чье существованье
Не знает тяжкого земных страстей дыханья,
Кто в счастии живет, свой заслужив покой, —
Доволен будь своей безвестною судьбой.
Другие пусть идут дорогой величавой:
Ты счастлив, ты любим — к чему пленяться славой!
Спокойны дни твои, и ночь твоя ясна.
Нет, не завидуй тем, чья жизнь тревог полна,
Чья грудь огнем страстей безжалостно согрета:
Не безмятежный рок рождает в нас поэта, —
Ему гроза нужна, мучение страстей;
Не в ясной тишине неомраченных дней,
Не в дружеском кругу, не на груди любимой
Растет его талант и лавр, в веках ценимый,
Нет! в час, когда судьбой он презрен и гоним,
Когда несчастье лик являет свой пред ним
И отнимает всё, что любит он глубоко,
А над надеждами гремит проклятье рока,
Когда напрасно он в пустынный край бежит

От гидры памяти, что грудь его когтит, —
Лишь в этот час средь скал, в глуши уединенья
Слетают с уст его живые песнопенья,
Испепеляя грудь. Лншь зная до конца
Печаль, он трепетать заставит все сердца.
А люди на века запомнят песню эту,
Вечнозеленый лавр вплетя в венок поэту.
О, сколько горьких дум ему готовит век!
О, как, чтоб богом стать, страдал тот человек!

<1834>

2
ТЕБЕ

Тебе всё то, чему нет выраженья,
И мысль, и вздох, доверенный судьбе,
Надежда каждая и вдохновенье,
Вся жизнь моя, всё существо — тебе!

Не отнял мир, неверящнй и тесный,
Сокровища, что на сердце моем, —
Сумела я сберечь тот дар небесный,
Как остию в сосуде золотом.

Ты знал один, как женщина порою
И любит, и любимой может быть;
Ты знал один, какой огонь судьбою
Зажжен в душе, желавшей чувство скрыть.

О, мой любимый, дай мне право
Пить вечно радость забытья!
Поэт, твоя со мною слава!
Мой юный — мне любовь твоя!

О, будем верить, жить в надежде,
Алкать небесной высоты!
И если мир, скупой как прежде,
Развеет лучшие мечты, —

Всё ж здесь мы жили не случайно
И к вечности рвались душой,
Мы знали глубь священной тайны,
Мы зрели небо над собой.

Одна любовь — существованье,
Закон небес — в сердцах людей,
Одна любовь — миров дыханье,
И бог понятен только ей!

Апрель 1837

8

КОГДА НЕЖНЕЕ И ТИШЕ

Когда нежнее и тише
Слова твои летят, —
Я слушаю и не слышу,
Не видит и видит взгляд;
Когда, полна волненья,
Я говорю, как во сне, —
Оставь мне мое забвенье,
Не удивляйся мне!

Когда звезды весенней
Мерцает огонь живой,
Когда к твоим коленям
Склоняюсь я головой,
Когда печали грозы
Проходят в сердце моем, —
О милый, оставь мне слезы,
Не спрашивай нн о чем!

Не всё ли равно, какая
Встает предо мною тень,
Зачем я грустна бываю
И в самый счастливый день?
Блаженства мои, страданья
Уходят, приходят вновь;
Вся эта тоска, мечтанья
И слезы — одна любовь!

Апрель 1837

4
ТВЕРДИЛА Я

Твердила я: «Всё сумраком одето,
Дыханье дней готов убить мороз.
Не всё ль равно, в неверной жизни этой
Немного больше счастья или слез!

Есть среди нас и агнцы для закланья,
Которых шлет господь на землю к нам,
Чтоб доказать порочному сознанью,
Что к лучшим человек идет мирам.

Пускай других удачи осенили, —
Им суждено вести унылый день,
Они, скитальцы, мир наш посетили,
Чтоб в нем пройти как облако иль тень.

Им должно жить, и будет век их прожит,
Хоть радости в нем вовсе не видать,
Но лучше, чем счастливому, быть может,
Понятна им молитвы благодать.

Они, в покорности, духовным взором
Уходят ввысь, лишь верою дыша,
И боль для них — чистилище, в котором
Для неба омывается душа.

Так шла и я кремнистою дорогой,
Судьбы своей суровой не кляня,
Не отступив пред будущностью строгой,
Прозрев душой все обольщенья дня.

Я видела, как радость ликовала,
Как нежных слов вставал веселый хор,
Но, проходя, глаза я отвращала,
Заткнувши уши, опускала взор.

И не найдя ни в чем себе отрады
Среди полей бесплодных и пустых,
Остановясь, просила я пощады
И падала под грузом дней моих.

В бессилии своем я понимала,
Что на меня закон бессмертный лег,
Что тень вокруг еще темнее стала
И что земля уходит из-под ног.

И я хочу, как новая ундина,
В дыханьи страсти душу обрести,
И пусть, как ей, мне суждена пучина, —
Хоть день один на этом жить пути!»

Октябрь 1837

5

СТАНСЫ

Когда один в ночи поэт мечтает
И молнией сверкает взор живой,
Когда внезапно с уст его слетает
Кипящих рифм неудержимый строй,
Когда талант мечте взлететь поможет
Над тем, что здесь презренно навсегда, —
Его порыв поймете вы, быть может,
А может, не поймете никогда.

Когда он, гражданин иного мира,
Ликующий вздымает к небу взгляд,
Когда к земле, обиженной и сирой,
К людской семье мечты его летят,
Когда его одно презренье гложет
К тому, чем вы живете без стыда, —
Надменный стих поймете вы, быть может,
А может, не поймете никогда.

Когда одни, дорогою случайной,
Он от насмешек ваших в даль идет,
Когда душа полна небесной тайной,
А в сердце голос неземной поет,
Когда виденье дух его тревожит,
Когда его улыбка так горда, —
Его мечту поймете вы, быть может,
А может, не поймете никогда.

Когда, полна небесным упованьем,
Его душа твердит: всегда с тобой!
Когда сердец священное слиянье
Предчувствует он в радости живой,
Когда в союз их он всю душу вложит,
Презрев разлуку, гибель без следа, —
Его любовь поймете вы, быть может,
А может, не поймете никогда.

Когда обманет жизнь его надежды,
Послав ему пустыню на пути,
Где он, томясь от жажды, как и прежде,
Не сможет никогда ручья найти,
Когда им будет день последний дожит
Под бременем заботы и труда, —
То цель его поймете вы, быть может,
А может, не поймете никогда!

6

ЖАННА Д'АРК

I

Крестьянка юная вам, может быть, знакома?
Вы видите ее — она идет из дома,
Из шумного села, где песнь подруг слышна,
Туда, где старый дуб свои раскинул руки,
И, опустив чело, забыв земные звуки,
Внимает божеству одна.

Здесь в долгом блении ей надо будет слушать
Призывы голоса, наполнившего уши,
И завтра, как сейчас придя сюда, узнать
Встревоженной душой бесплотное виденье,
Чтоб напролет всю ночь в безмолвии, в смущеньи
Быть с ним наедине опять.

Она должна принять союз, ее страшащий,
Не гнуться никогда под тяжестью лежащей,
Отречься от любви, от радости земной,

И грозной вестницей божественного гнева
Среди руин, смертей, должна — простая дева —
Исполнить долг ужасный свой.

О жертва юная! Несчастье над тобою!
Ведь отвернутся все от избранной судьбою,
Затем что ужасом и тайной ты полна,
Что ты уже теперь у страшных сил во власти,
Что вне ошибок ты, сомнения иль страсти.
Несчастью ты обречена!

Бог окружил тебя горящим ореолом,
И он уста твои зажжет великим словом,
И устрашит тебя твой собственный обет.
Несчастье над тобой, пастушка молодая,
Глаза твои теперь, неведомым пылая,
Увидят тех, кого уж нет.

Так слушай тот приказ, внимай без возраженья,
Неси свой тяжкий крест, о нежное творенье,
Пускай твой будет дух и тверд, и глух к мольбе,
От счастья отрекись, душа пусть грез не знает,
Всё позабудь, покинь! Господь к тебе взывает!
Указан славы день тебе.

Покорно ждет она. Решение созрело,
Уже ударил час для неземного дела.
Бог слабое дитя отныне бережет;
И вот встает она с внезапным восклицаньем.
Коснулся жертвы бог пылающим дыханьем.
К оружию! Она идет.

II

Вы видите ее объятой жаждой мщенья?
Вы видите ее среди страстей сраженья
Со знаменем в руках, там, где мечи разят,
Покорной до конца ее влекущей силе
На блещущих клинках, что воины скрестили,
В мечтах остановившей взгляд?

В глубоком ужасе смятенья боевого
Она идет вперед решительно, сурово,
Готова всё свершить, к чему господь зовет,
Средь крови и огня, в дыму, меж мертвецами,
Пылая мщением, с летящими кудрями
Она всегда идет вперед!

Из боя снова в бой! Так, отдыха не зная,
Девической рукой жестокий меч сжимая,
Свершит она всё то, что рок судил,
Во власти ужаса, в бою почти слабея,
Но чувствуя всегда, что там стоит за нею
Оплот небесных тайных сил.

III

Вы видите ее, увы, в тюрьме, в оковах,
Как призрак бледную, средь этих стен суровых?
Безжалостно ее судьба довершена:
Бог в облике ее явил свои веленья.
Но дело сделано, и вот без сожаленья
Разбита навсегда она.

Она, которая покинула селенье,
Чтоб облегчить народ, дать королю спасенье,
Пастушка храбрая средь вражеских мечей,
Она — вот здесь, в тюрьме, невинное созданье!
Во власти хитрости, обид и поруганья,
Добыча грубых палачей!

Из глубины души, в минуты долгой муки
Всех тайных голосов встают глухие звуки;
Непонятая грусть, тоски безмерной гнет,
Всё жертву бедную сейчас отягощает,
Дрожа, она без сил главою поникает
И бесконечно слезы льет.

О несчастливица, жалеешь ты в стенаньи
Не о дворце сейчас иль почестях признанья,
Которыми должны твой подвиг увенчать,

Не преклонения тебе так жаль слепого
Бесчувственной толпы, которая готова
Тебя же тотчас растерзать.

Нет, ты зовешь свой дом, туман родной долины,
Деревню мирную, цвет юности невинный,
Когда был твой покой мечтаньями храним
И небо звездами над головой горело,
Когда твоя душа лишь небу гимны пела,
Как огнекрылый серафим.

О, знала ты сама, покинув дом родимый,
Что волей бог тебя избрал неумолимой,
Что ляжет на плечи тебе избранья крест,
Что на земле тебе приюта не найдется,
Что больше никогда тебе уж не придется
Родных своих увидеть мест!

Что ж, бедная, спеши из чаши зла напиться,
Пусть долг ужасный твой сегодня завершится:
Уже толпа гудит и ропщет грозный хор.
Вставай, последний путь к мучению свершая,
О дева чистая, народа вождь, святая,
Всходи на страшный свой костер!

7
ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ

О, почему, когда всечасно
Судьба не шлет уже угроз,
Так много льется слез напрасных,
Неизъяснимых женских слез?
Не понимая их значенья,
Вы презирать их не должны.
Ваш смех земной — лишь оскорбленье
Тех слез, что небом рождены!

Что сердце женщин наполняет,
Вам никогда не испытать.

Пускай их души утешает
Небесной тайны благодать.
Не горем и не сожаленьем
Сердца их бедные полны.
Ваш смех земной — лишь оскорбленье
Тех слез, что небом рождены!

Всё это — нежных душ напиток,
Небесной отсвет высоты,
И слезы женские — избыток
Рос, освежающих цветы.
Нежней в их горечи цветенье
Любви бессмертной, ярче сны,
И жизнь земная — оскорбленье
Цветов, что небом рождены!

Как знать, не высшая ль награда
Вот эти слезы в их глазах,
Не послана ли в них отрада
Тем, кто всю жизнь провел в скорбях?
Не понимая слез значенья,
Вы презирать их не должны.
Ваш смех земной — лишь оскорбленье
Тех слез, что небом рождены!

8
А. В. ПЛЕТНЕВОЙ

Душа с горящим чистым взором,
Ум нежный, ясный до конца,
Вы — сердце юное, которым
Живут усталые сердца.

Мать добрая, жена святая —
Порой вы говорите мне:
«Откуда в вас насмешка злая
С осадком горечи на дне?

Зачем, лишь верой жить готовы,
Не верите вы до конца?

Откуда в вас суровость слова
И ум, смущающий сердца?

Как с чувством счастья и покоя
Согласовать такой компа́с?
Откуда в вас всё, мне чужое,
И всё, что не люблю я в вас?»

Ответ услышать мой хотите ль?
Я сердцем не живу вполне,
И был мной встречен повелитель
Там, где лишь друг был нужен мне.

Затем не верю я порою,
Что сладко убежденной быть,
Что *тяжкой* достаю ценою
Я право *верить* и *любить*.

Хотя в сомненьях избегаю
Порыва этих чувств слепых, —
Как обращенный, я ступаю
Среди неверных волн морских.

Без страха и без промедленья,
Гонима властною мечтой,
Иду небесным вслед виденьям
За истиной и красотой.

Пусть я смеюсь, в душе, когда-то
Пылавшей, скрыта гордость дум:
Вся жизнь моя была расплатой
За непокорный, жаркий ум.

И говорит мне тайный голос,
Что, страшной заплатив ценой,
Напрасно я жила, боролась,
Что мир, как прежде, мне чужой.

9

ОТВЕТ-ИМПРОВИЗАЦИЯ

ВО ВРЕМЯ СПОРА (БЕСПОЛЕЗНОГО) С ЮНОЙ ПРОГРЕССИСТКОЙ — ОЛЬГОЙ КИРЕЕВОЙ

Да, в те былые дни, теперь для нас чужие,
Лишь право сильного ценил жестокий век;
Да, в годы барщины, налогов, тирании,
Когда сеньора бич терпели крепостные
И герб давал права на званье «человек»,

В суровые века жестокости кровавой —
Я вижу, как отпор встает со всех сторон,
Как угнетенные на бой выходят правый,
Как в дыме жакерий дворянства меркнет слава,
Пред камизарами склоняется барон;

Я вижу, дух небес прошел земли просторы,
Восстали пастухи, насилие сломив,
Всей грудью путь они в свои закрыли горы,
С испанским королем ткачи заводят ссоры,
Повсюду действие и страстной воли взрыв.
Теперь же, вижу я, — лишь спорят о системах!..

23 марта 1859
Дрезден

ПРИМЕЧАНИЯ

К. К. Павлова впервые выступила в печати со сборником оригинальных и переводных стихотворений на немецком языке «Das Nordlicht. Proben der neueren russischen Literatur von Karoline von Jaenisch». Erste Lieferung. Dresden und Leipzig, 1833 («Северное сияние. Опыты новой русской литературы Каролины Яниш». Первое издание. Дрезден и Лейпциг, 1833). Через шесть лет вышел второй сборник ее оригинальных и переводных стихотворений на французском языке «Les préludes par m-me Caroline Pavlof, née Jaenich». Paris, 1839 («Прелюдии госпожи Каролины Павловой, урожденной Яниш». Париж, 1839). Тогда же отдельным изданием был напечатан ее перевод на французский язык трагедии Шиллера «Жанна д'Арк»: Jeann d'Arc, tragedie de Schiller, traduite en vers français par m-me Caroline Pavlof, née Jaenich. Paris, 1839. Книги К. Павловой на русском языке были изданы позднее: роман «Двойная жизнь» (М., 1848), сборник «Стихотворения» (М., 1863). Отдельной брошюрой было напечатано большое стихотворение «Разговор в Кремле» (1854). Все это, вместе взятое, составляет немногим более половины всего, что было опубликовано тогда поэтессой в различных журналах, газетах и альманахах.

Подготовка первого научного издания ее сочинений принадлежит В. Я. Брюсову. Оно вышло в 1915 г. в двух томах, в которые включены все выявленные тогда стихотворные и частично прозаические произведения Павловой на русском языке. Первый том объединил 126 стихотворений, в том числе и никогда ранее не публиковавшиеся. Во второй том вошли поэма «Кадриль», два произведения в прозе и стихах («Двойная жизнь» и «Фантасмагории»), а также прозаические произведения: «Мои воспоминания», «Воспоминания об Иванове», два письма и рассказ «За чайным столом». За пределами этого издания остались все иноязычные стихотворения Павловой и ряд ее переводов на русский язык. Издание В. Я. Брюсова сопровождено библиографическими примечаниями и, несмотря на имеющиеся опечатки, неточности и промахи аттрибуционного характера,[1] оно подготовлено с соблюдением основных принципов текстологии.

---

[1] Стихотворение «Вечная память» (т. I, стр. 160) по недоразумению приписано Павловой на том основании, что под ним стояла подпись «К. П.», на самом деле оно написано К. Победоносцевым, который часто подписывался этими инициалами.

Следующим научным изданием явилось Полное собрание стихотворений, вышедшее в Большой серии «Библиотеки поэта» (Л., 1939). В него вошли не только произведения Павловой на русском языке, но и ее иноязычные стихотворения. Сравнительно с изданием Брюсова в нем на 17 стихотворений больше. Несмотря на отдельные ошибки и неточности,[1] издание 1939 г. в целом является подлинно научным, существенно обогатившим изучение литературного наследия Павловой.

Достижения названных двух изданий учтены при подготовке настоящего нового издания стихотворений поэтессы. Оно является наиболее полным из предшествующих ему изданий стихотворений Павловой: в книгу вошло три новых, впервые публикуемых стихотворения: «В толпе той беспечной...», «Es wurden, in dem düstern Erdenleben...», «Gedenke mein, wenn Hespers Plasenschleier...» и три произведения, прежде не включавшихся в собрания: послание «К. С. Аксакову» и перевод из Мольера «Амфитрион» и стихотворение «Les pleurs des femmes».

Литературное наследие Павловой явно не исчерпывается напечатанным ею в различных журналах и отдельных изданиях. Из рассказов П. И. Бартенева, О. Г. Аксаковой и других лиц, встречавшихся с поэтессой за границей, известно, что она много писала до последних дней своей жизни, но почти все написанное ею в это время нам совершенно неизвестно.

Архив Павловой, состоявший, по свидетельству А. Ф. Кони, «из двух больших сундуков с письмами и какими-то рукописями»,[2] до сих пор не обнаружен и, может быть, навсегда утрачен. Павлова, по свидетельству Д. Д. Языкова[3] и П. И. Бартенева,[4] незадолго до смерти подготовила к изданию полное собрание своих сочинений и передала рукопись внуку, поэту Д. И. Павлову. Но этот материал до нас не дошел, а внук поэтессы напечатал в № 12 «Русского обозрения» за 1894 г. только очерк «Фантасмагории».

Тексты произведений Павловой печатаются по последним прижизненным редакциям, которые сверены как со всеми печатными, так и с имеющимися рукописными источниками. В примечаниях ссылки на первую публикацию без дальнейшего указания

---

[1] Составитель печатал некоторые стихотворения не по последним прижизненным редакциям, а по более ранним текстам. Так, например, стихотворение «Сфинкс» напечатано по тексту сборника 1863 г., хотя оно последний раз печаталось Павловой с исправлениями в 1880 г. в «Кругозоре». Стихотворение же «Н. М. Языкову. Ответ» (1840) напечатано не по сборнику 1863 г., где оно было опубликовано с исправлениями автора, а по автографу 1840 г. Однако подобных случаев очень немного.

[2] А. Ф. Кони. Каролина Павлова. — «Европа», 1918, № 4—5, стр. 24.

[3] Д. Я<зыков>. Каролина Павлова, урожденная Яннш. Некролог. — «Московские ведомости», 1893, 5 декабря.

[4] П. Б<артенев>. К. К. Павлова. — «Русский архив», 1894, № 1, стр. 122,

на источник текста означают, что стихотворение не перепечатывалось или при перепечатке не подвергалось изменениям.

Публикация поэтического наследия Павловой требует особенно тщательной подготовки текстов, так как многие ее произведения появлялись в печати в искаженном виде. Немало ошибок и неточностей в сборнике 1863 г. Он издавался в отсутствие Павловой, которая в это время жила уже постоянно за границей. Все дела по изданию вела по поручению поэтессы ее московская знакомая О. Ф. Кошелева,[1] которой помогал профессор Московского университета И. Д. Беляев.

На крупные дефекты в текстах сборника «Les prêludes» указывала сама Павлова. Привлеченные А. И. Тургеневым к подготовке сборника два французских литератора — Л. де Роншо и Ж. М. Шопен — не только исправляли язык и размер стиха, чо исключали целые стихотворения, например перевод «Трех Будрысов» Мицкевича, а перевод «Бога и баядеры» Гете переделали настолько, что изменили воспроизведенный переводчицей размер стиха немецкого оригинала. Несмотря на протесты Н. Ф. Павлова и самой поэтессы, стихотворение Мицкевича так и не было включено, а «Бог и баядера» осталось в искаженном редакторами виде.

Весь материал настоящего издания сгруппирован в четырех разделах. Стихотворения помещены в первом разделе. Во втором объединены крупные произведения, тяготеющие к эпосу: повесть «Двойная жизнь», поэма «Кадриль», очерк «Фантасмагории»; в третьем собраны переводы с иностранных языков. В раздел «Приложение» включены иноязычные оригинальные и переводные стихотворения, а также переводы оригинальных иноязычных стихотворений, осуществленные Вс. Рождественским.

Внутри первого, второго и четвертого разделов произведения расположены в хронологическом порядке, но с сохранением структуры цикла «Фантасмагории». Стихотворения недатированные помещены в конце первого раздела. В третьем разделе материал сгруппирован по именам поэтов. При отсутствии авторской даты или другого бесспорного свидетельства произведения датируются по первой публикации. В этом случае даты, проставленные под произведением, заключаются в угловые скобки. Даты предположительные сопровождаются вопросом. Для переводов всюду указываются даты переводов.

Подпись под стихотворениями отмечается в тех случаях, когда Павлова прибегала к псевдонимам, оговаривается также отсутствие подписи.

---

[1] Кошелева всячески старалась поддержать успех распродажи сборника сочувственными объявлениями в журналах и газетах о его выходе. Она писала Погодину: «Пошлите, пожалуйста, к Каткову объявление о вышедших стихотворениях Павловой. Но напишите отзыв потеплее, чем в «Дне», т. е.: не нравится «неблагоприятное обстоятельство», имеющее в себе что-то отталкивающее и озадачивающее покупщика» (Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР нм. В. И. Ленина, арх. Погодина).

К стр. 75

Условные сокращения, принятые в примечаниях:

ГИМ — Государственный исторический музей (Москва). Отдел письменных источников.
ГПБ — Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
Изд. 1915 г. — Каролина Павлова. Собрание сочинений, тт. 1 и 2. М., 1915.
Изд. 1939 г. — Каролина Павлова. Полное собрание стихотворений. «Библиотека поэта», Большая серия. Л., 1939.
ЛБ — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
М — журнал «Москвитянин».
ОЗ — журнал «Отечественные записки».
ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР.
сб. 1863 г. — «Стихотворения К. Павловой». М., 1863.
С — журнал «Современник».
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.
«Das Nordlicht» — «Das Nordlicht. Proben der neueren russischen Literatur von Karoline von Jaenisch». Dresden und Leipzig, 1833.
«Les préludes» — «Les préludes, par m-me Caroline Pavlof, née Jaenich». Paris, 1839.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Сфинкс. Впервые — сб. 1863 г., стр. 61—62, с датой: май 1847, где воспроизведен текст, предназначавшийся для № 7 ОЗ за 1855 г. Стихотворение тогда было запрещено цензурой. В архиве А. В. Никитенко (ПД) сохранился наборный лист этого номера ОЗ, на котором стихотворение вычеркнуто и цензором А. И. Фрейгангом написано: «непонятно». Печ. по журналу «Кругозор», 1880, № 15, стр. 1 (публикация И. Н. Павлова, сына поэтессы), где дано с изменениями. Датируется по хранящемуся в ЦГАЛИ списку С. А. Рачинского, т. к. дата сб. 1863 г., очевидно, означает не время написания, а намерение поэтессы соотнести старое стихотворение с эпохой революционного брожения конца 40-х гг. Рачинский, предполагавший издать стихотворения Павловой, делал их списки, собирал автографы. На отдельном листе им зафиксированы разночтения в печатных и рукописных текстах ряда стихотворений поэтессы, в том числе «Сфинкса». Между списком Рачинского и текстом «Сфинкса» в «Кругозоре» разночтений нет. Это свидетельствует о том, что у них был общий источник — автограф. Павлова, как видно из переписки ее сына с О. А. Новиковой, вняла просьбам сына, собиравшегося издавать «Кругозор», и прислала ему пять стихотворений (в том числе и «Сфинкс»), вскоре появившихся в журнале. Стихотворение навеяно событиями июльской революции

1830 г. во Франции и польским восстанием 1830—1831 г., которое не могло не привлечь внимание Павловой, знакомой с жившими в Москве поляками, друзьями А. Мицкевича. В 1855 г., в связи с надвигавшимся поражением России в Крымской войне, Павлова приурочивает содержание этого стихотворения к современным событиям, на которые указывают строки: «И путь кругом облит людскою кровью. Костями вся усеяна страна». *Эдипа Сфинкс.* Сфинкс (греч. миф.) — чудовище в образе полуженщины и полульва, пожиравшее тех, кто не мог разрешить его загадки, и само погибшее после того, как она была разгадана мудрым царем Эдипом.

Е. М<и л ь к е е в у> («Да, возвратись в приют свой скудный...»). Впервые — ОЗ, 1839, № 5, стр. 133, с подзаголовком «Неизвестному поэту» и подписью: — ва —. Печ. по сб. 1863 г., стр. 3, где дано без подзаголовка. По желанию Павловой, переданному ее мужем Н. Ф. Павловым в письме к А. А. Краевскому от 3 апреля 1839 г., вслед за ее стихотворением на другой странице ОЗ было напечатано послание к Милькееву А. С. Хомякова, полемически направленное против стихов Павловой: «Не верь, что хладными сердцами Остались чужды мы тебе...». Милькеев ответил на послание Павловой стихотворением «К. К. Павловой», которое заканчивалось такими строками:

Мой жребий мрачен и ненастлив,
Никто мне в мире не родня,
Но я прославлен, горд и счастлив,
Когда вы хвалите меня.

Милькеев Евгений Лукич (1815—1846 или начало 1847) — поэт-самоучка, родился и жил в Западной Сибири. В 1837 г. своими стихами обратил на себя внимание путешествовавшего по России Жуковского и при его содействии приехал в Петербург. В начале 40-х гг. он жил в Москве, где встретил в кругу славянофилов преувеличенные похвалы своему поэтическому таланту, вскружившие молодому человеку голову, но не нашел ни от кого реальной помощи, чтобы получить образование и средства к существованию. Испытывая тяжелую нужду и нравственные муки от неудач и сознания унизительности своего положения, Милькеев кончил жизнь самоубийством.

С о н е т («Не дай ты потускнеть душе зеркально чистой...»). Впервые — ОЗ, 1839, № 10, стр. 43, с подписью: — ва —. В сб. 1863 г. не вошло. Стихотворение перекликается с одним из монологов Макса Пикколомини во 2-й части «Смерти Валленштейна» Ф. Шиллера (д. 3, сцена 4), целиком переведенной Павловой и опубликованной в «Вестнике Европы», 1868, №№ 7 и 8.

«Ш е п о т г р у с т н ы й, г о в о р т а й н ы й...». Впервые — ОЗ, 1839, № 11, стр. 209, с подписью: — ва —. В сб. 1863 г. не вошло.

К стр. 77—83

Поэт. Впервые — «Одесский альманах на 1840 год». Одесса, 1839, стр. 43—44, с подписью: — ва —. Печ. по сб. 1863 г., стр. 5—6, в котором исключена строфа первопечатного текста, следовавшая за стихом «Его стих журчит»:

Заблестит звезда в небе ясная,
Он ей шлет привет;
На лугу ль порхнет дева красная,
Он поет ей вслед.

В стихотворении, возможно, сказалось влияние пушкинского «Эхо», которое Павлова перевела на немецкий язык и напечатала в сб. «Das Nordlicht».

Да иль нет. Впервые — сб. 1863 г., стр. 6—7.

«Есть любимцы вдохновений...». Впервые — сб. 1863 г., стр. 4—5.

«Да, много было нас, младенческих подруг...». Впервые — ОЗ, 1840, № 2, стр. 193, с подписью: — ва —. Здесь Павлова вспоминает свою отроческую жизнь в кругу сверстниц в доме кн. П. П. Одоевского, о которой она рассказывает в «Моих воспоминаниях» (см. изд. 1915 г., т. 2, стр. 305—306).

«Нет, не им твой дар священный!..». Впервые — ОЗ, 1840, № 3, стр. 82—83, с подписью: — ва —. В сб. 1863 г. не вошло.

Монах. Впервые — сб. 1863 г., стр. 16—17.

Дочь жида. Впервые — М, 1841, № 11, стр. 1—3, с подписью: К. П — ва. Печ. по сб. 1863 г., стр. 14—16, где изменен последний стих. *Одалиска* — рабыня в гареме, наложница. *Гурия* — по верованию мусульман, вечно юная красавица, обитающая в раю.

Мотылек. Впервые — М, 1841, № 10, стр. 334, с подписью: К. П — ва. Печ. по сб. 1863 г., стр. 8—9, где отсутствуют последние четыре стиха:

Как он, недоступным виденьем
Живи в своем мире лучей;
Как он, будь священным значеньем
Для грустного сердца людей...

Ближайшими литературными источниками для Павловой послужили стихотворения Жуковского («Мотылек и цветы»), В. Гюго («Мотылек и роза»). Революционно-демократической критикой 60-х гг. было воспринято резко отрицательно. Определение «мо-

тыльковая» поэзия, которым Салтыков-Щедрин именовал творчество представителей «чистого искусства», связано именно с этим стихотворением.

«Небо блещет бирюзою...». Впервые — М, 1841, № 5, стр. 21—22, с подписью: К. П — ва. Печ. по сб. 1863 г., стр. 9, где отсутствует заглавие и имеется незначительное разночтение. Автограф под заглавием «Весна» и без последней строфы — в ЦГАЛИ, в альбоме Е. С. Дёлер. Переведено Ф. Ф. Фидлером на немецкий язык и напечатано в его книге «Russische Dichterinnen. Ausgewählte Dichtungen». Leipzig, 1907, s. 5—6.

Старуха. Впервые — М, 1841, № 12, стр. 290—293, с подписью: К. П — ва. С незначительными разночтениями — ОЗ, 1855, № 9, стр. 107—110. Печ. по сб. 1863 г., стр. 10—13.

Н. М. Языкову («Невероятный и нежданный...»). Впервые — М, 1841, № 2, стр. 350—351, с заглавием: «Ответ Н. М. Языкову». Печ. по сб. 1863 г., стр. 30—31. Автограф — в ПД, текст которого идентичен тексту М, имеет следующие разночтения:

ст. 4 Как южных стран чудесный цвет

ст. 7 И я душою улетала

ст. 16 Везде есть много сладких снов

ст. 17 Везде несутся звезды мимо

ст. 31 За драгоценный дар поэта

Дума («Грустно ветер веет...»). Впервые — М, 1841, № 8, стр. 291—292, с подписью: К. П — ва. Автограф — в ПД и два — в ЦГАЛИ имеют разные даты: 16 мая 1843, ноябрь 1844 и 16 мая 1863. Последняя дата исправлена из «1840 г.» Нами датируется по сб. 1863 г.

10 ноября 1840 («Среди забот и в людной той пустыне...»). Впервые — сб. 1863 г., стр. 7—8. Автограф первой половины стихотворения до ст. «Что этот луч, ниспосланный из рая» — в ГИМ. Здесь следующие разночтения:

ст. 3 Успел ли ты о прошлом вспомнить ныне?

ст. 8 Тебе навек без страха предалась

ст. 10 Когда душа навеки полюбя

ст. 11 С глубоким скажет убежденьем

ст. 12 Душе другой: я верую в тебя!

Стихотворение обращено к А. Мицкевичу. В нем Павлова вспоминает «оный час» — день *10 ноября* 1827 г., когда ей было сделано предложение польским поэтом.

Баллада. Впервые — М, 1841, № 4, стр. 299—302, с подписью: К. П — ва. В сб. 1863 г. не вошло. Автограф — в ГПБ, в альбоме Г. А. Данилевского, датированный: «1 декабря 1854». В этот день Павлова переехала из Дерпта в Петербург. *Карл V* (1500—1558) — император Священной Римской империи и испанский король (под именем Карла I). Возглавил католическую реакцию во всей Европе, поставив перед собой цель создать «всемирную христианскую монархию». В 1556 г., потерпев крушение своих политических планов, отрекся от престола и ушел в монастырь.

На 10 ноября («Я помню, сердца глас был звонок...»). Впервые — изд. 1939 г., стр. 153. Копия — в ПД, в архиве Аксаковых. Посвящено воспоминаниям о пережитом в памятный день объяснения с А. Мицкевичем — *10 ноября* 1827 г. См. примеч. к стих. «10 ноября 1840», стр. 551.

Огонь. Впервые — М, 1844, № 1, стр. 1—3. Печ. по сб. 1863 г., стр. 25—28, с восстановлением журнального заглавия «Огонь», которое дано в оглавлении, но пропущено в тексте. Кроме того, изменена строфа 7 первопечатного текста:

И огонь синеет робкой,
И, обманчив и хитер,
Чуть заметен под затопкой

Написано в духе немецких романтических баллад на народные мотивы. *Василиск* — сказочный змей, убивающий взглядом. *Гиреево* — дачное место под Москвой, где в 40-е гг. Павловы жили летом.

Рудокоп. Впервые — М, 1842, № 1, стр. 6—12, с подписью: К. П — ва. Печ. по сб. 1863 г., стр. 18—25, где имеется незначительное разночтение. Сюжет стихотворения, по-видимому, заимствован Павловой из немецкой романтической литературы, в которой в 1810—1830 гг. он получил распространение. Основой для этого сюжета послужило реальное происшествие 1670 г. В Швеции в железных рудниках Фалуна произошел большой обвал, надолго приостановивший в них работу. В течение полустолетня шли раскопки н восстановительные работы, во время которых был отрыт хорошо сохранившийся труп погибшего юноши. После извлечения на воздух он сразу окаменел, а потом рассыпался. Случай этот стал позднее предметом изучения немецкого натурфилософа Г. Т. Шуберта, сообщившего о нем в своей книге «Ansichten von die Nachtseite der Naturwissenschaft» (Dresden, 1808, стр. 215—216), а затем привлек внимание немецких романтиков: Гофмана, посвятившего ему в своем романе «Серапионовы братья» новеллу «Die Bergwerke zu Falum», Тика, написавшего рассказ «Die Runenberge», и многих других. Это событие нашло

отклик и в русской литературе: в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду"» в №№ 17 и 18 за 1831 г. появился перевод рассказа Шиллинга «Рудокоп. Предание» (с нем.), а в 1834 г. в «Библиотеке для чтения» (№ 10) была напечатана статья «Фалунские рудокопни». В «Рудокопе» отразилось мистическое представление романтиков о природе как воплощении таинственного божества, как о «великой матери», непостижимой для человеческого сознания. Проникновение в ее тайны считалось ясновидением, которое выделяет человека из окружающей его среды и лишает его, подобно одержимому, обыкновенных человеческих радостей. Это темное, мистическое сознание Павлова представляет роковой и жестокой силой, разрушающей радость человеческой жизни.

Графине Р<остопчиной>. Впервые — сб. 1863 г., стр. 28—29. Список 40-х гг. — в ПД. *Ростопчина* Евдокия Петровна (1811—1855) — поэтесса. Послание является полемическим ответом на ее стихотворения 1840 г.: «В Москву» и «Вид Москвы», где говорилось об отчужденности Ростопчиной от быта и нравов московской жизни.

«К тебе теперь я думу обращаю...». Впервые — сб. 1863 г., стр. 43—44. Третье стихотворение Павловой, навеянное воспоминаниями об А. Мицкевиче.

«Была ты с нами неразлучна...». Впервые — С, 1843, т. 29, стр. 419—421, с подписью: К. П. Печ. по сб. 1863 г., стр. 40—41, где отсутствуют последние три строфы журнального текста:

Средь деяния земного
Миг торжественный слетит,
Думы в образ, мысли в слово
Животворно облачит.

И минут тех вдохновенье
Принесу тому я в дар,
Кто в покорность и смиренье
Обратил мой праздный жар.

Кто меня крутой дорогой
Бытия вести умел
И душе, с любовью строгой,
Указал благой удел.

В последних двух строфах имеется в виду Н. Ф. Павлов, муж поэтессы, после разрыва с которым они были исключены, так как по смыслу своему противоречили сложившимся отношениям.

«Читала часто с грустью детской...». Впервые — «Московский городской листок», 1847, от 20 февраля, без подписи.

Печ. по сб. 1863 г., стр. 37—39. В основе стихотворения — евангельская легенда о том, как Иисус ходил по воде, а плывшие на лодке по Геннисаретскому озеру ученики его приняли Христа за привидение. Петр, один из учеников, в доказательство реальности виденного просил, чтобы Иисус повелел ему пойти по воде навстречу. Услышав приказание «иди», он пошел по воде, но, испугавшись усилившегося ветра, стал тонуть. Иисус поддержал его, сказав: «Маловерный! зачем ты усомнился?» С этими словами они вошли в лодку, и ветер утих.

Рассказ. Впервые — сб. 1863 г., стр. 33—37. В последних трех строфах отразились воспоминания об отношениях с А. Мицкевичем.

Донна Инезилья. Впервые — М, 1843, № 2, стр. 356, с подписью: К. П — ва.

Е. А. Баратынскому. Впервые — сб. 1863 г., стр. 41—43. Написано в связи с получением от Баратынского сборника стихотворений «Сумерки» (1842). С Баратынским связано несколько других произведений Павловой («Зовет нас жизнь...», посвящение «Кадрили», переводы пяти его стихотворений, в том числе отрывка из поэмы «Бал», на немецкий язык). Баратынский посвятил Павловой стихотворение «Альбом походит на кладбище...». *Фаэтон* (греч. миф.) — сын Гелиоса, бога Солнца. Не сумев справиться с конями, запряженными в колесницу отца, он приблизился на ней к земле, которая загорелась. Чтобы спасти землю, Зевс убил молнией Фаэтона.

Н. М. Языкову («Приветствована вновь поэтом...»). Впервые — «Литературный вечер, сборник в память В. В. Пассека». М., 1844, стр. 163—165. Печ. по сб. 1863 г., стр. 31—32. Является ответом на послание Языкова «К. К. Павловой» («В те дни, когда мечты блистательно и живо...»), которое было, в свою очередь, ответом на стихотворение Павловой «Н. М. Языкову» («Невероятный и нежданный...»). *«Ау!»* — стихотворение Языкова 1831 г. *И первый пал* — речь идет о смерти Пушкина. *Другой лечь в гроб успел* — имеется в виду Лермонтов.

Дума («Вчера листы изорванного тома...»). Впервые — М, 1843, № 9, стр. 16, с заглавием: «Воспоминание». Печ. по сб. 1863 г., стр. 44—45. *Маркиз Поза* — герой трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос», защитник угнетенного человечества, преданный благородным идеалам свободы.

Дума («Хотя усталая, дошла я...»). Впервые — М, 1845, № 2, стр. 63—64, без подписи. Печ. по сб. 1863 г., стр. 158—159. Датируется на основании журнального текста. В сб. 1863 г. стихотворение помещено под рубрикой: «Годов неизвестно». *Полярная звезда* сохраняет почти неизменное положение на небе, поэтому ночью она служила ориентиром.

Странник. Впервые — М, 1843, № 12, стр. 287—288, с подписью: К. П — ва. В сб. 1863 г. не вошло. Автограф (карандашом) — ПД; на первой странице его рядом с заглавием неизвестным лицом чернилами написано: «перевод». Источник нами не установлен.

Дума («Когда в раздор с самим собою...»). Впервые — «Московский литературный и ученый сборник на 1846 г.». М., 1846, стр. 47—48, без заглавия, с подписью: ...ва. Печ. по сб. 1863 г., стр. 45—46. Стихотворение связано с воспоминаниями об А. Мицкевиче и памятном дне 10 ноября, см. стр. 551.

Дума («Не раз себя я вопрошаю строго...»). Впервые — М, 1845, № 2, стр. 57—58. Печ. по сб. 1863 г., стр. 52. Стихотворение, предназначавшееся для № 1 М, было запрещено цензурой, увидевшей, видимо, вольномыслие в словах: «Что юные надежды Исполнятся... Что даст свой плод нам каждый падший цвет». О цензурном запрете этого стихотворения писал А. С. Хомяков А. В. Веневитинову: «...цензура пропасть хорошего вычеркнула и такого невинного, что понять нельзя, как можно было не пропустить. Так, например, не пропущены славные стихи Павловой, кончающиеся стихом: „И всякому вопросу есть ответ“» (А. С. Хомяков. Полн. собр. соч., т. 8. М., 1904, стр. 74). О цензурных затруднениях с № 1 М говорит и сам его редактор — замещавший М. П. Погодина И. В. Киреевский — в письме к В. А. Жуковскому от 28 января 1845 г. (см. И. В. Киреевский. Полн. собр. соч., т. 2. М., 1911, стр. 235).

Н. М. Я<зыко>ву («Средь праздного людского шума...»). Впервые — сб. 1863 г., стр. 49—50. Является непосредственным ответом на послания Языкова «Тогда, когда жестоко болен...» и «Хвалю я вас за то, что вы...», относящиеся к 18 и 21 апреля 1844 г. Послание Павловой, как видно из текста, написано 9 мая (ст. ст.) в день именин Языкова и является ответом и поздравлением. *Ложка колесовая* — подарок Языкова, деревянная ложка, привезенная им из Троице-Сергиева монастыря.

Дума («Сходилась я и расходилась...»). Впервые — «Раут. Литературный сборник в пользу Александринского детского приюта». Изд. Н. В. Сушкова, кн. 3. М., 1854, стр. 198, без заглавия. Печ. по сб. 1863 г., стр. 51—52, где дано заглавие и указана дата. *Иксион* (греч. миф.) — царь флегиев; на пиру у Зевса преследовал его супругу Геру, к которой воспылал страстью, но был обманут Зевсом, представившим ему вместо Геры облако в ее образе.

Москва. Впервые — «Раут. Литературный сборник в пользу Александринского детского приюта». Изд. Н. В. Сушкова, кн. 3.

М., 1854, стр. 196—197, под рубрикой: «Три стихотворения К. К. Павловой». Печ. по сб. 1863 г., стр. 47—48, где имеются несущественные разночтения и впервые включена строфа 7, отсутствовавшая в «Рауте».

«Преподаватель христианский...». Впервые — «Русский архив», 1912, кн. 1, № 2, стр. 317, под рубрикой, принадлежащей публикатору П. И. Бартеневу: «Стихотворения К. К. Павловой. (Продиктованы мне в Дрездене, в ноябре 1858 г.)». В альбоме О. А. Новиковой (см. о ней примеч. к стих. «Impromptu» стр. 563), хранящемся в ЦГАЛИ, имеется список этой эпиграммы, подписанный рукой владелицы: «Каролина Павлова». Альбом относится к концу 50-х гг. (крайние даты — 29 марта 1857 и 1860). Текст списка отличается от сообщенного Бартеневым:

Преподаватель христианский, —
Он верой тверд, душою чист,
Не злой философ он германский,
Не либерал, не атеист!
И скромен он по убежденью,
Себя считает выше всех!..
И тягостен его смиренью
Один лишь ближнего успех.

Датируется приблизительно на основании указанной Бартеневым даты. Эпиграмма в списке озаглавлена «Шевыреву». Список, принадлежащий такому близкому к Павловой лицу, как О. А. Новикова, встречавшаяся с поэтессой почти на протяжении всей ее жизни, начиная с 40-х гг., подтверждает авторство Павловой. С. П. Шевырев (1806—1864) — реакционный критик и публицист, примыкавший к правым славянофилам. По словам Бартенева, «Грановский бросился целовать у К. К. Павловой руку, выслушав эти стихи». Эпиграмма долго ходила по рукам.

К *** («В толпе взыскательно холодной...»). Впервые — «Московский городской листок», 1847, от 1 января, стр. 2, под заглавием «К. С.». Печ. по сб. 1863 г., стр. 56—57, где изменено заглавие. Стихотворение, как справедливо указывает Е. Казанович (см. изд. 1939 г., стр. 414), обращено поэтессой к самой себе, что отчасти подтверждается его первопечатным заглавием, которое можно расшифровать: «К себе».

Три души. Впервые — сб. «Киевлянин на 1850 г.», кн. 3, изд. М. Максимовича. М., 1850, стр. 212—215, с подстрочным примечанием к заглавию: «Это стихотворение относится к трем женщинам-поэтам, родившимся в один и тот же год». Печ. по сб. 1863 г., стр. 53—56, где исключены подпись под эпиграфом

и подстрочное примечение, кроме того имеется одно разночтение в ст. 9. Эпиграф — из 8-й главы «Евгения Онегина». Е. Казанович (см. изд. 1939 г., стр. 414) предполагает, что в первой части стихотворения изображена Е. П. Ростопчина. Но подобное предположение опровергается не только несоответствием года рождения (1811), но и места рождения Ростопчиной (Москва). Героиня стихотворения. очевидно, парижанка. К Москве нельзя отнести стихи: «Где, воцарясь, земное просвещенье Устроило свой Валфазарский пир». Во второй части, как указывает Е. Казанович (см. изд. 1939 г., стр. 414), изображена рано умершая американская поэтесса Лукреция Мария Давидсон (1808—1825). Ей была посвящена статья в «Литературной газете» (1830, № 19, стр. 147—149). Здесь сказано, что Давидсон обещала «Новому Свету талант, могущий состязаться с современными поэтами Англии». В образе третьей души представлена сама Павлова, которой был «указан мирный путь». *Валфазарский пир* — по библейской легенде, пиршество вавилонского царя Валтасара, убитого во время оргии завоевавшими его царство персами.

Везде и всегда. Впервые — С, 1850, № 8, стр. 320—322, в фельетоне И. И. Панаева «Современные заметки», вместе со стихотворением «Воет ветр в степи огромной...», под общим заглавием «Стихотворения новооткрытого поэта». В изд. 1863 г. не вошло. Написано, по всей вероятности, летом 1846 г. Павлова, обиженная рецензией Панаева на «Разговор в Кремле» (С, 1854, № 9), где было вновь напечатано это стихотворение, вспоминает, при каких обстоятельствах оно попало к нему: «Мне пришлось понять горькую истину и убедиться, что из вашей памяти совершенно изгладился день, о котором я сохраняла столь приятные и живые воспоминания, прекрасный июльский день, который вы провели у меня на даче в окрестностях Москвы. Я принуждена, увы! вам напомнить, как мы с вами ходили по липовой аллее, восхищаясь природой, говоря о поэзии, и как я вам тогда прочла эти же стихи, мною в шутку написанные, и как вы были в восторге от этой пародии и выпросили ее у меня» (изд. 1915 г., т. 2, стр. 331). Стихотворение написано в качестве эксперимента, с намерением продемонстрировать богатство экзотических рифм, за пристрастие к которым Панаев упрекал поэтессу. В рецензии на «Разговор в Кремле» (С, 1854, № 9) он привел полностью текст «Везде и всегда» для подтверждения того, что формальные достоинства не составляют существа поэзии. Панаев писал: «Никто не станет спорить, что по богатству, оригинальности рифм это стихотворение не имеет себе подобного... Но какое впечатление оно производит? Есть ли в нем поэзия?.. Оно может рассмешить как удачная шутка, но поэзии в нем нет и тени». *Альбион* — старинное название Англии. *Тимбукту* — древний город в Африке. *Там, где снится о гяуре* — подразумевается Кавказ; гяур — иноверец у мусульман. *Альмэ* — танцовщица в некоторых восточных странах. *Под лавой Безмолвствуют дома.* Имеется в виду Помпеи или Геркуланум — города Древнего Рима, разрушенные и

засыпанные пеплом при извержении Везувия в 79 г. *Тамеа-меа-ма* — имя нескольких королей Гавайских островов, наследовавших один другому. *Далайлама* — глава тибетской церкви и верховный правитель Тибета. *Сен-Готард* — альпийский горный массив. *Текла* — героиня трагедии Ф. Шиллера «Смерть Валленштейна», жених которой Макс Пикколомини (герой той же трагедии) погиб в битве со шведами. *Гекла* — действующий вулкан в Исландии. *Чимборасо* — потухший вулкан в Южной Америке (Эквадоре). *Столица Помаре* — город Папеете на острове Таити, где жили цари династии Помаре.

«Зовет нас жизнь: идем, мужаясь, все мы...». Впервые — альм. «Северные цветы». М., 1901, стр. 71—74, где опубликовано по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ. В автографе зачеркнуто чернилами заглавие «Думы» и карандашом перечеркнута первая строфа, которая в нашем издании сохраняется на том основании, что, видимо, самим автором вопрос о строфе окончательно не был решен. Автограф без подписи, датирован. В 5—7-й строфах Павлова вспоминает о героически погибшей женщине, по предположению В. Я. Брюсова (см. изд. 1915 г., т. 1, стр. 313), жене сосланного декабриста, уехавшей за своим мужем в Сибирь. О справедливости подобного предположения говорит и упоминание о глуши «убийственного края» и о годах, прошедших со времени последнего свидания («двадцать лет грустеть»), т. е. с 1826 г. В строфах 8—11 Павлова вспоминает о безнадежно влюбленном в нее Киприане Дашкевиче (ум. в ноябре 1829 г.), друге А. Мицкевича, высланном из Польши за участие в обществе «филаретов», тяжело заболевшем чахоткой и покончившем жизнь самоубийством. Строфы 12, 14 и 15 относятся к Е. А. Баратынскому, умершему в 1844 г. В строфе 13 говорится о смерти Пушкина и последовавшей вскоре за нею гибели Лермонтова. Предпоследняя строфа относится к А. Мицкевичу. *Чайльд-Гарольд прав* — имеются в виду раздумья Чайльд-Гарольда в 4-й песне поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» о незаслуженных страданиях н преждевременной гибели многих великих людей.

И. С. Ак<сако>ву («В часы раздумья и сомненья...»). Впервые — «Московский литературный и ученый сборник на 1847 год». М., 1847, стр. 591—592. Печ. по сб. 1863 г., стр. 57—59. В автографе ЦГАЛИ, где расшифрована фамилия адресата, имеются незначительные разночтения. *Аксаков* Иван Сергеевич (1823—1886) — поэт, публицист, один из крупнейших идеологов славянофильства 60—80-х гг., сын писателя С. Т. Аксакова. В октябре 1846 г. И. С. Аксаков выступил со стихотворением «К портрету» («Смотри! толпа людей нахмурившись стоит...»), которое было напечатано в том же сборнике перед стихотворением Павловой и как бы поясняет, что осуждение И. С. Аксаковым пассивности и безволия не имеет ничего общего с идеалами передовой демократической интеллигенции 40-х гг.

Прочтя стихотворения молодой женщины. Впервые — сб. 1863 г., стр. 59—60. Относится, по-видимому, к поэтессе Ю. В. Жадовской (1824—1883), первая книга стихотворений которой вышла в 1846 г. и вызвала живой интерес.

Н. М. Я<зыков>у («Нет, не могла я дать ответа...»). Впервые — сб. 1863 г., стр. 60—61. В ЛБ хранится список стихотворения, сделанный рукой Н. Ф. Павлова, где имеется второй эпиграф из Языкова: «Но в мире будь величествен и свят». Стихотворение является ответом на послание Языкова от 28 апреля 1846 г. «В достопамятные годы...», которым он хотел загладить неприятное впечатление, произведенное его стихами, направленными против П. Я. Чаадаева, А. И. Герцена, Т. Н. Грановского и всего передового лагеря («Константину Аксакову», «К ненашнм», «К Чаадаеву»). Попытка Языкова успеха не имела, и Павлова подтвердила посланием свое отрицательное отношение к агрессивной позиции Языкова, ставшего адептом самого реакционного направления в славянофильстве.

«Мы современницы, графиня...». Впервые — «Татевский сборник». СПб., 1899, стр. 110—111. Печ. по изд. 1939 г., стр. 161—162, где опубликовано по копии 1847 г. (ГИМ). В стихотворении отразилось неприязненное отношение Павловой к Е. П. Ростопчиной (см. о ней стр. 553), которую она осуждала за рассеянную светскую жизнь и нарушение патриархальных семейных традиций. Ростопчина также питала к Павловой нерасположение (см. примеч. к «Разговору в Кремле», стр. 566). Неполный текст стихотворения, переписанный рукой Н. Ф. Павлова, хранится в ЛБ. На этом же листе его же рукой записано стихотворение «Imprgomptu» («Экспромт»), возможно принадлежащее Павловой:

Все эти светские болваны
Премилый, пресмешной народ.
Глядн, вот лезет в Дон-Жуаны,
Долез — и вышел Дон-Кихот.

Думы («Я снова здесь, под сенью крова...»). Впервые — сб. «Киевлянин на 1850 г.», кн. 3. М., 1850, стр. 215—216. С *Гиреевом,* подмосковным дачным местом (см. стр. 552), связаны у Павловой воспоминания о встречах с Н. М. Языковым и Е. А. Баратынским, которым она отправляла отсюда послания (Языкову: «Приветствована вновь поэтом...», 1842; Баратынскому: «Случилося, что в край далекий...», 1842). В последних стихах «Думы» речь идет о рано умерших Пушкине, Лермонтове, Языкове.

К. С. А<ксакову> («Себя как ни прославили...»). Впервые — «Сочинения К. С. Аксакова», т. 1. Пг., 1915, стр. 642. Является ответом на стихотворное послание К. С. Аксакова «К. К. Павловой» (1847), в котором автор передает желание

Оболенских, происходивших из старинного княжеского рода, познакомиться с новым, еще не появившимся в печати произведением Павловой «Двойная жизнь», Аксаков заканчивает послание просьбой:

Исполните же (чинно я
Вам бить челом готов)
Желание невинное
Сих Рюрика сынов.

Получив отказ, К. Аксаков на листе с этим же стихотворением Павловой написал:

Не думал я когда-нибудь,
Что стихотворное посланье
Пути не сыщет в вашу грудь
И так прочтется без вниманья.
Что ж делать? Буду знать вперед,
Что не всегда надеждой льститься.
Судьба авось не приведет
К вам снова с просьбой обратиться.

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) — публицист, критик, видный деятель славянофильства, брат И. С. Аксакова. Пользуюсь случаем выразить благодарность Б. Я. Бухштабу, указавшему мне стихотворение Павловой, никогда не включавшееся в собрание ее сочинений.

«Среди событий ежечасных...». Впервые — «Русский вестник», 1859, сентябрь, кн. 2, стр. 176. Отклик на февральскую революцию 1848 г. во Франции, которая пробудила у Павловой воспоминание об А. Мицкевиче, жившем тогда в Париже.

К С. К. Н. («Разбранена я, верно, вами...»). Впервые — сб. 1863 г., стр. 64—67. К кому обращено стихотворение, установить не удалось. *Радецкий* Иосиф Венцель (1766—1858) — австрийский фельдмаршал, с 1831 г. командовавший армией в Италии и подавивший в 1848 г. национальную революцию в Милане. Павловой, вероятно, было известно, что А. Мицкевич в это время уехал в Италию с целью создать легионы из поляков-эмигрантов, чтобы, добившись победы начавшейся революции, освободить ту часть Польши, которая находилась в составе Австрии. *Ламартин* Альфонс (1790—1869) — поэт и политический деятель, в 1848 г. министр иностранных дел Временного правительства во Франции. *Коссидьер* Марк (1808—1861) — мелкобуржуазный демократ, после февральской революции 1848 г. был около месяца префектом полиции Парижа. *Лизаветино* — подмосковное дачное место.

Разговор в Трианоне. Впервые — сб. «Русская потаенная литература XIX столетия». Лондон, 1861, без подписи и без

даты, под заглавием «Вечер в Трианоне». В тексте много опечаток, пропущена строфа. Печ. по сб. 1863 г., стр. 67—75. Сохранились три списка, восходящие к автографу, — в ПД, три списка — в ЛБ, два списка — в ЦГАЛИ и один — в ГИМ, сделанный рукой Н. Ф. Павлова. Первоначально стихотворение было посвящено ему, о чем свидетельствуют списки, но в сб. 1863 г. этого посвящения нет. «Разговор в Трианоне» предназначался для *М*, но был запрещен цензурой. Н. Ф. Павлов писал М. П. Погодину: «Есть у нее <Павловой> ее лучшее стихотворение, и она готова напечатать его в Вашем альманахе <т. е. журнале>, но что скажет цензура и не будет ли неприятностей автору. Хотя пиеса и совершенно в духе законном и написана с доброй целью, но как знать? Это «Разговор в Трианоне». Если желаете, то я немедленно пришлю». Цензор В. Н. Лешков стихотворения не пропустил и в письме к Погодину от 29 декабря 1849 г. рекомендовал направить его в Главное управление цензуры. «Разговор в Трианоне» насторожил отношение цензуры и к последующим произведениям Павловой. Лешков, прочитав перевод сцены из «Прометея» Эсхила, писал Погодину: «Прочитав «Сцены из „Прометея"» Павловой да вспомнив ее «Разговор в Трианоне», невольно подумал о словах Ник. Ив. Крылова: не слишком ли бойко пошел «Москвитянин»? Ум, угнетенный и истязуемый, мстит неподанием совета на случай беды Зевса. И Мирабо верит в человечество и успех его дела. Подпишу, если Вас не пугает мысль, что этими статьями «Москвитянин» открывает листы свои для ряда подобных стихотворений. Ожидаю ответа» (ЛБ, ф. Погодина). *Трианон* — дворец в Версале, в предместье Парижа, резиденция французского короля Людовика XVI, казненного 21 января 1793 г. по постановлению Конвента. *Боскеты* — густые группы деревьев. *Калиостро* — мистификатор и авантюрист Иосиф Бальзамо (1743—1795), присвоивший себе графский титул и принявший имя Калиостро; он вращался в придворных кругах европейских королей и слыл волшебником; создал себе славу необыкновенного человека, жившего будто бы несколько тысяч лет. *Мирабо* Оноре Габриель Рикетти (1749—1791) — видный деятель французской буржуазной революции конца XVIII в.; когда ход событий принял особенно бурное теченье, он стал тайно действовать в пользу короля. Измена Мирабо стала известна лишь после его смерти, прах его, как предателя, был перенесен из *Пантеона* (усыпальницы великих людей революционной Франции) на кладбище для преступников. *Моисей* — библейский пророк, освободитель еврейского народа из египетского рабства. По библейскому сказанию, он вывел евреев из Египта, перестроил их жизнь, дав новые, полученные от бога на Синайской горе *скрижали* откровения — так называемые десять заповедей. Но евреи часто нарушали эти законы, склонялись к языческой вере. *Аарон* — библейский первосвященник, брат Моисея, соорудивший языческого кумира — золотого *тельца. Забавы Рима* — имеются в виду бои гладиаторов. *Громкое звучало* «Ave!». Подразумевается традиционное приветствие «Ave, Ceasar! Morituri te salutant» («Славься, цезарь! Обреченные на смерть тебя приветствуют»), с

которым гладиаторы при выходе на арену обращались к императору. *Дак* — раб из племени даков, порабощенного в начале II в. н. э. Римом. *Галилея* — страна в Палестине. *Мессия* — здесь: Христос. *Игемон* — начальник области, здесь: римский наместник Иудеи *Пилат*. По евангельской легенде, Пилат, желавший освободить Христа от казни, решил воспользоваться еврейским обычаем — щадить по случаю Пасхи одного из приговоренных к смерти преступников Но жаждавшие казни Христа евреи потребовали освободить разбойника *Варавву*. *Нерон* Клавдий Цезарь — римский император (54—68), жестоко расправлявшийся со своими политическими противниками. Прославился организацией пышных пиров и зрелищ, на которых сам выступал в качестве актера и поэта; во время его правления в Риме вспыхнул огромный пожар. *Центурион* — начальник древнеримского войскового подразделения, состоящего из ста воинов. *Поппея* Сабина — любовница Нерона, которая сделалась женой императора, для чего она устранила со своего пути его мать Агриппину и жену Октавию; позднее сама погибла от руки Нерона. *Эней* (римск. миф.) — легендарный родоначальник римлян, персонаж «Илиады» Гомера и главный герой «Энеиды» Вергилия. *Всходил... ее заступник на костер.* Очевидно, имеется в виду Джироламо Савонарола (1452—1498) — итальянский религиозный проповедник, пользовавшийся популярностью в народной среде. Был повешен, а затем сожжен на костре по приговору папского суда. *Пилигрим* — странник, путешественник. *Убийство злое войнов храма.* Речь идет о тамплиерах, членах рыцарского религиозного ордена во Франции. В 1310 г. они были обвинены в ереси и подверглись жестоким массовым репрессиям. *Шла избавительница края.* Имеется в виду французская национальная героиня Жанна д'Арк (1412—1431), крестьянская девушка, возглавившая во время войны с Англией французское войско; преданная феодалами, отдавшими ее в руки англичан, Жанна д'Арк была сожжена на костре в Руане *Ночь Варфоломея* — массовое уничтожение гугенотов католиками в Париже в ночь под праздник св. Варфоломея (24 августа 1572 г.). *Ватага угощала Друг друга мясом адмирала.* Имеется в виду Гаспар Колиньи (1519—1572), один из предводителей гугенотов, погибших в Варфоломеевскую ночь. *Кромвель* Оливер (1599—1658) — выдающийся деятель английской революции XVII в., жестоко подавлявший сторонников монархии, установивший свою единоличную диктатуру. *Плаху короля.* Казнь Карла I (1600—1649) — английского короля из династии Стюартов, свергнутого во время английской революции XVII в., была произведена в 1649 г. *Сидел я с сыном* — Карлом II (1630—1685), английским королем, сыном Карла I, возведенным на престол буржуазией после смерти Кромвеля. *Этот век стоит готовый К перевороту.* Речь идет о приближении французской революции конца XVIII в.

«К ужасающей пустыне...». Впервые — ОЗ, 1855, № 8, стр. 255. Список с автографа — в ЦГАЛИ, в архиве С. А. Рачинского. Рачинский в своих воспоминаниях писал о Павловой и о

том времени, когда с ней встретился: «В умах бродили смутные чаяния, возбужденные бурею 1848 г. Но к этим чаяниям старая писательница относилась скептически. Любила она повторять следующие стихи, уверяя, что не помнит, сама ли она их сочинила, или кто-либо другой...» Далее им приводятся две последние строфы «К ужасающей пустыне» («Татевский сборник». СПб., 1899, стр. 106—107).

«За деньги лгать и клясться рада...». Впервые — «Русский архив», 1912, кн 1, № 2, стр. 317. Объект эпиграммы — К. Ф. Четверикова, сестра Н. Ф. Павлова, который был опекуном ее детей. На этой почве у него возникали неоднократные недоразумения в денежных расчетах. Вызванные этим упреки и клятвы Четвериковой послужили поводом для эпиграммы на нее.

«Я не из тех, которых слово...». Впервые — «Русский архив», 1912, кн. 1, № 2, стр. 317. Кому адресована эта эпиграмма, не установлено; может быть, Н. Ф. Павлову, отношения с которым к концу 40-х гг. резко осложнились.

«Воет ветр в степи огромной...». Впервые — С, 1850, № 8, стр. 322, вместе со стихотворением «Везде и всегда», в фельетоне И. И. Панаева «Современные заметки», под рубрикой: «Стихотворения новооткрытого поэта». В сб. 1863 г. не вошло.

Лампада из Помпеи. Впервые — «Киевлянин на 1850 г.», кн. 3. М., 1850, стр. 193, с заглавием: «К Помпейской лампадке». Печ. по сб. 1863 г., стр. 78—79. Автограф последних двух строф — в ЦГАЛИ, в альбоме В. Д. Ладыженской (урожденной Суриковой). *Помпея* — см. примеч. к стих. «Везде и всегда», стр. 557.

Laterna magica. Впервые — «Раут. Литературный сборник в пользу Александринского детского приюта». Изд. Н. В. Сушкова, кн. 3. М., 1854, стр. 195—196 с заглавием. «Из Laterna magica» и без подзаголовка. Стихотворение является вступлением к задуманному, но не осуществленному Павловой замыслу цикла стихотворений.

Impromptu («Каких-нибудь стихов вы требуете, Ольга!..»). Печ. впервые по списку, хранящемуся в ЦГАЛИ, в архиве С. А. Рачинского, в особом конверте с надписью самого Рачинского: «Стихотворения К. К. Павловой». Список авторизован, подписан, датирован. Стихотворение обращено к Ольге Алексеевне Новиковой (урожденной Киреевой) (1840—1925), писательнице, тогда еще совсем юной девушке. Она принимала живое участие в судьбе Павловой и ее сына И. Н. Павлова, была посредником между ними. Ей посвящены стихотворения «Экспромт» и «Ответ — импровизация во время спора с Ольгой Киреевой» (на французском языке).

К стр. 149—154

Портрет. Впервые — сб. 1863 г., стр. 79—81. Герой стихотворения — муж поэтессы Николай Филиппович Павлов. *Драму написал «Марина Мнишек».* Н. Ф. Павлов в 1825 г. напечатал свой перевод трагедии Шиллера «Мария Стюарт». *Ришелье* Арман Жан дю Плесси (1585—1642) — французский герцог, кардинал, сосредоточивший в своих руках все управление государством при короле Людовике XIII.

«К могиле той заветной...». Впервые — сб. 1863 г., стр. 79. Автограф с разночтениями — в ЦГАЛИ.

Серенада. («Ты всё, что сердцу мило...») Впервые — М, 1851, ноябрь, № 22, стр. 221—222. Отправляя М. П. Погодину, редактору М, это стихотворение, Павлова писала: «Посылаю вам пиесу, написанную три-четыре дня тому назад. Других стихов нет, а эти написаны больше для музыки. Если хотите, то напечатайте» (ЛБ, ф. Погодина). «Серенада» была записана А. А. Блоком в его дневник.

«Молчала дума роковая...». Впервые — сб. 1863 г., стр. 83. Автограф ЦГАЛИ имеет заголовок: «К С. Р. <Сергею Рачинскому> В. К.» (т. е. Ваша Каролина). На автографе надпись рукой Рачинского: «Стихи были посланы С. А. Рачинскому вместе с переводом идиллии А. Шенье «Слепой» (см. примеч. к этому стих., стр. 585). Те же сведения — в «Татевском сборнике». СПб., 1899, стр. 106—108.

«Младых надежд и убеждений...». Впервые — сб. 1863 г., стр. 84. В стихотворении отразились переживания Павловой, вызванные конфликтом с Н. Ф Павловым, на которого 7 января 1853 г. была подана отцом поэтессы К. И. Яниш жалоба московскому генерал-губернатору А. А. Закревскому.

«Не раз в душе познавши смело...». Впервые — «Русский вестник», 1859, май, кн. 2, стр. 356. Связано по настроению с предшествующим стихотворением (см. предыдущее примеч.).

«Мы странно сошлись. Средь салонного круга...». Впервые — сб. 1863 г., стр. 110—111. Посвящено Борису Исааковичу Утину (1831—1872), известному юристу, познакомившемуся с Павловой в период ее пребывания в Дерпте. В 1850—1854 гг. Утин был студентом Дерптского университета. В это время у Павловой установились с ним близкие отношения, вылившиеся в глубокую дружбу-любовь. Одиннадцать стихотворений, написанных Павловой в связи с этим романом, взятые в хронологической последовательности, раскрывают психологическую историю ее любви к Б. И. Утину.

«Ты, уцелевший в сердце нищем...». Впервые — «Русский вестник», 1856, март, кн. 2, стр. 332, без эпиграфа. Печ.

по сб. 1863 г., стр. 84—85. Эпиграф — из стихотворения А. Мюссе «La nuit d'aout».

«Меняясь долгими речами...». Впервые — сб. 1863 г., стр. 86—87. Посвящено Б. И. Утину, см. стр. 564.

«Когда один, среди степи Сирийской...». Впервые — «Русский вестник», 1859, июнь, кн. 2, стр. 698—700, с заглавием «Б. У.» (т. е. Борису Утину, см. стр. 564). Печ. по сб. 1863 г., стр. 87—90, где дано без заглавия и изменен первый стих. В хранящемся в ЦГАЛИ списке это стихотворение помещено рядом с «Зачем судьбы причуда...», с общим к ним эпиграфом из Байрона «Words which are things» («Слова — те же дела»), и с заглавием перед каждым из них: «Б... У...». В стихотворении поэтически переосмысляется евангельская притча о самарянине, который, будучи язычником, тем не менее помог беспомощно лежавшему в пустыне больному, в отличие от правоверных иудеев, равнодушно проходивших мимо страдальца.

«Зачем судьбы причуда...». Впервые — сб. 1863 г., стр. 85—86. Печ. по «Кругозору», 1880, № 15, стр. 1. В ЦГАЛИ имеется список, о котором см. выше примеч. к стих. «Когда один, среди степи Сирийской...».

Разговор в Кремле. Впервые — отдельным изданием, под заглавием: «Разговор в Кремле. Стихотворение К. Павловой». СПб., 1854. Посвящено сыну поэтессы Ипполиту Николаевичу Павлову, тогда пятнадцатилетнему мальчику, учившемуся в Дерпте в 1853 г. Своим посвящением Павлова желала, видимо, показать несправедливость сетований мужа, который в письмах к друзьям (С. П. Шевыреву, А. С. Хомякову, М. П. Погодину) обвинял поэтессу в том, что она желает воспитать сына в немецком духе, отрывая его от жизни русского народа и русской культуры. Посвящение служит как бы прямым ответом на обвинения, содержащиеся в письме Н. Ф. Павлова к Шевыреву 4 сентября 1853 г. из Перми (см.: «Отчет публичной библиотеки за 1892 г.». СПб., 1895. Приложения, стр. 152—153). «Разговор в Кремле» создавался в период ожидания войны с Англией, направившей в Балтийское море свой флот, который остановился недалеко от Кронштадта. В стихотворении явственно слышатся отзвуки развернувшихся в 40-е гг. горячих споров о взаимоотношениях России и Запада, о будущем России, ее духовных особенностях, о причинах ее культурной отсталости сравнительно с народами Западной Европы. В «Разговоре в Кремле» есть мысли, близкие к суждениям «Философического письма» П. Я. Чаадаева, которые высказывает француз и которые горячо опровергаются русским патриотом. Речь русского стилизована в духе патриотических стихотворений Языкова. Но Павлова и здесь не солидаризуется с агрессивной позицией поэта в таких его стихотворениях, как «Ненашим» и «К Чаадаеву». «Разговор в Кремле» отдаленно перекликается и с пушкин-

ским «Клеветникам России». Произведение Павловой вызвало оживленные отклики критики: рецензии в ОЗ (1854, № 9), в С (1854, № 9), в М (1854, № 17), в «Пантеоне» (1855, январь, кн. 1) и в газетах: «Северная пчела» (1854, № 266), «Санкт-Петербургские ведомости» (1854, № 176). Рецензия С была, по существу, отрицательная. И. И. Панаев, подвергнув критике урапатриотические книжонки, появившиеся в 1854 г., ничего не сказал о содержании «Разговора в Кремле», но упрекнул Павлову за пристрастие ее к эффектным и экзотическим рифмам. Приведя образцы такого рода рифм из «Разговора в Кремле» (драма — Гама, Колумб — румб, щедро — Сааведра, гордо — Стратфорда), Панаев спрашивал: «Не завела ли страсть в новым рифмам далее, чем требование простоты в хорошем литературном произведении? Не слишком ли много придает им значения автор?.. Придает ли усердное и постоянное стремление к громкозвучной и по возможности новой рифме силу произведению... увеличивает ли его поэтическое достоинство? Или наоборот?» Этими риторическими вопросами выражено рецензентом отрицательное отношение к «Разговору в Кремле». Павлова отвечала на эту критику в специальном «Письме в редакцию „Современника“» (1854, № 11, стр. 130), вместе с которым был напечатан и ответ Панаева. В конце письма Павлова писала: «Я его <«Разговор в Кремле»> люблю, потому что коснулась в нем предмета, священного для меня, и написала его во время, памятное нам всем. Прошедшею весною, когда мы ожидали событий неслыханных, бомбардирования Кронштадта и войны около Петербурга, отчаянного натиска и вдохновенного отпора, когда вся родина откликнулась, когда всякий делал, что мог, что имел, дала и я свой стих, — все, что имела. Эти строфы, писанные в последних неделях великого поста, создавались почти сами собой: уверяю вас, что я не придумывала новых рифм и не искала эффектов. С русским чувством писала я в полуиностранном городе Дерпте это стихотворение» (изд. 1915 г., т. 2, стр. 333—334). Полемика с Панаевым вызвала злую пародию Е. П. Ростопчиной — «Песню по поводу переписки ученого мужа с не менее ученой женой» (см. сб. «Письма к А. В. Дружинину». М., 1948, стр. 279—280), где осмеяны Павлова и Панаев. Из пародии Некрасова, помещенной в рецензии, Ростопчиной заимствована первая строка: «Густолиственных липок аллея...». Имея в виду строки из письма Павловой в С (см. примеч. к стих. «Везде и всегда», стр. 557), Ростопчина писала:

Густолиственных липок аллея,
Ты для мира значенья полна!
Вдохновенья огнем пламенея,
Перед ним там стояла она

И, закинувши голову гордо,
Величаво махая рукой,
Угощала при-Невского Лорда
«Маскарадом» и «Жизнью двойной»,

И читала с поэмой чухонской
Свой санскритский с нее ж перевод...
(По-китайски, не то по-японски
Эта дама стихи издает!)

На нее, одурелый, смотрел он, —
И не верил своим он ушам;
И проклятья сквозь зубы шипел он
Всем Кориннам, всем синим чулкам...

Время шло; дружбу злость заменила, —
Черный кот меж друзей пробежал.
Позабыл вероломный, что было
В той аллее, где он пировал!!!

На Коринну он критику злую
Напечатал в журнале своем;
А она-то статью громовую
Наскребала сердитым пером.

Густолиственных липок аллея, —
Ты для мира значенья полна!
Друг на друга враждой пламенея,
Ныне злятся и он и она!

Успенье — христианский праздник в честь богоматери (15 августа). *Стоял в сиянии другом* — имеется в виду пожар в Москве, начавшийся во время вступления в нее войск Наполеона I. *Ниневия* — столица Ассирийского царства, известная в истории с XIV в. до н. э. *Лития* — молитвенное священнодействие. *Царские врата* — вход в алтарь в православной церкви. *Когда страшил соседов галл, и Хлодвиг Рима легионы При Суассоне поражал.* Имеется в виду покорение франкским королем Хлодвигом (466—511) из династии Меровингов Галлии, принадлежавшей Римской империи. *В дни чести бранной... Средь песков Сирийских стран* и т. д. Имеются в виду крестовые походы на мусульманский Восток. *Расин* (1639—1699) — французский поэт и драматург. *Версаль* — резиденция французских королей около Парижа, отличавшаяся богатством и красотой дворцов, парка и фонтанов. *Пепин* — имеется в виду Пипин Короткий (714—768), франкский король, основатель династии Каролингов. *От алтаря святой Софии* — имеется в виду храм св. Софии в Константинополе (Стамбуле). *Богоугодная жена* — княгиня Ольга, принявшая христианское вероисповедание. *Зане* — потому что. *Киевляне Тогда, столпясь в господний храм.* Речь идет об осаде Киева в 1240 г. войсками Батыя. *Отверзший Лазаря могилу* — Христос, который, согласно евангельской легенде, воскресил из мертвых Лазаря. *Баярд* (1476—1524) — рыцарь, служивший в войске короля Франции Карла VIII, прославившийся благородством, бесстрашием и воинскими доблестями. *Сид* Компеадор (ок. 1040—1099) — испанский военачальник, побе-

дитель мавров, прославившийся своими подвигами и ставший героем испанского фольклора, а также трагедии французского драматурга Пьера Корнеля «Сид» (1636). *Барбаросса* — братья Арундж и Каир-ад-дин, прославившиеся своими воинскими подвигами в борьбе Алжира с испанцами в XVI в. *Дуглас* — знаменитый шотландский род, ведущий, согласно легенде, свое происхождение от одного прославленного воина, прозванного так (т. е. черный муж) за свой темный цвет лица. *Ромео, Макбет* — главные герои трагедий Шекспира «Ромео и Джульетта» и «Макбет». *Прокофий* Ляпунов (ум. 1611) — рязанский дворянин, один из деятелей эпохи Смутного времени, принимал участие в освобождении Москвы от поляков. Был в 1611 г. предательски убит казаками. *Другой двенадцатый наш год* — 1612 г., относящийся к эпохе Смутного времени. *Ермоген* — Гермоген, патриарх (1606—1612). *Ваш смелый временщик побед* — Наполеон I. *В вашем Вавилоне* — в Париже. *В бедной мастерской Сардама.* Речь идет о пребывании Петра I в Голландии, где он в качестве простого плотника работал на корабельной верфи г. Саардама. *Софийский собор* — см. выше, стр. 567. *Бунчук* — древко с шаром и прядями волос из конского хвоста, служившее в XVI—XVIII вв. символом власти и достоинства польских и украинских гетманов и казачьих атаманов. *Защитники Луны* — турки; лунный серп — религиозная эмблема мусульман. *Мамай* — татарский хан, потерпевший поражение в Куликовской битве 1370 г. от войск Дмитрия Донского.

К*** («Когда шучу я наудачу...»). Впервые — сб. 1863 г., стр. 91—92. Посвящено Б. И. Утину, см. стр. 564. *Брут* Марк Юний (79—42 г. до н. э.) — римский политический деятель, республиканец, глава заговора против диктатуры Цезаря, кончивший жизнь самоубийством после крушения своей государственной карьеры.

«О былом, о погибшем, о старом...». Впервые — ОЗ, 1855, № 8, стр. 377. В стихотворении отразились переживания, вызванные жизненной неустроенностью Павловой, охлаждением к ней Б. И. Утина (см. о нем стр. 564) и осложнившимися взаимоотношениями с сыном.

«Люблю я вас, младые девы...». Впервые — ОЗ, 1855, № 11, стр. 118. Печ. по сб. 1863 г., стр. 157—158, где отнесено к стихотворениям неизвестных лет.

Праздник Рима. Впервые — ОЗ, 1855, № 11, стр. 115—117. Печ. по сб. 1863 г., стр. 92—95, где исключены следующие шесть последних строф:

Пируйте, гордые державы,
Владыки западной страны:
Увенчаны вы блеском славы,
Богатством вы наделены.

Успешны были ваши брани —
Вы Африканский взяли край.
Шлет Индия свои вам дани,
Свои вам дани шлет Китай.

Шумит разгульная тревога;
Ваш длинный праздник зол и рьян;
На нем грехов свершилось много,
И много пало христиан.

Всегда утеха вам готова,
Вам гибель ближних не урон:
На смерть идущие вам снова
Свой завтра принесут поклон.

Пируйте смело, тешьтесь, Римы'
Зачем скрывать вам свой разврат?
Всемощны вы, вы невредимы,
Вам нет судей, вам нет преград!

И видят лишь хоры небесных светил,
Смотря на безумье заносчивых сил,
На грех, грабежи и пожары,
Каких шлет вам бог неизвестных Аттил,
Какие тяжелые кары.

Откликаясь в этом стихотворении на поражение России в Крымской войне многословными обличениями западной цивилизации, Павлова спустя семь лет, по-видимому, сочла их чрезмерно преувеличенными и сократила текст для сборника 1863 г. Внутренний смысл стихотворения выражен в эпиграфе, взятом из речи Цицерона против Катилины «Quousque tandem...». Эти слова в латинском тексте имели следующее продолжение: «Как долго, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением». *Остров Мона* — у западного побережья центральной Англии; один из основных очагов сопротивления местных племен против римлян, который они долго не могли захватить. *Нерон* — см. стр. 562. *Семихолмный град* — Рим, древняя часть которого располагалась на семи холмах. *Волчихе, вылитой из меди.* Подразумевается фигура капитолийской волчицы, согласно легенде выкормившей двух братьев Ромула и Рема, первый из которых стал основателем Рима.

Две кометы. Впервые — «Русский вестник», 1859, июль, кн. 2, стр. 328. Относится к стихотворениям, посвященным Б. И. Утину, см. стр. 564.

«Ты силу дай! Устам моим храненье...». Впервые — сб. 1863 г., стр. 112—113. См. предыдущее примеч.

«Когда карателем великим...». Впервые — ОЗ, 1855, № 10, стр. 240. Печ. по «Кругозору», 1880, № 20, стр. 10. Написано после известия о падении Севастополя. *Антей* (греч. миф.) — герой, непобедимый до тех пор, пока соприкасался с землей. *Алкид* (греч. миф.) — Геракл, победивший Антея после того, как ему удалось оторвать его от земли. Павлова осмыслила миф о единоборстве Геракла с Антеем как вечную антитезу духа (Геракл) и материи (Антей — сын богини земли Геи).

Сцена. Впервые — сб. 1863 г., стр. 115—126.

«Прошло сполна всё то, что было...». Впервые — сб. 1863 г., стр. 111—112. Относится к стихотворениям, посвященным Б. И. Утину.

Памяти Е. М<илькеева>. Впервые — сб. 1863 г., стр. 106—107. О *Милькееве* см. стр. 549.

Н. П. Б—ой. Впервые — сб. 1863 г., стр. 107—108. Адресат стихотворения не установлен. Здесь говорится о том осуждении, которому подверглась Павлова со стороны ее московских знакомых: Аксаковых, С. П. Шевырева, Т. Н. Грановского, А. И. Кошелева и других лиц, сочувствовавших Н. Ф. Павлову. Ее жестоко порицали, в частности, за то, что она, боясь заразиться холерой, уехала из Петербурга в Дерпт накануне похорон своего отца, умершего от этой болезни. Н. Ф. Павлов об этом писал 18 июня 1853 г. С. П. Шевыреву: «Ты, я думаю, слышал, что тесть мой умер холерой в Петербурге. Странная судьба постигла его: накануне похорон теща моя, которая так любила мужа, и дочь его, испуганные, уехали в Дерпт, а прах его отдан был на произвол трактирного слуги, который заехал с ним не в ту церковь, и только в 12 часов ночи, через генерала Рорберга, родственника моей жены, поместили его в церковь; на другой день явились туда родные, ждали вдовы и дочери, но не дождались» («Отчет публичной библиотеки за 1892 г.». СПб., 1895. Приложения, стр. 141—142).

Пловец. Впервые — сб. 1863 г., стр. 128—129. *Петерсон* Карл Александрович (1819—1875) — поэт, сотрудник «Современника» в период издания этого журнала П. А. Плетневым; в 1848—1852 гг. служил секретарем русской миссии в Дрездене, а в 1859—1865 гг. — советником русского посольства в Берлине. *Vae victis!* — эти слова, согласно преданию, произнес вождь галлов Бренн в тот момент, когда он бросил свой меч на чашу весов, куда осажденные его войском римляне сложили золото в качестве платы за освобождение города от длительной блокады; но именно в это время появился с войском Камилл, подоспевший на помощь римлянам; он разбил и прогнал галлов.

К... («Да, я душой теперь здорова...»). Впервые — сб. 1863 г., стр. 126—128. Посвящено Б. И. Утину, см. стр. 564. Встречи с ним

еще, возможно, имели место за границей, где он слушал лекции в Берлинском университете в 1857 г., но прежние отношения их кончились. *Сади* — Саади Муслихитдин (1184—1291) персидский поэт.

«За тяжкий час, когда я дорогою...». Впервые — сб 1863 г., стр. 156—157, где отнесено к стихотворениям неизвестных лет. Примыкает к стихотворениям, посвященным Б. И. Утину (см. стр. 564), и, по всей вероятности, написано в 1855 или в первой половине 1856 г.

Ужин Поллиона. Впервые — «Русский вестник», 1858, август, кн. 1, стр. 464—470. Печ. по сб. 1863 г., стр. 130—135 с исправлением по журналу «Русский вестник». В оглавлении сб. 1863 г. отнесено к 1857 г., а в тексте проставлена дата: 1855. Написано в Константинополе, куда Павлова приехала в конце 1856 г., после посещения Рима. Под живым впечатлением от знакомства с языческим Римом и в прошлом с христианским Константинополем у Павловой созрела мысль противопоставить в произведении два мировоззрения. Аналогичная проблематика в лирических драмах А. Н. Майкова «Три смерти» (1852) и «Два мира» (1872—1881). *Новиков* Евгений Петрович (1826—1903) — писатель, близкий к славянофилам, муж приятельницы Павловой Ольги Алексеевны (урожденной Киреевой), тоже писательницы. Павлова встречалась с ним в Константинополе, где он был в то время секретарем русской миссии. *Поллион* Гай Азиний (75 до н. э. — 4 н. э.) — римский патриций, консул, поэт и историк, основавший первую публичную библиотеку в Риме. Павлова допускает анахронизм: исторический Поллион умер значительно раньше «дней Веспасиана», римского императора. *Вия* — улица. *Фалерн* — сорт вина, которое изготовлялось в Фалерне, местности древней Италии. *Геба* (греч. миф.) — богиня юности. *Кимвал* — древний музыкальный инструмент в виде медных тарелок. *Прометей* (греч. миф.) — титан, похитивший для людей огонь с неба, за что был наказан верховным богом Зевсом, приковавшим его к скале на Кавказе. *Огонь Прометея* — символ творческих сил и вдохновения человека. *Сократ* (469—399 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, учитель Платона, был присужден к смерти. *Флавианцы* — сторонники императоров из фамилии Флавиев. *Тит* (41—81) — сын Флавия Веспасиана, полководец, подавивший восстание в Иудее и разгромивший в 70 г. Иерусалим; с 79 г. — римский император. *Колизей* — древнеримский цирк-амфитеатр. *Весталки* — жрицы храма богини домашнего очага Весты в Риме; их обязанностью было поддерживать в храме вечный огонь.

«Средь зол земных, средь суеты житейской...». Впервые — «День», 1862, от 6 января, стр. 3. *Чему учил народ он галилейский*. Имеются в виду проповеди Христа в Галилее, стране, упоминаемой в Евангелии.

К стр. 196—208

«Стараться отдохнуть душою...». Впервые — «Русский вестник», 1858, август, кн. 1, стр. 536. В сб. 1863 г. не вошло.

Не пора! Впервые — «Русский вестник», 1858, август, кн. 2, стр. 717—718. Печ. по сб. 1863 г., стр. 150—151. Написано во время приезда Павловой в Россию после почти двухлетней жизни за границей. Кратковременное пребывание в Москве вызвало тяжелые воспоминания о недавнем прошлом, отразившиеся в стихотворении.

Спутница фея. Впервые — «Русский вестник», 1859, декабрь, кн. 2, стр. 673—678. Печ. по сб. 1863 г., стр. 138—144.

«Да, шли мы житейской дорогой...». Впервые — сб. 1863 г., стр. 149. Написано во время пребывания Павловой в Москве; см. выше примеч. к стих. «Не пора!».

А. Д. Б<аратынск>ой. Впервые — «Русская беседа», 1859, ки. 16, стр. 11—12. В сб. 1863 г. не вошло. В изд. 1915 г., т. 1, ошибочно отнесено к А. Д. Блудовой, которая на самом деле ни возрастом, ни обликом не соответствовала изображенной в стихотворении женщине. К. В. Пигарев установил, что стихотворение обращено к А. Д. Баратынской. Это подтверждает ее портрет, хранящийся в Мурановском музее. Павлова была очень близка с Баратынскими и в последний приезд не могла с ними не видеться. *Баратынская* Анна Давыдовна (урожденная Абамелек) (1816—1889) — жена И. А. Баратынского, брата поэта Е. А. Баратынского. Она с 1832 г. была фрейлиной и считалась первой красавицей в светском обществе. Ей посвящено Пушкиным стихотворение «В альбом А. Д. Абамелек». Племянник ее С. А. Рачинский писал о ней: «Не одною красотою отличалась Анна Давыдовна, но также умом и любезностью и немалым стихотворным талантом. Прекрасные ее переводы из поэтов германских и английских печатались в повременных изданиях и были собраны в книжечке, изданной за границей» («Татевский сборник». СПб., 1899, стр. 63).

Ночлег Витикинда. Впервые — «Русский вестник», 1860, март, кн. 1, стр. 156—160. Печ. по сб. 1863 г., стр. 144—149, где впервые были опубликованы первые 7 строф. В основе стихотворения — французские эпические сказания о короле Карле Великом (ок. 742—814), победителе лангобардов, мавров и саксов, обращавшем их в христианство. *Витикинд* (ум. 1007) — вождь саксов, боровшихся с Карлом Великим. Витикинд, отличавшийся выдающимся талантом полководца и храбростью, все же не смог устоять против него и вынужден был покориться, перейти на сторону короля и принять от него самого крещение. Витикинд был убит, сражаясь против герцога Геральда Швабского.

Экспромт («Что стали в пень вы, Ольга Алексевна?..»). Впервые — Борис Рапгоф. К. Павлова. Материалы для изучения

жизни и творчества. Пг., 1916, стр. 86, где опубликовано по автографу, хранящемуся в ПД, с подписью и пометой: «Dresden, Hôtel de Pologne, № 6, 6 апреля 1889». В дате явная описка или неразборчиво написано: Павлова жила в Дрездене в этом отеле в 1859 г. О. А. *Новикова* — см. о ней примеч. к стих. «Impromptu», стр. 563.

«Это было блестящее море...». Впервые — изд. 1939 г., стр. 191—192, где опубликовано по автографу, хранящемуся в рукописном отделе ЛБ. Стихотворение, как справедливо указывает Е. Казанович (в изд. 1939 г., стр. 435), по содержанию примыкает к циклу «Фантасмагории», поэтому его можно предположительно датировать периодом написания этого цикла.

ФАНТАСМАГОРИИ

В сб. 1863 г., стр. 160—174 под заглавием «Фантасмагории» объединено 13 стихотворений, в которых отражены впечатления Павловой во время ее путешествия по Европе, охватывающего с большими перерывами, включая приезд в Россию, время с мая 1856 по 1861 г.

Неаполь. Впервые — «Русский вестник», 1858, декабрь, кн. 2, стр. 630, без заглавия, вместе с приведенными ниже двумя стихотворениями под рубрикой «Из фантасмагории». Печ. по сб. 1863 г., стр. 160—161. *Мизена* — город в Италии (на берегу Неаполитанского залива).

«Снова над бездной, опять на просторе...». Впервые — там же, стр. 631—632. Печ. по сб. 1863 г., стр. 161.

«В думе гляжу я на бег корабля...». Впервые — сб. 1863 г., стр. 162. С разночтениями — «Кругозор», 1880, № 15, стр. 1. Печ. по сб. 1863 г., так как нет уверенности, что изменения в тексте являются авторскими.

Рим. Впервые — «Русский вестник», 1858, декабрь, кн. 2, стр. 631. Печ. по сб. 1863 г., стр. 163. См. примеч. к стих. «Неаполь».

Венеция. Впервые — «Русский вестник», 1858, сентябрь, № 2, стр. 411. См. ниже примеч. к стих. «Гондола». *Куполы святого Марка* — собор св. Марка в Венеции, замечательный памятник архитектуры X—XI вв. *Риальто* — мост в Венеции через Большой канал. *Прокурации* — в Древнем Риме здания, где находились чиновники, ведавшие сборами налогов, а также управлявшие императорскими землями от имени императора.

Гондола. Впервые — «Русский вестник», 1858, сентябрь, кн. 2, стр. 412—414, вместе со стихотворением «Венеция», под об-

щим заглавием «Венеция. Из фантасмагории». Печ. по сб. 1863 г., стр. 165—168. *Сира* и *Тенедос* — острова в Эгейском море. *Илион* (Троя) — древний малоазиатский город, известный по поэме Гомера «Илиада». *София* — см. стр. 567. *Святая глава без креста.* В 1453 г. после завоевания Константинополя турками храм святой Софии был превращен ими в мечеть. *Галата* — предместье Константинополя. *Пера* — европейская часть Константинополя. *Гаета* — итальянский город (на побережье Тирренского моря). *Мизена* — см. выше. *Кьяйя* — морское побережье (неподалеку от Неаполя). *Факкино* — грузчик. *Сорренто* — город на побережье Неаполитанского залива. *Город огромный, стоглавый* — Москва. *Громада столицы другой* — Петербург.

«Умолк шум улиц, — поздно...». Впервые — «Русский вестник», 1859, сентябрь, кн. I, стр. 175, под заглавием: «Вечером». Печ. по сб. 1863 г., стр. 168—169, где дано без заглавия. *Та повесть без развязки* — очевидно, подразумеваются отношения с Б. И. Утиным (см. стр. 564).

«Бежал корабль, прорезывая бело...». Впервые — сб. 1863 г., стр. 169, с датой: 1859. Стихотворение является как бы продолжением предшествующего, где также шла речь об отношениях с Б. И. Утиным, о которых говорится: «Теперь тому два года». Со времени отъезда, т. е. с весны 1856 г., два года исполнилось в 1858, а не в 1859, как указано ошибочно в сб. 1863 г.

Дрезден. Впервые — сб. 1863 г., стр. 170—171. *Река седая* — Эльба, на берегах которой расположен Дрезден.

Пильниц. Впервые — сб. 1863 г., стр. 171. *Пильниц* — бывшая летняя резиденция саксонских королей и рядом с ней с тем же названием деревня на правом берегу Эльбы, где летом жила Павлова «в убогой комнатке немецкого столяра», о чем сообщал 15 июня 1862 г. в письме П. А. Плетневу поэт С. А. Никольский, посетивший поэтессу (ПД).

Озеро Вален. Впервые — «День», 1862, от 21 апреля, стр. 5, с подзаголовком «Из фантасмагории». Печ. по сб. 1863 г., стр. 172. *Вален* — высокогорное озеро в Швейцарии. *Сентис* — гора в Гларнских Альпах, с которой открывается живописный вид на Рейнскую долину.

Порт Марсельский. Впервые — «День», 1862, от 8 сентября, стр. 2, с подзаголовком «Из фантасмагории». Печ. по сб. 1863 г., стр. 173. *Пильниц* — см. выше.

Дорога. Впервые — «День», 1862, от 24 марта, стр. 4.

Ответ К***. Впервые — «День», 1861, от 4 ноября, стр. 2—3. По всей вероятности, обращено к поэту А. К. Толстому, с которым Павлова часто встречалась в это время и работала над переводами его произведений.

«Страницы часть в альбоме этом...». Впервые — Б. А. Фитингоф-Шель. Мировые знаменитости. СПб., 1899, стр. 87, где опубликовано по автографу, хранящемуся в ГИМ, в альбоме бар. Б. А. Фитингоф-Шеля (1829—1902), композитора. Он познакомился с Павловой зимой 1860—1861 г. в Дрездене в связи с работой над оперой на сюжет лермонтовского «Демона», либретто для которой по его просьбе составляла Павлова.

«Труд ежедневный, труд упорный!..». Впервые — «День», 1862, от 20 января, стр. 2.

«Не гордою возьмем борьбою...». Впервые — «День», 1862, от 20 января, стр. 2.

Гр. А. К. Т<олсто>му. Впервые — сб. 1863 г., стр. 154—155. Обращено к поэту Алексею Константиновичу *Толстому,* с которым Павлова познакомилась зимой в Дрездене в 1860—1861 г. Она начала работать в это время над переводом только что законченной Толстым драматической поэмы «Дон-Жуан». Позднее перевела его трагедию «Смерть Иоанна Грозного», постановка которой в Веймарском театре на немецком языке принесла известность автору. Толстой очень высоко ценил переводческое искусство Павловой.

На освобождение крестьян. Впервые — иллюстрированное приложение к «Новому времени», 1911, от 19 февраля, стр. 10, с примечанием: «Это неизданное стихотворение К. Павловой написано сейчас же после освобождения крестьян и подарено автором лично Ольге Григ. Аксаковой в 1865 г. в Дрездене». Печ. по газетному тексту с исправлением, предложенным Е. Казанович (в изд. 1939 г., стр. 436). В ст. 4 второй части стихотворения несомненно ошибка: вместо «дня» напечатано «боя», что не соответствует рифмуемому с ним слову во втором стихе, а также смыслу текста. Копия, видимо восходящая к автографу, хранящемуся в архиве Аксаковых в ПД, датирована. *Колисей* — см. стр. 571.

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

«В толпе той беспечной...». Печ. впервые по списку, сделанному С. А. Рачинским, очевидно располагавшему в свое время автографом. Список — в ЦГАЛИ (архив С. А. Рачинского). Стихотворение, явно не доработанное Павловой, написано на обороте страницы, на которую Рачинский переписал ее стихотворение «Сфинкс». Список находится среди подобранных Рачинским стихотворений Павловой и намеченных к изданию. Стихотворение, по-видимому, относится к раннему периоду творчества Павловой.

К стр. 226—231

«Когда встречаюсь я случайно...». Впервые — изд. 1939 г., стр. 192, где опубликовано по копии В. Я. Брюсова, полученной им от П. И. Бартенева. По содержанию и стилю стихотворение, несомненно, принадлежит Павловой и, по всей вероятности, написано в конце 50-х или начале 60-х гг.

СТИХОТВОРЕНИЕ, НАПИСАННОЕ СОВМЕСТНО С Н. Ф. ЩЕРБИНОЙ

Автору «Книги печалей». Впервые — «Пантеон», 1856, кн. 2, стр. 17, в анонимной статье «Русская литература в 1855 году» без указания автора. Публикации предшествовали следующие строки: «„Книга печалей" — стихотворения, изданные в Москве, лучшей рецензией которым служит следующее послание к автору...» В собрание стихотворений Павловой включено Е. Казанович в изд. 1939 г., стр. 198, на основании хранящегося в ПД автографа Павловой, из которого видно, что первые пять строк принадлежат ей, а последние Н. Ф. Щербине. Автограф датирован. Стихотворение подписано: «Члены клуба здравого смысла». До 1939 г. эпиграмма приписывалась одному Щербине и была включена в «Полн. собр. соч. Н. Ф. Щербины» (СПб., 1878, стр. 306). Автор «Книги печалей» — Николай Васильевич Сушков (1796—1871), плодовитый, но бездарный писатель. Он выпустил свою «Книгу печалей» вскоре после падения Севастополя.

ПОЭМЫ

Двойная жизнь. Впервые — отдельной книгой: «Двойная жизнь. Очерк К. Павловой». М., 1848. Дата цензурного разрешения — 13 октября 1847 г. До выхода книги печатались отрывки из нее. Сначала появилась глава 1 в М, 1845, № 3, стр. 1—7, со значительными разночтениями в прозаической части. Затем был напечатан стихотворный отрывок из 5-й части произведения в «Московском литературном и ученом сборнике». М., 1847, стр. 689—700. Отрывок, напечатанный в «Московском сборнике», вызвал отклики рецензентов (ОЗ, 1847, № 5; С, 1847, № 6; «Московский городской листок», 1847, №№ 4 и 183; «Сын отечества», 1847, № 9). Отдельное издание «Двойной жизни» было сочувственно встречено всеми крупнейшими журналами, за исключением «Сына отечества», рецензент которого бар. Е. Ф. Розен осуждал роман за мистический характер его поэзии, которая, по его мнению, отражает влияние «московских схоластиков» («Сын отечества», 1848, № 5, отд. 6). Сочувственные рецензии см. в журналах: С, 1848, № 3, отд. 3; ОЗ, 1848, № 5, отд. 6; М, 1848, № 3, отд. критики; «Библиотека для чтения», 1848, № 3, отд. 6. В основе повести Павловой лежит романтическое представление о двойственности человеческой природы и жизни, восходящее к философии Платона и Шеллинга. Вместе с тем это произведение связано с традициями немецких

романтиков: Тика, Уланда, Новалиса и отчасти Гофмана. В повести сказалось влияние философских взглядов И. В. Киреевского, с которым Павлова была близко знакома с юношеских лет. Однако критическая тенденция повести, разоблачавшей меркантилизм и бездушие светского общества, находится в тесной связи с опытом передовой русской литературы и, прежде всего, с такими ее произведениями, как «Евгений Онегин», «Повести Белкина», «Княгиня Лиговская», «Герой нашего времени», поэмы Баратынского и другие. «Двойная жизнь» сыграла известную роль в развитии русской психологической поэмы и повести, в частности она оказала воздействие на поэмы Огарева («Зимний путь», «Сны»), отчасти на некоторые повести И. С. Тургенева («Фауст» и др.). В «Двойной жизни» нетрудно уловить конкретные намеки на некоторых современников поэтессы. Так, в образе поэта проступают черты личности Е. Л. Милькеева (см. о нем стр. 549); в суждениях «худощавого серьезного мужчины», апологета утилитарной поэзии, можно усмотреть отголоски мнений И. С. Аксакова (см. о нем стр. 558); а в «низеньком миловидненьком господине лет пятидесяти», цитирующем Жана-Батиста Руссо, возможно изображен историк и публицист А. И. Тургенев (1785—1846). Эпиграф — из стихотворения Байрона «The dream».

Посвящение. *Психея* — поэтическое олицетворение души в виде юной девушки с крыльями бабочки, восходящее к античной мифологии и литературе.

Глава 1. *Куафюра* — женская прическа. *Нарядная дама лет сорока* — очевидно, гр. Е. П. Ростопчина, которая по настоянию мужа жила в его родовом имении, селе Анна. *Сикомор* — тутовое дерево.

Глава 2. *Шевалье* — гостиница и ресторан в Москве. *Епитимья* — духовное наказание, налагаемое за проступки против уставов церкви.

Глава 3. *Гордого карлиста* — т. е. приверженца реакционной клерикально-абсолютистской группировки в Испании 1830-х гг. Свое название карлисты получили от имени дона Карлоса Старшего (1788—1855), претендента на испанский престол. В истории известны Карлистские войны за право наследования испанской короны. *Jean-Baptist Rousseau* (1670—1741) — французский поэт. Цитируются стихи из его оды «A S.A.S. monseigneur le prince Eugen de Savoie» (см. Oeuvres choisies de J.-B. Rousseau, t. 1. Paris, 1816, p. 34). *Маркиз Поза, Эгмонт, Лара* — герои драм Ф. Шиллера «Дон Карлос», Гете «Эгмонт» и поэмы Байрона «Лара».

Глава 4. *Касолетка* — флакон с ароматическим веществом. *Утес Левкада* — один из Ионических островов, с южной скалы которого, согласно древнегреческому мифу, бросилась в море безнадежно влюбленная в юношу Фаона поэтесса Сафо.

Глава 5. *В Версальских садах* — в садах Версаля (см. стр. 561). *Под тенью широких маркиз.* Имеется в виду навес над окнами или над входом в дом для защиты от солнца. *Мезальянс* — неравный брак.

К стр. 268—308

Глава 6. *Тройной ряд токов.* Ток — женский головной убор. *Гризи* Джулия (1811—1869) — итальянская певица, гастролировавшая в Париже в конце 1844 г. *Далии* — георгины.

Глава 7. *Наполеон не погиб от адской машины, потому что женщине вздумалось надеть другую шаль* — речь идет о Наполеоне I, о неудачном покушении на его жизнь, совершенном в 1800 г.

Глава 8. *Арктур* — звезда первой величины. *Парюра* — украшение, убор из драгоценных камней, из кружев.

Глава 9. *Ундина* — героиня фантастической повести немецкого писателя Ламотт Фуке (1777—1843), русалка, рожденная без души; любовь к ней рыцаря превращает ее в преданную, любящую женщину. *Киот* — рама или ящик для икон. *Изида* (египет. миф.) — верховная богиня, дочь неба и земли, покровительница плодородия и материнства; она считалась хранительницей сокровенных тайн.

Кадриль. Впервые полностью — «Русский вестник», 1859, январь, кн. 1, стр. 181—196; кн. 2, стр. 337—349; февраль, кн. 1, стр. 501—514 и кн. 2, стр. 691—708. До появления в «Русском вестнике» печаталась отрывками. Впервые — отрывок из «Кадрили» появился в *М*, 1844, ч. 1, № 2, стр. 330—333. Он представлял начало поэмы и имел очень существенные отличия от текста «Русского вестника». Фрагмент от ст.: «Встает с богатого дивана» до ст.: «Зачем, качая головою», начинался после строки: «Как рати мавров мертвый Сид». В этом отрывке, опубликованном в *М*, были строки, отсутствующие в «Русском вестнике». После ст. «Она прекрасна и бела»:

Стояла чудною картиной,
Как древние их мастера
Писали на цветах ковра...
Как шел к той шее лебединой
Снег лебединого пера.

После ст. «К Надине яркое жонкиль!» в *М* были две строки, отсутствующие в «Русском вестнике»:

Таких костюмов будет мало!
Lise, эти бирюзы твои ль?

После ст. «Четыре сели красоты» были 6 строк, исключенных в тексте «Русского вестника»:

Четыре рыцарские жены
С густыми кудрями до плеч;
Надменны, как германки, оны,
Пред коими, вернувшись с сеч,
Склоняли грозные бароны
Многопрославленный свой меч.

К стр. 308

Второй отрывок из «Кадрили» — «Рассказ Лизы» — был напечатан в кн. «Раут. Литературный сборник в пользу Александринского детского приюта». Издание Н. В. Сушкова, кн. 1. М., 1851, стр. 313—327, в котором были стихи, исключенные из текста «Русского вестника». После ст. 19 этой главы шли следующие строки:

Незавидно жизнь мою меж тем
Проводила я. В иное время
В голову мне помысл приходил,
Что навьючить можно только бремя
На вола, поскольку в нем есть сил,
Что нельзя жить лошади без холи
И что лишь единый человек
Может всё нести, и весь свой век,
И не пасть от всеминутной боли!..
Как пересказать, да и к чему...

После ст. «И что я надменна и упорна» была строка:

«Как сам враг людского и не сносна».

После ст. 344 были строки:

Как задержанное возданье
За напасть, за злобное терзанье;
Как наем недобровольный свой,
Заслуженный каждою минутой
Горькой жизни, кабалой лютой,
Мукой двадцатигодовой.

После ст. 449 были следующие, завершающие отрывок строки:

Девять лет с тех пор прошло недаром:
Я уже теперь не так горда,
Как бывало; с безрассудным жаром
Справилося время; иногда
Мне на ум приходит, что едва ли
Мы вполне друг друга понимали,
Разойдясь так скоро, навсегда.
Может быть, искал он и предлога,
Каялся, ошибся, как и я;
Может быть, любить не должно строго,
Может быть, вина была моя!..

Совершенно очевидно, что отмеченные сокращения в тексте поэмы принадлежали самой Павловой. Образовавшиеся в результате этого отдельные нерифмующиеся строки не дают оснований восстанавливать изъятые из поэмы места (как это сделано в изд. 1939 г.), поскольку случаи отсутствия рифмы в некоторых стихах вообще характерны для «Кадрили». В рецензии на «Раут», появившейся в С (1851, № 5), «Рассказ Лизы» был осмеян за по-

грешности в языке и пародирован в стихотворении Н. А. Некрасова «Мое разочарование». Рецензия эта принадлежала И. И. Панаеву и без достаточных оснований приписывалась Некрасову (см. Полн. собр. соч., т. 9. М., 1950, стр. 222—236). На «Рассказ Лизы» появилась сочувственная рецензия в М (1851, № 5), на которую враждебно откликнулся Панаев в С (1851, № 7). Публикуя в «Русском вестнике» полный текст поэмы, Павлова учла некоторые замечания своих критиков — внесла в него ряд исправлений. Так, она, например, внесла изменения в следующие строки текста «Раута»:

...Я счастье это
Заплатила б всем богатством света,
Радостями жизни, кровью жил.

Публикация целой поэмы в «Русском вестнике» вызвала лишь одну отрицательную рецензию в «Искре» (1859, № 24).

<Вступление> («Для маскарада уж одета...»). *Я кладу на гроб певца.* Е. А. Баратынский умер в 1844 г. *Жонкиль* — декоративные цветы, вид нарцисса. *Призра́к Певца-богатыря.* Имеется в виду Пушкин. *Десница* — правая рука. *Сид* — см. стр. 568.

Рассказ Надины. *Манфред и Лара* — персонажи одноименных произведений Байрона, разочарованные и мрачные герои. *Карльсбад, Веймар, Баден* — города в Германии, часто навещавшиеся иностранцами. *Епанча* — широкий безрукавый плащ. *Сбогар* — герой романа «Жан Сбогар» (1818) французского писателя Шарля Нодье. *Роб-Рой* — герой одноименного романа (1818) Вальтера Скотта.

Рассказ Лизы. *Эгида* (греч. миф.) — щит Зевса; в переносном смысле — покровительство, защита. *Мясоед* — период (осенью и зимой), когда, по уставу православной церкви, верующим разрешалось есть мясо. *Слушала речь Мавра Дездемона.* Имеется в виду эпизод из трагедии Шекспира «Отелло», где Отелло рассказывает Дездемоне о перенесенных им испытаниях. *Лакедемонское дитя.* Имеется в виду легенда о мальчике из Лакедемона (Спарты), который скрывал под своей одеждой пойманных им лисят, в то время как они грызли его живот.

Рассказ Ольги. *Приход Николы на Грязи* — название одной из московских церквей. *Оршад* — прохладительный напиток. *Кипсек* — иллюстрированный альбом. *Сандрильон* — бедная, добродетельная и красивая девушка, героиня известной сказки французского писателя Шарля Перро. *Субретки* — амплуа проворной и ловкой служанки, поверенной своей госпожи в европейском театре XVIII—XIX вв., здесь — служанки. *Аксельбанты* — наплечные шнуры с металлическими наконечниками; принадлежность формы некоторых военных чинов. *Чичисбей* — постоянный кавалер, спутник дамы. *Ловлас* — герой романа английского писателя Ричардсона «Кларисса Гарлоу, или История молодой леди» (1747—1748), имя которого стало нарицательным для обозначения соблазнителя, губителя женских сердец. *Гибеллин суровый* — итальянский поэт Данте Алигьери (1265—1321), автор «Божественной

комедии». Данте принимал участие в политической борьбе Флоренции на стороне партии гибеллинов.

Рассказ графини. *Веласкес* Диего де Сильва (1599—1660) — испанский живописец. *Как каменный он гость.* Каменный гость — статуя командора в трагедии Пушкина «Каменный гость». *Трианон* — см. стр. 561. *Мария-Антуанетта* (1775—1793) — французская королева, казненная по приговору Революционного трибунала. *Шел к пирамидам иль к Ваграму Бессмертный маленький капрал* — Наполеон I, который свою военную карьеру начал с чина капрала; здесь имеется в виду поход Наполеона в Египет (1797) и битва при Ваграме (1809), где ему удалось одержать победу над австрийской армией. *«Крестоносцы» Майербера* — опера итальянского композитора Джакомо Мейербера «Гугеноты», поставленная в 1836 г. *Пуританец* — здесь в значении: строгий блюститель нравственности.

Фантасмагории. Впервые — «Русское обозрение», 1894, № 12, стр. 964—970. Эпиграф — из 5-го действия 2-й части «Фауста» Гете. Было опубликовано внуком Павловой Д. И. Павловым, который предпослал ему небольшой некролог поэтессы и краткое объяснение, где сообщил, что очерк «Фантасмагории» найден им «среди рукописей К. К. Павловой и относится, очевидно, ко времени ее выезда из России, следовательно к 1861 г.». Д. И. Павлов явно ошибся в этих предположениях: Павлова выехала из России весною 1856 г., путь ее шел от Петербурга, из которого она выехала на лошадях в Ревель через Нарву и Дерпт, а затем на пароходе до Германии, что подтверждается текстом очерка. В прозаической его части говорится: «Карета катилась быстро... Было это ночью, северной майской ночью...» Во 2-й главке речь идет о Нарвской крепости и воспоминаниях о Петре и Нарвской битве (1704). В 3-й главе описываются воспоминания о Дерпте: *«Ты знаком мне, городишка, Где наукам без излишка Предается молодежь». Тальма* Франсуа-Жозеф (1763—1826) — французский актер. *Гидрофобия* — водобоязнь, бешенство. *Был день один* и т. д. Здесь речь идет о поражении, нанесенном в 1700 г. войсками шведского короля Карла XII русской армии. *Остзейский* — прибалтийский.

ПЕРЕВОДЫ

С НЕМЕЦКОГО

Ф. ШИЛЛЕР

Сцена из последней неоконченной трагедии Шиллера «Дмитрий Самозванец». Перевод отрывка из 2-го действия трагедии «Demetrius». Впервые — М, 1841, № 1, стр. 67—74. В сб. 1863 г. не вошло.

Монолог Тэклы. Перевод фрагмента из 4-го действия трагедии Ф. Шиллера «Смерть Валленштейна». Впервые — «Беседы в Обществе любителей российской словесности при Московском университете», вып. 1. М., 1867, стр. 62, без даты, с подписью: П.Ч. К. Павлова (т. е. почетный член Общества, которым Павлову избрали 11 февраля 1859 г. по предложению А. С. Хомякова). Печ. по «Вестнику Европы», 1868, № 8, стр. 498—499. Павлова перевела всю трагедию. 4 октября 1866 г. Б. М. Маркевич писал М. Н. Каткову, редактору «Русского вестника»: «Каролина Павлова прислала мне через А. Толстого перевод свой «Смерти Валленштейна». Она просит за него 1000 талеров и желала бы продать его вам. Рукопись у меня; если вы согласны приобрести ее за эту сумму, напишите, я пришлю тотчас. В противном случае я ее передам в новый журнал «Всемирный труд», издаваемый Ханом, который уже засылал ко мне с этим предложением» (ЛБ, ф. М Н. Каткова). Катков от печатания трагедии отказался, что было вызвано, по всей вероятности, не денежными, а идейно-политическими соображениями: произведение, проникнутое пафосом критического отношения к самодержавию и сочувствием к человеку, изменившему королю, было неуместно печатать во время, когда недавно было совершено покушение Каракозова. Перевод всей пьесы был опубликован в «Вестнике Европы», 1868, №№ 7 и 8. Об этом переводе А. К. Толстой писал 7 июня 1864 г.: «Перевод — верх совершенства; мне доставило истинное удовольствие сравнить его с оригиналом...» («Вестиик Европы», 1897, № 6, стр. 632).

Э. ШУЛЬЦЕ

Песнь певца заключенным девам. Перевод отрывка из 10-й песни поэмы Эрнста Шульца (1789—1817) «Cäcilia». Впервые — «Одесский альманах на 1840 год». Одесса, 1839, стр. 525—527, с подписью: ———ва. В сб. 1863 г. не вошло. Авторство Павловой подтверждается тем, что так же подписано стихотворение «Поэт», опубликованное в том же альманахе и введенное в сб. 1863 г., куда свои переводы поэтесса не включала.

Л. ШАМИССО

Salas y Gomez. Перевод поэмы того же названия немецкого поэта и ученого Людвига фон Шамиссо (1781—1835). Впервые — сб. 1863 г., стр. 95—105. Эпиграф — ст. 126 из пятой песни «Ада» Данте (части его «Божественной комедии»). Мотивы поэмы Шамиссо связаны с его участием в экспедиции на русском бриге «Рюрик», отправленной гр. Н. П. Румянцевым для исследования северо-восточного морского пути. Во время путешествия «Рюрик» проходил мимо скалистого пустынного острова по имени Salas y Gomez, с которым связаны легендарные сказания. Шамиссо описывает этот остров в своем сочинении «Reise um die Welt»;

из этого описания видно, что сюжет его поэмы является или авторским вымыслом или поэтическим пересказом какой-то легенды. *Аспидный сланец* — разновидность глинистого сланца; употребляется для изготовления грифельных досок. *Скрижаль* — доска с начертанными на ней письменами.

Ф. РЮККЕРТ

Пойми любовь! Перевод стихотворения «Die Liebe sprach: In der geliebten Blicke...» Фридриха Рюккерта (1788—1866). Впервые — ОЗ, 1839, № 5, стр 249, без даты, с подписью: — ва —. В сб. 1863 г. не вошло.

Г. ГЕЙНЕ

Лорелея. Вольный перевод стихотворения Гейне (1797—1856) из цикла «Возвращение на родину» «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten ..». Впервые — ОЗ, 1839, № 7, стр. 141—142, с подписью: — ва —. В сб. 1863 г. не вошло. Стихотворение Гейне не раз перекладывалось на музыку и под именем «Лорелея» приобрело исключительную популярность. Неоднократно переводилось на русский язык. О примечании к стихотворению известно из письма Н. Ф Павлова к издателю ОЗ А. А. Краевскому, в котором он называет Павлову «неизвестной переводчицей»: «...посылаю три пиесы неизвестной переводчицы — вой; к одной из них она написала примечание по-французски. Переведите его и перепечатайте в выноске... Не худо бы сказать в примечании, что в переводе — вой сохранена мера подлинника» («Отчет императорской публичной библиотеки за 1892 г.». СПб., 1895. Приложения, стр. 97).

Ф. ФРЕЙЛИГРАТ

Бивак Перевод стихотворения Фердинанда Фрейлиграта (1810—1876) «Der Biwak». Впервые — М, 1841, № 7, стр. 9—11, с подписью: К. П — ва. В сб. 1863 г. не вошло. Перевод этого стихотворения — один из откликов русских поэтов (Лермонтова, Тютчева, Огарева, А И. Подолинского, А. С. Хомякова, Е. П. Ростопчиной и др.) на перенесение праха Наполеона с острова Св. Елены в Париж, где 15 декабря 1840 г. состоялась церемония погребения французского императора. В стихотворении Фрейлиграта речь идет о раннем периоде деятельности Наполеона, к которому относится война в Египте. *Клебер* Жан Батист (1753—1800) — французский полководец. *Мурат-Бей* — вождь мамелюков, который был наголову разбит Наполеоном у египетских пирамид. *Сын Кира* — древнеперсидский царь Камбиз (529—523 до н. э.), завоевавший в 525 г. до н. э. Египет и его столицу — Семивратные Фивы. *Македонец смелый.* Доблесть македонских воинов стала общепризнанной после походов *Александра Македонского*; в войсках Наполеона служили также македонские солдаты. *Кесарский* — императорский.

Трирема — гребное судно с тремя рядами весел у древних римлян. *Хламида* — одежда древних греков; короткий плащ с застежкой на правом плече или на груди. *Сын Аммона* — Александр Македонский, которого жрецы в 331 г. до н. э. при переходе Ливийской пустыни и посещении храма Зевса-Аммона посвятили, по обычаю древних фараонов, в «сына Аммона» («сына солнца»).

Гробовщики. Перевод стихотворения «Die Schreingesellen». Впервые — сб. 1863 г., стр. 113—114.

Ю. ГАММЕР

«Ты к звездам обратися в горе...». Вольный перевод стихотворения Ю. Гаммера «Vertraue dich dem Licht der Sterne...». Впервые — «Иллюстрированное приложение к „Новому времени"», 1911, от 12 февраля, стр. 9—10, под заглавием «Из Ю. Гаммера. С немецкого» и с примечанием редактора: «Одно из двух стихотворений Каролины Павловой, подаренных ею лично Ольге Григорьевне Аксаковой в Дрездене в 1865 г.» Автограф — в ПД (в архиве Аксаковых). С Юлиусом Гаммером (1810—1862), поэтом и беллетристом, Павлова была лично знакома.

Свидетельство дерева. Немецкий оригинал не установлен. Впервые — «Кругозор», 1880, № 20, стр. 10. Датируется приблизительно периодом, к которому относятся другие переводы Павловой из этого поэта. *Таберстан* — северный Иран.

«Превозмоги печаль свою...». Вольный перевод стихотворения «Flieh endlich deiner Schwermuth Nacht...». Впервые — «День», 1862, от 8 сентября, стр. 2.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ

«Восторгов предаваясь власти...». Перевод неизвестного немецкого подлинника. Впервые — сб. 1863 г., стр. 152. *Цирцея* (греч. миф.) — злая волшебница, персонаж гомеровской «Одиссеи»; здесь: коварная возлюбленная.

С ФРАНЦУЗСКОГО

Ж. МОЛЬЕР

Амфитрион. Впервые — ОЗ, 1856, № 10, стр. 255—269. Перевод 1-го действия комедии Мольера «Amphitryon». В основу этого произведения положен миф о рождении Геракла (см. стр. 570). *Амфитрион* — царь Тиринфа — за убийство своего дяди Электриона был изгнан из Тиринфа вместе с женой Алкменой. Они нашли приют у фивского царя Креонга. Действие мольеровской комедии и развертывается в Фивах. Алкмена введена в за-

блуждение Зевсом (Юпитером), явившимся к ней в виде ее мужа Амфитриона. Зевсу помогают Ночь и Меркурий (бог-покровитель торговли), принявший облик слуги Амфитриона — Сосия. В один и тот же день Алкмена делит ложе и со своим законным супругом, и с Зевсом. Возмущенный Амфитрйон призывает своих друзей наказать человека, принявшего его обличье. Но друзья не могут определить, кто подлинный муж Алкмены. На этой коллизии и строится Мольером комедийный сюжет. В конце концов в небе появляются Зевс и Меркурий. Зевс объясняет тайну, внесшую смятение в душу Амфитриона и его жены Алкмены. Он объявляет, что Алкмена и Амфитрион должны считать за честь породниться с богом, что вскоре у Алкмены родится сын Геракл, который прославит страну и себя невиданными подвигами. Таков сюжет мольеровской комедии, состоящей из пролога и трех актов. Полный перевод «Амфитриона» был осуществлен В. Я. Брюсовым, который во многом следовал переводу Павловой.

А. ШЕНЬЕ

Слепой. Перевод идиллии Андрэ Шенье (1762—1794) «L'Aveugle». Впервые — ОЗ, 1855, № 4, стр. 231—238. В сб. 1863 г. не вошло. Датируется декабрем 1852 г. на основании воспоминаний С. А. Рачинского, который получил перевод «Слепого» на следующий день после того, как он был сделан, вместе с посвященным ему стихотворением «Молчала дума роковая...», датированным в сб. 1863 г. декабрем 1852 г. Об истории создания перевода Рачниский писал: «Перевод «Слепого» Шенье, один из удачнейших переводов К<аролины> К<арловны>, возник следующим образом. Сидя у ней, я однажды открыл стихотворения Шенье и прочел по-русски первый стих «Слепого»: «Dieu dont l'arc est d'argent, Dieu de Claros écoute!» — «Серебролукий бог, бог Клароса, внемли!» Иначе и перевести невозможно. Этого было достаточно. В ту же ночь она перевела все стихотворение и на другое утро прислала мне приложенные две страницы <эти страницы приложены к воспоминаниям Рачинского в его альбоме автографов>. Николай Филиппович Павлов пришел в восторг от перевода и потребовал, чтобы в печати он был посвящен ему, а не мне. Произошел маленький спор. К великому утешению К<аролины> К<арловны>, уверившей себя и уверявшей других, что Н<иколай> Ф<илиппович> ревнует к племяннику, как она меня называла за то, что я племянник обожаемого ею Евгения Абрамовича (Баратынского). Дело в том, что Н<иколаю> Ф<илипповичу> действительно надоедала возня К<аролины> К<арловны> с юными студентами. Кончилось тем, что она покорилась воле супруга и вознаградила себя, прислав мне приложенное стихотворение „Молчала дума роковая..."» («Татевский сборник». СПб., 1899, стр. 107—108). И. И. Панаев, вообще очень критически относившийся к Павловой, признал перевод ее «превосходным» и находил, что он кроме сильного и звучного стиха, отличается почти построчной верностью подлиннику (С, 1855, № 5,

стр. 128—129). Эпиграф к «Слепому» заимствован из Гомера, который представлен в идиллии в образе слепого, рассказывающего о перенесенных им несчастьях. *Гомер* (Омир), по преданию, был слепым. *Бог Клароса* (греч. миф.) — Аполлон; Кларос — одно из основных мест культа Аполлона. *Эдипова вина* — Эдип (см. стр. 549) убил отца и женился на своей матери. *Фомирид* (греч. миф.) — фракийский певец, который был ослеплен за то, что осмелился вступить в состязание с музами в игре на кефаре. *В Делосе вступил в его великий храм.* Имеется в виду Пифийский храм Аполлона на острове Делос. *Кария* — страна Малой Азии, на побережье Средиземного моря. *Мнемозина* (греч. миф.) — титанида, богиня памяти и мать девяти муз, рожденных ею от Зевса. *Музагет* — одно из имен бога Аполлона, считавшегося предводителем муз. *Сикос* — город на севере Пелопоннеса, на побережье Коринфского залива. *Я видел Аргос, Крит, Коринф и роскошь Фив* — здесь перечислены города-государства Древней Греции; Фивы издавна славились богатством архитектуры. *Река Эгиптоса* — имеется в виду Нил. *Гелиос* (греч. миф.) — бог солнца. *Кронион* — т. е. сын титана Кроноса Зевс. *Эрос* (греч. миф.) — бог любви, считался олицетворением хаоса, стихийного начала в природе. *Пел Олимпийца он* — имеется в виду Зевс. *Посидон* (греч. миф.) — бог моря. *Нереиды* (греч. миф.) — морские нимфы. *Ахейские суда сопровождая к Трое.* Речь идет о начале похода союзных греческих государств на Трою, город, расположенный на северо-западе Малой Азии; Троянская война описана в «Илиаде» Гомера. *Стикс* (греч. миф.) — одна из рек подземного царства. *Лета* (греч. миф.) — река забвения в царстве мертвых. *В Лемносе ковал божественный кузнец.* Имеется в виду Гефест (греч. миф.), бог огня и кузнечного ремесла; его культ был особенно распространен на острове Лемнос. *Арахниных работ.* Здесь: тонкая, искусная работа; Арахна — лидийская девушка, искусная рукодельница, вызвавшая богиню Афину на соревнование в ткачестве, за что была превращена в паука. *И сталью чудною опутывал Киприду.* Имеется в виду эпизод из «Одиссеи» Гомера: Гефест поймал в искусно сделанную сеть свою жену Киприду (Афродиту), изменявшую ему с богом войны Ареем. *В гранит... мать фивскую одел.* Речь идет о Ниобе (Ниобее), потерявшей всех детей и превращенной в скалу, вечно источающую слезы скорби. *Горестный удел несчастной Аэдоны.* Аэдона по ошибке умертвила своего сына; Зевс превратил ее в соловья, чтобы она непрерывно оплакивала сына и никогда не замолкала. *Непенф* — лекарство от скорби, упоминаемое в гомеровском эпосе. *Осса* — гора в Греции на побережье Эгейского моря, в Фессалии. *Пеней* — река на Пелопоннесе. *Кровавой свадьбою могучего Тезея.* Павлова ошиблась: эпизод, о котором идет речь, произошел не на свадьбе Тезея, а на свадьбе его друга Фейрифоя. *Победитель Крита* — Тезей, сын царя Эгея, который освободил афинян от чудовища Минотавра, обитавшего на Крите и требовавшего каждый год от Афин на съедение семерых юношей и семерых девушек. *Супругу выхватил из пьяных рук Эврита.* На свадьбе Пирифоя опьянев-

ший кентавр Эврит бросился на его невесту Гипиоданию. Тезей вырвал ее из рук Эврита. Между лапифами и кентаврами началась война, окончившаяся победой лапифов и изгнанием кентавров. *Пирифой* — царь лапифов, друг и соратник Тезея, вместе с которым принимал участие во многих подвигах; был ослеплен и навеки скован в подземном царстве за попытку похитить богиню Персефону, супругу Аида. *Дрий младой.* Дрий (или Дриаит) — фракийский царь, отец Ликурга, который изгнал Диониса, за что был ослеплен богами. *Кентавр* — мифическое существо, получеловек, полулошадь; традиция приписывает кентаврам страсть к вину и дикий нрав. *Несс* — один из кентавров. С ним связана легенда об убийстве Геракла. *Эвагр, Кимел, Макарей, Киллар, Петрей, Бианор, Кланий, Рифей, чудовищный Гелот, Ликос, Демолеон, Эвриноm* — имена кентавров. *Алкид* — Геракл (см. стр. 570). *Нестор* — илионский царь; сражался на стороне лапифов против кентавров. *Эгея грозный сын* — Тезей.

В. ГЮГО

В и д е н и е. Вольный перевод стихотворения В. Гюго «Apparition». Впервые — «Русский вестник», 1858, август, кн. 2, стр. 718—719. Дата перевода указана неверно и здесь и в сб. 1863 г.: «Константинополь, 9/12 ноября 1858 г.». В Константинополь Павлова приехала в конце 1856 г. и уехала в начале 1857. В числе явная описка: 9 ноября нового стиля соответствует не 12, а 21 ноября. На ошибку указывает и то, что стихотворение помещено в журнале за август 1858 г. Принимаем датировку, предложенную в изд. 1939, стр. 423.

С АНГЛИЙСКОГО И ШОТЛАНДСКОГО

НАРОДНАЯ БАЛЛАДА

Э д в а р д. Перевод шотландской народной баллады «Edward». Впервые — ОЗ, 1839, № 11, стр. 159—161, с подписью: — ва —. В сб. 1863 г. не вошло. Редакцией дано к стихотворению следующее примечание: «Это стихотворение принадлежит к числу самых *древних* шотландских баллад. Русская переводчица, умеющая с такою энергиею передавать чужеземные песнопения, перевела и эту балладу *слово в слово* и с намерением удержала это многозначительное *O!*, которым в подлиннике оканчивается каждое четверостишие. От повторения этого *O!* в целом стихотворении слышится какой-то болезненный стон, который в подлиннике придает особенную силу целой пиесе и который, несмотря на странность его, должен был необходимо сохраниться в переводе. Ред.» На русский язык эта баллада под тем же названием была также переведена А. К. Толстым.

Т. КЭМПБЕЛ

Гленара. Перевод баллады «Glenara» шотландского поэта Томаса Кэмпбела (1777—1844). Впервые — ОЗ, 1839, № 5, стр. 247, с подписью: — ва —. В сб. 1863 г. не вошло. *Клан* — племя у древних ирландцев и шотландцев.

Д. БАЙРОН

Аполлон Белведерский. Перевод 161-й и 163-й строф 4-й песни поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда». Впервые — М, 1841, № 12, стр. 294—295, с подписью: К. П — ва. В сб. 1863 г. не вошло. *Аполлон Белведерский* — статуя бога Аполлона, созданная древнегреческим скульптором Леохаром (середина и 2-я половина IV в. до н. э.); находится в Ватикане. *Прометей* — см. стр. 571.

Последние стихи лорда Байрона. Вольный перевод стихотворения «On this day I complete my thirty sixth year». Впервые — М, 1841, № 3, стр. 110—111, с подписью: К. П — ва. В сб. 1863 г. не вошло. Слова Байрона: «В этот день я достиг своих тридцати шести лет», стоящие перед началом его стихотворения, Павлова передает в примечании от своего лица. *Миссолунги* — город в западной части средней Греции, где в 1824 г. умер Байрон, принимавший участие в борьбе греков за независимость. *Гремит война, кипит Эллада* — речь идет о восстании греков против турецкого владычества.

Начало 4-й главы «Чальд-Гарольда». Перевод строф 1—10 и 134—135 из 4-й главы поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда». Впервые — «Киевлянин на 1850 год», кн. 3. М., 1850, стр. 203—206. В сб. 1863 г. не вошло. Внук Павловой, поэт Д. И. Павлов, в некрологе поэтессы Павловой («Русское обозрение», 1894, № 12, стр. 963) писал о том, что ею была переведена вся 4-я глава, но до сих пор найти этого перевода не удалось. *Мост вздохов* — мост через небольшой канал в Венеции, соединяющий тюрьму и дворец дожей. *Цибела* (греч. миф.) — «мать богов», богиня плодородия во Фригии. *Тиара* — головной убор древних персидских и ассирийских царей. *Октавы Тасса* — имеется в виду эпическая поэма Торквато Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим» (1575), написанная октавами. *В Венеции бездожной*. В конце XVIII в. Венеция как самостоятельное государство перестала существовать, поэтому дож, стоявший во главе города-государства, уже не избирался. *Риальто* — см. стр. 574. *Шейлок* — герой комедии Шекспира «Венецианский купец». *Мавр* — Отелло, герой одноименной трагедии Шекспира.

К ... («Хоть гроза неприязни и горя. . .»). Вольный перевод стихотворения «Stanzas to Augusta». Из 6 строф стихотворения Байрона Павлова перевела 5, исключив 4-ю строфу. Впервые —

«Русский вестник», 1859, март, кн. 2, стр. 347—348, без 4-й строфы, замененной точками. Печ. по сб. 1863 г., стр. 109—110. Пропуск 4-й строфы был сделан, по всей вероятности, по цензурным обстоятельствам, так как в ней говорится о «сражении многих с одним» и о «не услышанной богом мольбе», что могло встретить возражение цензора. Перевод вызвал отрицательный отзыв в С (1860, № 4, стр. 403—406).

В. СКОТТ

Клятва Мойны. Вольный перевод стихотворения «Noras vow». Впервые — ОЗ, 1839, № 5, стр. 246—247, с подписью: — ва —. В сб. 1863 г. не вошло. В этом же номере журнала было напечатано четыре стихотворения Павловой: «Неизвестному поэту», «Клятва Мойны», «Гленара» и «Пойми любовь! Ищи во взорах милой...». Белинский тогда же в статье «Русские журналы» высоко оценил переводы Павловой: «Кроме двух прекрасных стихотворений г. Лермонтова, в 5 № «Отечественных записок» есть четыре прекрасных стихотворения г-жн Павловой... Удивительный талант г-жи Павловой (урожденной Яниш) переводить стихотворения со всех известных ей языков и на все известные языки начинает наконец приобретать всеобщую известность... Но еще лучше (по причине языка) ее переводы на русский язык; подивитесь сами этой сжатости, этой мужественной энергии, благородной простоте этих алмазных стихов, алмазных и по крепости и по блеску поэтическому» (Полн. собр. соч., т. 3. М., 1953, стр. 191). Далее приводится целиком стихотворение «Гленара». В переводе воспроизведен ритм и интонации оригинала, но имя Нора заменено Мойной. *Клан* — см. стр. 587.

Военная песнь клана Макгрегор. Перевод стихотворения «Macgregors Gathering». Впервые — ОЗ, 1839, № 9, стр. 254—255, с подписью: — ва —. В сб. 1863 г. не вошло. *Клан* — см. выше.

Яша. Перевод стихотворения «Jock of Hazeldean», написанного по мотивам народной баллады. Впервые — ОЗ, 1839, № 10, стр. 43—44, с подписью: — ва —. В сб. 1863 г. не вошло.

Розабелла. Перевод 13-й главки из 6-й песни поэмы «The Lay of the last minstrel». Впервые — ОЗ, 1839, № 12, стр. 131—133, без даты, с подписью: — ва —. В сб. 1863 г. не вошло. *Оркадские острова* — группа островов на севере Шотландии. *Клирос* — хор певчих в церкви.

Песнь («О дева! Жребий твой жесток!..»). Перевод «Песни» из 3-й песни поэмы Вальтера Скотта «Rokeby». Впервые — «Одесский альманах на 1840 год». Одесса, 1839, стр. 633—634. В сб. 1863 г. не вошло.

Предел родной. Перевод стихотворения «The maid of Isla». Впервые — альм. «Утренняя заря на 1840 год». СПб., 1839, стр. 356—357, с подписью: — ва —. В сб. 1863 г. не вошло. Авторство Павловой засвидетельствовано в письме Н. Ф. Павлова к А. А. Краевскому от 21 августа 1839 (см. «Отчет публичной библиотеки за 1892 г.». СПб., 1895. Приложения, стр. 100).

Песня («Красив Бригнала брег крутой...»). Перевод отрывка из 3-й песни поэмы «Rokeby». Впервые — ОЗ, 1840, № 5, стр. 3—4, с подписью: — ва —. В сб. 1863 г. не вошло. Строки из перевода Павловой Н. Г. Чернышевский использовал в романе «Что делать?»; эту песню поет героиня романа — «дама в трауре».

Т. МУР

Приди, я заплачу с тобой. Перевод стихотворения Томаса Мура (1779—1852) из цикла «Ирландские мелодии» «Has sarrow thy yong days shaded...». Впервые — М, 1841, № 9, стр. 8—9, с подписью: К. П — ва. В сб. 1863 г. не вошло.

С ПОЛЬСКОГО

А. ХОДЗЬКО

Литовская песня. Перевод стихотворения Александра Ходзько-Борейко (1804—1891) «Żuch (Pieśń litewska)». Впервые — ОЗ, 1839, № 7, стр. 142—143, без даты, с подписью: — ва. В сб. 1863 г. не вошло.

С ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО

ЭСХИЛ

Сцены из «Промефея». Впервые — М, 1850, № 7, стр. 153—161. В сб. 1863 г. не вошло. Датируется 1847—1849 г., так как о ряде сцен перевода восторженный отзыв был дан А. А. Григорьевым уже в 1847 г. в газете «Московский городской листок» от 22 августа, а в декабре 1849 г., после прочтения всего перевода, цензор В. Н. Лешков отправил М. П. Погодину письмо с предупреждением и советом подумать о том, следует ли его печатать (см. об этом примеч. к стих. «Разговор в Трианоне», стр. 561). Погодин, несмотря на предупреждение, настаивал на публикации, и цензор дал разрешение, сделав, как он выразился, две «поправочки». Какие именно «поправочки», установить не удалось. Особенной опале с 1849 г. подвергались древние греческие писатели, чтение которых было найдено опасным для молодежи. Отрывок представляет ценность высоким качеством перевода. До этого отрывок из «Прометея» впервые был переведен А. Тарховым и напечатан в «Маяке» (1840, № 17—18, стр. 5—8); но он не может идти ни в какое сравнение с переводом Павло-

вой. Перевод ее очень близок к подлиннику; передавая дух трагедии, он вместе с тем передает фактуру греческого стиха. Особенное искусство Павлова проявила в передаче сложных эсхиловских эпитетов, вроде: «И морепробегающие создал Пловцам я тканикрылые суда». *Эсхил* (525—456 до н. э.) — древнегреческий поэт-трагик. *Промефей* (греч. миф.) — Прометей, см. стр. 571. *Океаниды* (греч. миф.) — нимфы, дочери Океана, прародителя всех богов и титанов. *Колхида* — древнегреческое название Западной Грузии. *Адамантовы оковы* — вечные и прочные, как алмаз. *Атлас* (греч. миф.) — титан, держащий на своих плечах небесный свод. *Аид* (греч. миф.) — владыка подземного мира и царства мертвых. *Трезубец Посидона* (греч. миф.) — волшебный жезл бога морей. *Адрастея* (греч. миф.) — богиня возмездия. *Гермий* (Гермес) (греч. миф.) — сын Зевса и Майи (Земли), первоначально олицетворял могучие силы природы; позднее Гермес стал богом торговли, скотоводства и покровителем пастухов. *Тартар* (греч. миф.) — преисподняя. *Эфир* — верхний, лучезарный слой воздуха, считавшегося местопребыванием Зевса. Под эфиром понимали позднее высшую оболочку мира, из которой произошли солнце, звезды и в которой живут боги.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В настоящий раздел включены все оригинальные стихотворения Павловой из сборников «Das Nordlicht» и «Les préludes», кроме того четыре стихотворения русских поэтов, переведенные ею на немецкий язык, и два стихотворения — на французский язык. В раздел вошли также ряд иноязычных стихотворений Павловой, не публиковавшихся ею в сборниках. Сборник «Das Nordlicht» открывается следующим предисловием автора:

«Новая русская литература, уже много лет делающая большие успехи, еще почти незнакома немцам, особенно поэтические произведения. Так как я родилась и получила воспитание в России и лично знаю многих из наших поэтов, я решилась взяться за предлагаемый скромный труд, надеясь, что он даст определенное представление о современной русской поэзии и поэтому будет интересен для многих.

Господин Гумбольдт, с которым я имела счастье познакомиться во время его краткого пребывания в Москве, был тем, кто дал первый повод к этим попыткам; в беседах со мною о современном состоянии русской поэзии он выражал желание иметь более подробные сведения о ней посредством совсем точных переводов и ободрял меня взяться за эту работу.

Со своими первыми опытами я знакомила многих, кто мог их вполне оценить, и они уговорили меня продолжать, убеждая, что своей главной цели — точно и характерно передавать подлинники — я достигла. Сами писатели, на суд которых я давала свои переводы их стихотворений, считали эти переводы удачными, поэтому я решила опубликовать их в настоящем сборнике. Нельзя

судить о каком-либо поэте по одному единственному стихотворению, поэтому я, чтобы дать более полно представление о стиле и особенностях каждого поэта, не могла включить в сборник много поэтов.

Если этот скромный труд найдет благоприятный прием, то я намереваюсь в дальнейшем ознакомить немцев также с другими поэтами, которых я сюда не включила, и дать образцы их поэтических произведений.

Я убеждена, что в метрическом переводе нельзя изменять стихотворные размеры подлинника без разрушения характера и физиономии стихотворения, поэтому я строго соблюдала размеры русских стихотворений и сохранила их для каждого стихотворения в переводе на немецкий язык. В русских народных песнях, которые я включила, я считала нужным сохранить даже неправильности, где они имеются в подлиннике, чтобы не разрушать непринужденную свободу этих устных произведений.

Я льщу себя тем, что каждый, кто знает русский язык и те стихотворения, которые я перевела, должен признать, что я ни в чем не отступила от подлинника и ни одно стихотворение не потеряло своего колорита и своего особенного характера. И больше этого я ничего не хотела.

Читатели увидят, что я употребляла много так называемых ненастоящих рифм, что объясняется бедностью немецкого языка вполне чистыми рифмами. Я думаю, что пример Шиллера и Гете достаточно оправдывает эту вольность и дает право пользоваться этими рифмами.

Нужно еще заметить, что при выборе стихотворений я принимала во внимание их многообразие и разнородность и поэтому отказалась от удовольствия включить в сборник много выдающегося, что позднее последует, если предлагаемый опыт вызовет интерес. Москва, в мае 1832».

Сб. «Les préludes» был издан с предисловием одного из редакторов книги — А. де Роншо, который, высоко отозвавшись о переводах Павловой, сообщил некоторые сведения о самой переводчице. Сборники «Das Nordlicht» и «Les préludes» принесли Павловой славу прекрасного переводчика. О ее переводах за границей положительно отзывались Гете, А. Гумбольдт, Варнгаген фон Энзе и другие. Варнгаген в статье о Пушкине, переведенной М. Н. Катковым (см. ОЗ, 1839, № 5), называл отличными переводы Павловой из Пушкина. Н. Мельгунов рассказывал, что Гумбольдт при встрече с ним «вспоминал о некоторых знакомых ему лицах... также о К. К. Яниш, изъявляя сожаление, что она, начав писать по-французски, перестала дарить нас своими прекрасными немецкими переводами с русского, польского и других языков, а также собственными стихами» («Барон Александр Гумбольдт», ОЗ, 1839, № 11, стр. 94). Заинтересовался переводами Павловой и Бальзак, которому Шевырев передал «Les préludes» и «Jeanne d'Arc» (см.: М, 1841, № 1, стр. 300).

Высоко оценила переводы Павловой и русская критика. В статье И. В. Киреевского «О русских писательницах» сказано:

«На днях пришли сюда только что отпечатанные в Германии переводы с русского, под названием «Северное сияние», «Das Nordlicht», переводы, сделанные одною знакомою вам девушкою, одаренною самыми разнообразными и самыми необыкновенными талантами. Сколько я могу судить, то переводы эти превосходят все известные до сих пор с русского на какие бы то ни было языки... В конце книги приложено несколько оригинальных пиес, исполненных поэзии и замечательных особенно тем, что всего реже встречается в наших девушках: оригинальностью и силою фантазии» (Полн. собр. соч., т. 2. М., 1911, стр. 73—74).

В том же году, когда вышел сборник «Les préludes», появилась в «Московском наблюдателе» (1839, ч. 2, № 4, стр. 100—138) статья Белинского «Русские журналы», в которой критик высоко оценивал переводческий талант Павловой (см. примеч. к стих. «Клятва Мойны», стр. 589). Белинский позже упрекал Павлову за то, что она выбирала для переводов стихи таких поэтов, как Н. М. Языков и А. С. Хомяков, чем она, по его словам, «несмотря на превосходный перевод, отбила охоту у немцев интересоваться русскою поэзиею» (Полн. собр. соч., т. 7. М., 1955, стр. 656).

Высоко оценили переводы Павловой также М. Н. Катков, К. С. Аксаков, А. А. Григорьев, а позднее Н. Г. Чернышевский, признававший переводы Павловой «во сто раз лучше переводов г. Данилевского, г. Лямина и проч.» (Полн. собр. соч., т. 4. М., 1948, стр. 505).

1. СТИХОТВОРЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

1. «Es wurden in dem düstern Erdenleben...». Печ. впервые по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ. Автограф подписан: «Carolin J.»

2. «Gedenke mein, wenn Hespers Plasenschleier...». Печ. впервые по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ. Автограф подписан: «Carolina». *Геспер* — название вечерней звезды Венеры.

3. Die Geisterstunde. Впервые — «Das Nordlicht», стр. 217—230.

4. Alvar der Talador. Впервые — «Das Nordlicht», стр. 231—237. *Кордова* — город на юге Испании. *Кастилия* — область в Испании. *Гвадалквивир* — река на юге Испании. *Сьерра-Морена* — гора на юге Испании. *Андалузия* — область на юге Испании.

5. Flucht und Rückkehr. Впервые — «Das Nordlicht», стр. 238—242.

6. Sängers Abendgruss. Впервые — «Das Nordlicht», стр. 243—245.

7. Die Nixe. Впервые — «Das Nordlicht», стр. 246—249.

8. Lied. Впервые — «Das Nordlicht», стр. 250—251. Эпиграф — из стихотворения «A mon ami Paul F...». *Ж. Делорм* — псевдоним французского писателя Сент-Бева (1804—1869).

9. Sonett. Впервые — «Das Nordlicht», стр. 252—253.

10. An A. v. H<u>mb dt. Впервые — «Das Nordlicht», стр. 254. Обращено к Александру фон *Гумбольдту* (1769—1859) — известному немецкому ученому, автору знаменитого труда «Космос», естествоиспытателю, геологу, географу и ботанику. Он по приглашению Николая I изучал минеральные богатства Урала. В 1829 г. Гумбольдт был в Москве, познакомился и не раз затем встречался и беседовал с Павловой, которая произвела на ученого очень благоприятное впечатление своей образованностью и поэтическим талантом. Сохранилось письмо Гумбольдта к Павловой от 19 июня 1858 г., опубликованное в «Татевском сборнике». СПб., 1899, стр. 112—113.

11. «Am Wintertag aus wessen Händen...». Впервые — изд. 1939 г., стр. 375. Автограф — в ПД. Обращено к А. К. Толстому, приславшему Павловой ко дню Рождества букет цветов. См. примеч. к стих. «Гр. А. К. Т<олсто>му», стр. 573.

12. «Nimm zum heil'gen Weihnachtsfeste...». Впервые — изд. 1939 г., стр. 375. Автограф — в ПД, в тетради с переводом Павловой на немецкий язык драматической поэмы А. К. Толстого «Дон-Жуан». Датируется концом 1861 г., когда был закончен перевод «Дон-Жуана», что видно из содержания стихотворения.

13. «Töne, einer sangesvollen...». Впервые — изд. 1939 г., стр. 375. Автограф — в ПД, без даты и подписи. Стихотворение, по всей вероятности, обращено к А. К. Толстому и относится к началу 60-х гг.

14. «Genug des Wortschwalls, des sich reihenden...». Впервые — изд. 1939 г., стр. 375. Автограф — в ПД, в письме Павловой к А. К. Толстому.

15. «Dresden steht noch an der Elbe...». Впервые — изд. 1939 г., стр. 376. Автограф — в ПД. Обращено к А. К. Толстому.

16. «O rede nicht vom Scheiden und Entsagen...». Впервые — изд. 1939 г., стр. 376. Автограф — в ПД, без подписи. По всей вероятности, относится к сыну И. Н. Павлову и написано, видимо, во второй половине 70-х гг.

2. ПЕРЕВОДЫ НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

W. SHUKOWSKIJ

Weihe. Впервые — «Das Nordlicht», стр. 94—95. Перевод стихотворения Жуковского «Я Музу юную бывало...». Озаглавлено Павловой «Посвящение», так как оно было написано Жуковским, действительно, как посвящение Музе.

A. PUSCHKIN

Nacht. Zelle im Tschudowschen Kloster. Впервые — «Das Nordlicht», стр. 1—14. Перевод сцены «Ночь. Келья в Чудовом монастыре». Здесь печ. лишь первый монолог Пимена. Возможно, работа над переводом была начата в конце 20-х гг., после появления в 1827 г. в «Московском вестнике» этой сцены.

Lied («Ein Augenblick ist mein gewesen...»). Впервые — «Das Nordlicht», стр. 186—187. Перевод стихотворения Пушкина «Я помню чудное мгновенье...», появившегося впервые в печати в 1827 г.

Der Prophet. Впервые — «Das Nordlicht», стр. 22—23. Перевод стихотворения Пушкина «Пророк», появившегося впервые в «Московском вестнике», 1828 г.

3. СТИХОТВОРЕНИЯ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

1. Fragment. Впервые — альм. «La Quêteuse». Одесса, 1834, стр. 40, с подписью: C. J. Авторство Павловой подтверждается тем, что аналогичная подпись имеется в ее письмах, записках, стихотворениях, а также ее участием в альманахах, выходивших в Одессе, с которыми были связаны ее знакомые Елагины.

2. À toi. Впервые — «Les préludes», стр. 87—88. О стихотворении «A toi» вместе с другими четырьмя оригинальными стихотворениями, включенными в сб. «Les préludes» и печатаемыми ниже, Павлова так отзывалась в письме к А. И. Тургеневу: «К концу этого сборника я добавила четыре или пять собственных стихотворений; последнее — есть следствие любви, почувствованной мною к героине драмы Шиллера Жанне д'Арк, которой я посвятила столь долгий и столь добросовестный труд. Остальные пиесы не имеют в моих глазах никакого иного значения, кроме того, что они связаны с эпохой моей внутренней жизни, когда я поняла, что на земле существует другая поэзия и счастье более истинное, чем счастье писать стихи». Эти строки были процитированы Л. де Роншо в его предисловии к сб. «Les préludes». Приводим их перевод по изд. 1939 г., стр. 443. В конце этого отрывка из письма Павлова говорит о своем замужестве. Стихотворение посвящено Н. Ф. Павлову.

3. Quand ta voix est si tendre. Впервые — «Les préludes», стр. 88—89.

4. Et j'avais dit. Впервые — «Les préludes», стр. 89—91. *Ундина* — см. стр. 578.

5. Stances. Впервые — «Les préludes». стр. 91—93.

6. Jeanne d'Arc. Впервые — «Les préludes», стр. 93—98. Стихотворение, по свидетельству Павловой, связано с ее работой над переводом трагедии Шиллера «Жанна д'Арк», который вышел в 1939 г. в Париже.

7. Les pleurs des femmes. Впервые - отдельным изданием вместе с нотным текстом: «Les pleurs der femmes. Romance. Paroles de madame Caroline Pavloff. Musique de Fr. List, dediée à madame Caroline Pavloff». M., 1844 («Слезы женщин. Романс. Слова госпожи Каролины Павловой. Музыка Фр. Листа, посвященная госпоже Каролине Павловой»). Автограф — в ЦГАЛИ.

8. A m-me Pletneff. Впервые — изд. 1939 г., стр. 373—374. Автограф — в ПД, без подписи. Дата поставлена рукой неизвестного лица. По содержанию стихотворение приблизительно можно датировать концом 1854 или началом 1855 г. Обращено к А. В. Плетневой (1826—1901), второй жене П. А. Плетнева, поэта, критика, профессора словесности Петербургского университета и позднее ректора.

9. Réponse. Впервые — изд. 1939 г., стр. 374—375. Автограф — в ПД. Обращено к О. А. Киреевой-Новиковой (см. о ней примеч. к стих. «Impromptu», стр. 563. *Жакерия* — крестьянское восстание в южной Франции в 1358 г. *Камизары* — участники крестьянского восстания в южной Франции (1702—1704).

4. ПЕРЕВОДЫ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

V. JOUKOVSKI

La mer. Впервые — «Les préludes», стр. 75—76. Перевод стихотворения Жуковского «Море», появившегося впервые в печати в 1828 г.

ALEXANDRE POUCHKINE

Le général d'armée. Впервые — «Les préludes», стр. 45—47. Перевод стихотворения Пушкина «Полководец», впервые появившегося в печати в 1836 г. Об этом переводе см. вступ. статью, стр. 10.

СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ КАРОЛИНЫ ПАВЛОВОЙ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ИЗДАНИЕ

ПЕРЕВОДЫ НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

ИЗ СБОРНИКА «DAS NORDLICHT»

Von A. Puschkin

1. Scene aus «Boris Godunow»
2. Vier Bruchstücke aus «Zigeunern»
3. Tcherkessischen Lied
4. Echo

Von Shukowskij

5. Der Sonntagsmorgen im Dorfe
6. Bruchstücke aus dem Gedichte «Der Sänger im Lager der russischen Krieger»

Von Baron Delwig

7. Romanze
8. Enttaüschung
9. Romanze

Von Baratinsky

10. Lied («Grauenvoll, mit lauten Heulen...»)
11. «Einem jungen Mädchen, Namens Aurora...»
12. Die Seelenwanderung
13 Lied («Wenn sich die Sonne golden hebt und glühend...»)
14. Bruchstück aus dem «Ball»

Von Jasikoff

15. Der Dichter
16. Elegie («Der Seelensprache mächtig Glühen...»)
17. Gebet
18. Elegie («Der azurnen Himmelsgaben...»)
19. Das Rosz

Von Wenewitinoff

20. Elegie («Du Zauberinn, wie schmelzend sangest du...»)
21. Gesang eines Griechen
22. Die Schwingen des Lebens
23. Drei Russische Volkslieder («Wenn der Nebel sank auf das blaue Meer...», «Du mein Liebchen süß...», «Aus dem Wald hervor, aus dem dunkeln Wald...»).
24. Drei Kleinrussische Lieder

ОТДЕЛЬНЫМ ИЗДАНИЕМ:

25. «Don Juan», von Graf Alexis Tolstoy. Dramatisches Gedicht, Dresden, 1863.

ПЕРЕВОДЫ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

ИЗ СБОРНИКА «LES PRÉLUDES»

Par Walter Scott

26. La Croix de feu (Fragment de la dame du lac)
27. La Coronach
28. Pibroch de Danuil (Chant de Guerre mon-tagnard)

Par Campbell

29. Lochiel

Par Thomas Moore

30. L'origine de la Harpe
31. L'adieu à la Harpe

Par Goethe

32. Le Dieu et la bayadere. Légende indienne
33. Le disciple du Magicien

Par Schiller

34. Jeanne d'Arc

Par Grillparzer

35. Monologue de Sappho. Fragment de la tragédie

Par Ruckert

36. Le feuillet blanc
37. Deux fragmentes de Dante. L'enfer (chant troisième, chant cinquième)
38. Deux sonnets de Petrarque («Voi ch'Ascoltate», «Chi vuol veder»)

Par Adam Mickiewicz

39. Chant du Waydelote Lithuanien. Fragment de «Conrad Wallenrod»
40. Alpuxara. Fragment de «Conrad Wallenrod»
41. Chant Lithuanien

Par Al. Chodzko

42. Le chant de le jeune arabe. Fragment de derar

Par Komiakof

43. Λ *** («Lorsque je vois ton front...»)

Par Benedictof

44. La fleur

ОТДЕЛЬНЫМ ИЗДАНИЕМ:

45. Jeann d'Arc, tragédie de Schiller, traduite en vers français par m-me Caroline Pavlof, née Jaenich. Paris, 1839.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* К. К. Павлова. Рисунок (карандашом) Э. А. Дмитриева-Мамонтова, из альбома А. П. Елагиной (1840-е годы). Музей Института русской литературы АН СССР.

2. *Между стр. 80 и 81.* К. К. Павлова. Снимок с акварельного портрета Бинемана (конец 1820-х годов), принесенный в дар Пушкинскому дому Владиславом Мицкевичем, сыном Адама Мицкевича. Музей Института русской литературы АН СССР.

3. *Между стр. 112 и 113.* К. К. Павлова. Портрет (масло) К. Молдавского (1841). ЦГАЛИ.

4. *На обороте.* К. К. Павлова. Акварельный портрет Л. К. Плахова (1854).

5. *Стр. 209.* Автограф стих. «Это было блестящее море. . .». Рукописный отдел Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

6. *Стр. 311.* Автограф отрывка из поэмы «Кадриль». Рукописный отдел Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ[1]

---

[1] В указатель включены имена иностранных поэтов, чьи произведения в переводах К. Павловой вошли в это издание.

СОДЕРЖАНИЕ[1]

[1] Первая цифра указывает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечаний.

ПОЭМЫ

ПЕРЕВОДЫ

С НЕМЕЦКОГО

Ф. ШИЛЛЕР

Э. ШУЛЬЦЕ

Л. ШАМИССО

Ф. РЮККЕРТ

Г. ГЕЙНЕ

Ф. ФРЕЙЛИГРАТ

Ю. ГАММЕР

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ

С ФРАНЦУЗСКОГО

Ж. МОЛЬЕР

А. ШЕНЬЕ

В. ГЮГО

С АНГЛИЙСКОГО И ШОТЛАНДСКОГО

НАРОДНАЯ БАЛЛАДА

Т. КЭМПБЕЛ

Д. БАЙРОН

В. СКОТТ

Т. МУР

С ПОЛЬСКОГО

А. ХОДЗЬКО

С ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО

ЭСХИЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. СТИХОТВОРЕНИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

2. ПЕРЕВОДЫ НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

W. SHUKOWSKIJ

A. PUSCHKIN

3. СТИХОТВОРЕНИЯ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

4. ПЕРЕВОДЫ НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

V. JOUKOVSKI

ALEXANDRE POUCHKINE

5. ПЕРЕВОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНОЯЗЫЧНЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ КАРОЛИНЫ ПАВЛОВОЙ

Павлова Каролина Карловна

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

Редактор *В. С. Киселев*

Художник *И. С. Серов*. Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*. Корректор *З. Н. Петрова*

Сдано в набор 24/X 1963 г. Подписано в печать 7/II 1964 г.
Бумага 84×108 1/32. Печ. л. 19 1/4 + 3 вкл. (31,88). Уч.-изд.
л. 32,11. Тираж 25 000. Зак. № 1419. Цена 1 р. 14 к.

Издательство «Советский писатель»
Ленинградское отделение, Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская типография № 5 «Главполиграфпрома»
Государственного комитета Совета Министров СССР
по печати, Красная ул., 1/3

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
15	21 св.	относящемся	относящегося
19	5 сн.	за пределы	«за пределы
40	11 св.	дают	дает
40	17 сн.	своей	свой
210	14 св.	О всей	И всей
290	10 св.	Madam	Madame
5(9	5 св.	renrde	rendre
590	16 св.	sarrow	sorrow
597	8 св.	Tcherkessischen	Tscherkessisches

К. Павлова Полное собрание стихотворений